Фридрих Ницше



1|2

полное собрание сочинений


РЕВОЛЮЦИЯ
КУЛЬТУРНАЯ

Институт философии
Российской академии наук

Фридрих Ницше

полное собрание сочинений в тринадцати томах

Издательство
«Культурная Революция»
Москва

Институт философии
Российской академии наук

Фридрих Ницше

полное собрание сочинений

Первый том.
Часть вторая

Несвоевременные размышления
Из наследия
(сочинения 1872–1873 годов)

Перевод с немецкого

Издательство
«Культурная Революция»
Москва 2014

ББК 87.3 Герм
Н70

Общая редакция И.А. Эбаноидзе
Сверка, научное редактирование
В.М. Бакусев («Давид Штраус – исповедник и писатель»),
И.А. Эбаноидзе
Перевод В. Бакусев, Я. Берман, А. и Е. Герцык,
Л. Завалишина, В. Невежина, И. Эбаноидзе
Подготовка комментария В. Бакусев и И. Эбаноидзе
Оформление И.Э. Бернштейн

Ницше, Фридрих.
Н70 Полное собрание сочинений: В 13 томах / Ин-т философии.– М.: Культурная революция, 2005–
Т. 1/2: Несвоевременные размышления. Из наследия 1872–1873 гг. / Пер. с нем. В. Бакусева, В. Невежиной, И. Эбаноидзе и др.; общ. ред. И.А. Эбаноидзе. – 2013. – 480 с. – ISBN 978-5-902764-30-4.

Во второй полутом первого тома полного собрания сочинений немецкого мыслителя Ф. Ницше вошли все четыре его «Несвоевременных размышления», а также лекции «О будущности наших образовательных учреждений» и другие работы из наследия 1872–1873, посвященные проблемам познания и культуры. Для многих читателей Ницше может стать открытием не только сам круг идей, раскрываемых в этих текстах, но и то, насколько они, при всей их полемической заостренности, оказываются актуальны в сегодняшнем мире. Три из четырех «Несвоевременных размышлений» представлены в новых переводах, некоторые произведения печатаются на русском впервые, публиковавшиеся ранее переводы сверены с оригиналом и существенно отредактированы.

Издано при поддержке Д. Фьюче и сайта www.nietzsche.ru.

Содержание

Несвоевременные размышления

Часть первая.
Давид Штраус –
исповедник и писатель

1

Похоже, общественное мнение в Германии едва ли не воспрещает говорить о дурных и опасных последствиях войны, к тому же войны, которая закончилась победой. Тем охотнее прислушиваются к таким писателям, которые не знают более важного мнения, нежели это общественное, и потому наперебой усердствуют в восхвалении войны, торжествующе указуя на величественные феномены ее влияния на нравственность, культуру и искусство. И тем не менее да будет сказано: великая победа – это великая опасность. Человеческой натуре труднее перенести такую победу, чем поражение; кажется даже, что легче одержать такую победу, чем пережить ее так, чтобы это не привело к еще более жестокому поражению. Однако из всех дурных последствий, которые повлекла за собой последняя война с Францией, наихудшим, вероятно, является широко распространенное и даже всеобщее заблуждение – заблуждение общественного мнения и всех общественно мнящих, будто немецкая культура тоже победила в этой борьбе и потому должна быть теперь увенчана лаврами, подобающими таким экстраординарным событиям и успехам. Эта иллюзия в высшей степени пагубна – вовсе не потому, что она иллюзия (ибо существуют заблуждения в высшей степени целительные и благодатные), но потому, что способна превратить нашу победу в безоговорочное поражение: *в поражение и даже искоренение немецкого духа во благо «германского рейха».*

Во-первых, следует помнить, что даже если бы между собой боролись две культуры, масштаб ценности победившей был бы очень относителен и в некоторых обстоятельствах совершенно не давал бы права на победное торжество или самовосхваление. Здесь все зависело бы от того, чего стоит та, побежденная культура – быть может, очень немногого: в таком случае и победа, даже при самом блиста-

тельном военном успехе, не давала бы победившей культуре никакого повода для триумфа. С другой стороны, в нашем случае о победе немецкой культуры не может быть и речи в силу простейших причин, – ведь французская культура существует, как и прежде, и мы, как и прежде, от нее зависим. Наша культура даже не содействовала военным успехам. Строгая воинская дисциплина, природная храбрость и выдержка, превосходство вождей, единство и послушание среди ведомых, словом, элементы, не имеющие к культуре никакого отношения, важнейшие из которых у противника отсутствовали, – вот что способствовало нашей победе над ним. Можно лишь удивляться тому, что нечто, называющееся в сегодняшней Германии «культурой», практически не препятствовало достижению этих военных успехов, – вероятно, только потому, что это именующееся культурой нечто сочло для себя более выгодным проявить на сей раз услужливость. Если позволить ему расцвести пышным цветом, если тешить его лестной иллюзией, будто оно было победоносным, это нечто окажется в силах искоренить, как я сказал, немецкий дух, – и кто знает, будет ли тогда хоть на что-нибудь пригодно оставшееся немецкое тело!

Если ту невозмутимую стойкую храбрость, которую немцы противопоставили патетическому мгновенному воодушевлению французов, можно обратить против внутреннего врага, против той в высшей степени неоднозначной и уж во всяком случае не-национальной «образованности», которую сейчас в Германии с пагубным непониманием называют культурой, то не вся еще потеряна надежда на подлинное, настоящее немецкое образование, противоположное той «образованности». Ибо немцы никогда не испытывали недостатка в прозорливейших и храбрейших вождях и полководцах – разве что этим последним зачастую не хватало немцев. Однако я все больше сомневаюсь в том, что немецкой храбрости можно дать такое новое направление, а после войны это и вовсе начинает казаться мне почти невероятным. Ибо в каждом я встречаю убежденность, что борьба и храбрость более не нужны, а, напротив, все в основном устроилось наилучшим образом и уж во всяком случае все то, что действительно требуется, давно найдено и сделано, – словом, что лучшие семена культуры повсеместно

либо посеяны, либо проросли и зазеленели, а кое-где уже расцвели пышным цветом. В этой сфере царит не только довольство, но и настоящее счастье с восторженным упоением. Это упоение и это счастье ощущается мною по неслыханно уверенной манере немецких газетных писак и изготовителей романов, трагедий, песен и историй: ведь это – явно сплоченное сообщество, которое, похоже, поклялось во что бы то ни стало завладеть часами покоя и пищеварения современного человека, то есть его «культурными моментами», и оглушать его в эти моменты посредством того, что напечатано на бумаге. Теперь, после войны, в этом сообществе сосредоточились все счастье, достоинство и самоуважение; после таких «успехов немецкой культуры» оно ощущает себя не только полномочным, санкционированным, но и почти что неприкосновенным, говорит поэтому торжественнее, любит обращения к немецкому народу, издает наподобие классиков собрания сочинений и в самом деле провозглашает в находящихся в его распоряжении всемирно известных журналах кое-кого из своей среды новыми немецкими классиками и образцовыми писателями. Следовало бы, наверное, ожидать, что опасности подобного *злоупотребления успехом* должны быть распознаны наиболее здравомыслящей и просвещенной частью образованных немцев или что последние по крайней мере почувствуют мучительную неловкость этого представления – ведь что может быть мучительнее, чем видеть, как уродец стоит эдаким напыщенным петухом перед зеркалом и обменивается восхищенными взглядами со своим отражением. Однако ученое сословие охотно позволяет происходить тому, что происходит: ему достаточно и собственных забот, чтобы брать на себя еще и заботы о немецком духе. К тому же его члены в высшей степени убеждены, что их собственное образование есть самый спелый и прекрасный плод эпохи, даже всех эпох, и не принимают забот о всеобщем немецком образовании близко к сердцу потому, что, находясь среди своих и бесчисленных себе подобных, они бесконечно далеки от всех забот такого рода. От внимательного наблюдателя, особенно если он иностранец, не может, кстати, укрыться следующее обстоятельство: между тем, что немецкие ученые называют теперь своим образовани-

ем, и той торжествующей культурой новых немецких классиков существует лишь количественное различие в знаниях; всюду же, где встает вопрос не о знании, а об умении, не об осведомленности, а об искусстве, стало быть, всюду, где жизнь должна свидетельствовать о своеобразии образования, теперь имеется только одно немецкое образование – и оно-то одержало победу над Францией?

Это утверждение кажется совершенно непостижимым: именно в более обширных познаниях немецких офицеров, в лучшей обученности немецких рядовых, в более научном ведении войны все непредвзятые судьи и в конечном счете сами французы признали наше решающее преимущество. Но в каком же смысле немецкое образование могло бы рассчитывать на победу, если отделить от него немецкую ученость? Ни в каком. Ибо моральные качества более строгой дисциплины, более спокойного послушания не имеют ничего общего с образованием и характеризуют, к примеру, македонскую армию в сопоставлении с несравненно более образованным воинством греков. Когда говорят о победе немецкого образования и культуры, то, несомненно, что-то путают, и эта путаница основана на том, что в Германии утрачено ясное понимание культуры.

Культура есть прежде всего единство художественного стиля во всех жизненных проявлениях народа. Многознание же и ученость не являются ни необходимым средством культуры, ни ее признаком, а если понадобится, то прекрасно уживаются и с противоположностью культуры – варварством, то есть отсутствием стиля или хаотической мешаниной всех стилей.

И как раз в такой хаотической мешанине всех стилей живет сегодняшний немец, так что встает серьезный вопрос: как же такое может быть, что при всей своей учености он этого не замечает и вдобавок от всего сердца радуется своему нынешнему «образованию». Все ведь должно было бы вразумлять его – видит ли он свою одежду, свою комнату, свой дом, идет ли по улицам своего города, заходит ли в художественный салон; в ходе приятельского общения ему следовало бы отдавать себе отчет в происхождении своих манер и движений, а среди наших художественных заведений, наших концертных, театральных и музейных

радостей – в гротескном сочетании и мешанине всевозможных стилей. Формы, краски, продукты и редкости всех эпох и всех частей света немец нагромождает вокруг себя и тем самым создает ту современную ярмарочную пестроту, которую его ученые соотечественники трактуют и формулируют как «современное само по себе»; он же сам преспокойно восседает среди этой мешанины всех стилей. Но такого рода «культурой», которая на деле есть лишь флегматичная невосприимчивость к культуре, не одолеешь никакого противника, и уж по крайней мере такого, который, как французы, обладает настоящей продуктивной культурой – не важно, какого достоинства, и которому мы до сих пор во всем подражали, причем по большей части неумело.

Если бы мы на самом деле перестали ему подражать, то тем самым еще не одержали бы победу над ним – мы лишь освободились бы от него. И лишь когда мы навязали бы ему оригинальную немецкую культуру, могла бы идти речь о триумфе немецкой культуры. Меж тем мы замечаем, что во всех вопросах формы по-прежнему зависим от Парижа и никуда от этой зависимости не денемся, ибо никакой оригинальной немецкой культуры до сих пор нет.

Вот в чем мы все должны отдавать себе отчет. Признал это публично и один из тех немногих, кто имел право высказать это в тоне упрека немцам. «Мы, немцы, люди вчерашнего дня, – сказал как-то Гёте Эккерману. – За прошедшее столетие мы основательно цивилизовали себя, но может пройти еще пара столетий, прежде чем наши земляки проникнутся духом и высокой культурой повсеместно и настолько, что о них смогут сказать: давно уж прошло то время, *когда они были варварами*».

2

Но если так очевидно, что наша общественная и частная жизнь не отмечены печатью продуктивной и стилистически цельной культуры, если вдобавок наши великие художники признавали, признают и с честностью, свойственной величию, даже подчеркивают этот чудовищный, более того, постыдный для одаренного народа факт, то как же все-таки

возможно, что, несмотря на это, среди немецкой образованщины царит полнейшее довольство – довольство, которое по окончании последней войны постоянно выказывает готовность разразиться бурей ликования и перерасти в триумф. Во всяком случае, они живут с верой, что обладают настоящей культурой: чудовищный контраст этой самодовольной, даже торжествующей веры и очевидного дефекта, похоже, приметен только самым немногим и редким. Ибо всё, что мнит согласно с общественным мнением, завязало себе глаза и заткнуло уши – этого контраста для них попросту не должно быть. Как это вообще возможно? Что это за сила, которая столь могуча, чтобы предписать это «не должно быть»? Что за порода людей должна была прийти в Германии к господству, чтобы запретить столь сильные и простые чувства или по крайней мере воспрепятствовать их выражению? Эту силу, эту породу людей я хочу назвать по имени – это *филистер-образованец.*

Слово «филистер», как известно, позаимствовано из студенческой жизни и означает в широком и вполне популярном смысле противоположность сыну муз, художнику, настоящему культурному человеку. Однако образованный филистер, образованец, изучать типаж и прислушиваться к признаниям которого, коль скоро он их делает, становится нашим постылым долгом, отличается от универсальной идеи породы «филистер» одним предрассудком: он мнит себя самого сыном муз и культурным человеком – непостижимая иллюзия, из которой следует, что ему вовсе невдомек, кто такой филистер и в чем его противоположность. Поэтому мы не удивляемся тому, что он обычно торжественно открещивается от своего филистерства. Несмотря на эту нехватку какого бы то ни было самопознания, он твердо убежден в том, что его «образование» является самым полным выражением настоящей немецкой культуры. А поскольку он повсюду встречает таких же «образованных», а все официальные институты, школьные, образовательные и художественные учреждения устроены сообразно его образованности и его потребностям, то он еще и носит с собою повсюду победоносное ощущение того, что он – достойный представитель современной немецкой культуры, и соответственно этому выдвигает свои требова-

ния и притязания. Но коль скоро всякая подлинная культура подразумевает единство стиля, и даже слабая и выродившаяся культура непредставима без того, чтобы многообразие стекалось в такую гармонию единого стиля, то путаница в названной иллюзии образованца происходит, должно быть, от того, что он повсюду обнаруживает точные копии самого себя и из этого штампованного единообразия всех «образованных» делает заключение о стилевом единстве немецкого образования, словом – о наличии культуры. Повсюду вокруг себя он замечает одни и те же потребности и схожие воззрения; куда бы он ни ступил, он тотчас оказывается в кольце молчаливого согласия относительно многих вещей, в особенности тех, что касаются вопросов религии и искусства; эта импонирующая однородность, это незамедлительно раздающееся безо всякой команды сверху tutti unisono[1] склоняет его к вере, что здесь царит культура. Однако от того, что в филистерстве есть система, систематическое и приведенное к господству, оно не становится культурой или хотя бы слабой культурой, а всегда остается лишь противоположностью последней, а именно – долго созидавшимся варварством. Ибо все это штампованное единообразие, которое столь равномерно бросается нам в глаза при взгляде на всякого образованца немецкой современности, становится единством лишь за счет сознательного либо бессознательного исключения и отрицания всех художественно продуктивных форм и требований подлинного стиля. Что за злосчастная путаница творится, должно быть, в мозгу у образованца! Он считает культурой именно то, что отрицает культуру, и поскольку заблуждается он последовательно, у него в итоге выходит целая взаимосвязанная группа таких отрицаний, некая система анти-культуры, за которой даже можно было бы признать известное «единство стиля», если вообще имеет смысл говорить о стильности варварства. Если ему предоставляется выбор между действием, которое сообразно стилю, и его противоположностью, то он всегда ухватится за второе, а поскольку он всегда за него хватается, на всех его действиях лежит печать одинаковой негативности. Именно по ней он узнает

---

1 все в унисон, все в один голос (*ит.*).

характер патентованной им «немецкой культуры», а несоответствие ей служит для него признаком враждебного и противящегося. В таких случаях образованец лишь уклоняется, отрицает, замыкается, затыкает себе уши, отводит взгляд; он – существо негативное, в том числе в своей ненависти и в своей враждебности. Но всех ненавистнее для него тот, кто обращается с ним, как с филистером, и высказывает ему, кто он такой, а именно – препона на пути всех творящих и могучих, лабиринт для всех сомневающихся и заблудших, трясина для всех изнемогших, кандалы на ногах всех стремящихся к высокой цели, ядовитый туман для всех свежих побегов, иссушающая песчаная пустыня для ищущего и жаждущего новой жизни немецкого духа. Ибо он *ищет*, этот немецкий дух, а вы ненавидите его потому, что он ищет и не желает верить, будто вы уже нашли то, что он ищет. Как это вообще возможно, что такой тип, как образованец, возник, а, возникнув, обрел власть высшего судьи над всеми проблемами немецкой культуры, как это могло случиться после того, как мимо нас прошествовал целый ряд великих героических фигур, в чьих движениях, выражении лиц, в вопрошающем голосе, в огненном взоре читалось лишь одно: *что они были ищущими* и что искали они так ревностно и с таким нешуточным упорством как раз то, чем, как ему мнится, обладает образованец – настоящую исконную немецкую культуру. Есть ли земля, казалось, спрашивали они, такая чистая, такая нетронутая, такой девственной святости, чтобы на ней и ни на какой другой немецкий дух выстроил себе дом? Так вопрошая, прошли они через дремучую чащу темных времен и стесненных условий и как ищущие скрылись из наших глаз, так что один из них в преклонные годы, словно от имени всех, смог сказать: «Целых полстолетия я из кожи вон лез и не давал себе никакого отдыха, но все время стремился, исследовал и делал что-то, насколько это было в моих силах и насколько это у меня получалось».

Но как же судит наша образованщина об этих ищущих? Она попросту принимает их за обретших, похоже, забыв, что они-то ощущали себя лишь ищущими. У нас же есть наша культура, говорят они, ведь при нас наши «классики»; есть не только фундамент, но и все здание уже воздвигнуто на

нем – мы сами и есть это здание. С этими словами филистер тычет себе в лоб.

Но для того, чтобы столь превратно судить о наших классиках и почитать их подобным образом, по сути, хуля, нужно вовсе их не знать; и это факт общераспространенный. Иначе бы люди ведали, что есть лишь один способ чтить их, а именно – продолжая в их духе и с их мужеством завещанный ими поиск и не зная в этом устали. И напротив, повесить на них довольно сомнительный ярлык «классиков» и время от времени «воспарять» на их произведениях – то есть предаваться тем вялым эгоистическим трепыханьям, которые сулят всякому заплатившему наши концертные и театральные залы, – воздвигать им памятники и нарекать их именами праздники и общества, – все это звонкая монета, с помощью которой образованец приходит к соглашению с ними, чтобы во всем остальном уже не иметь с ними дела, но прежде всего, чтобы не чувствовать обязательства следовать за ними и искать дальше. Ибо больше искать нельзя – вот лозунг филистеров.

Когда-то у этого лозунга был определенный смысл: тогда, в первом десятилетии этого века, в Германии зародились и бурлили такие многообразные и сбивающие с толка поиски, эксперименты, потрясения основ, обетования, предчувствия, надежды, что средним слоям интеллигенции поневоле пришлось беспокоиться за себя. С недоумением и по праву отвергли они тогда эту мешанину фантастических и коверкающих язык философий и тенденциозно-мечтательных исторических воззрений, карнавал собранных романтиками всевозможных богов и мифов и сочиненных в опьянении поэтических мод и чудачеств – по праву, ибо у филистера нет права даже на то, чтобы пойти вразнос. Однако он с лукавством заурядных натур воспользовался случаем, чтобы поставить под сомнение поиск как таковой и потребовать гарантированных обретений. Взорам его предстало филистерское счастье: спасение от всего этого дикого экспериментирования он обрел в идиллиях и противопоставил беспокойному творческому импульсу художника некое довольство – довольство собственными рамками, своей непотревоженностью, даже своей ограниченностью. Его вытянутый палец без излишней застенчивости

указал на всевозможные укромные и тайные уголки собственной жизни, на многочисленные трогательные и наивные радости, которые произрастают скромными цветами на жалостном дне бескультурного существования и словно на торфяниках филистерского бытия.

Нашлись специальные изобразительные таланты, изящной кистью зарисовывающие счастье, уют, повседневность, крестьянское здоровье и всяческое довольство, какое можно встретить в детской, в кабинете ученого и в крестьянской избе. С такими раскрасками действительности в руках эти довольные искали способ раз и навсегда отделаться от этих опасных классиков и исходящих от них требований дальнейшего поиска. Они выдумали понятие «век эпигонов», лишь бы оставаться в покое и иметь наготове для всех неудобных новшеств пренебрежительный вердикт «эпигонское произведение». В тех же самых целях, дабы гарантировать себе покой, эти самые довольные завладели историей и попытались превратить все науки, способные как-то воспрепятствовать их довольству, прежде всего философию и классическую филологию, в исторические дисциплины. Историческим сознанием они спасались от энтузиазма – ибо отнюдь не его, как то полагал Гёте, должна порождать история, а как раз притупление энтузиазма: такова ныне цель этих нефилософских ревнителей nil admirari[1], когда они пытаются все понять исторически. Делая вид, что ненавидят любые формы фанатизма и нетерпимости, ненавидели, в сущности, доминирующий гений и тиранию действительных требований культуры – и потому прилагали все усилия к тому, чтобы ослабить, притупить или уничтожить все то, от чего можно было ожидать свежих и мощных порывов. Та философия, под кудрявыми завитушками которой на косский манер скрывался филистерский символ веры ее основоположника, выдумала еще вдобавок и формулу обожествления повседневности: она вещала о разумности всего действительного и таким образом втиралась в доверие к образованцу, который тоже любит кудрявые завитушки, но прежде всего считает действительным лишь самого себя и носится с этой своей действительностью как

1 ничему не удивляться (*лат.*).

с универсальным мерилом разумности. Теперь он разрешал всякому и самому себе немного поразмышлять, поисследовать, поэстетствовать, а прежде всего постихотворствовать и помузицировать, а еще писать картины и создавать целые философии – лишь бы, ради всего святого, все оставалось по-старому, лишь бы ни в коем случае не устраивали встряску «разумному» и «действительному», то есть филистеру. Ведь хотя он совсем не прочь время от времени предаваться прелестным и дерзким выходкам искусств и скептической историографии и весьма ценит привлекательность таких объектов отвлечения и развлечения, он строго разграничивает «серьезность жизни», то есть свою профессию, свое дело (вкупе с чадами и домочадцами) и удовольствия – к последним же принадлежит практически все, что имеет отношение к культуре. Поэтому горе искусству, которое само начинает серьезничать и выставляет требования, затрагивающие его занятия, дела и привычки, стало быть, его филистерскую серьезность; от такого искусства он отводит глаза, как будто увидел нечто неприличное, и с миной стража целомудрия предостерегает всякую беззащитную добродетель, чтобы она ни в коем случае туда не смотрела.

Столь красноречивый, когда нужно что-то отсоветовать, он благодарен художнику, который слушается его и следует его предостережениям. Ему он дает понять, что отношение к нему будет легче и снисходительнее и что от него, испытанного единомышленника, не потребуется никаких утонченных шедевров, а только две вещи: доходящее до обезьянничанья подражание действительности в идиллиях или добродушных юмористических сатирах либо вольное копирование наиболее признанных и прославленных произведений классиков, притом со стыдливыми индульгенциями в адрес вкуса эпохи. Ведь, ценя эпигонское подражание или иконографическое портретирование современности, он знает, что последнее прославляет его самого и преумножает довольство «действительностью», первое же ему никак не вредит и даже способствует его репутации судьи в вопросах классического вкуса, в остальном же не доставляет ему никаких хлопот, благо он сам уже раз и навсегда разобрался с классиками. А напоследок он еще придумывает для своих обыкновений, своего взгляда на вещи,

своих идиосинкразий и пристрастий универсально действующую формулу, которая гласит «здоровье», и отделывается от всего, что некстати нарушает спокойствие, тем, что это, дескать, нечто больное и экстравагантное. Так Давид Штраус, настоящий satisfait[1] нашими образовательными порядками и типичный филистер, очень характерным оборотом отзывается однажды о «хотя и сплошь одаренном, но всячески нездоровом и бесполезном философствовании Артура Шопенгауэра». Это действительно фатальное обстоятельство, что «дух» обычно с особой симпатией нисходит на «нездоровое и бесполезное», и что даже филистер, ежели пожелает быть *честным* с самим собою, глядя на философемы, которые ему подобные выводят на люди и на рынок, ощутит кое-что от всячески бездарного, но сплошь здорового и пользительного философствования.

То здесь, то там именно филистеры, оказавшись в кругу себе подобных, поднимают заздравные чаши и вынашивают победоносные замыслы – прямодушно, болтливо и наивно. Тогда на свет выходит много чего, обычно робко скрываемого, и иной раз кто-нибудь выбалтывает важнейшие тайны всего братства. Такое случилось совсем недавно с известным эстетиком из гегелевской школы разумности. Повод был, надо сказать, довольно необычным: в сугубо филистерском кругу отмечался юбилей настоящего и подлинного антифилистера, вдобавок еще и такого, который в строжайшем смысле этого слова погиб из-за филистеров – юбилей славного Гёльдерлина. Так что известный эстетик имел полное право говорить в этой связи о трагических душах, которые погибли от «действительности», причем слово «действительность» тут нужно понимать в вышеупомянутом смысле как филистерский разум. Однако «действительность» стала другой: следует поставить вопрос о том, нашел ли бы себя Гёльдерлин в нынешнюю великую эпоху. «Я не знаю, – говорит Фр. Фишер, – вынесла бы его мягкая душа столько грубого, что есть во всякой войне, столько порчи, сколько развелось после войны в самых разных сферах. Быть может, он вновь погрузился бы в безутешность. То была беззащитная душа, Вертер Греции, безнадежно влюб-

1 удовлетворенный, довольный (*фр.*).

ленный. То была жизнь, полная нежности и томления, однако в его воле была сила и содержание, а в его стиле, местами даже напоминавшем Эсхила, – величие, полнокровность и жизнь. Однако дух его был недостаточно закален, он не был вооружен юмором, – *он не мог вынести того, что если человек филистер, то он еще вовсе не варвар*». Нас интересует здесь именно это последнее признание, а не выраженные застольным оратором слащавые соболезнования. Филистером быть допускается, но варваром – ни за что! Бедный Гёльдерлин, к сожалению, не мог проводить таких тонких различий. Конечно, если при слове «варварство» думать о противоположности цивилизации или даже о пиратах и людоедах, то различие это проведено по праву. Однако эстетик явно хотел нам сказать: можно быть филистером и притом культурным человеком – в этом и заключается юмор, которого не хватило Гёльдерлину и от нехватки которого он погиб.

По тому же поводу у оратора вырвалось еще одно признание: «Не всегда это сила воли – бывает, что *и слабость* возносит *нас* над столь глубоко ощущавшейся трагическими душами жаждой прекрасного» – примерно так звучало признание, выраженное от лица собравшихся «нас», стало быть, «вознесенных», причем «вознесенных» благодаря слабости! Удовлетворимся же этими признаниями! Теперь мы знаем прямо из уст посвященного две вещи: во-первых, что эти «мы» действительно унесены прочь от стремления к прекрасному, и даже вознесены над ним, и во-вторых – это сделано благодаря слабости! Именно эта слабость носила в минуты не столь явной откровенности более красивое имя: то было прославленное «здоровье» образованцев. Теперь же, в свете этого новейшего наставления, рекомендовалось бы впредь говорить о них не как о «здоровых», но как о *слабеньких*, или прямо-таки *слабых*. Если бы только эти слабые не обладали властью! Что им за дело до того, как их называют! Ибо они владычествуют, а настоящих владык не особенно волнуют насмешливые прозвища. Мало того, лишь когда у тебя власть, научаешься подтрунивать над собою. И тогда не так уж важно, обнажатся ли твои слабые стороны: ибо чего только не прикрывает царственный пурпур и плащ триумфатора! Сила образованца выходит на свет, когда он сознается в своей слабости; и чем откровенней и циничней

он в ней сознается, тем явственней мы видим, какую важность он себе придает и какое ощущает превосходство. Настала эпоха циничных филистерских признаний. Как Фридрих Фишер своею речью, так и Давид Штраус своею книгой сделал признания: обе они циничны – как речь, так и книга.

3

Давид Штраус двояким образом делает признания касательно этой филистерской образованности: с помощью слова и дела, а именно – *исповедального слова и писательского дела.* Его книга под названием «Старая и новая вера», во-первых, по своему содержанию, а во-вторых, как книга и писательский продукт есть непрерывное признание, – признание заключено уже в том, что он позволяет себе публично делать признания касательно своей веры.

Право написать после сорока лет собственную биографию есть у каждого; ибо даже самый заурядный человек мог пережить и в достаточной близи увидеть нечто такое, что окажется ценным и заслуживающим внимания для мыслителя. Но в исповедании своей веры заключены исключительные амбиции: ведь это предполагает, что исповедующийся вкладывает ценность не только в то, что он пережил или исследовал или увидел на протяжении своей жизни, но даже в то, во что он верил. Настоящему мыслителю в самую последнюю очередь захочется узнавать, что там преподносят все эти штраусовские натуры в качестве своей веры и что за вещи они в себе «полумечтательно сочинили» (с. 10), говорить о которых имеет право лишь тот, кто знает о них из первых рук. Кому нужны вероисповедания, скажем, Ранке или Моммзена, которые, кстати, были совершенно иными учеными и историками, нежели Давид Штраус, и которые все же, пожелай они заговорить о своей вере, а не о своих научных познаниях, досадным образом вышли бы из пределов своей компетенции. Однако это и делает Штраус, рассказывая нам о своей вере. Ни у кого нет желания что-либо о ней знать, кроме разве что некоторых тупых противников штраусовской мысли, которые и вправду прозревают за нею сатанинский символ веры и желали бы, чтобы Штраус

скомпрометировал свои ученые постулаты обнажением своих потаенных сатанинских замыслов. Может быть, эти грубые ребята даже в его новой книге нашли свой расчет оправдавшимся; мы же, у кого не было никаких оснований прозревать такие потаенные сатанинские замыслы, ничего в таком роде не обнаружили и были бы даже не против, если бы дело обстояло чуть более сатанински. Ибо так, как Штраус говорит о своей новой вере, никакой злой дух говорить, разумеется, не будет: так вообще никакой дух не разговаривает, а менее всего – подлинный гений. Так разговаривают только те, кого Штраус представляет нам как своих «мы» и кто, рассказывая о своей вере, наскучил бы нам еще больше, чем если бы рассказывал свои сны, будь эти люди хоть «учеными и деятелями искусств, чиновниками и военными, промышленниками и помещиками, многие тысячи, и из числа не худших в стране». Если они не желают тихо сидеть в своих городах и весях, а громогласно выступают со своими признаниями, то даже громкость их унисона не сумеет скрыть того, сколь бездарную и пошлую мелодию они напевают. Когда нам говорят, что множество людей разделяет некое суждение, то как это может вызвать наше расположение, коль скоро суждение это таково, что каждого вознамерившегося его высказать мы бы, позевывая, прервали, вместо того чтобы выслушать? Если у тебя такая вера, пришлось бы нам заявить ему, ради Бога, ничего о ней не говори. Быть может, раньше некоторые простаки и искали в Давиде Штраусе мыслителя – но теперь они нашли в нем верующего и разочаровались. Промолчав, он еще остался бы философом по крайней мере для них, меж тем как теперь он уже ни для кого не философ. Однако его уже и не прельщает репутация мыслителя: он хочет быть лишь новым верующим и горд своей «новой верой». Печатным образом исповедуя ее, он мнит, будто пишет катехизис «современных идей» и строит широкую «мировую дорогу будущего». И в самом деле, наши филистеры уже более не робки и не стыдливы, а, пожалуй, до цинизма самоуверенны. Были времена, и они уже, конечно, далеко в прошлом, когда филистера скорее терпели как нечто такое, что не разговаривает и о чем не говорят. Было и такое время, когда ему поглаживали шкурку, находили его забавным и

говорили о нем. Так он постепенно сделался фатом и стал сам от всего сердца радоваться своим складочкам и своим твердолобо-недалеким особенностям; теперь он и сам заговорил – эдак в духе домашней музыки Риля. «Но что я вижу! Что это, сказка или быль? Мой пудель напыжился, как пузырь, и все разбухает ввысь и вширь». Ибо сейчас он уже спешит вперевалочку, как бегемот, по «всемирной дороге будущего», а рычание и лай сменились гордым тоном основателя религии. Быть может, господин магистр, Вам угодно основать религию будущего? «Мне кажется, время еще не подоспело (с. 8). Мне даже не приходит в голову разрушить какую-либо церковь». – Но почему бы и нет, господин магистр? Тут ведь все зависит от способности. Кстати, если говорить откровенно, Вы ведь и сами верите, что на это способны: взгляните только на последнюю страничку Вашей книги. Вы ведь знаете там о Вашей новой дороге, что «лишь она – всемирная дорога будущего, которую надо только закончить в некоторых местах, а главное, ездить по ней почаще, чтобы она сделалась удобной и приятной». Не отпирайтесь же: основатель религии известен, новая, удобная и приятная дорога в штраусовский рай построена. Разве что экипажем, которым Вы собрались править, Вы, такой скромник, не вполне довольны и напоследок сообщаете: «Я не могу утверждать, что экипаж, которому должны были вместе со мной довериться дорогие читатели, отвечал всем требованиям» (с. 367) – «все это крепко досаждает путнику». Ах, Вы, галантный основатель религии, верно, желаете услышать нечто любезное? Но мы желаем сказать Вам нечто откровенное. Если Ваш читатель распределит чтение 368 страниц катехизиса Вашей религии таким образом, что будет принимать каждый день по одной страничке, то есть в самых малых дозах, то мы сами будем думать, что в конце концов это крепко ему досадит и он будет чувствовать себя скверно – от огорчения, что эффект так и не наступил. Тут, скорее, надо глотать от души, как можно больше за раз, – таков рецепт для всех современных книжек. Тогда это питье ничуть не повредит, выпившему не станет скверно, он не будет досадовать, а останется в веселом и славном расположении духа, как если бы ничего не случилось, никакая религия не разрушена, никакая всемирная дорога не

построена и никакой исповеди не было – вот это я называю эффектом! И врач, и лекарство, и болезнь – все позабыто! И начинается радостный смех! Беспрестанная щекотка и смех! Вам можно позавидовать, сударь, ибо Вы создали наиприятнейшую религию – такую, что ее основателя чтят беспрестанно – тем, что высмеивают его.

4

Филистер как основатель религии будущего – такова новая вера в ее наиболее выразительном обличии; филистер, ставший мечтателем, – таков неслыханный феномен, характеризующий нашу немецкую современность. Однако будем пока до некоторой степени осторожны и по отношению к этому мечтательству – ведь не кто иной как Давид Штраус рекомендовал нам такую осторожность в следующих мудрых фразах, долженствующих поначалу навести нас на мысль не о Штраусе, а об основателе христианства (с. 80): «Мы знаем: бывали благородные, одухотворенные мечтатели, мечтатель может побуждать, может возвышать, может и весьма продолжительно воздействовать исторически, но мы не изберем его своим кормчим. Он собьет нас с истинного пути, если мы не поставим его влияние под контроль разума». Мы знаем даже более того: могут быть и неодухотворенные мечтатели, мечтатели, которые не побуждают, не возвышают и которые тем не менее питают надежду на то, чтобы весьма продолжительно воздействовать исторически в качестве кормчих и подчинить себе будущее. Насколько же настоятельнее становится для нас требование поставить их фантазии под контроль разума! Лихтенберг полагает даже, что «бывают мечтатели без способностей, и тогда это по-настоящему опасные люди». Покамест, однако, во имя этого сознательного контроля мы желаем лишь честного ответа на три вопроса. Во-первых: какими представляет себе этот исповедник новой веры свои небеса? Во-вторых: как далеко заходит мужество, которое дает ему новая вера? И в-третьих: как он пишет свои книги? Штраус-исповедник должен ответить нам на первый и второй вопросы, Штраус-писатель – на третий.

Небеса исповедника новой веры должны, естественно, быть земным раем, поскольку христианские «перспективы на бессмертную небесную жизнь» вкупе с прочими утешениями «безвозвратно канули» для того, кто «хоть одной ногой» встал на штраусовскую точку зрения (с. 364). То, каким именно образом религия расписывает свои небеса, несомненно, о чем-то свидетельствует, – и если правда, что христианство не ведает никакого иного небесного занятия, кроме музицирования и пения, то для штраусовского филистера это, конечно, открывает совсем не утешительную перспективу. Однако и в этой книге признаний есть своя райская страничка, страница под номером 294: прежде всего разверни этот пергамент, осчастливленный филистер! Здесь сами небеса нисходят к тебе. «Хотелось бы лишь открыть свои карты, – пишет Штраус, – высказать свои взгляды, которых мы держимся уже многие годы. Помимо наших профессий – а ведь среди нас представлены самые различные профессии: отнюдь не одни только ученые и деятели искусств, но и чиновники и военные, промышленники и помещики, и, повторим еще раз, нас не мало, а многие тысячи, и из числа не худших во всех землях, – так вот, говорю я, мы стараемся, чтобы душа наша, помимо наших профессий, оставалась как можно более открытой ко всем высшим интересам человечества: за последние годы мы приняли живое участие в великой национальной войне и в строительстве немецкого государства, и мы ощущаем в себе духовный подъем от такой столь же нежданной, сколь и впечатляющей перемены в участи нашей многострадальной нации. Пониманию этого мы способствуем историческими штудиями, которые теперь посредством целого ряда увлекательно и популярно написанных исторических сочинений сделались доступны и для неученого человека, при этом мы стараемся расширить наши знания о природе, и здесь у нас также нет недостатка в общедоступных пособиях; и, наконец, в книгах наших великих поэтов, в исполнении произведений наших великих композиторов мы получаем пищу для ума и сердца, для фантазии и юмора, так что нам не остается желать ничего лучшего. Так мы и живем, так, осчастливленные, и проводим свои дни».

Вот это наш человек! – восклицает читающий это филистер, ведь мы и вправду так живем день изо дня. И ведь как красиво он умеет все это излагать! Что же еще он, к примеру, может разуметь под историческими штудиями, способствующими нашему пониманию политической ситуации, как не чтение газет? Что иное, как не ежедневные посещения пивной, понимает он под живым участием в строительстве немецкого государства? А поход в зоологический сад – ведь это не иначе как «общедоступное пособие», с помощью которого мы расширяем наши знания о природе! И под конец – театр и концерты, после которых мы приносим домой «пищу для фантазии и юмора», «не оставляющую желать ничего лучшего», – как достойно и весело он говорит о самых непростых вещах! Это – наш человек, ибо его небеса – это наши небеса!

Так восклицает филистер. И если мы не настолько удовлетворены, как он, то дело здесь в том, что мы бы желали знать поболее. Как говаривал Скалигер: «Что нам до того, какое вино пил Монтень, красное или белое!» Но как бы мы оценили в данном, более важном, случае такое исчерпывающее пояснение! Что, если бы мы вдобавок даже узнали, сколько трубок согласно распорядку новой веры выкуривает ежедневно филистер и в обществе какой газеты, шпенеровской или национальной, предпочитает он пить свой кофе! Ох, эта наша ненасытная жажда знаний! Лишь в одном пункте нам дают более подробную картину, и, к счастью, эта картина открывает нам святая святых, а именно – те маленькие эстетические приватные комнатки, которые отведены великим писателям и композиторам, в которых филистер «воспаряет», в которых он даже, по его признанию, «выводит и отмывает все свои пятна» (с. 363), так что нам следует рассматривать эти приватные комнатки как маленькие очистительные купальни. «Но это длится лишь мимолетные мгновения, это случается и действует лишь в царстве фантазии; едва же мы возвращаемся в грубую действительность и в тесную жизнь, как со всех сторон на нас набрасывается и прежняя нужда», – стенает наш магистр. Используем же, однако, мимолетные мгновения, которые мы можем провести в этих комнатках: времени как раз хватит на то, чтобы со всех сторон рассмотреть иде-

альный образ филистера, иначе говоря, *филистера, с которого смыты все пятна* и который теперь с ног до головы – чистый образчик филистера. То, что здесь предстает перед нами, поистине поучительно: пускай же никто из тех, кто пал жертвой этой исповеди, не выронит ее из рук, не прочтя перед тем двух ее дополнений с заголовками «О наших великих писателях» и «О наших великих композиторах». Здесь простерлась радуга нового завета, и кто не возрадуется ей, «тому уж ничем не помочь, он», как говорит Штраус в другом месте, но мог бы сказать и здесь, «еще недостаточно созрел для нашего взгляда на вещи». Мы именно что в святая святых. Воодушевленный периегет[1] намеревается устроить нам экскурсию и извиняется на тот случай, если превеликое восхищение всем этим великолепием сделает его чересчур красноречивым. «Если я, быть может, проявлю здесь бóльшую словоохотливость, чем будет сочтено подобающим в такой ситуации, – говорит он нам, – то, надеюсь, читатель не поставит мне это в вину: чем полно сердце, то переполняет уста. Замечу лишь то, что нижеследующее составлено не из каких-нибудь старых заметок, которые я включил сюда, но написано для нынешней моей задачи и для данного места книги» (с. 296). На какой-то миг это признание повергает нас в изумление. Что нам за дело до того, заново ли написаны эти прекрасные главки? Да если б тут дело было вообще в их написании! Откровенно говоря, я бы предпочел, чтобы они были написаны четверть века назад, тогда бы я хоть знал, почему они кажутся такими выцветшими и откуда у них этот запах замшелого старья. Но то, что от написанного в 1872 году в том же самом году уже так несет тухлятиной, ставит меня в тупик. Допустим, кто-нибудь заснул от чтения этих глав и от их запаха – что бы ему тогда приснилось? Об этом мне поведал один мой друг, ибо так с ним и вышло. Ему приснился кабинет восковых фигур: там стояли классики, искусно воссозданные с помощью воска и бусинок. Они двигали руками, вращали глазами, и внутри у них скрипел какой-то механизм. Жуткое зрелище увидел он там: увешенную лентами и пожелтевшей бумагой бесформенную фигуру, у кото-

1 гид, проводник (*греч.*).

рой изо рта свисала записка с надписью «Лессинг». Мой друг решается подойти поближе, и ему открывается самое страшное. Это гомеровская химера: спереди Штраус, сзади Гервинус, посередине химера, в сумме – Лессинг. Это открытие исторгло у него крик ужаса; он проснулся и дальше уже не читал. Зачем же, господин магистр, Вы написали такие замшелые главки!

Правда, кое-что новое мы из них узнаем: например, что благодаря Гервинусу известно, отчего и почему у Гёте не было никакого драматического таланта, что вторая часть «Фауста» – это всего лишь аллегорически-схематический продукт, что Валленштейн – это Макбет, который одновременно и Гамлет, что штраусовский читатель выковыривает новеллы из «Годов странствий», как невоспитанные дети выковыривают изюм и миндаль из твердого пирога, что без наглядного и захватывающего на сцене не может быть достигнут полный эффект и что Шиллер вышел из Канта, как из целебной холодной купальни. Это, конечно, все ново и бросается в глаза, но сколь бы ни бросалось в глаза, оно нам совершенно не нравится и сколь бы ни было ново, никогда не состарится потому, что и молодым-то никогда не было, а вышло из материнского чрева уже старым дедом. До чего только не додумались эти блаженные новой формации в своем эстетическом царствии небесном! И отчего бы им не позабыть по крайней мере хоть каких-то вещей, коль скоро те столь неэстетичны, столь преходящи и вдобавок столь явственно несут на себе отпечаток глупости, как, например, некоторые тезисы Гервинуса? Однако создается впечатление, что скромное величие Штрауса и нескромное ничтожество Гервинуса способны очень даже неплохо уживаться друг с другом, и благо тогда всем тем блаженным, благо и нам, нечестивцам, если этот не ведающий сомнений судья в вопросах искусства снова начнет учить своему вызубренному энтузиазму и своему галопу старой клячи, о котором с подобающей однозначностью говорил славный Грильпарцер, и вскоре сами небеса зазвенят в такт этому галопирующему энтузиазму! Ну тогда, по крайней мере, дела пойдут живее и звучнее, чем теперь, когда вкрадчивое плюшевое воодушевление нашего небесного провожатого и елейное красноречие его уст вызывают у нас ос-

новательное отвращение и усталость. Хотел бы я знать, как в устах Штрауса прозвучит «аллилуя»: думаю, что тут придется хорошенько прислушаться, иначе может показаться, что услышал вежливое извинение или галантный шепоток. Могу привести на этот счет один поучительный и пугающий пример. Штраус сильно рассердился на одного из оппонентов, сказавшего, что тот отвешивает поклоны Лессингу, – несчастный явно ослышался! По уверениям Штрауса, окончательным тупицей должен быть тот, кто не почувствовал, что его бесхитростные слова о Лессинге в № 90 сказаны с сердечной теплотой. Я в этой теплоте ничуть не сомневаюсь; напротив, в этой штраусовской теплоте к Лессингу мне всегда чудилось нечто подозрительное. Ту же подозрительную теплоту к Лессингу, даже доведенную до кипения, я встречаю у Гервинуса. В целом ни один из крупных немецких писателей не популярен у мелких немецких писателей так, как Лессинг. И все же благодарности они за это не заслуживают. Ибо что, собственно, хвалят они в Лессинге? Во-первых, его универсальность: он критик и поэт, археолог и философ, драматург и теолог. Во-вторых, «это единство писателя и человека, ума и сердца». Последнее характерно для всякого крупного писателя, а подчас даже и для мелкого; в сущности, даже узость ума может устрашающе гармонично сочетаться с узостью сердца. Первое же, «универсальность», само по себе еще не является никаким отличием, в случае же с Лессингом было его нуждой и бедою. Быть может, самое удивительное в этих энтузиастах Лессинга именно то, что они как раз не видят эту терзающую нужду, которая гнала его через жизнь к пресловутой «универсальности», не чувствуют, что этот человек сгорел слишком быстро, как пламя на ветру, не сокрушаются, что пошлейшая узость и убожество всего его окружения и особенно его ученых современников омрачали, мучили, уязвляли это пылавшее таким нежным огнем существо, так что именно эта хваленая универсальность должна вызывать глубокое сочувствие. «Посочувствуем же, – призывает нас Гёте, – выдающемуся человеку, который жил в такую жалкую эпоху, что ему все время приходилось действовать в полемике». И что же, мои любезные филистеры, вы можете без стыда думать о Лессинге, который погиб именно от вашей тупо-

сти, в борьбе с вашими смехотворными Клётцами и Гёцами[1], от убожества вашего театра, ваших ученых, ваших теологов, не имея возможности хоть раз отважиться на тот вечный полет, ради которого он явился в мир? А что вы испытываете при упоминании Винкельмана, который, чтобы только не видеть ваших гротескных глупостей, отправился вымаливать помощь у иезуитов, и чей постыдный переход в инославие стал не его, а вашим позором? Вы смеете даже поминать имя Шиллера, не краснея? Посмотрите на его портрет! Горящий взор, с презрением устремленный поверх вас, смертельным жаром пылающие щеки – это ни о чем вам не говорит? То для вас – чудесная, божественная игрушка, которую вы сломали. А если еще отнять дружбу Гёте у этой угасавшей, до смерти затравленной жизни, то вам удалось бы погасить ее еще быстрей! Вы не содействовали творчеству ни одного из ваших великих гениев – и теперь на основании этого вы хотите установить догму, что никому впредь помощи не будет? Для каждого из них вы были тем «сопротивлением косного мира», который Гёте называет по имени в своем эпилоге к «Колоколу», по отношению к каждому вы были недовольными тупицами или черствыми завистниками или злобными эгоистами; вопреки вам создавали они свои творения, против вас обращали они свой гнев, и вашими стараниями поникали они слишком рано, под грузом нескончаемой поденщины, искалеченные и оглушенные борьбой. И вам-то теперь должно быть, tamquam re bene gesta[2], позволено хвалить таких людей! И вдобавок словами, из коих явствует, о ком вы, в сущности, думаете во время этих похвал, и которые потому «с такой теплотой рвутся из сердца», что надо быть попросту тупицей, чтобы не заметить, кому, собственно, адресуются все реверансы. Поистине, нам нужен Лессинг, восклицал еще Гёте, и горе всем пустопорожним магистрам и всему эстетическому небесному царству, если только молодой тигр, чья беспокойная сила видна во всем – и в напряженных мускулах, и в блеске глаз – выйдет на охоту!

---

1 См. прим.

2 как хорошо выполнивших работу, справившихся с заданием (*лат.*).

5

Как умно поступил мой друг, когда, вразумленный касательно штраусовского Лессинга и самого Штрауса тем химерическим призраком, не пожелал читать дальше. Мы же прочли дальше и даже попросили у исповедующего новую веру стража врат пропустить нас в *музыкальное* святилище. Магистр открывает дверь, заходит вместе с нами, объясняет, называет имена – наконец мы недоверчиво останавливаемся и смотрим на него: не происходит ли с нами то же самое, что произошло во сне с нашим бедным другом? Кажется, говоря о композиторах, Штраус называет их совсем не теми именами, и мы начинаем думать, что речь идет о ком-то другом, если не вовсе о каких-то диковинных фантомах. Когда он, например, с той теплотой, которая была нам подозрительна еще в его похвале Лессингу, произносит имя Гайдна и представляется эпоптом и жрецом некоего культа гайдновских мистерий, но при этом сравнивает Гайдна с «изрядным супом», а Бетховена с «конфетой» (причем применительно к его квартетам, с. 362), нам ясно лишь одно: *его* конфетный Бетховен – это не *наш* Бетховен, а его суповой Гайдн – не *наш* Гайдн. Кстати, магистр находит, что наш оркестр слишком хорош для исполнения его Гайдна и настаивает на том, что только самые скромные дилетанты годятся для такой музыки, – еще одно доказательство, что он говорит о каком-то другом художнике и о других произведениях, возможно, о рилевском домашнем музицировании.

А кто бы мог быть этим штраусовским конфетным Бетховеном? Похоже, он написал девять симфоний, из которых Пасторальная «наименее остроумна»; ну а при написании Третьей его, как мы узнаём, тянуло «закусить удила и отправиться на поиски приключений», из чего мы могли бы заключить, что имеем дело с каким-то двояким существом – полу-лошадью, полу-рыцарем. В отношении Героической этому кентавру всерьез поставлено на вид, что ему не удалось выразить, «идет ли дело о битвах в открытом поле или в глубинах человеческой души». В Пасторальной имеется «превосходно свирепствующая буря», со стороны которой, однако, «слишком несолидно» прерывать крестьянскую пляску, и таким образом из-за «произвольной привяз-

ки к тривиальной событийной подкладке», как гласит здесь столь же изящная, сколь и корректная формулировка, эта симфония оказывается «наименее остроумной» – похоже, у магистра-классика напрашивалось даже более крепкое словцо, но он предпочел выразиться здесь, как он говорит, «с причитающейся скромностью». Но нет, как раз в данном случае он неправ, наш магистр: на самом деле это сказано чересчур скромно. Ибо кто же научит нас этому конфетному Бетховену, если не Штраус – единственный, похоже, кто его знает? Вдобавок сразу за этим следует изрядное и высказанное с причитающейся *нескромностью* суждение, и притом не о чем ином, как о Девятой симфонии. Она, полагает Штраус, будет любима лишь теми, кто «считает вычурное гениальным, а бесформенное – возвышенным» (с. 359). Пускай ее приветствует такой строгий критик, как Гервинус – правда, в подтверждение одной из гервинусовских доктрин, – он же, Штраус, весьма далек от того, чтобы искать заслугу в столь «проблематичных продуктах» *своего* Бетховена. «Такая жалость, – нежно вздыхая, восклицает наш магистр, – что с Бетховеном приходится портить наслаждение и охотно воздаваемое ему восхищение такого рода оговорками». Наш магистр – он ведь любимец граций, и они поведали ему, что смогли пройти вместе с Бетховеном лишь часть пути, а затем тот снова потерял их из виду. «Это недостаток, – восклицает он, – и можно ли представить себе, что он кажется достоинством?». «Кажется, что тот, кто с трудом, едва дыша, влачит музыкальную идею, поднимает бóльшие тяжести и наделен большей силой» (с. 355, 356). Это признание, и притом не только о Бетховене, – это признание «классического прозаика» о самом себе: его-то, прославленного автора, грации не выпускают из рук. Во всем, от игривой шутливости – штраусовской шутливости – до высот серьезности – штраусовской серьезности – они неуклонно сопровождают его. Он, классический художник письма, подымает свой груз легко и играючи, меж тем как Бетховен выбивается из сил. Похоже, он прямо-таки кокетничает своим бременем: это достоинство, и можно ли представить себе, что оно может казаться и недостатком? Разве что тем, кто «считает вычурное гениальным, а бесформенное – возвышенным», не так ли, о, кокетливый любимец граций?

Мы никому не завидуем в том, какими забавами он услаждает себя в тиши своей каморки или в выдуманном царстве небесном нового образца; однако из всех возможных забав штраусовская – самая удивительная, ибо он услаждает себя при помощи маленького жертвенного очага, в который невозмутимо швыряет самые возвышенные произведения немецкой нации, дабы их дымом кадить своим божкам. Вообразим себе на мгновение, что волей случая Героическая, Пасторальная и Девятая симфонии оказались в распоряжении нашего служителя граций, и в его власти теперь очистить образ мастера путем устранения «проблематичных продуктов», – кто бы сомневался, что он их сожжет? Так на самом деле и поступают штраусы наших дней: о художнике они желают слышать лишь в той мере, в какой он годится им в камердинеры, и знают разницу лишь между каждением и сожжением. Что ж, они могут себе это позволить; поражает лишь то, что эстетическое общественное мнение до такой степени бледно, неуверенно и совратимо, что без всяких возражений мирится с таким выставлением напоказ ничтожнейшего филистерства, что даже не способно ощутить комизм сцены, в которой магистришка антиэстетики выступает судьей над Бетховеном. Что же касается Моцарта, то тут поистине справедливо сказанное Аристотелем о Платоне: «*Низкий* человек не имеет права даже хвалить его». Здесь же утрачен всякий стыд, как публикой, так и магистром: ему не только позволяют публично чураться величайших и чистейших свершений германского гения, как если б он узрел нечто непристойное и безбожное, но даже и радуются его откровенным исповедям и признаниям грехов, – особенно из-за того, что он признает грехи, совершенные не им, а, как ему представляется, великими гениями. А что если и в самом деле наш магистр всегда прав, – думает его преданный читатель, подчас испытывая, правда, прилив некоторого сомнения. Он же сам стоит здесь, улыбающийся и уверенный, разглагольствуя, проклиная и благословляя, сам перед собою подметая пол шляпой, и в каждое мгновение готовый сказать то же, что герцогиня Де Лафорт говорила мадам де Сталь: «Должна признаться, моя дорогая подруга, я не знаю никого, кроме себя, кто бы постоянно оказывался прав».

6

Труп – прекрасная мысль для червя, а червь – ужасная мысль для всего живого. Черви представляют себе свое царство небесное в виде жирного тела, профессора философии – как копание в шопенгауэровских внутренностях, и покуда есть грызуны, будет существовать и рай для грызунов. Тем самым мы ответили на наш первый вопрос: как представляет себе исповедник новой веры свое царство небесное? Штраусовский филистер хозяйничает в произведениях наших великих поэтов и композиторов, как червь, который живет путем разрушения, восхищается путем пожирания и поклоняется путем переваривания.

И теперь звучит наш второй вопрос: как далеко простирается отвага, которую новая религия дает своим адептам? На него тоже был бы готовый ответ, будь отвага тем же самым, что и нескромность – тогда не было бы никаких границ настоящей и праведной мамелюкской отваге Штрауса, и уж по крайней мере та причитающаяся скромность, о которой он в вышеупомянутом месте говорит касательно Бетховена, оказалась бы лишь стилистическим, а не моральным оборотом. Штраус вволю поучаствовал в лихих подвигах, право на которые ощущает в себе всякий победоносный герой; все цветы выросли лишь для него одного, победителя, и он хвалит солнце за то, что оно вовремя сияет именно в *его* окне. Даже почтенную старушку-вселенную он не оставляет без своей похвалы, как если бы лишь этой похвалою она была освящена и с тех пор должна вращаться вокруг одной только центральной монады – Штрауса. Вселенная, поучает он нас, – это машина с железными зубчатыми колесами, с тяжелыми молотами и прессами, однако «в ней не только движутся беспощадные шестерни, но и льется умягчающее масло» (с. 365). Вселенная прямо не знает, как выразить неистовствующему в метафорах магистру признательность за то, что он не нашел для своей похвалы лучшего сравнения – если вообще может понравиться, когда тебя хвалит Штраус. Как вообще назвать масло, каплющее на молоты и прессы машины? И что за утешение для рабочего в том, чтобы знать, что на него льется это масло в то время, как в машину затягивает его конечности? До-

пустим, что этот образ неудачен. Тогда наше внимание привлекает другая процедура, посредством которой Штраус пытается выяснить, как он, собственно, настроен в отношении вселенной, и с уст у него при этом готов слететь вопрос Гретхен: «Меня он любит – или нет – иль любит?». Пусть при этом Штраус и не обрывает лепестков цветка и не пересчитывает пуговиц сюртука, но то, что он делает, не менее безобидно, хотя, возможно, и требует несколько большего мужества. Штраус хочет проверить, не парализовано и не омертвело ли его чувство к «вселенной», и колет себя – ибо знает, что можно безболезненно колоть себе конечности иголкой, если они омертвели или парализованы. Собственно, он даже и не колет себя, а выбирает еще более насильственную процедуру, которую описывает следующим образом: «*Если мы раскроем Шопенгауэра, то он будет при каждой возможности крыть эту нашу идею в лицо*» (с. 143). Поскольку у идеи, даже самой распрекрасной штраусовской идеи универсума, нет никакого лица, кроме того, какое бывает у идеи, процедура состоит из следующих отдельных действий: Штраус кроет Шопенгауэра, по крайней мере *раз кроет*, на что Шопенгауэр по такому случаю кроет Штрауса в лицо. Тогда Штраус «реагирует религиозно», то есть снова набрасывается на Шопенгауэра, ругается, говорит об абсурде, кощунстве, злодействе, даже приходит к выводу, что тот был не в своем уме. Результат потасовки: «мы требуем такого же пиетета к нашей вселенной, какой испытывают к своему богу верующие по старинке», или, если короче, «любит!». Он не стремится облегчить себе жизнь, наш любимец граций, но он отважен, как мамелюк, и не боится ни черта, ни Шопенгауэра. Сколько же «умягчающего масла» приходится ему расходовать, коль скоро такие процедуры для него не редкость!

С другой стороны, мы понимаем, сколь признателен должен быть Штраус щекочущему, колющему и кроющему Шопенгауэру, – поэтому мы не слишком удивляемся даже следующему выразительному милостивому отзыву о нем: «Достаточно просто пролистать сочинения Артура Шопенгауэра (хотя правильно будет не просто пролистать, но изучить их)» и т.д. (с. 141). Кому, собственно, говорит это вожачок филистеров? Тот самый, кого можно прямо уличить

в том, что он никогда не изучал Шопенгауэра, тот, о ком, напротив, Шопенгауэру пришлось бы сказать: вот автор, который не заслуживает даже быть пролистанным, не говоря уж о его изучении. Очевидно, Шопенгауэр попал ему не в то горло, раз он так откашливается, пытаясь от него избавиться. Ну а чтобы мера наивных похвал наполнилась до краев, Штраус позволяет себе еще рекомендательный отзыв о старике Канте: его «Всеобщую историю и теорию неба», написанную в 1755 году, он называет «произведением, которое всегда казалось мне не менее значительным, чем его более поздняя критика разума. Если здесь поражаешься глубине проникновения, то там – широте кругозора; если здесь у нас старец, которому есть дело прежде всего до того, чтобы твердо обеспечить надежность нашего пускай и ограниченного познания, то там перед нами является муж – со всей отвагой духовного первооткрывателя и завоевателя». Это суждение Штрауса о Канте всегда казалось мне не более скромным, чем уже приведенное – о Шопенгауэре; если здесь у нас вожачок, которому есть дело прежде всего до того, чтобы твердо высказать пускай и столь ограниченное суждение, то там перед нами является прославленный прозаик, который со всей отвагой невежества изливает эссенцию своей похвалы на самого Канта. Именно тот совершенно невероятный факт, что Штраус не смог ничем воспользоваться из кантовской критики разума для своего Завета современных идей и что все произносится им лишь в угоду грубейшему реализму, относится к разительным характерным чертам этого нового евангелия, которое, кстати, выдает себя за мучительно достигнутый результат продолжительного исторического и естественнонаучного исследования и, таким образом, отрекается даже от философского элемента. Для вожачка филистеров и его «мы» не существует никакой кантовской философии. Он даже не догадывается о фундаментальной антиномии идеализма и о в высшей степени относительном смысле всякой науки и разума. Вернее, именно разум должен бы ему подсказать, сколь мало можно с помощью разума заключить о том, каковы вещи «сами по себе». Однако правда то, что в определенном возрасте людям невозможно понять Канта, особенно если они, как Штраус, в молодости постигли или

мнят, что постигли «гиганта духа» Гегеля и вдобавок должны были иметь дело со Шлейермахером, который, как говорит Штраус, «был едва ли не чересчур проницателен». Для Штрауса прозвучит странно, если я скажу ему, что он и по сей день находится в «совершеннейшей зависимости» от Гегеля и Шлейермахера и что его учение о вселенной, его манеру рассматривать вещи sub specie biennii[1] и его низкопоклонство перед немецкими порядками, но в первую очередь его бесстыдный филистерский оптимизм следует объяснять некоторыми его юношескими впечатлениями, привычками и болезненными феноменами. Кто хоть раз заболел гегельянством и шлейермахерианством, никогда уже до конца не излечится.

В книге признаний есть одно место, где этот неизлечимый оптимизм накатывает с каким-то прямо-таки праздничным довольством (с. 142, 143). «Если мир есть нечто такое, – говорит Штраус, – чему лучше не быть, то ведь тогда и мышление философа, являющее собою часть этого мира, есть мышление, которому лучше не мыслить. Философ-пессимист не замечает того, что он прежде всего объявляет дурным свое собственное, объявляющее мир дурным, мышление. Но если мышление, объявляющее мир дурным, – это дурное мышление, то мир, напротив, хорош. Оптимизм, возможно, как правило, облегчает себе задачу, и в этом смысле шопенгауэровские указания на ту громадную роль, которую играют в мире боль и несчастье, вполне уместны. Однако всякая истинная философия необходимым образом будет оптимистична, потому что иначе она бы оспаривала свое собственное право на существование». Если это штраусовское опровержение Шопенгауэра – не то же самое, что он в другом месте называет «опровержением под громкое ликование из высших сфер», то я совершенно не понимаю этого театрального оборота, к которому он прибегает в споре с одним из противников. Оптимизм облегчил здесь себе задачу явно с умыслом. Однако в том-то и фокус, чтобы сделать так, будто ничего не стоит опровергнуть Шопенгауэра и так ловко справиться с грузом, чтобы все три грации не могли нарадоваться на игривого оптимиста. Именно то и

---

1 С точки зрения двухлетней давности (*лат.*)

следовало показать на деле, что нет никакой надобности всерьез принимать пессимиста: чтобы дать понять, что на такую «нездоровую и бесполезную» философию, как шопенгауэровская, не нужно тратить доводов, а достаточно нескольких слов и шуточек, вполне сгодились самые беззастенчивые софизмы. В такой ситуации как нельзя лучше понимаешь торжественное заявление Шопенгауэра, что оптимизм – там, где он оказывается не просто бездумными речами тех, за чьим плоским лбом нет ничего, кроме пустых слов, – представляется ему не просто абсурдным, но и *поистине бессовестным образом мыслей*, горькой насмешкой над неисчислимыми страданиями человечества. Если филистер возводит его в систему, как это делает Штраус, то он приводит его и к бессовестному образу мыслей, то есть к самому тупоумному учению о комфорте для «меня» или «нас», и возбуждает негодование.

Кто смог бы, к примеру, без возмущения прочесть следующее психологическое объяснение, которое очевидным образом могло вырасти лишь из ствола этой бессовестной теории комфорта: «Никогда, как говорил Бетховен, он не был бы в состоянии сочинить текст, вроде «Фигаро» или «Дон-Жуана». *Действительно, жизнь не улыбалась ему так, чтобы он мог столь весело смотреть на нее, так снисходительно обращаться с человеческими слабостями*» (с. 360). Но чтобы привести самый разительный пример этой бессовестной вульгарности нрава, достаточно лишь указать на следующее: Штраус не знает, как объяснить отчаянно серьезный импульс отрицания и стремление к аскетическому очищению в первые столетия христианства иначе, как накопившейся пресыщенностью всякого рода сексуальными наслаждениями и вызванным ею отвращением и дурным самочувствием:

«По-персидски бидамаг-будэн,
А по нашему – похмелье».

Так цитирует Штраус, ничуть не стыдясь. Мы же на мгновение вынуждены отвернуться, чтобы справиться с отвращением.

7

На деле наш вожачок филистеров смел, даже отчаянно храбр на словах повсюду, где он рассчитывает потешить такой храбростью свое благородное «мы». Так что аскеза и самоотрицание древних отшельников и святых могут у него оказываться формой похмелья, Иисус может быть охарактеризован как фантазер, который в наши дни едва ли избежал бы дома умалишенных, история о его воскресении может быть названа «всемирно-историческим надувательством» – ко всему этому мы попробуем разок отнестись благосклонно, дабы изучить на этом материале тот особый род отваги, на которую способен Штраус, наш «классический филистер».

Сперва послушаем его признание: «Это, конечно, нелюбимая и неблагодарная роль – говорить всему свету как раз то, о чем он менее всего желает слышать. Он любит жить на широкую ногу, по-барски, занимая и раздавая, покуда есть из чего; но если найдется кто-то, кто подведет счета и покажет ему итог, то мир сочтет этого человека смутьяном. И именно к этому меня издавна влекли мой душевный и духовный склад». Подобный душевный и духовный склад можно, конечно, назвать отважным, однако закрадывается сомнение, природная ли и исконная это отвага или же скорее усвоенная и искусственная; быть может, Штраус лишь время от времени приноравливался быть профессиональным смутьяном, покуда он так вот потихонечку прививал себе некую профессиональную отвагу. С этим прекрасно сочетается природная трусость, столь свойственная филистеру. Особенно она проявляется в том, что те фразы, произнесение которых стоит немалого мужества, остаются без последствий и выводов: все это звучит, как гром, но атмосферы не очищает. Он доводит до агрессии не на деле, а только лишь на словах, выбирает из них, однако, наиболее оскорбительные, и в резких, крикливых выражениях пускает в ход ту энергию и силу, что в нем накопились; а когда эти слова отзвучали, он трусливее тех, кто вообще не проронил ни слова. Даже отбрасываемая поступками тень – этика – указывает на то, что он герой на словах, который избегает любой ситуации, где требуется перейти от слов к бескомпромиссной серьезности. С удивительной откровенностью

он сообщает, что более не христианин, однако никоим образом не желает нарушать мир и покой. Ему кажется противоречием создавать один союз для того, чтобы покончить с другим – что вовсе не является таким уж противоречием. С каким-то брутальным удовольствием он закутывается в косматое одеяние творца нашей обезьяньей генеалогии и превозносит Дарвина как одного из величайших благодетелей человечества, однако мы со смущением видим, что его этика построена совершенно без всякой связи с его вопросом «Как мы понимаем мир?». Здесь была возможность выказать природную смелость: здесь он должен был бы повернуться спиной к своему «мы» и смело выводить из bellum omnium contra omnes[1] и преимущественного права сильного нравственные предписания для жизни, источником которых должен быть, конечно же, внутренне неустрашимый настрой, как у Гоббса, и совершенно иная, не знающая себе равных, любовь к истине, а не такая, которая находит себе разрядку лишь в резких выпадах против попов, чудес и «всемирно-исторического надувательства» с воскресением. Ибо по-настоящему и всерьез следуя дарвинистской этике, он восстановил бы против себя филистеров, которые при всех подобных выпадах остаются на его стороне.

«Всякий нравственный поступок, – говорит Штраус, – есть самоопределение индивида согласно идее рода». В переводе на ясный и удобоваримый язык это означает лишь: живи как человек, а не как обезьяна или тюлень. Только вот, к сожалению, императив этот никак не применим и совершенно бессилен, поскольку в понятии «человек» идут в одной упряжке самые разные вещи, например, патагонец и магистр Штраус, и поскольку никто не отважится с равным на то основанием провозглашать: «Живи, как патагонец!» или «Живи, как магистр Штраус!». Но поставь даже кто-нибудь перед собой требование: «Живи, как гений», то есть как высшее выражение рода человеческого, и окажись он случайно патагонцем или же магистром Штраусом, – чего мы только не натерпимся тогда от настырности одержимых манией гениальности оригинальничающих дураков, относительно которых еще Лихтенберг сетовал, что

1 война всех против всех (*лат.*)

они растут в Германии, как грибы, и которые с дикими криками требуют от нас, чтобы мы выслушивали исповедания их новейшей веры. Штраус не усвоил даже того, что никакое понятие не может сделать людей нравственнее и лучше и что проповедовать мораль тем легче, чем труднее ее создать; задачей Штрауса, напротив, было бы всерьез объяснить и вывести из своих дарвинистских предпосылок действительно существующие феномены человеческой доброты, милосердия, любви и самопожертвования – он же предпочел прыжком в императивность бежать от задач *объяснения*. При этом прыжке ему случается даже ничтоже сумняшеся перескочить и через фундаментальное положение Дарвина. «Ни на мгновение, – говорит Штраус, – не забывай, что ты человек, а не просто некое природное существо, ни на мгновение не забывай, что все другие – тоже люди, то есть, при всех индивидуальных различиях, такие же, как ты, с теми же потребностями и притязаниями, как у тебя – вот суть всякой морали» (с. 238). Но откуда звучит этот императив? Как может человек заключать его в себе, если он, согласно Дарвину, как раз сугубо природное существо и развился до человеческих высот по совершенно иным законам, а именно – благодаря как раз тому, что в каждое мгновение забывал, что другие сородичи столь же полноправны, а также благодаря тому, что ощущал себя при этом более сильным и мало-помалу приближал гибель других, уродившихся более слабыми экземпляров. В то время как Штраус должен бы признать, что двум существам никогда не бывать полностью равными и что от закона индивидуальных различий зависит все развитие человека – от животной стадии до высот культурного филистерства, – ему не составило никакого труда возвестить прямо противоположное: «Веди себя так, как если бы не было никаких индивидуальных различий!». Где же тут учение о морали Штрауса-Дарвина и куда подевалась вся отвага?

Тотчас же мы получаем новое свидетельство того, на каких рубежах эта отвага превращается в свою противоположность. Ибо Штраус продолжает: «Не забывай ни на одно мгновение, что ты и все то, что ты воспринимаешь в себе и вокруг – это не бессвязные фрагменты, не дикий хаос атомов и случайностей, но согласно вечным законам про-

истекает из единого источника всякой жизни, всякого сознания и всякого блага: вот суть религии». Однако из этого «единого источника» проистекает в то же время и всяческая погибель, все неразумное, все злое, и этот-то источник зовется у Штрауса вселенной. Как может это, при таком его противоречивом и самоупраздняющем характере, заслуживать религиозного почитания и называться именем «бога», как это происходит у Штрауса на с. 365: «Наш Бог не снаружи берет нас в свои руки (здесь невольно ожидаешь в качестве антитезы совершенно диковинное «брать в руки изнутри!»), а открывает нам источники утешения в нашей душе. Он показывает нам, что случай и впрямь был бы неразумным владыкой мира, зато необходимость, т. е. сцепление причин в мире, и есть сам разум» (подтасовка, которой не замечают лишь эти «мы», поскольку они взращены на гегелевском поклонении действительному как разумному, то есть на *обожествлении успеха*). «Он учит нас, что желать исключения из правила даже одного-единственного закона природы означает желать разрушения вселенной». Напротив, господин магистр, честный естествоиспытатель верит в непреложную мировую закономерность, но сам никак не высказывается об этической или интеллектуальной ценности этих законов; в подобных высказываниях он усмотрел бы в высшей степени антропоморфную манеру разума, который не желает держаться в рамках дозволенного. Однако в том самом пункте, где честный естествоиспытатель осознает свое бессилие, Штраус, выражаясь в его манере, «реагирует религиозно» и поступает нечестно в естествоиспытательском и научном отношении. Он ничтоже сумняшеся исходит из того, что все происходящее имеет *высшую* интеллектуальную ценность, то есть устроено абсолютно разумно и целесообразно, и, кроме того, заключает в себе откровение самого вечного блага. Ему, стало быть, понадобилась полная космодицея, и теперь он оказывается в невыгодном положении по сравнении с тем, у кого речь идет только о теодицее и кто, к примеру, может толковать все человеческое существование как акт наказания или избывания вины. Оказавшись в этом пункте и в таком затруднении, Штраус выдвигает даже метафизическую гипотезу, самую закостенелую и подагрическую, какая только может быть,

– в сущности, лишь невольную пародию на изречение Лессинга: «Вспомним то другое изречение Лессинга (значится на с. 219): если бы ему на выбор Бог предложил всю истину, которую он держал бы в своей правой руке, или же только неудержимое стремление к ней, пусть и подверженное постоянным заблуждениям, которое он держал бы в левой, то Лессинг униженно пал бы перед левой рукой, прося о том, что находится в ней. Эти слова Лессинга всегда считались одними из самых прекрасных в его наследии. В них видели гениальное выражение его неутомимой жажды исследования и деятельности. На меня они всегда производили совершенно особое впечатление именно потому, что позади их субъективного значения мне слышалось еще и звучание бесконечного по своей дальнобойности объективного. В самом деле, разве не дают они нам самого лучшего ответа на грубые речи Шопенгауэра о получившем дурной совет Боге, который не нашел ничего лучшего, как явиться в этот жалкий мир? Что, если бы создатель и сам придерживался мнения Лессинга, что борьба предпочтительнее спокойного обладания?» Так что это и вправду Бог, который оставляет за собой право на *постоянные заблуждения*, однако со стремлением к истине, и, быть может, даже униженно падает перед левой рукой Штрауса, чтобы сказать ему: «Возьми же ты всю истину». Если Бог и человек и получали когда дурные советы, так это штраусовский Бог, наделенный склонностью заблуждаться и ошибаться, и штраусовский человек, который должен за эту склонность расплачиваться, – тут, конечно, услышишь и «звучание бесконечного по своей дальнобойности значения», тут вовсю льется умягчающее универсальное масло Штрауса, тут прозреваешь разумность всякого становления и всех законов природы! Так ли? Не окажется ли наш мир тогда скорее, как это однажды выразил Лихтенберг, творением существа низшего порядка, которое ни в чем еще толком не разобралось, – опытом, пробным образцом, над которым еще предстоит трудиться? Самому Штраусу пришлось бы тогда признать, что наш мир – это арена *не* для разума, а для заблуждения, и что все закономерности не содержат в себе ничего утешительного, поскольку все законы даны заблуждающимся, и притом с удовольствием заблуждающимся богом. Это поис-

тине забавное зрелище – увидеть Штрауса метафизическим архитектором, ведущим стройку в облаках. Но для кого разыгрывается это зрелище? Для благородных и степенных «мы», лишь бы не испортить им юмора: ведь может быть, что они, ужасно напуганные, сидят внутри твердого и безжалостного шестереночного механизма мировой машины и, дрожа, просят своего вожачка о помощи. Потому и льется штраусовское «умягчающее масло», потому-то и приводит он на веревке страстно заблуждающегося Бога, потому-то и исполняет он эту совершенно неподходящую ему роль метафизического архитектора. Все это он делает потому, что боятся те, филистеры, и потому, что боится он сам, – здесь-то как раз и пролегает граница его мужества, даже по отношению к его «мы». Ведь он не отваживается честно сказать им: я освободил вас от дарующего помощь и милосердного бога, «вселенная» – это лишь твердый шестереночный механизм, смотрите, чтобы вас не размозжили его шестерни! На это он не отваживается, поэтому здесь нужна ведьма, а именно – метафизика. Однако филистеру даже штраусовская метафизика милее христианской, а представление о заблуждающемся боге ему милее, чем о боге-чудотворце. Ибо он, филистер, сам заблуждается, но ни разу не совершил ни единого чуда.

По этой же самой причине филистеру ненавистен гений; ведь именно он по праву слывет чудотворцем. Поэтому в высшей степени поучительно выяснить, ради чего в одном-единственном месте Штраус берет на себя роль дерзкого защитника гения и в целом аристократической природы духа. Ради чего же? Из страха, а именно – страха перед социал-демократами. Он ссылается на Бисмарка, Мольтке, «величие которых может быть оспорено тем менее, что выступает оно в сфере ощутимых внешних фактов. Тут уж и самым строптивым и недовольным придется соблаговолить взглянуть немного повыше, дабы эти возвышенные образы попали в поле их зрения хотя бы по колено». Может быть вы хотите, господин магистр, дать социал-демократам руководство, как получать пинка? Добрая воля к тому, чтобы раздавать таковые, налицо повсеместно, и то, что подвергшиеся такой процедуре сумеют узреть возвышенные образы «по колено», можно гарантировать. «Также и в области искус-

ства и науки, – продолжает Штраус, – никогда не будет недостатка в королях-строителях, которые задают работу массе ломовых извозчиков». Хорошо. Но что если ломовые извозчики начнут строить? А так бывает, господин метафизикус, вы знаете это. И тогда есть над чем посмеяться королям.

На самом деле это сочетание дерзости и слабости, отчаянной храбрости слов и трусливого приспособленчества, этот тонкий расчет, как и какими фразами можно импонировать и какими польстить филистеру, эта нехватка характера и силы при видимости характера и силы, этот дефект мудрости наряду с аффектацией превосходства и зрелости опыта, все это – то, что я ненавижу в этой книге. Стоит мне подумать, что молодые люди могут терпеть такую книгу и даже высоко ценить ее, и я уже готов с горечью отречься от всяких надежд на их будущее. Эта исповедь жалкого, безнадежного и поистине презренного филистерства – не иначе как самовыражение тех многих тысяч «мы», о которых говорит Штраус, – и эти «мы» могут в свой черед стать отцами следующего поколения! Эти предпосылки ужаснут всякого, кто хотел бы помочь потомкам в обретении того, чего нет у современности, – подлинной немецкой культуры! Земля покажется ему пепелищем, светила – померкшими; всякое высохшее дерево, всякое опустошенное поле вопиет ему: все бесплодно! Все погибло! Здесь уже больше не будет весны! На душе у него, должно быть, так же, как было у юного Гёте, когда он заглянул в унылую атеистическую полночь «Système de la nature»: эта книга показалась ему такой серой, такой киммерийской, такой мертвящей, что стоило труда выносить само ее присутствие: он содрогался перед нею, как перед призраком.

8

Теперь мы достаточно просветились насчет небесного царствия и отваги приверженца новой веры, чтобы поставить наконец последний вопрос: как он пишет свои книги и какого рода его религиозные свидетельства?

Того, кто хочет без околичностей и предрассудков ответить на этот вопрос, заставит по-настоящему призаду-

маться тот факт, что штраусовский карманный оракул немецкого филистера востребован в количестве шести тиражей, – особенно если вдобавок слышишь, что эта книга в качестве такого карманного оракула встретила теплый прием и в ученых кругах, и даже в немецких университетах. Студенты, похоже, приветствовали ее как канон для умственно продвинутых, а профессора, похоже, не противоречили; то здесь, то там в ней в самом деле пытаются найти *вероучение для ученых*. Сам Штраус дает понять, что в его книге откровений содержатся вещи не *только* для ученых и образованных, но мы придерживаемся здесь того мнения, что она обращена к ним, и притом преимущественно к ученым, дабы продемонстрировать им зеркало той жизни, которую они ведут. Ибо в том-то и фокус: магистр представляет дело так, будто он набрасывает идеал нового мировоззрения; и вот его хвалы изо всех уст возвращаются к нему назад, поскольку каждому хочется думать, что именно он так же взирает на мир и жизнь и что именно в нем Штраус смог бы увидеть уже воплощенным то, что он в своей книге предъявляет как требование будущему. Этим отчасти и объясняется необычайный успех книги: именно так, как значится в книге, мы и живем, так, осчастливленные, и проводим свои дни – восклицает ученый и радуется тому, что и другие рады тому же. Думает ли он об отдельных вещах, например, о Дарвине или смертной казни, иначе, чем магистр, ему достаточно безразлично, поскольку он и так явственно ощущает, что в целом дышит своей собственной атмосферой и слышит отзвук *собственного* голоса и *собственных* чаяний. Как болезненно должно затрагивать подобное единодушие всякого подлинного друга немецкой культуры, с какой безжалостной строгостью должен он объяснять себе подобный факт и не страшиться публично изложить свое отношение!

Мы все, конечно, знаем тот стиль занятий наукой, который свойствен нашей эпохе, – мы знаем его, поскольку мы так живем. И именно потому почти никто не ставит вопрос о том, чтó из такого занятия науками может выйти для культуры, даже если предположить, что повсюду налицо полнейшая готовность и самая искренняя воля трудиться на благо культуры. В самой сущности человека науки (если совершенно отвлечься от его сегодняшнего обличия)

заложен настоящий парадокс: он ведет себя, как самый гордый собою баловень счастья, как если бы существование было не чем-то страшным и опасным, а прочным, навеки гарантированным достоянием. Похоже, ему позволено транжирить жизнь на вопросы, ответ на которые может быть важен в сущности лишь тому, кому обеспечена вечность. Его, кому судьбой отпущены считанные часы, со всех сторон обступают ужасающие пропасти, каждый шаг должен был бы ему напоминать: зачем? к чему? с чего? Но ему греет душу то, что перед ним стоит задача сосчитать тычинки на цветке или раскалывать по дороге камни, и он погружает в эту работу весь вес и объем своей охоты, участия, сил и желаний. Этот парадокс, человек науки, стал теперь в Германии столь тороплив, как будто наука – это фабрика, а всякое минутное промедление влечет за собой наказание. Сейчас он трудится столь же тяжко, как четвертое, рабское, сословие; его штудии – это уже не занятия, а гнет, он не смотрит ни направо, ни налево, и через все ситуации, а также все опасности, которые несет в себе жизнь, проходит с тем рассеянным вниманием и той отвратительной потребностью развеяться, которая так свойственна истощенному работнику.

Так же относится он и к культуре. Он ведет себя так, будто жизнь для него всего лишь otium[1], однако sine dignitate[2]; и даже во сне он не сбрасывает своего ярма, как раб, которому и на воле снятся его беды, его спешка и его побои. Наши ученые почти не отличаются, а если и отличаются, то не в свою пользу, от землепашцев, которые хотят увеличить доставшееся им по наследству маленькое владение и с усердием, с утра до ночи, погружены в обработку поля, хождение за плугом и понукание волов. Паскаль вообще полагал, что люди так настойчиво занимаются своими делами и своими науками, лишь бы тем самым избежать важнейших вопросов, которые им навязывает всякое уединение и всякий подлинный досуг – те самые вопросы «почему? с чего? к чему?». Нашим ученым, удивительным образом, не приходит в голову даже самый очевидный вопрос: для чего нужны работа, их спешка, этот их отчаянный пыл? Не для того ли,

1 досуг (*лат.*)

2 без достоинства (*лат.*, перифраз изречения otium cum dignitate)

к примеру, чтобы заработать себе на хлеб или добиться почетной должности? Нет, вовсе нет. И все же вы трудитесь так, будто страшно нуждаетесь, и вам не хватает на хлеб, с жадностью и без разбора хватаете снедь со стола науки, как будто изголодались. И если, будучи людьми науки, вы обращаетесь с наукой так, как рабочий – с поставленной ему потребностями и жизненной нуждой задачей, то что же станется с культурой, обреченной именно от этой возбужденной, задыхающейся, туда-сюда снующей и бестолково барахтающейся научности ожидать момента своего рождения и избавления? Для культуры ни у кого нет времени, – и все же, что толку *вообще* от науки, если у нее нет времени для культуры? Так ответьте нам по крайней мере вот на что: с чего, к чему, зачем вся наука, если она ведет не к культуре? Ибо тогда она, вероятно, ведет к варварству! И мы увидим, что в этом направлении ученое сословие продвинулось уже пугающе далеко, если только помыслим о том, что столь поверхностные книжки, как штраусовские, вполне удовлетворяют его культурному уровню. Ведь как раз в нем мы находим эту отвратительную потребность развеяться и эту лишь вскользь и в пол-уха причастность к философии, культуре и вообще всякой серьезности существования. Вспоминается ученое сообщество, в котором тоже, едва умолкнет профессиональный разговор, все свидетельствует лишь об утомлении, о том, что любой ценой хочется отвлечься, память лоскутна и обрывочна, а жизненный опыт бессвязен. Когда слышишь, как Штраус говорит о жизненных реалиях, будь то проблемы брака или войны или смертной казни, то он прямо-таки пугает нас нехваткой какого бы то ни было настоящего опыта, ничем не замутненного взгляда в человеческую душу; на всех суждениях какая-то книжная униформа, даже, по сути, газетная; на месте подлинных наитий и прозрений выступают литературные реминисценции; аффектированная сдержанность и наставительность долженствуют компенсировать нам нехватку мудрости и зрелости мышления. Как точно соответствует все это духу зашумленных цитаделей немецкой науки в больших городах. Как симпатичны должны быть этому духу речи того: ведь именно в таких местах культура утрачена в первую очередь, именно в них сделано так, чтобы не могли прорасти и семена новой. Так

бряцает амуниция процветающих здесь наук, таким стадом набрасываются там на излюбленные дисциплины за счет запустения важнейших. С каким фонарем пришлось бы искать здесь людей, которые были бы способны на погружение в собственную сокровенную глубину и чистую преданность гению, у которых достало бы мужества и силы повторить слова демонов, покинувших нашу эпоху! Если смотреть снаружи, то, конечно, в таких местах можно увидеть всю пышность культуры; со всеми своими внушительными приспособлениями они походят на цейхгаузы с устрашающими орудиями и прочим военным арсеналом. Мы видим такой инструментарий и наблюдаем такую кипучую деятельность, как если бы тут намеревались штурмовать небо или извлекать наверх истину из глубоких колодцев. И все же самые мощные машины можно использовать в войне наихудшим образом. И точно так же подлинная культура в своей борьбе оставляет в стороне эти места, чуя своим непогрешимым инстинктом, что там ей на что надеяться и очень многого следует опасаться. Ибо единственная форма культуры, с которой может иметь дело больное зрение и притупленный мыслительный орган рабочего сословия ученых – это та самая *филистерская культура*, евангелие которой возвещает Штраус.

Если мы на мгновение взглянем на главные причины той симпатии, которая связывает сословие научных работников с филистерской культурой, то мы найдем и путь, ведущий нас к признанному классическому *писателю* Штраусу и тем самым к нашей главной теме.

Во-первых, та культура прямо-таки излучает довольство, она ничего по сути не желает менять в нынешнем состоянии немецкого образования; прежде всего, она всерьез убеждена в уникальности всех немецких учебных заведений, а именно гимназий и университетов, не перестает рекомендовать их загранице, и ни на мгновение не сомневается в том, что благодаря им становишься самым образованным и компетентным народом в мире. Филистерская культура верит в себя, а потому и – в находящиеся в ее распоряжении методы и средства. Во-вторых же, окончательные суждения обо всех вопросах культуры и вкуса она препоручает ученым и саму себя рассматривает как постоянно пополняющийся компендиум ученых мнений об искусстве,

литературе и философии; ее задача в том, чтобы понудить ученого высказать свои мнения, и потом в смешанном, разбавленном или систематизированном виде преподнести их немецкому народу как целебный напиток. Все, что произрастает вне этой сферы, будут выслушивать или же не выслушивать, замечать или же не замечать с сомневающейся половинчатостью до тех пор, покуда из внутренностей храма, в коем обитает канон традиционного вкуса, не раздастся голос – неважно чей, главное чтобы по нему можно было со всей определенностью заключить, что говорит ученый. С этого момента общественное мнение насчитывает одним мнением больше и стократным эхом вторит прозвучавшему ученому голосу. Однако на самом деле с этим эстетическим каноном, обитающим в тех храмах под надзором ученых служителей, дело обстоит сомнительно, причем настолько сомнительно, что можно быть уверенным в безвкусице, бездумности и эстетической незрелости ученого, если он только не сумеет доказать нам обратного. А доказать обратное могут очень немногие. Ибо сколькие же после участия в этом выматывающем и суетливом состязании современной науки смогут сохранить тот отважный и неколебимый взгляд борющегося человека культуры (если этот взгляд когда-либо был им присущ) – тот взгляд, который осуждает и само это состязание как элемент варварства? Посему этим немногим впредь приходится жить в противоречии: что могут они поделать с единообразной верой бесчисленных множеств, которые сделали своей покровительницей общественное мнение и в своей вере опираются друг на друга? Что толку, если такой одиночка выскажется против Штрауса, – ведь столь многие высказались за него, и возглавляемая ими масса снова и снова, уже по шестому разу, приучилась жаждать филистерского сонного зелья?

Если бы мы тем самым без колебаний встали на ту точку зрения, что штраусовская книга откровений победила в общественном мнении и что ее приветствуют как победителя, то ее автор, возможно, обратил бы наше внимание на то, что разнообразные суждения о его книге в публичных листках носят отнюдь не единодушный и уж во всяком случае не безусловно благосклонный характер, и что от чрезвычайно враждебного тона и чересчур дерзкой и вызыва-

ющей манеры некоторых газетных бойцов самому автору пришлось защищаться в написанном им послесловии. Как же может, воскликнет он на наши слова, существовать общественное мнение касательно моей книги, коль скоро каждый журналист воспринимает меня вольной пташкой и считает себя вправе обходиться со мной, как ему заблагорассудится! Это противоречие легко устраняется, стоит лишь различить в штраусовской книге две стороны – теологическую и писательскую. Лишь второй стороной затрагивает немецкую культуру эта книга. Присущая же ей теологическая окраска ставит ее вне нашей немецкой культуры и вызывает антипатии различных теологических партий и в сущности даже всякого отдельно взятого немца, поскольку он по самой своей природе теологический сектант и изобретает свою курьезную личную веру лишь для того, чтобы иметь возможность оспаривать любую другую веру. Но стоит лишь всем этим теологическим сектантам услышать о Штраусе, коль скоро речь заходит о Штраусе-*писателе*, как тотчас же смолкает гвалт теологического диссонанса и в чистейшем созвучии, словно поет хор *единой* общины, раздается: но все-таки он остается *писателем-классиком*! Кто угодно, даже самый ожесточенный ортодокс, высказывает писателю в лицо самые лестные отзывы – пусть даже хоть фразу о его чуть ли не лессинговской диалектике или о тонкости, красоте и верности его эстетических воззрений. Можно подумать, что штраусовская продукция – прямо-таки идеал того, какой должны быть книга. Теологические противники, хотя их голоса и раздаются громче других, в данном случае лишь крохотная часть широкой публики, и в отношении них Штраус прав, когда он говорит: «Рядом с тысячами моих читателей пара дюжин порицающих меня критиков составляет ничтожное меньшинство, и вряд ли им удастся доказать, что они являются верными интерпретаторами первых. В таком деле, как наше, берут слово главным образом несогласные, а те, кто разделяют мои мысли, довольствуются молчаливым согласием, – так уж устроено, и мы все это прекрасно знаем». Итак, если не считать возмущения его теологическими признаниями, которое Штраус мог кое-где вызвать, относительно писателя Штрауса царит единодушие – даже среди его фанатичных оппонентов, для

которых его голос звучит, как завывание зверя из бездны. И потому обхождение, которое Штраус встречает со стороны литературных поденщиков теологических партий, не может служить доводом против нашего тезиса, что в этой книге справляла свой триумф обывательская культура.

Надо признаться, что образованный обыватель в Германии на один градус менее откровенен, чем Штраус, или, по крайней мере, более сдержан в публичных высказываниях. Но тем отраднее для него эта откровенность другого; дома и среди себе подобных он даже громко хлопает в ладоши и разве что письменным образом не в состоянии признаться, как же ему по сердцу все сказанное Штраусом. Ибо, как мы уже знаем, наш образованец – это нечто трусливое, даже в своих самых сильных симпатиях. И именно то, что Штраус на один градус менее труслив, делает его предводителем, меж тем как, с другой стороны, и для *его* отваги существует совершенно определенная грань. Если он *ее* перешагнет, как это, к примеру, едва ли не в каждом предложении делает Шопенгауэр, то он уже не будет как вожачок шествовать перед обывателями, и все побегут прочь от него такою же гурьбой, какой они сейчас бегут за ним. Тот, кто назвал бы это не то чтобы мудрое, но все же разумное соблюдение меры и mediocritas[1] отваги аристотелевской добродетелью, оказался бы, конечно, дезориентирован: ибо такая отвага – середина не между двумя пороками, а между добродетелью и пороком. И там-то, посередине между добродетелью и пороком, заключены *все* свойства обывателя.

9

«Но все-таки он остается писателем-классиком!» Что ж, посмотрим.

Быть может, тут было бы уместно сразу же заговорить о Штраусе как стилисте и художнике слова, однако сперва все же обратим внимание на то, в состоянии ли он выстроить свой мир как писатель и понимает ли он на самом деле архитектуру книги. Из этого станет ясно, действительно

1 середина (*лат.*)

ли он честный, осмотрительный и бывалый книготворец; и если нам придется ответить «нет», то пускай ему остается все же, как последнее refugium[1] его славы, претензия на то, чтобы быть «прозаиком-классиком». Последней способности без первой, конечно, недостаточно для того, чтобы поставить его в ряд классиков – разве что, в лучшем случае, в разряд классических импровизаторов или виртуозов стиля, у которых, однако, при всей их ловкости выражения, в целом и когда дело доходит собственно до возведения здания, рука оказывается беспомощна, а глаза – смущенно потуплены. Таким образом мы спрашиваем, обладает ли Штраус достаточной художественной силой для того, чтобы воздвигнуть целое, totum ponere[2].

Обычно уже по первому письменному наброску можно понять, увидел ли автор целое и нашел ли сообразно увиденному общий подход и верную меру. Если эта важнейшая задача решена и само здание возведено в удачных пропорциях, то все равно остается еще предостаточно работы: сколько мелких ошибок нужно исправить, сколько пробелов заполнить; там и сям приходилось до сих пор довольствоваться дощатыми перегородками и насыпным полом, повсюду пыль и мусор, и, куда ни глянь, видишь следы нелегкой работы; дом в целом еще не обжит и неуютен, все стены голы и ветер завывает в раскрытых окнах. Того, проделана ли Штраусом вся эта необходимая, большая и тяжелая работа, мы вообще не будем касаться до тех пор, пока перед нами стоит вопрос, воздвигнуто ли здание в целом в правильных пропорциях. Противоположность этому, как известно, – составление книги из кусочков, как это обычно выходит у ученых. Они полагаются на то, что эти куски состоят в некой взаимосвязи и путают при этом логическую взаимосвязь с художественной. Но уж во всяком случае соотношение четырех основных вопросов, которыми озаглавлены разделы его книги – «Христиане ли мы еще? Есть ли у нас еще религия? Как мы понимаем мир? Как мы устраиваем нашу жизнь?» – логичным назвать нельзя по той причине, что третий вопрос не имеет ничего общего со вто-

---

1 прибежище (*лат.*).

2 целиком (*лат.*).

рым, четвертый – с третьим, а все эти три – с первым. К примеру, естествоиспытатель, ставящий третий вопрос, выкажет свое непогрешимое чувство истины именно в том, что обойдет полным молчанием второй вопрос. То же, что темы третьего раздела – брак, республика, смертная казнь – сделаются только путанее и темнее из-за примешивания к ним дарвиновских теорий, понял, похоже, и сам Штраус, коль скоро он фактически не оглядывается более на эти теории. Вопрос же «христиане ли мы еще?» немедля ограничивает свободу философского рассмотрения и неприятным образом окрашивает его в теологические цвета. Вдобавок Штраус совершенно позабыл, что большая часть человечества до сих пор еще буддийская, а не христианская. Как можно, читая «старая вера», думать со всей определенностью об одном лишь христианстве? Не оттого ли так происходит, что Штраус никогда не переставал быть христианским теологом и потому так и не научился быть философом? Так или иначе он вновь удивляет нас тем, что не умеет различать между верой и знанием и постоянно на одном дыхании поминает свою так называемую «новую веру» вместе с новой наукой. Или же «новая вера» – это лишь ироничное подлаживание к словоупотреблению? Так начинает казаться, когда мы видим, как Штраус то и дело спокойно позволяет меняться местами новой вере и новой науке, например, на с. 11, где он вопрошает, на чьей стороне, на стороне ли старой веры или новой науки «больше темнот и несовершенств, которые неизбежны в человеческих вещах». К тому же, согласно схеме введения, он хочет показать доводы, на которые опирается современное мировоззрение; однако все эти доводы он заимствует из науки и здесь тоже выставляет себя сугубо человеком знания, а не веры.

Таким образом, в сущности новая религия не является новой верой, но совпадает с современной наукой, то есть как таковая это вовсе не вера. Если же Штраус утверждает, что у него все же есть религия, то причины этого лежат далеко в стороне от новой науки. Лишь очень малая часть штраусовской книги, буквально несколько разрозненных страниц, касаются того, что Штраус по праву может назвать новой верой: собственно, это то чувство вселенной, в отношении которой Штраус требует такого же пиетета, ка-

кой по старинке благочестивые люди испытывают к своему богу. На этих страницах дело обстоит уж по крайней мере совершенно не научно, – но уж хоть бы оно обстояло тут немного энергичней, естественней, основательней и вообще так, как водится у верующих! Именно то и бросается в глаза в первую очередь, через какие же искусственные процедуры наш автор кое-как приходит к ощущению, что у него вообще есть еще вера и религия – через уколы и удары, как мы могли убедиться. И вот он наконец извлекает ее, чахлую и слабенькую, с трудом вызванную к жизни веру: нам знобко на нее смотреть.

Если в своей вступительной схеме Штраус обещал провести сравнение, может ли эта новая вера сослужить ту же службу, что и вера на старый манер – для верующих по старинке, то под конец он сам чувствует, что пообещал слишком много. Ибо с последним вопросом о равноценности и том, что лучше и что хуже, он разделывается в итоге как-то походя и со стыдливой поспешностью на каких-то двух страничках (с. 366 слл.), козыряя даже самым отчаянным аргументом: «кто не в состоянии сам помочь себе здесь, тому вообще не поможешь, он не созрел еще для нашей точки зрения» (с. 366). С какой мощью убежденности верил когда-то стоик во вселенную и в разумность вселенной! И если помнить об этом, то в каком свете выступает сама претензия на оригинальность его веры, которую предъявляет Штраус? Однако, как уже сказано, нова она или стара, оригинальна или подражательна – все это было бы не важно, если бы только в ней была сила, здоровье и естественность. Штраус сам чуть что бросает эту дистиллированную вымученную веру на произвол судьбы, чтобы не нанести ущерба нам и себе своим знанием и чтобы со спокойной совестью презентировать пресловутым «мы» свои новообретенные естествоведческие познания. Как робок он, когда говорит о вере, и как наполняются красноречием его уста, когда он цитирует величайшего благодетеля современного человечества Дарвина: тут он требует веры не только в нового мессию, но и в себя, нового апостола, к примеру, когда он в связи с щекотливейшей темой естествознания заявляет с поистине античной гордостью: «мне скажут, что я говорю о вещах, которых я не понимаю. Пусть; но придут другие, которые

понимают их и которые также поймут и меня». После этого уже начинает казаться, что прославленные «мы» обязаны уверовать не только во вселенную, но и в естествоиспытателя Штрауса; в этом случае нам остается только пожелать, чтобы обретение этой второй веры не требовало столь болезненных и жестоких процедур, какие сопутствовали обретению первой. Или, быть может, здесь-то как раз достаточно пощипать и потыкать объект веры, а не верующего, дабы привести последнего к той «религиозной реакции», что так характерна для «новой веры»? <Окажись это так>, какую услугу мы оказали бы религиозности этих «мы»!

Иначе приходилось бы прямо-таки страшиться, что современное человечество проживет себе, не особенно заботясь о религиозном компоненте веры апостола – так же, как ему до сих пор удавалось прожить без тезиса о разумности вселенной. Все современное естествознание и историческое исследование не имеет ничего общего со штраусовской верой во вселенную, и то, что современный обыватель в этой вере не нуждается, показывает как раз описание его жизни, которое Штраус дает в разделе «Как мы устраиваем нашу жизнь». Так что он вправе сомневаться, что «экипаж», которому «должны были довериться дорогие читатели, отвечал всем требованиям». Он им точно не соответствует, поскольку современный человек продвинется вперед куда быстрее, если не будет садиться в эту штраусовскую бричку, вернее, он продвинулся уже задолго до того, как эта штраусовская бричка появилась. Окажись и в самом деле правдой, что пресловутое «немаловажное меньшинство», о котором и от имени которого говорит Штраус, «придает немалое значение последовательности», оно было бы так же недовольно Штраусом-каретником, как и Штраус-логиком.

И все же оставим Штрауса-логика в покое; быть может, книга в целом, если рассматривать ее с художественной точки зрения, обладает удачной формой и соответствует законам красоты, раз уж она ничему не соответствует с точки зрения проработки идейной схемы? И здесь мы впервые задаемся вопросом, хорош ли писатель Штраус – после того, как мы убедились, что он не выказал себя работающим по правилам науки, строго упорядочивающим и систематизирующим ученым.

Быть может, задачей его было не столько отпугнуть от «старой веры», сколько привлечь очаровательным и красочным изображением укорененной в новом мировоззрении жизни? Как раз думая об ученых и образованных как о своих наипервейших читателях, он должен был бы по опыту знать, что их хотя и можно подстрелить из тяжелых орудий научных доказательств, но невозможно принудить к капитуляции, зато тем скорее они поддаются едва прикрытым или слегка набросанным искусствам соблазна. «Слегка набросанной», причем «с умыслом», называет свою книгу сам Штраус; как «слегка набросанную» ее ощущают и характеризуют те, кто публично ее расхваливает, один из которых (и притом первый же пришедшийся к слову), к примеру, следующим образом описывает эти ощущения: «Речь движется с прелестной размеренностью и будто играючи владеет искусством приводить доказательства – и там, где она критически обращена против старого, но не менее и там, где она соблазнительно подготавливает возвещаемое ею новое и преподносит его как непритязательному, так и избалованному вкусу. Тонко продумано распределение такого многообразного, неоднородного материала, где всего следовало коснуться, но нигде не следовало заходить слишком далеко. В особенности искусно выстроены переходы, которые переводят нас от одной материи к другой, – если только мы не поразимся еще более той ловкости, с которой отодвигаются в сторону или замалчиваются неудобные вещи». Подобные панегиристы, как видно из приведенной цитаты, не особенно тонко чувствуют то, что автор *может*, зато прекрасно чуют то, чего он *хочет*. О том же, чего хочет Штраус, явственнее всего свидетельствует его эмпатическая и не вполне безобидная рекомендация вольтеровских граций, на службе у которых он как раз и мог научиться тем «слегка набросанным» искусствам, о которых говорит его панегирист – если, конечно, этой добродетели можно обучить и если магистры вообще способны становиться танцорами.

У кого ж не явится задних мыслей, если он, к примеру, прочтет следующие штраусовские слова о Вольтере (с. 219 Вольт.): «во всяком случае, как философ Вольтер не был оригинален, а по сути, перерабатывал английские иссле-

дования; при этом он выказывает исключительное мастерство свободного обращения с материалом, который он с несравненной ловкостью умеет показать со всех сторон, представить во всевозможном освещении, за счет чего ему удается, не будучи строго методичным, соответствовать и требованиям основательности». Все негативные черты подходят: никто не станет утверждать, что Штраус оригинален как философ или что он строго методичен, однако вопрос в том, признаем ли мы за ним «мастерство свободного обращения с материалом» и «исключительную ловкость». Признание, что его текст «с умыслом слегка набросан», позволяет заключить, что он претендовал, по меньшей мере, на несравненную ловкость.

Возвести не храм и не жилой дом, а садовый домик посреди всевозможных садовых искусств – вот что было мечтой нашего архитектора. Начинает даже казаться, что и то таинственное чувство ко вселенной было рассчитано главным образом как средство достижения эстетического эффекта, словно бы вид на иррациональную стихию, скажем, море, открывающееся с изящнейших и рациональнейших террас. Прогулка по первому разделу, а именно – по теологическим катакомбам с их сумраком и завитками барочного орнамента была опять же лишь эстетическим средством, чтобы по контрасту оттенить чистоту, ясность и разумность раздела под названием «Как мы понимаем мир?». Ибо сразу же после этого прохода во мраке и взгляда в иррациональную даль мы вступаем в зал с верхним освещением. Он встречает нас трезво и светло, со своими картами неба и математическими фигурами на стенах, заставленный научными приборами; в шкафах – скелеты, чучела обезьян и анатомические препараты. А уж отсюда мы направляемся, по-настоящему осчастливленные, прямо во внутренние покои наших обитателей садового домика. Мы застаем их в обществе жен и детей за газетами и будничными политическими разговорами, мы слышим как они некоторое время говорят о браке и всеобщем избирательном праве, о смертной казни и забастовках, и нам сдается, что невозможно было бы с большей скоростью отбарабанить молитвы по четкам общественного мнения. Наконец мы должны в придачу убедиться и в классическом вкусе здешних обитателей:

краткий визит в библиотеку и в музыкальный салон позволяют нам, как и ожидалось, заключить, что на полках стоят лучшие книги, а на нотных пультах – известнейшие музыкальные произведения. Нам даже что-то исполняют, и если это как будто бы музыка Гайдна, то уж, во всяком случае, не Гайдн виной тому, что звучит она как рилевское домашнее музицирование. Хозяин дома меж тем имел возможность объявить, что совершенно согласен с Лессингом, а также и с Гёте – но лишь до второй части «Фауста». Наконец наш владелец садового домика возносит хвалу самому себе и отмечает, что ежели кому у него не понравилось, тут уж ничего не попишешь, такой человек не созрел для его точки зрения; после чего предлагает нам свой экипаж, правда, с вежливой оговоркой, что не ручается за его соответствие всем требованиям; к тому же камни на его дорожке свеже насыпаны, что может крепко нам досадить. Засим наш эпикурейский садовый божок раскланивается с исключительной ловкостью, которую он так прославлял в Вольтере.

Кто мог бы после этого сомневаться в его исключительной ловкости? Мастер свободного обращения с материалом полностью раскрылся, ландшафтный художник в чем-то слегка наброшенном – как на ладони; но мы всё слышим голос классика: как писатель я не хочу, не хочу, не хочу быть филистером! А исключительно Вольтером, немецким Вольтером! А лучше – французским Лессингом!

Раскроем тайну: наш магистр не всегда знает, хочет ли он быть Вольтером или Лессингом, но ни за что не желает быть филистером. По возможности же он хочет быть тем и другим – Лессингом *и* Вольтером, дабы исполнилось слово писания: «у него не было никакого характера, а пожелай он заиметь хоть какой-нибудь, ему бы пришлось сначала хоть каким-то обзавестись».

10

Если мы верно поняли Штрауса-исповедника, то он сам и есть настоящий филистер со скукоженной, высохшей душонкой и с учеными трезвыми потребностями. И тем не менее никто не будет так разгневан, если его назовут фи-

листером, как Давид Штраус – писатель. Ему было бы по нраву, когда б его назвали дерзким, отчаянным, злобным, безрассудным, ну а высшим счастьем для него было бы сравнение с Лессингом или Вольтером, поскольку эти уж наверняка не были филистерами. Гоняясь за этим счастьем, он нередко колеблется, следует ли подражать отважной диалектической пылкости Лессинга или же ему больше пристало изображать игривого вольнодумного старца вроде Вольтера. Принимаясь писать, он постоянно делает такое лицо, как будто присел позировать для портрета, причем то лессинговского, то вольтеровского. Когда мы читаем его похвалу вольтеровской манере письма (с. 217 Вольт.), то кажется, что он решительно высказывает в лицо современности, почему ей давно невдомек, чем она располагает в лице современного Вольтера: «также и достоинства», говорит он, «всюду те же: простая естественность, прозрачная ясность, живая подвижность, милое очарование. Нет недостатка и в теплоте и энергии, но там, где они уместны. Высокопарность и аффектация были противны самой природе Вольтера; с другой же стороны, если озорство или страсти подчас снижали его манеру выражения до пошлости, то виной тому не стилист, а человек в нем». Судя по этому, Штраусу хорошо известно, в чем заключается секрет *простоты стиля*: она всегда была приметой гения, который один имеет право выражаться просто, естественно и наивно. Так что, выбирая простую манеру, автор выказывает нешуточное честолюбие, и хотя иные замечают, кем хочет прослыть такой автор, они настолько любезны, что именно за такого его и держат. Однако гений автора сказывается не только в простоте и определенности выражения: его титаническая сила шутя управляется с материалом, даже когда тот тяжел и опасен. Одеревенелой походкой никому не пройти по незнакомому и тысячью пропастей грозящему пути, но гений проворно преодолевает такую тропу дерзкими или грациозными прыжками и потешается на теми, кто тщательно и робко отмеряет шаги.

То, что проблемы, мимо которых пробегает Штраус, серьезны и страшны, и именно такими виделись мудрецам всех времен, Штраус знает и сам, и, тем не менее, он называет свою книгу *слегка набросанной*. Обо всех этих ужасах, о

мрачной серьезности размышления, в которую обыкновенно невольно впадают, задумываясь о ценности существования и об обязанностях человека, уже и не догадаешься, когда мимо нас порхает гениальный магистр, «с умыслом» слегка набросивший нечто – более легкое даже, чем его Руссо, о котором он ухитряется нам поведать, что тот разоблачился внизу и драпировал себя сверху, меж тем как Гёте драпировал себя внизу, а сверху разоблачился. Похоже, что совершенно наивные гении вообще не драпируют себя, и может быть, выражение «слегка набросанный» – это лишь эвфемизм для наготы. Утверждают же те немногие, кто видел богиню истины, что она была обнаженной; и, быть может, в глазах тех, кто ее не видел, но верит тем немногим, нагота или слегка-наброшенность уже служит доказательством или по крайней мере приметой истины. Уже само подозрение играет здесь в пользу авторского честолюбия: некто видит нечто обнаженное – что если это истина? говорит он себе и начинает строить обычно несвойственную ему торжественную мину. Тем самым автор уже немало выигрывает, вынуждая своего читателя взирать на него торжественней, чем на любого плотно укутанного автора. Это путь к тому, чтобы однажды стать «классиком», и Штраус сам сообщает, «что ему оказали непрошеную честь, объявляя его в некотором роде прозаиком-классиком». Так что он достиг своей цели. Гений Штраус в качестве «классика» бегает по улицам в слегка набросанном одеянии богинь, а обывателю Штраус, если воспользоваться оригинальным оборотом этого гения, «декретируют отставку» или «до окончательного невозвращения вышвыривают прочь».

Увы и ах, невзирая на все декреты об отставках и все вышвыривания, обыватель возвращается снова и снова! Увы и ах, физиономия, насильно деформирующаяся в гримасу под Вольтера или Лессинга, то и дело возвращается к своим старым добрым оригинальным формам! Увы и ах, личина гения слишком часто спадает, и никогда еще взгляд магистра не бывал таким удрученным, а движения такими одеревенелыми, как при его попытках изобразить прыжок гения или огненный взор. Именно из-за того, что в нашем холодном поясе он слишком слегка что-то набросил, Штраус рискует переохлаждаться чаще и сильнее, чем прочие. То,

что это заметно и другим, может вызывать настоящую неловкость, но если он все же хочет найти исцеление, ему должен быть во всеуслышание поставлен следующий диагноз. Был Штраус – добросовестный, строгий и плотно укутавшийся ученый, который был нам столь же симпатичен, как и всякий, кто в Германии с серьезностью и энергией служит истине и умеет оставаться в своих рамках. Тот же, кто теперь в общественном мнении славится как Давид Штраус, – это другой. Быть может, теологи виной этому превращению; так или иначе, его нынешняя игра с маской гения нам настолько же отвратительна или смешна, насколько с симпатией и всерьез воспринималась нами его былая серьезность. Если он теперь заявляет: «это было бы неблагодарностью по отношению к *моему гению*, если бы я не радовался тому, что наряду с беспощадной аналитической способностью природа одарила меня невинной радостью, которую дает художественное воплощение», то его, должно быть, удивит, что, несмотря на такую его самооценку, есть люди, утверждающие ровно противоположное: во-первых, что у него никогда не было дара художественного воплощения, а также, что названная им «невинною» радость не столь уж невинна, коль скоро она постепенно подтачивала и наконец разрушила в сущности крепкую и предрасположенную к глубине натуру ученого и критика – *то есть собственно штраусовский гений*. Правда, Штраус сам добавляет в каком-то припадке безграничной честности, что он всегда «носил в себе голос, говоривший ему: такой ерундой ты больше не должен заниматься: это могут и другие»! То был голос подлинного штраусовского гения: он сам говорит ему, сколь много или сколь мало стоит его новейший невинно и слегка набросанный завет современного обывателя. Это могут и другие! И многие могли бы это лучше! И те, кто могли бы это лучше всех – более одаренные и богатые умы, чем Штраус – занимались бы при том всего лишь ерундой.

Думаю, уже стало понятным, сколь высоко я ценю писателя Штрауса: а именно – как актера, который изображает наивного гения и классика. И если Лихтенберг как-то заметил, что «простая манера письма рекомендуется уже потому, что ни один честный человек не манерничает и не

умничает в своих выражениях», то из-за этого простая манера далеко еще не оказывается доказательством писательской честности. Мне бы хотелось, чтобы писатель Штраус был честнее – тогда бы он лучше писал и был менее знаменит. Или – если он желает оставаться совершеннейшим актером – я бы хотел, чтобы он был хорошим актером и подражал наивному гению и классику лучше в том, чтобы классически и гениально писать. Остается сказать лишь то, что Штраус – плохой актер и никуда не годный стилист.

11

Упрек, что такой-то – плохой писатель, конечно, смягчается тем, что в Германии очень трудно стать приличным и сносным писателем, и уж почти невозможно – стать хорошим писателем. Для этого здесь не хватает естественной почвы, художественной оценки устной речи, художественного обращения с нею и ее воспитания. Поскольку во всех публичных высказываниях, как это видно хотя бы по салонным беседам, проповедям и парламентским речам, она еще не приведена к единому национальному стилю и даже к потребности в едином стиле, и все, что может в Германии говорить, никак не выйдет из стадии наивнейшего экспериментирования с языком, у писателя нет никакой единой нормы, и он до некоторой степени получает право обращаться с языком по своему усмотрению; что должно в дальнейшем вызвать ту безграничную dilapidation[1] немецкого языка «современности», которую самым выразительным образом описал Шопенгауэр: «Если так будет продолжаться», сказал он однажды, «то в 1900 году немецких классиков уже не будут толком понимать, и при этом не будут знать никакого другого языка, кроме люмпенского жаргона шикарной «современности», основное свойство которой – импотенция». И в самом деле, в новомодных журналах от немецких грамматиков и судей в вопросах языка уже можно услышать, что наши классики не годятся более в образцы для нашего стиля, поскольку у них множество слов, обо-

1 растрата (*лат.*).

ротов и синтаксических конструкций, которые у нас уже не встречаются, – а посему образцы словоупотребления следует собирать у нынешних литературных знаменитостей и рекомендовать их в качестве примеров для подражания, как это, в частности, недавно и вправду было сделано в бестолковом словаре Зандерса. Здесь в качестве классика является мерзостный монстр стиля Гуцков, – и вообще, похоже, нам придется привыкать к совершенно новому и шокирующему сонму «классиков», среди которых первый или, по крайней мере, один из первых – Давид Штраус, тот самый, которого мы не можем охарактеризовать иначе, чем мы это уже сделали, а именно – как никуда не годного стилиста.

Для псевдо-культуры образованца в высшей степени характерно то, как он создает для себя понятие классика и образцового писателя – он, проявляющий свою силу лишь в круговой обороне от по-настоящему художественного строгого стиля культуры и за счет стойкости этой обороны приходящий к однородности высказываний, которая опять же выглядит почти как единство стиля. Как же возможно, что при неограниченном экспериментировании, которое каждому дозволяется с языком, отдельные авторы все же подбирают обращенный ко всем тон? Что же собственно находит здесь такой повсеместный отклик? Прежде всего – негативное качество: нехватка всего, что может показаться предосудительным; *предосудительным же является все по-настоящему продуктивное.*

Подавляющая доля того, что немец теперь читает каждый день, без сомнения, приходится на газеты вкупе с соответствующими журналами; газетный немецкий, без остановки, капля за каплей, одними и теми же оборотами и словами, формирует слух немца, и поскольку он тратит на это чтиво в основном те часы, в которые его утомленный дух и без того не расположен к сопротивлению, его чувство языка начинает ощущать себя как дома в этом ежедневно-газетном немецком и болезненно переносит его отсутствие, если таковое вдруг случается. А изготовители этих газет, вполне сообразно своему занятию, основательнее всего приохотились к грязи этого газетного языка; они в самом прямом смысле слова утратили всякий вкус, – их язык способен ощутить разве что совершенно испорченное и

отсебятину, причем с некоторого рода удовольствием. Этим объясняется то tutti unisono, которым, несмотря на всеобщую вялость и хворость, соглашаются со всяким новоизобретенным языковым ляпсусом: такой наглой порчей языка мстят за невообразимую скуку, которую он навевает на своих поденщиков. Помнится, я читал призыв Бертольда Ауэрбаха «к немецкому народу», в котором чудно́ и надуманно не по-немецки звучит каждый оборот и который как целое походил на бездушную мозаику слов с интернациональным синтаксисом (не говоря уж о том неряшливом немецком, которым Эдуард Девриент почтил юбилей Мендельсона). Так что в ошибках речи – вот что примечательно – наш филистер не находит ничего предосудительного: они для него скорее манящая свежесть в бесплодной пустыне будничного немецкого. Предосудительным же для него остается то, что *по-настоящему* продуктивно. Наисовременнейшему образцовому писателю даже не то чтобы прощается его совершенно искаженный, вычурный или растрепанный синтаксис и его смехотворные неологизмы – нет, они ставятся ему в заслугу, преподносятся как пикантность. Но горе тому стилисту с характером, который с такой же принципиальностью и постоянством избегает встречи с будничными оборотами, как и с, по выражению Шопенгауэра, «выношенными в ночь накануне чудищами теперешней писанины». Когда плоское, истертое, бессильное, банальное воспринимается как правило, а дурное и испорченное – как приятные исключения, то сила, необычность и красота оказываются ославлены; так что в Германии постоянно повторяется история того стройного путешественника, который попал в страну горбунов, и там из-за своего мнимого уродства и дефектно прямой спины подвергался самому позорному осмеянию, покуда его наконец не взял под опеку священник, обратившийся по этому случаю к народу со следующими словами: лучше оплачьте этого несчастного чужеземца и с благодарностью принесите жертву богам, которые украсили вас таким выдающимся мясистым бугром.

Если бы некто вознамерился сейчас создать позитивную грамматику сегодняшнего общеупотребительного немецкого стиля и постарался бы угадать правила, которые в качестве неписанных, невысказанных, и все же подлежа-

щих исполнению императивов проявляют свою власть за каждым письменным пультом, то он бы встретился с удивительными представлениями о стиле и риторике, которые, возможно, позаимствованы еще из каких-то школьных воспоминаний и подневольных упражнений в стилистике латыни, а возможно из чтения французских писателей, и над невероятной незрелостью которых всякий основательно образованный француз имеет полное право подтрунивать. Об этих удивительных представлениях, под властью которых живет и пишет едва ли не каждый немец, похоже, ни один из дельных немцев еще не задумывался.

В частности, мы обнаружим требование, чтобы время от времени возникал образ или сравнение, но что сравнения эти должны быть новы. Однако новое и современное для скудных мозгов писаки идентичны, и вот он мучается, надергивая свои сравнения с железных дорог, телеграфов, паровых машин и бирж, и испытывает гордость за то, что эти образы наверняка новы, поскольку они современны. В книге штраусовских откровений эта дань современным сравнениям выплачена сполна: прощается он с нами описанием дорожного ремонта, занимающим полторы страницы; парой страниц раньше он сравнивает мир с машиной, ее шестернями, прессами, молотами и «умягчающим маслом». – (С. 362): Трапеза, которая начинается с шампанского. – (С. 325): Кант как закаливающая водная процедура. – (С. 265): «Швейцарская конституция соотносится с английской как водяная мельница с паровой машиной или как вальс или песня – с фугой или симфонией». – (С. 258): «Всякая апелляция должна пройти через положенный ход инстанций. Посредничающая инстанция между индивидом и человечеством – это нация». – (С. 141): «Если мы хотим выяснить, жив ли еще организм, который кажется нам умершим, мы обычно прибегаем к какому-нибудь сильному и даже болезненному раздражительному средству, например, к уколу». – (С. 138): «Область религии в душе человека походит на область краснокожих в Америке». – (С. 137): «Виртуозы благочестия в монастырях». – (С. 90): «Полностью прописать баланс всего предшествующего, полученный при сведении наших счетов». – (С. 176): «Дарвиновская теория походит на первую профилировку железнодорожного пути

... где на ветру весело развеваются флажки». На такой вот в высшей степени современный манер Штраус справляется с филистерским требованием, чтобы время от времени появлялось новое сравнение.

Весьма распространено и другое риторическое требование, что все дидактическое следует излагать в длинных предложениях, к тому же сугубо абстрактно, а то, что должно убеждать, любит, напротив, рубленые фразы и выскакивающие друг за другом контрасты выражений. Образцовый пример дидактичности и учености, растянутый до размеров неохватного шлейермахеровского пузыря и поспешающий с поистине черепашьим проворством, находится у Штрауса на с. 132: «То, что на ранних стадиях религии вместо одной такой причины выступают несколько, а вместо единого бога – множество богов, объясняется согласно такому происхождению религии тем, что различные природные силы или жизненные явления, вызывающие в человеке чувство абсолютной зависимости, поначалу еще действуют на него во всем своем многообразии, он еще не осознал, что в том, что касается этой абсолютной зависимости, между ними нет никакого различия, а следовательно и причина этой зависимости или существо, к которому она в конечном счете восходит, может быть лишь единым». Противоположный пример коротеньких фраз и аффектированной живости, которая так взволновала некоторых читателей, что они теперь упоминают Штрауса только наравне с Лессингом, мы находим на странице 8: «Я отлично знаю, что то, что я собираюсь изложить в дальнейшем, многим известно столь же хорошо, а некоторым даже и еще лучше. Иные уже высказались публично. Должен ли я молчать из-за этого? Думаю, нет. Мы же все взаимно дополняем друг друга. Если другой знает многое лучше, то и я, быть может, знаю лучше кое-что; некоторые же вещи я знаю иначе, смотрю на них иначе, нежели прочие. Итак, говоря прямо, откроем свои карты, чтобы все видели, что они не крапленые». Разумеется, штраусовский стиль обычно придерживается середины между этим разудалым маршем и той похоронной медлительностью, однако между двумя пороками не всегда обитает добродетель, а зачастую лишь слабость, бледная немочь, импотенция. На самом деле я был очень разочарован,

прочесав штраусовскую книгу в поисках тонких и остроумных черточек и оборотов, даже заведя себе специальную рубрику, чтобы при случае похвалить за что-нибудь писателя Штрауса, и не обнаружив у нашего исповедника ничего достойного похвалы. Я искал и искал, а рубрика моя пустовала. Зато вовсю заполнялась другая, под названием «ошибки речи, путаные образы, невнятные сокращения, безвкусица и напыщенность», – да такие, что после этого мне остается лишь поделиться скромной подборкой из моего огромного собрания проб штраусового пера. Быть может, мне удастся сконцентрировать под этой рубрикой как раз то, что порождает у нынешних немцев веру в великого и чарующего стилиста Штрауса. Это курьезы выражений, которые посреди пересохшей пыльной пустыни этой книги преподносят если и не приятный, то все же болезненно чарующий сюрприз; в таких местах мы по крайней мере замечаем, если воспользоваться штраусовским сравнением, что еще не померли и по-прежнему реагируем на такие уколы. Ибо во всем прочем мы встречаем ту нехватку всяческой провокативности, то есть всяческой продуктивности, – нехватку, которую нынче и относят на счет положительных черт нашего классического прозаика. Предельная трезвость и сухость, поистине донельзя исхудавшая трезвость вызывает теперь у образованной массы неестественное ощущение, будто бы именно это и является признаком здоровья, так что здесь более чем уместно вспомнить сказанное автором «Dialogus de oratoribus»: «illam ipsam quam iactant sanitatem non firmitate sed ieiunio consequuntur[1]». Потому-то с инстинктивным единодушием и ненавидят они всякую firmitas[2], что она свидетельствует о совсем ином здоровье, нежели их здоровье, и пытаются навести подозрение на firmitas – упругую сжатость, огненную силу движений, энергию и нежность игры мускулов. Они договорились перевернуть природу и имена вещей и впредь говорить о здоровье там, где мы видим слабость, о болезни

1 «Диалоги об ораторах»: «той пресловутой здравости красноречия, которой так похваляются, они достигают не изобилием силы, а ее скудостью» (*лат.*).

2 сила, твердость, крепость (прям. и перен.) (*лат.*).

и перенапряжении – там, где нам встречается подлинное здоровье. Так что и Давид Штраус теперь слывет «классиком».

И если б эта трезвость была по крайней мере строго логической трезвостью! Но ведь именно простота и строгость мышления утрачена этими «слабыми», и в их руках распадается даже логика языка. Попробуйте только перевести этот штраусовский стиль на латынь, что вполне допустимо сделать и с Кантом, а в случае с Шопенгауэром удобно и даже напрашивается. Причина того, что это совершенно не получится со штраусовским немецким, лежит, видимо, не в том, что его немецкий немчее и германистей, чем у них, а в том, что у него он сбивчив и нелогичен, у тех же – исполнен простоты и величия. И тот, кто знает, насколько те прежние старались научиться речи и письму и насколько чуждо такое стремление нынешним, почувствует, как это заметил однажды Шопенгауэр, настоящее облегчение, когда, через силу покончив с такою вот немецкой книгой, сможет снова обратиться к другим, как древним, так и новым языкам, «ибо в них передо мною твердо зафиксированная грамматика с орфографией, и я целиком отдаюсь мышлению, меж тем как в немецком мне каждый миг мешает настырность автора, который желает настаивать на своих грамматических и орфографических причудах, торчащих там и сям как наросты; мне мерзит нагло чванящаяся при этом глупость. Поистине это настоящая мука видеть, как ослы и невежи обращаются с красивым, старинным языком, на котором написаны классические произведения».

Так взывает к вам священный гнев Шопенгауэра, и вы не вправе заявлять, что вас не предостерегли. Тому же, кто не желает прислушиваться ни к каким предостережениям и ни за что не хочет расставаться с верой в классика Штрауса, остается в качестве последнего рецепта посоветовать подражать ему. Что уже в любом случае на свой страх и риск – ведь за это придется расплачиваться как собственным стилем, так и, в конечном счете, своей головой; так что и на вас исполнятся слова индийской мудрости: «грызть коровий рог бесполезно и укорачивает жизнь: зубы сотрутся, а сока не достанется».

12

А под конец хотелось бы предъявить нашему прозаику-классику обещанное собрание проб стиля; возможно, Шопенгауэр озаглавил бы его в целом: «Новые образчики современного люмпенского жаргона». Ибо в утешение Штраусу, если это сумеет его утешить, может быть сказано, что нынче весь мир пишет так, как он, а отчасти и еще более жалким образом, и что среди слепых даже одноглазому быть королем. По правде, признавая у Штрауса наличие одного глаза, мы делаем ему слишком большую скидку, но мы делаем это потому, что он хотя бы пишет не так, как самые злостные растлители немцев – гегельянцы и их увечное потомство. Штраус хотя бы хочет выбраться из этого болота, и отчасти даже выбрался из него, но до твердой почвы ему еще далеко. По нему можно до сих пор заметить следы гегельянского заикания его юности; что-то в нем тогда вывихнулось, случилось растяжение какой-то мышцы – тогда-то его слух притупился, как у растущего под барабанный бой ребенка, чтобы никогда уже более не ощутить тех художественных нежных и прочных законов звучания, под властью которых живет писатель, воспитанный на хороших образцах и в строгой дисциплине. Тем самым как стилист он утратил все, что имел, и обречен всю жизнь сидеть на бесплодном и опасном плывуне газетного стиля, – коль скоро он не хочет вновь угодить в гегелевскую трясину. Тем не менее, на пару часов современности он добился известности, и быть может кто-то знает еще пару более поздних часов, когда он был знаменитостью, – однако затем наступит ночь и вместе с нею забвение. И уже в тот самый миг, когда мы записываем в черный список его стилистические грехи, начинается закат его славы. Ибо согрешивший против немецкой речи оскверняет таинство всего нашего германства: она одна сквозь все это смешение и смену национальностей и нравов, будто бы каким-то метафизическим чудом, спасала себя и тем самым немецкий дух. Она одна служит для этого духа залогом будущего, – если только она не погибнет от нечестивых рук современности. «Но di meliora[1]! Прочь,

---

1 да [будет] лучшее, (да оградят от этого боги) (*лат.*).

pachydermata[1], прочь! Это немецкий язык, на котором говорят люди, на котором сочиняли великие поэты и писали великие мыслители. Лапы прочь!».

Возьмем, к примеру, предложение с первой же страницы штраусовской книги: «*Уже в пору усиления ... римский католицизм признал требование диктаторски собрать всю свою духовную и светскую власть в руке объявленного непогрешимым папы*». Под этим неряшливым одеянием спряталось несколько разных положений, которые совершенно не подходят друг другу и попросту невозможны в одно и то же время; некто может каким-то образом признать требование собрать свою власть или вложить ее в руки диктатора, однако он не может диктаторски собрать ее в руке другого. Если католицизму говорится, что он диктаторски собрал свою власть, тогда он сам сравнивается с диктатором; однако очевидно, что здесь с диктатором хотят сравнить непогрешимого папу, и только из-за неясности мысли и нехватки языкового чутья наречие оказывается на неверном месте. Но чтобы прочувствовать нелепость иных оборотов, я рекомендую перевести их в такую вот упрощенную форму: хозяин собирает вожжи в руке своего кучера. – (С. 4): «*Причиной противоположности прежнего консисториального режима и направленных на синодальный строй устремлений оказываются лежащие за иерархическими чертами первого и демократическими чертами вторых догматически-религиозные различия*». Невозможно было выразиться более неловко: во-первых, мы имеем противоречие между режимом и некими устремлениями, далее причиной этой противоположности оказываются догматически-религиозные различия, и эти оказывающиеся причиной различия находятся за иерархическими чертами первого и демократическими чертами вторых. Просто загадка: какая вещь оказывается за двумя вещами причиной третьей вещи? – (С. 18): «*и дни, хотя и недвусмысленно обрамленные рассказчиком между вечером и утром*» *и т.д.* Заклинаю вас, сударь, перевести это на латинский, чтобы понять, как вы бессовестно злоупотребляете языком. Дни, которые обрамлены! Рассказчиком! Недвусмысленно! И обрамлены между чем-то! – (С. 19): «*О неверных и*

1 толстокожие (*греч.*).

противоречивых описаниях, о ложных мнениях и суждениях не может у Библии быть и речи». Сказано на редкость неряшливо! Вы путаете «у Библии» и «в Библии», к тому же крайне неудачно поставили ее после, а не перед «не может». Полагаю, вы хотели сказать: неверным и противоречивым описаниям, ложным мнениям и суждениям в Библии не может быть места. Почему же? Именно потому, что она Библия – стало быть, «в случае Библии об этом не может идти и речи». Чтобы не утруждать себя этими нюансами, вы решили использовать люмпенский жаргон и перепутать предлоги. На схожее преступление вы решились и на следующей странице: «*Компиляции, в которые переработаны более древние фрагменты*». Вы имеете в виду: «в которых переработаны более древние фрагменты» или «в которые вошли более древние фрагменты»? – На той же странице какими-то студенческими оборотами вы говорите о «*дидактической поэме, оказавшейся в неприятной ситуации быть сперва на разный лад превратно толкованной* (лучше бы: истолкованной), *затем приобрести врагов и быть оспоренной*», а на с. 24 даже о «*колких каверзах, с помощью которых пытались смягчить ее жесткость*»! Я оказался в неприятной ситуации не знать нечто жесткое, жесткость чего смягчают чем-то колким; при том Штраус повествует (с. 367) даже о «*смягчаемой встряхиванием остроте*». – (С. 35): «*Вольтеру на той стороне совершенно типически для обеих наций соответствует здесь Самуэль Герман Реймарус*». Человек может оказаться типическим лишь для одной нации, но ни в коем случае не может соответствовать другому типически для обеих наций. Это позорное насилие над языком с целью сэкономить или выгадать на предложении. – (С. 46): «*Nun stand es aber nur wenige Jahre an nach Schleiermachers Tode, dass...*»[1]. Такой бумагомаратель конечно же не беспокоится о порядке слов; то, что здесь слова «nach Schleiermachers Tode» стоят не там, где нужно, а именно после «an», меж тем как они должны стоять перед «an», для Ваших отдавленных медведем ушей так же все равно, как написать после этого «dass»[2] на месте

---

1 Однако прошло лишь несколько лет после смерти Шлейермахера, что (*нем.*).

2 что (*нем*).

«bis»[1]. – (С. 13): «*также из всех различных оттенков, которыми переливается сегодняшнее христианство, у нас может идти речь разве что о наиболее крайнем, зрелом, можем ли мы исповедовать его*». На вопрос «о чем идет речь» можно, во-первых, ответить «о том-то и о том-то» или же, во-вторых, посредством конструкции «можем ли мы»; хвататься без разбора сразу за обе конструкции пристало разве что неряхе-подмастерью. Скорее, он хотел сказать: «касательно наиболее крайнего у нас может идти речь разве что о том, исповедуем ли мы его еще», однако предлоги немецкого языка здесь, похоже, лишь для того, чтобы сильно удивить нас использованием каждого из них. На с. 358, например, чтобы устроить нам такой сюрприз, «классик» путает выражения «в книге речь идет о том» и «дело в том»; в результате мы вынуждены слушать такое предложение: «*при этом остается неопределенным, идет ли дело о внешнем или о внутреннем геройстве, о битвах в открытом поле или в глубинах человеческой души*». – (С. 343): «*для нашей нервно перевозбужденной эпохи, которая особенно в своих музыкальных склонностях дает налицо эту болезнь*». Позорное смешение выражений «быть налицо» и «давать представление о». Таких улучшителей языка надо, невзирая «на лицо», наказывать, как школьников. – (С. 70): «*мы видим здесь один из тех ходов мысли, благодаря которым ученики пробивали себе дорогу к выработке представления о воскресении своего убитого учителя*». Какой образ! Вот уж фантазия достойная трубочиста! Посредством хода пробивать себе дорогу к выработке!

Когда на с. 72 этот великий мастер слова, Штраус, характеризует историю о воскресении Иисуса как «*всемирно-историческое надувательство*», мы лишь хотим спросить его здесь с точки зрения грамматики о том, кого он собственно уличает в этом «всемирно-историческом надувательстве», то есть в обмане других и преследующем личный интерес мошенничестве? Кто мошенничает, кто обманывает? Ибо мы никак не можем представить себе «надувательство» без субъекта, который ищет при этом собственной выгоды. Поскольку на этот вопрос Штраус не сможет дать нам никакого ответа (в случае, если своего бога, то есть бога заблуж-

1 покуда, до (*нем.*).

дающегося из благородной страсти, он постыдится выставить на посмешище как мошенника), нам остается счесть это выражение, по крайней мере, столь же нелепым, сколь и безвкусным.

На той же странице значится: «*его учения как разрозненные листки были бы унесены ветром и рассеяны, если бы бредовая вера в его воскресение не скрепила в крепкий прочный переплет и таким образом сохранила их*». Тот, кто говорит о листках на ветру, вводит фантазию читателя в заблуждение, коль скоро затем выясняется, что он подразумевал бумажные листы, которые могут быть скреплены книжным переплетом. Добросовестный автор ничего *так* не боится, как дать читателю сомнительный или вводящий в заблуждение образ, ибо образу надлежит прояснять; если же сам образ неясно выражен и вводит в заблуждение, то он делает суть темнее, чем она была без него. Но наш «классик», конечно, не стремится к особой точности; он смело говорит о «*руке наших источников*» (с. 76), о «*нехватке сподручных источников*» (с. 77) и о «*руке потребности*» (с. 215).

(С. 73): «*Веру в его воскресение надо записать на счет самого Иисуса*». Тот, кто с таким банальным меркантилизмом говорит о столь небанальных вещах, дает понять, что он всю свою жизнь читал на редкость скверные книжонки. Следы их чтения штраусовский стиль оставляет повсюду. Возможно, он слишком усердно читал сочинения своих теологических противников. Но где можно научиться докучать «старому Богу иудеев и христиан», живописуя такие мещанские картинки, как, например, на с. 105, где «*из-под старого Бога иудеев и христиан вытащили стул*» или на той же странице, где «*перед старым персональным Богом словно бы встал жилищный кризис*», или на с. 115, где его же выселили «*в кладовку, где его, кстати, еще прилично содержат и занимают*»? С. 111: «*вместе с исполнимой мольбой упал еще один существенный атрибут персонального Бога*». Подумайте же сперва, бумагомаратель, прежде чем марать бумагу! Сдается мне, что чернила должны покраснеть, если ими накарябают нечто о молитве, которая «атрибут», вдобавок еще и «упавший атрибут».

Но что мы видим на с. 134! «*Некоторые из желательных атрибутов, которые человек прежних эпох приписывал своим богам – я хочу привести в качестве примера лишь способность*

скорейшего пересечения пространства – теперь, вследствие рационального владычества над природой, он сам взял на себя». Кто распутает нам этот узел?! Хорошо, человек прежних эпох приписывает богам атрибуты; «желательные атрибуты» – это уже звучит сомнительно! Штраус, вроде, имеет в виду, что человек полагал, будто все, что он хотел бы иметь, но не имеет, на самом деле есть у богов, и что боги таким образом имеют атрибуты, соответствующие человеческим желаниям, вроде как «желательные атрибуты». Но вот, согласно учению Штрауса, человек принимает некоторые из этих «желательных атрибутов» на себя – какое-то темное происшествие, столь же темное, как и то, что описано на с. 135: «*должно наступить желание придать этой зависимости на кратчайшем пути выгодный для человека поворот*». Зависимость – поворот – кратчайший путь – желание, которое наступает; горе тому, кто в самом деле пожелал бы увидеть такое происшествие! Это сцена из книги с картинками для слепых. Приходится на ощупь.

Новый пример (с. 222): «*Восходящее и своим восхождением перекидывающееся даже через отдельный спуск направление этого движения*», и еще более сильный (с. 120): «*Последний кантовский поворот, чтобы прийти к цели, видел себя, как мы обнаружили, вынужденным к тому, чтобы прибавить к своему пути еще вершок через поле будущей жизни*». Никому, кроме вьючной скотины, не найти дороги в этом тумане. Повороты, которые видят себя вынужденными! Перекидывающиеся через спуск направления! Повороты, которые выгодны на кратчайшем пути, повороты, которые прибавляют к своему пути еще вершок через поле! Через какое поле? Через поле будущей жизни! К черту всю эту топографию! Свету, свету! Где нить Ариадны в этом лабиринте? Нет, никто не вправе позволять себе так писать, будь это даже знаменитейший прозаик, а тем более человек с «*полностью проросшими религиозными и нравственными задатками*» (с. 50). Я полагаю, что человеку пожилому следовало бы знать, что язык – это доставшееся нам от предков и передаваемое потомкам наследство, перед которым следует благоговеть, как перед чем-то священным, бесценным и неприкосновенным. Если у вас притупился слух, так спросите, загляните в словарь, используйте хорошие грамматические справоч-

ники, но не смейте так вот грешить среди бела дня! Штраус говорит, к примеру (с. 136): «*иллюзия, избавиться от которой себе и человечеству должно быть стремлением всякого пришедшего к этому воззрению*». Эта конструкция – неправильная, и если «проросшие» уши борзописца этого не замечают, придется ему в ухо прокричать: либо «себе помогают избавиться от чего-либо», либо «кого-либо избавляют от чего-то»; Штраусу, стало быть, следовало сказать: «иллюзия, помочь избавиться от которой себе и человечеству» либо «избавить от которой себя и человечество». То же, что им написано, это люмпенский жаргон. Каково же нам видеть, как такая стилистическая пахидерма еще и кувыркается в новообразованных или трансформированных старинных словах, когда она вещает о «*вёрстывающем смысле социал-демократии*» (с. 279), как будто это Себастьян Франк, или когда она подражает оборотам Ганса Закса (с. 259): «*народы суть богом желанные, то есть сообразные природе формы, в коих человечество приносит себя в бытие, от коих ни один разумный не вправе отвернуться, ни один честный – отречься*». – (С. 252): «*Согласно закону род человеческий различен расами*»; (с. 282): «*испытуя противодействие*». Штраус и не замечает, отчего так выделяются эти старинные заплатки посреди вполне современной поношенности его выражений. Всякий ведь заметит по таким оборотам и таким заплаткам, что они украдены. Но наш портняжка нет-нет да и станет креативным, умудряясь справить себе среди своих заплаток новое словцо; на с. 221 он говорит о «*sich entwickelnden aus- und emporringenden Leben*»[1], однако «ausringen» можно сказать либо о прачке, либо о герое, который закончил бой и умирает; «ausringen» в смысле «развиваться» это штраусовский немецкий; равно как и «*все ступени и стадии запеленывания и распеленывания*» – какой-то грудничковый немецкий! – (С. 252): «*в купности*» вместо «вкупе». – (С. 137): «*в повседневном обиходе средневековых христиан религиозный элемент гораздо чаще и непрерывнее приходил к заявлению*». «Гораздо непрерывнее» – это, несомненно, образцовая сравнительная степень – если, конеч-

1 букв. значение, вкладывавшееся Д. Штраусом: развивающейся, в борьбе и стремлении вверх достигающей <своего> жизни (*нем.*). См. прим.

но, считать Штрауса образцовым прозаиком. А он ведь использует еще и немыслимое «*совершеннее*» (с. 223 и с. 214). Но «*приходить к заявлению*»! Откуда такое вообще народилось, отчаянный Вы мастер слова!? Ибо тут я оказываюсь совершенно бессилен, никакая аналогия не приходит мне в голову, братья Гримм молчат, как могилы, когда к ним заявляешься с такого рода «заявлениями». Вы ведь, должно быть, имели в виду всего-то лишь «религиозный элемент чаще проявляет себя»; то есть в силу чудовищного невежества Вы опять-таки путаете предлоги и приставки, путать же «проявлять» и «заявлять» изрядно отдает пошлостью, пусть даже Вы и не проявите радости от того, что я открыто об этом заявляю. – (С. 220): «*потому, что позади их субъективного значения мне слышалось еще и звучание бесконечного по своей дальнобойности объективного*». Как я уже говорил, со слухом у Вас обстоит неважно или, по крайней мере, странно: Вам слышится «звучание значений», и даже звучание «позади» других значений, и эти услышанные значения имеют «бесконечную дальнобойность»! Это то ли какая-то чепуха, то ли профессиональная артиллеристская парабола. – (С. 183): «*внешние контуры теории таким образом уже заданы; также и некоторые из пружин, определяющих движения внутри последних, уже вставлены*». Это опять же либо чушь, либо профессиональный, недоступный нам жаргон позументщика. Ну кому нужен матрас, который состоит из контуров и вставленных пружин? И что это за пружины такие, которые определяют движение внутри матраса? Мы сомневаемся в штраусовской теории, коль скоро он предъявляет ее нам в таком вот обличии, и вынуждены сказать о ней то, что так прекрасно выразил сам Штраус (с. 175): «*для настоящей жизнеспособности ей еще не хватает существенных средних членов*». Итак, займемся же средними членами! Контуры и пружины на месте, кожа и мускулы препарированы, но, конечно, пока у нас налицо только они, не хватает еще многого для настоящей жизнеспособности или, выражаясь вместе со Штраусом «*непредрешаемей*», «*когда два столь различных по ценности произведения с несоблюдением переходных ступеней и промежуточных состояний непосредственно сталкивают друг об друга*». – (С. 5): «*Однако можно не быть высокопоставленным и все же не лежать на земле*». Конечно, мы понимаем Вас, наш

магистр в чем-то слегка наброшенном! Ведь кто не стоит и притом не лежит, тот летает, возможно, парит или порхает. Но будь Вам дело до выражения чего-то иного, помимо Вашего порхания, как то не без труда можно заключить из контекста, я бы избрал на Вашем месте другое сравнение, которое бы и выражало нечто иное. – (С. 5): «*заведомо иссохшие ветки старого дерева*», – какой заведомо иссохший стиль! – (С. 6): «*тот не может отказать в признании и непогрешимому папе, как вызванного той самой потребностью*». Дательный падеж ни в коем случае нельзя путать с винительным: это ляпсус даже для ребенка, а для образцового прозаика – преступление. – На с. 8 мы находим «*новообразование новой организации идеальных элементов в жизни народа*». Предположим, что подобная тавтологическая бессмыслица в самом деле могла выплеснуться из чернильницы на бумагу – но почему же ее нужно тогда еще и печатать? Допустимо ли не увидеть подобного во время корректуры? Корректуры шести изданий! Кстати, к стр. 9: если цитируешь слова Шиллера, то надо делать это точнее, а не с такой приблизительностью! Этого требует должное уважение! Должно быть: «не страшась ничьей немилости».

(С. 16): «*Ибо тогда она немедленно становится засовом, сдерживающей стеной, против которой теперь со страстным негодованием направляет себя весь напор прогрессивного разума, все осадные орудия критики*». Тут мы должны сперва представить себе нечто, что поначалу становится засовом, а потом стеной, и против чего, наконец, «со страстным негодованием направляют себя осадные орудия» или даже «напор» – со страстным же негодованием. Сударь, выражайтесь же по-человечески! Осадные орудия кем-то направляются, а не направляют себя сами, и лишь тот, кто их направляет, а не сами осадные орудия могут испытывать страстное негодование, хотя мало кто будет так негодовать на стену, как это вы нам преподносите. – (С. 266): «*из-за чего подобного рода избитые фразы всегда выстраивали излюбленную арену демократических пошлостей*». Совершенно не продумано! Избитые фразы не могут выстраивать арену, а только лишь сами валяться или гарцевать на ней. Штраус, должно быть, хотел сказать: «почему подобные мнения всегда выстраивали излюбленную арену для демократических избитых фраз и по-

шлостей». – (С. 320): «*сокровенные глубины наполненной чувствительными струнами души поэта, которая при всей ее ретивой деятельности в области поэзии и естествознания, светских и государственных дел постоянно ощущала потребность в возвращении к тихому очагу благородной любви*». Я пытаюсь вообразить себе душу, которая, как арфа, «наполнена струнами», и которая при этом занята «ретивой деятельностью», то есть эдакую галопирующую душу, которая ретиво уносится вдаль, как жеребец, но в конечном счете возвращается к «тихому очагу». Буду ли я неправ, если эту галопирующую и возвращающуюся к очагу, вдобавок еще занимающуюся политикой душеньку-арфу я назову весьма оригинальной – настолько же оригинальной, насколько не оригинальны, избиты и попросту непозволительны «чувствительные струны души поэта»? По таким вот впечатляющим новшествам в области банального или абсурдного мы и узнаём «классического прозаика». – (С. 74): «*если у нас отверзнутся очи, и мы честно сознáемся в найденном через это отверзание очей*». В этом роскошном и торжественно ничего не говорящем обороте ничто так не впечатляет, как сочетание «найденного» со словом «честно»: тот, кто нечто находит и не выдает, то есть не сознается в «найденном», нечестен. Штраус делает наоборот, и считает нужным публично в этом признаться и себя похвалить. «Но кто же его порицал?», как спросил спартанец. – (С. 43): «*лишь в одном вопросе веры он крепче натянул нити, который притом является и центральным пунктом христианской догматики*». Остается неясным, что же он собственно сделал, – когда это у нас натягивают нити? Может быть, эти нити были вожжами, а их крепкий натягиватель – кучером? Лишь с такой поправкой я могу понять это сравнение. – (С. 226): «*В меховых накидках заложено более верное предчувствие*». Несомненно! Ведь «*ответвившийся от праобезьяны прачеловек был еще далек от того*» (с. 226), чтобы знать, что однажды дело у него дойдет и до штраусовской теории. Но теперь мы знаем это, и «*туда должен вести и поведет наш путь, где флажки весело развеваются на ветру. Да, весело, и именно в смысле чистейшей, возвышеннейшей духовной радости*» (с. 176). Штраус так по-детски доволен своей теорией, что даже «флажки» становятся веселыми, и даже удивительным образом веселыми «в смысле чистейшей, возвышеннейшей

духовной радости». И впрямь становится все веселее! Внезапно мы видим «*трех мастеров, каждый следующий из которых встает на плечи предшественника*» (с. 361) – настоящий трюк циркачей-наездников в исполнении Гайдна, Моцарта и Бетховена. Мы видим Бетховена «*закусывающим удила*», как лошадь (с. 356); нашему вниманию предлагается «*дорога с новенькими подковами*» (с. 367) (меж тем как до сих пор мы слыхали, что новые подковы бывают только у лошадей), а также «*пышный парник для кровавого разбоя*» (с. 287); но несмотря на столь очевидные чудеса, «*чуду декретируют отставку*» (с. 176). Внезапно появляются кометы (с. 164), однако Штраус успокаивает нас: «*при ветреном народце комет не может идти речь об обитателях*» – воистину утешительные слова, ведь в ином случае, при ветреном-то народце да к тому же ведя речь об обитателях, ни за что нельзя поручиться. Тем временем предстает новое зрелище: Штраус сам «*обвивается вокруг чувства нации вверх к чувству человечества*» (с. 258), меж тем как другой «*ускальзывает ко все более незрелой демократии*» (с. 264). Ускальзывает! Не ускользает и не соскальзывает – велит наш мастер слова, который (на с. 269) весьма настойчиво и неверно заявляет: «*внутри у органичного строения есть место дельному дворянству*». В высшей сфере, непостижимо высоко над нами, совершаются тревожащие явления, к примеру, «*отречение от спиритуалистического исключения человека из природы*» (с. 201) или (с. 210) «*опровержение неприступничанья*»; опасное зрелище на с. 241, где «*борьба за существование вдоволь развязана в животном царстве*». – На с. 359 диковинным образом даже «*человеческий голос прискакал на подмогу инструментальной музыке*», но вот открывается дверь, через которую чудо (с. 177) «*до окончательного невозвращения вышвыривают прочь*». – На с. 123 «*видимость видит в смерти всего человека, каким он был, погибающим*». Никогда еще вплоть до укротителя языка Штрауса видимость не видела; теперь же нам довелось встретиться с таким в калейдоскопе его языка, и мы готовы прославить его за это. Также от него мы впервые научились тому, что означает «*наше чувство вселенной, будучи задетым, реагирует религиозно*» и можем припомнить соответствующую этому процедуру. Мы уже знаем, как это привлекательно, когда (с. 280) «*возвышенные образы попадают в поле зрения хотя бы*

по колено» и потому почитаем за счастье созерцать «классического прозаика», пусть даже обзор в данном случае столь ограничен. Честно говоря, то, что мы увидели, было глиняными ногами, а то, что казалось нам естественным телесным цветом, было лишь раскрашенной штукатуркой. Разумеется, обывательская культура в Германии будет возмущена тем, что речь идет о раскрашенных истуканах там, где она видит живого бога. Но тот, кто отважится опрокинуть этих истуканов, вряд ли побоится, несмотря на всеобщее возмущение, сказать этой культуре в лицо, что она сама разучилась отличать живое от мертвого, настоящее от ненастоящего, оригинал от подделки, бога от истукана, и что у нее атрофировался здоровый мужской инстинкт подлинного и верного. Она сама заслуживает гибели, и уже сейчас никнут знамена ее владычества, уже сейчас спадает с нее пурпур; если же спадет пурпур, то следом отправится и герцог.

Засим я завершаю свою исповедь. Это исповедь одиночки; а что может такой одиночка против всех на свете, даже если голос его и был бы слышен повсюду? Его суждение было бы лишь (дабы украсить вас напоследок настоящим и драгоценным штраусовым пером) «*ровно такой же субъективной истинности, как без всякой объективной силы доказательств*» – не правда ли, славные вы мои? Посему оставайтесь по-прежнему утешенными! По крайней мере до поры дело так и ограничится вашим «*ровно такой же – как без*». До поры! А именно до тех пор, пока несовременным считается то, что всегда было ко времени, ныне же более чем когда-либо своевременно и нужно – говорить правду.

Несвоевременные размышления

Часть вторая.

О пользе и вреде истории для жизни

Предисловие

«Мне, впрочем, ненавистно все то, что лишь поучает меня, не способствуя моей деятельности или не вдохновляя меня самым непосредственным образом». Эти слова Гёте, это его прямодушное ceterum censeo[1] могли бы служить вступлением к нашему рассуждению о положительной или отрицательной ценности истории. Ибо в приведенных здесь размышлениях мы намерены показать, почему поучение без оживления, почему знание, сопряженное с ослаблением деятельности, почему история как драгоценный избыток знания и роскошь нам должны быть, по выражению Гёте, всерьез ненавистны, – а именно потому, что мы нуждаемся еще в самом необходимом, и потому, что все излишнее есть враг необходимого. Конечно, нам нужна история, но мы нуждаемся в ней иначе, чем избалованный и праздный любитель в саду знания, с каким бы высокомерным пренебрежением последний ни смотрел на наши грубые и неизящные потребности и нужды. Это значит, что она нужна нам для жизни и деятельности, а не для удобного уклонения от жизни и деятельности или тем менее для оправдания себялюбивой жизни и трусливой и дурной деятельности. Лишь поскольку история служит жизни, постольку мы сами согласны ей служить; а между тем существует такой способ служения истории и такая оценка ее, которые ведут к захирению и вырождению жизни: явление, исследовать которое в связи с озадачивающими симптомами нашего времени теперь настолько же необходимо, насколько, может быть, и тягостно.

Я стремился описать ощущение, которое достаточно часто мучало меня; моей местью ему пусть будет то, что я его теперь предаю гласности. Может быть, это описание побудит кого-нибудь заявить мне, что и он тоже испытал это ощущение, но что мне оно известно не в его чистом,

---

1 притом я думаю (*лат.*).

первоначальном виде и что я выразил его далеко не с подобающей уверенностью и зрелостью понимания. Таково, может быть, мнение некоторых; большинство же скажет мне, что это – совершенно извращенное, неестественное, отвратительное и просто непозволительное ощущение или даже что я показал себя в нем недостойным того могущественного тяготения нашего времени к истории, которое, как известно, ясно обнаружилось за последние два поколения, в особенности среди немцев. Но, во всяком случае, тем, что я беру на себя смелость дать точное описание природы моих ощущений, я скорее способствую охране господствующих приличий, чем подрываю их, ибо я таким образом доставляю возможность многим рассыпаться в комплиментах перед вышеупомянутой тенденцией эпохи. Я же приобретаю для себя еще нечто, что мне гораздо дороже, чем общественное благоприличие, а именно – возможность получить публичное поучение и строгое наставление касательно нашей эпохи.

Эти размышления тоже несвоевременны, ибо в них я делаю попытку объяснить нечто, чем наше время не без основания гордится, а именно – его историческое образование, как зло, недуг и недостаток, свойственные времени, ибо я думаю даже, что мы все страдаем изнурительной исторической лихорадкой и должны были бы, по крайней мере, сознаться в том, что страдаем ею. Если же Гёте был прав, когда утверждал, что, культивируя наши добродетели, мы культивируем также и наши пороки, и если, как это известно всем, гипертрофированная добродетель, каковой представляется мне историческое чувство нашей эпохи, может сделаться столь же гибельной для народа, как и гипертрофированный порок, – то почему бы не дать мне возможности сказать то, что я думаю? К моему оправданию, не умолчу также и о том, что наблюдения, вызвавшие во мне вышеупомянутое мучительное ощущение, сделаны мною в значительной части над самим собою и только в целях сравнения – над другими и что я, оставаясь сыном своего времени, пришел к столь несвоевременным выводам лишь в той мере, в какой я вместе с тем являюсь питомцем прежних эпох, особенно греческой. Некоторое право на это дает мне, как мне думается, также и моя специальность классического

филолога: ибо я не знаю, какой еще смысл могла бы иметь классическая филология в наше время, как не тот, чтобы действовать несвоевременно, то есть вразрез с нашим временем, и благодаря этому влиять на него, – нужно надеяться, в интересах грядущей эпохи.

1

Погляди на стадо, которое пасется около тебя: оно не знает, что такое вчера, что такое сегодня, оно скачет, жует траву, отдыхает, переваривает пищу, снова скачет, и так с утра до ночи и изо дня в день, тесно привязанное в своей радости и в своем страдании к столбу мгновения и потому не зная ни меланхолии, ни пресыщения. Зрелище это для человека очень тягостно, так как он гордится перед животным тем, что он человек, и в то же время ревнивым оком смотрит на его счастье – ибо он, подобно животному, желает только одного: жить, не зная ни пресыщения, ни боли, но стремится к этому безуспешно, ибо желает он этого не так, как животное. Человек может, пожалуй, спросить животное: «Почему ты мне ничего не говоришь о твоем счастье, а только смотришь на меня?» Животное не прочь ответить и сказать: «Это происходит потому, что я сейчас же забываю то, что хочу сказать», – но тут же оно забывает и этот ответ и молчит, что немало удивляет человека.

Но человек удивляется также и самому себе, тому, что он не может научиться забвению и что он навсегда прикован к прошлому; как бы далеко и как бы быстро он ни бежал, цепь бежит вместе с ним. Не чудо ли, что мгновение, которое столь же быстролетно появляется, как и исчезает, которое возникает из ничего и превращается в ничто, – что это мгновение тем не менее возвращается снова, как призрак, и нарушает покой другого позднейшего мгновения. Непрерывно от свитка времени отделяются отдельные листы, выпадают и улетают прочь, чтобы внезапно снова упасть в самого человека. Тогда человек говорит: «Я вспоминаю» – и завидует животному, которое сейчас же забывает и для которого каждое мгновение действительно умирает, погружаясь в туман и ночь и угасая навсегда. Столь *неисторически* живет животное: оно растворяется в настоящем, как целое число,

не оставляя по себе никаких странных дробей, оно не умеет притворяться, ничего не скрывает и в каждый данный момент является вполне тем, что оно есть, и потому не может не быть честным. Человек же, напротив, должен всячески упираться против громадной, все увеличивающейся тяжести прошлого; последняя или пригибает его вниз, или отклоняет его в сторону, она затрудняет его движение, как невидимая и темная ноша, от которой он для виду готов иногда отречься, как это он слишком охотно и делает в обществе равных себе, чтобы возбудить в них зависть. Поэтому-то его волнует, как воспоминание об утраченном рае, зрелище пасущегося стада или более знакомое зрелище ребенка, которому еще нет надобности отрекаться от какого-либо прошлого и который в блаженном неведении играет между гранями прошедшего и будущего. И все же играм ребенка также наступает конец: слишком рано отнимается у него способность забвения. Тогда научается он понимать значение слова «было», того рокового слова, которое, знаменуя для человека борьбу, страдание и пресыщение, напоминает ему, что его существование, в корне, есть никогда не завершающееся Imperfectum. Когда же смерть приносит наконец желанное забвение, то она похищает одновременно и настоящее вместе с жизнью человека и этим прикладывает свою печать к той истине, что наше существование есть непрерывный уход в прошлое, т.е. вещь, которая живет постоянным самоотрицанием, самопожиранием и самопротиворечием.

Если счастье, если погоня за новым счастьем в каком бы то ни было смысле есть то, что привязывает живущего к жизни и побуждает его жить дальше, то может быть циник ближе к истине, чем всякий другой философ, ибо счастье животного, как самого совершенного циника, служит живым доказательством истинности цинизма. Самое крошечное счастье, если только оно непрерывно и делает человека счастливым, конечно, есть несравненно большее счастье, чем величайшее счастье, которое появляется только как эпизод или, так сказать, как мимолетное настроение, как безумный каприз среди постоянных страданий, страстей и лишений. Но как для самого маленького, так и для самого большого счастья существует только одно, что делает счастье счастьем: способность забвения, или, выра-

жаясь более научно, способность в течение того времени, пока длится это счастье, чувствовать неисторически. Кто не может замереть на пороге мгновения, забыв все прошлое, кто не может без головокружения и страха стоять на одной точке, подобно богине победы, тот никогда не будет знать, что такое счастье, или, еще хуже: он никогда не сумеет совершить того, что делает счастливыми других. Представьте себе как крайний пример человека, который был бы совершенно лишен способности забывать, который был бы осужден видеть повсюду только становление: такой человек потерял бы веру в свое собственное бытие, в себя самого, для такого человека все расплылось бы в ряд движущихся точек, и он затерялся бы в этом потоке становления: подобно верному ученику Гераклита, он в конце концов не нашел бы в себе мужества пошевелить пальцем. Всякая деятельность нуждается в забвении, подобно тому, как всякая органическая жизнь нуждается не только в свете, но и в темноте. Человек, который пожелал бы переживать все только исторически, был бы похож на того, кто вынужден воздерживаться от сна, или же на животное, осужденное жить только все новым и новым пережевыванием одной и той же жвачки. Таким образом, жить почти без воспоминаний, и даже счастливо жить без них, вполне возможно, как показывает пример животного; но совершенно и безусловно немыслимо жить без возможности забвения вообще. Или, чтобы еще проще выразить мою мысль: *существует такая степень бессонницы, постоянного пережевывания жвачки, такая степень развития исторического чувства, которая влечет за собой громадный ущерб для всего живого и в конце концов приводит его к гибели, будь то отдельный человек, или народ, или культура.*

Чтобы найти эту степень и при помощи ее определить границу, за пределами которой прошедшее подлежит забвению, если мы не желаем, чтобы оно стало могильщиком настоящего, необходимо знать в точности, как велика *пластическая сила* человека, народа или культуры; я разумею силу самобытно расти из себя самого, претворять и поглощать прошедшее и чужое и излечивать раны, возмещать утраченное и восстанавливать из себя самого разбитые формы. Существуют люди, которые обладают этой силой в столь незначительной степени, что они, как от крошечного пореза,

неисцелимо истекают кровью от одного единственного переживания, одного единственного страдания, часто даже от одной какой-нибудь легкой несправедливости; с другой же стороны, есть и такие, которых самые дикие и самые ужасные невзгоды или даже их собственные злые деяния трогают столь мало, что они даже среди всего этого или вскоре после этого достигают сносного самочувствия и некоторого спокойствия совести. Чем глубже у человека заложены корни его внутренней природы, тем большую часть прошлого способен он усвоить себе или переработать по-своему; и если бы мы пожелали представить себе наиболее могучую и наиболее необузданную натуру, то мы могли бы узнать ее по тому, что для нее историческое чувство не имело бы никакой границы, за которой оно могло бы оказывать вредное или разрушительное влияние; все прошедшее, будь оно глубоко свойственным или совершенно чуждым, такая натура впитывала бы в себя и словно бы претворяла в свою кровь. А то, чего не могла бы подчинить себе, она сумела бы забыть; оно бы не существовало для нее, горизонт ее был бы замкнут и закончен, и ничто не могло бы напомнить ей, что по ту сторону этого горизонта существуют люди, страсти, учения, цели. И это всеобщий закон: все живое может стать здоровым, сильным и плодотворным только внутри известного горизонта; если же оно не способно ограничить себя известным горизонтом и в то же время слишком эгоцентрично, чтобы заключить свой взгляд в пределы чужого, то оно истощается, увядая, или порывисто идет к преждевременной гибели. Веселость, спокойная совесть, радостная деятельность, доверие к грядущему – все это зависит как у отдельного человека, так и у народа от того, существует ли для него линия, которая отделяет доступное зрению и светлое от непроницаемого для света и темного, зависит от того, умеет ли он одинаково хорошо вовремя забывать, как и вовремя вспоминать, от способности здравого инстинкта определять, когда нужно ощущать исторически и когда – неисторически. Отсюда положение, к рассмотрению которого я приглашаю читателя: *историческое и неисторическое одинаково необходимы для здоровья отдельного человека, народа и культуры.*

Относительно сказанного каждый очевидным образом может сделать следующее наблюдение: исторические

знание и чувство человека могут быть весьма ограничены, его горизонт может быть так же сужен, как горизонт обитателя альпийской долины, в каждое суждение он может вкладывать какую-нибудь несправедливость, в каждый опыт – ложное убеждение, что он первый его сделал, – и, несмотря на всю свою несправедливость и все свои ошибки, он будет стоять перед нами в своем неискоренимом здоровье, полон сил, и радовать все взоры, в то время как рядом с ним несравненно более справедливый и образованный человек болеет и падает вследствие того, что линии его горизонта постоянно беспокойно передвигаются и что он поэтому никак не может выпутаться из несравненно более тонкой сети своей справедливости и истины, чтобы снова вернуться к непосредственным желаниям и влечениям. С другой стороны, мы видели животное, которое, будучи совершенно лишено исторического чувства и заключено внутри горизонта, сводящегося чуть ли не к одной точке, наслаждается тем не менее неким счастьем или по крайней мере живет, не зная пресыщения и притворства; поэтому мы должны считать способность чувствовать в известной степени неисторически более важной и более первоначальной, поскольку она является фундаментом, на котором только вообще и может быть построено нечто правильное, здоровое и великое, нечто подлинно человеческое. Неисторическое подобно окутывающей атмосфере, в которой только и возникает жизнь с тем, чтобы вновь исчезнуть с уничтожением этой атмосферы. И вправду, только благодаря тому, что человек может при помощи мысли, обдумывания, сравнения, отделения и соединения ввести в границы этот неисторический элемент, только благодаря тому, что это обволакивающее, ограничивающее туманное облако прорезывается ярким, молниеносным лучом света, – то есть только благодаря способности использовать прошедшее для жизни и вновь превращать произошедшее в историю, человек делается человеком; но в избытке истории человек снова перестает быть человеком, а без упомянутой оболочки неисторического он никогда бы не начал и не отважился ничего начать. Где мы найдем те деяния, которые человек мог бы совершить, не войдя сперва в туман неисторического? Или, оставляя в стороне образы и прибегая для иллюстра-

ции этой мысли к примеру, представим себе человека, которого бросает во все стороны и влечет какая-нибудь сильная страсть к женщине или к великой идее: как изменяется для него его мир! Оглядываясь назад, он чувствует себя слепым; когда прислушивается к чему-нибудь со стороны, все чужое кажется ему глухим шумом, лишенным всякого значения; все же, что он вообще способен теперь воспринимать, никогда он еще не воспринимал столь ощутимо близким, столь красочным, звучащим, освещенным, как бы действующим на все его чувства одновременно. Все его оценки подверглись изменению или потеряли прежнее значение; многого он совсем не может более ценить, ибо почти вовсе не ощущает его: он спрашивает себя, неужели он так долго был рабом чужих слов, чужих мнений; он удивляется тому, что его память неутомимо вращается все в том же круге и в то же время слишком слаба и утомлена, чтобы хоть раз решиться сделать скачок за пределы этого круга. Это самое несправедливое на свете состояние, ограниченное, неблагодарное к прошлому, слепое к опасностям, глухое к предупреждениям, маленький живой водоворот в мертвом море ночи и забвения; и все-таки это состояние – будучи глубоко неисторическим и антиисторическим – является лоном, порождающим не только несправедливое, но, скорее, всякое действительное деяние, и ни один художник никогда не напишет своей картины, ни один полководец не одержит победы, ни один народ не завоюет свободы, если все они в подобном неисторическом состоянии предварительно не жаждали этой цели и не стремились к ней. Как всякий деятель, по выражению Гёте, всегда бессовестен, так же он и чужд знанию, он забывает все остальное, чтобы достигнуть одного, он несправедлив к тому, что лежит позади его, и знает только одно право – право того, что в данную минуту должно совершиться. Поэтому каждый деятель любит свое деяние в бесконечно большей степени, чем оно этого заслуживает; и лучшие деяния совершаются при таком избытке любви, которого они во всяком случае не могут заслуживать, как бы неизмеримо велика ни была вообще их ценность.

Если бы кто получил возможность в целом ряде случаев проникнуть в ту неисторическую атмосферу, в которой возникает каждое великое историческое событие, и подышать

ею некоторое время, то такой человек сумел бы, может быть, как познающее существо, возвыситься до *над-исторической* точки зрения, на которую Нибур однажды указал как на возможный результат исторических размышлений. «Для одной цели, по крайней мере, – говорит он, – пригодна история, ясно и основательно понятая: она показывает, что даже величайшие и гениальнейшие представители нашего человеческого рода не сознают, насколько случайно их глаз принял ту форму, через которую они не только сами смотрят, но и насильственно заставляют смотреть всех других, – насильственно потому, что интенсивность их сознания необыкновенно велика. Кто не знает и не понял этого совершенно определенно и на основании целого ряда случаев, того порабощает явление могучего духа, вкладывающего в данную форму высшее напряжение страсти». Над-исторической мы могли бы назвать эту точку зрения потому, что тот, кто стоит на ней, мог бы навсегда потерять охоту жить дольше и участвовать в исторической работе, постигнув с полной ясностью важнейшее условие всякой деятельности, именно ту слепоту и ту несправедливость, которые царствуют в душе каждого деятеля; он был бы даже излечен от чрезмерного уважения к истории: ведь он научился бы по поводу каждого человека, по поводу каждого события греческой или турецкой истории времен первого или девятнадцатого столетия давать себе ответ на вопрос, как и для чего мы живем. Тот, кто вздумал бы спросить своих знакомых, желали бы они еще раз пережить последние десять или двадцать лет, мог бы легко подметить, кто из них имеет задатки для той над-исторической точки зрения, о которой мы упоминали выше; правда, что они все ответили бы, вероятно, на этот вопрос: «нет», но они указали бы различные основания для этого «нет» Одни, может быть, для своего утешения скажут: «следующие двадцать будут лучше». Это те, о которых Дэвид Юм насмешливо замечает:

And from the dregs of life hope to receive,
What the first sprigthly running could not give[1].

1 От остатков жизни они надеются получить то, чего не смогло дать первое страстное движение (*англ.*). См. прим.

Таких людей мы назовем историческими; всякое обращение к прошлому вызывает в них стремление к будущему, распаляет в них стремление к будущему, распаляет в них решимость продолжать жизненную борьбу, воспламеняет в них надежду на то, что нужное еще придет, что счастье скрывается за той горой, к которой они направляют свой путь. Эти исторические люди верят, что смысл существования будет все более раскрываться по ходу *процесса* существования, они оглядываются назад только затем, чтобы путем изучения предшествующих стадий процесса понять настоящее и научиться энергичнее желать будущего; они не знают вовсе, насколько неисторически они мыслят и действуют, несмотря на весь свой историзм, и в какой степени их занятия историей являются служением не чистому познанию, но жизни.

Но тот же вопрос, на который мы получили первый ответ, может вызвать иногда и другой ответ. Правда, и он сведется к тому же «нет!», но к иначе обоснованному «нет», а именно – к «нет» над-исторического человека, который видит спасение не в процессе, но для которого мир в каждое отдельное мгновение представляется как бы остановившимся и законченным. Чему, в самом деле, могли бы еще научить новые десять лет, если это не удалось сделать предыдущим десяти годам!

Заключается ли смысл исторического поучения в счастье или в резиньяции, в добродетели или в покаянии, в этом над-исторические люди никогда не были согласны между собой; но, в противоположность всем историческим точкам зрения на прошлое, все они с полным единодушием приходят к одному выводу: прошлое и настоящее – это одно и то же, именно нечто, при всем видимом разнообразии типически одинаковое и, как постоянное повторение непреходящих типов, представляющее собой неподвижный образ неизменной ценности и вечно одинакового значения. Сотни различных языков соответствуют тем же типически прочным потребностям человека, так что тот, кто понимал бы эти потребности, не смог бы из всех этих языков узнать ничего нового; точно так же над-исторический мыслитель освещает себе изнутри всю историю народов и отдельных личностей, восстанавливая в своем ясновидении первоначальный смысл различных исторических иеро-

глифов и постепенно даже уклоняясь от утомляющего притока все новых и новых письмен: ибо бесконечный преизбыток развертывающихся перед ним событий не может не вызывать в нем в конце концов чувства сытости, пресыщения и даже отвращения! Поэтому даже самый смелый между ними в конечном счете, может быть, готов сказать своему сердцу вместе с Джакомо Леопарди:

«Порывы твои
напрасны. Земля недостойна
и вздоха. Вся жизнь –
лишь горечь и скука. Трясина – весь мир.
Отныне наступит покой».

Но оставим над-историческим людям их отвращение и их мудрость: давайте лучше радоваться сегодня от всего сердца нашему неразумию и приветствовать в лице себя тех, кто деятельно идет вперед и поклоняется процессу. Пусть наша оценка исторического есть только предрассудок Запада – лишь бы мы в пределах этих предубеждений шли вперед, а не стояли на месте! Лишь бы мы могли постоянно делать успехи в одном – именно в изучении истории для целей *жизни*! Мы тогда охотно признаем, что над-исторические люди обладают бо́льшим запасом мудрости, чем мы; главное, чтобы мы только могли быть уверены, что у нас больше жизни, нежели у них: ибо тогда у нашего неразумия во всяком случае больше будущности, чем у их мудрости. И чтобы не оставить никаких сомнений в значении этой противоположности между жизнью и мудростью, я, пользуясь издавна известным и применявшимся всегда с успехом приемом, прямо выставлю несколько тезисов.

Историческое явление, всесторонне познанное в его чистом виде и претворенное в познавательный феномен, представляется для того, кто познал его, мертвым: ибо он узнал в нем заблуждение, несправедливость, слепую страсть и вообще весь темный земной горизонт этого явления и вместе с тем научился видеть именно в этом его историческую силу. Эта сила сделалась теперь бессильной для него, как познавшего, но, может быть, еще не сделалась таковой для него, как живущего.

История, понятая как чистая наука и ставшая самодержавной, представляет собой для человечества род окончательного расчета с жизнью. Историческое образование может считаться целительным и обеспечивающим будущее, только когда оно сопровождается новым могучим жизненным течением, например, нарождающейся культурой, то есть когда оно находится во власти и в ведении какой-нибудь высшей силы, а не владеет и ведет самостоятельно.

История, поскольку она сама состоит на службе у жизни, подчинена неисторической власти и потому не может и не должна стать, ввиду такого своего подчиненного положения, чистой наукой вроде, например, математики. Вопрос же, в какой степени жизнь вообще нуждается в услугах истории, есть один из важнейших вопросов, связанных с заботой о здоровье человека, народа и культуры. Ибо при некотором избытке истории жизнь разрушается и вырождается, а вслед за нею вырождается под конец и сама история.

2

Что, тем не менее, жизнь нуждается в услугах истории, это должно быть понято с тою же ясностью, как и другое положение, которое будет доказано дальше, а именно – что избыток истории вредит жизни. История трояким образом служит живущему: как существу деятельному и стремящемуся, как существу охраняющему и почитающему и, наконец, как существу страждущему и нуждающемуся в освобождении. Этой тройственности отношений соответствует тройственность родов истории, поскольку можно различать *монументальный, антикварный и критический* род истории.

История прежде всего потребна деятельному и мощному, тому, кто ведет великую борьбу, кто нуждается в образцах, учителях, утешителях и не может найти таковых между своими современниками и в настоящем. Так история нужна была Шиллеру: ибо наше время, по словам Гёте, так худо, что поэт не встречает более в окружающей его жизни нужной ему натуры. Имея в виду деятельные натуры, Полибий, например, называет политическую историю настоящей школой для подготовки к управлению государством и превос-

ходным учителем, который помогает нам мужественно выносить смены счастья, напоминая о несчастьях других. Кто научился усматривать именно в этом смысл истории, тому должно быть крайне досадно видеть, как любопытные путешественники или кропотливые педанты карабкаются по пирамидам великих эпох прошлого; там, где он находит стимулы к подражанию и усовершенствованию, ему противно встретить жадного до развлечений и сенсаций фланера, который прогуливается там как среди накопленных сокровищ картинной галереи. Деятельная натура, чтобы не потерять окончательно мужества и не почувствовать отвращения среди дряблых и безнадежных празднолюбцев, среди мнимо деятельных, в действительности же только взволнованных и барахтающихся современников, оглядывается назад и прерывает свой стремительный бег к поставленной цели, чтобы немного перевести дух. Целью же своей деятель всегда избирает какое-либо счастье, если не свое собственное, то счастье целого народа или всего человечества; он бежит от резиньяции и пользуется историей как средством против резиньяции. Большею частью его не ждет никакая награда, а разве только слава, то есть право на почетное место в храме истории, где он может, в свою очередь, быть для следующих поколений учителем, утешителем и предостережением. Ибо его заповедь гласит: то, что однажды помогло развернуть и наполнить более прекрасным содержанием понятие «человек», должно присутствовать здесь вечно, чтобы вечно выполнять это назначение. Что великие моменты в борьбе индивидуума образуют одну цепь, что они, как горная гряда, сквозь тысячелетия объединяют собою человечество, что для меня вершина такого давно минувшего мгновения еще остается живой, освещенной и величавой, – все это есть коренная идея той веры в человечество, которая высказывает себя в требовании *монументальной* истории. Но именно вокруг требования, чтобы великое было вечным, и разгорается наиболее ожесточенная борьба. Ибо все прочее, что существует вокруг, кричит: «Нет!». Монументальное не должно появляться – вот противоположный лозунг. Тупая привычка, мелкое и низкое, заполняющее все уголки мира и окутывающее тяжелым земным туманом все великое, чтобы затормозить,

сбить его с толку, приглушить, задушить, бросается на тот путь, которым это великое шествует к бессмертию. Путь же этот проходит через человеческие умы! Умы запуганных и недолговечных зверей, которые постоянно погружены все в те же нужды и с трудом какое-то короткое время ограждают себя от гибели. Ибо они прежде всего хотят лишь одного: жить во что бы то ни стало. Кто мог бы ожидать от них того упорного состязания факелоносцев монументальной истории, благодаря которому лишь и существует великое? И все же вновь и вновь пробуждаются те, кто, оглядываясь на величие прошлого и подкрепленные созерцанием его, чувствуют в себе такое воодушевление, как если бы человеческая жизнь была чем-то восхитительным и как если бы прекраснейшим плодом этого горького урожая было знание о том, что один некогда прошел через это существование гордо и мощно, другой – с глубиной проникновения, третий – с сочувствием и готовностью помочь другим, но все они – оставив после себя учение о том, что лучше всего проживает жизнь тот, кто ни во что ее не ставит. И в то время, как заурядный человек воспринимает свой отрезок бытия с такой унылой серьезностью и страстным упованием, те, на своем пути к бессмертию и к монументальной истории, умели встречать жизнь с олимпийским смехом или, по крайней мере, с возвышенной насмешкой; нередко они с иронией сходили в могилу – ибо что в них могло быть погребено! Разве только то, что всегда угнетало их, как мусор, тлен, суетность и звериное начало, и что теперь обрекалось забвению, будучи уже давно заклеймено их собственным презрением. Но одно будет жить – это монограмма их сокровеннейшего существа, их произведения, их деяния, редкие проблески их вдохновения, их творения; это будет жить, ибо ни одно из позднейших поколений не может обойтись без этого. В такой проясненной форме слава является все-таки чем-то большим, чем просто лакомым куском для нашего себялюбия, как ее характеризовал Шопенгауэр, ибо она есть вера в тесную связь и непрерывность великого всех эпох, она есть протест против смены поколений и преходящести.

Чем же, в таком случае, может быть полезно современному человеку монументальное воззрение на прошлое, т.е. изучение того, что является классическим и выдающим-

ся в прежних эпохах? Тем, что он научается понимать, что то великое, которое некогда существовало, было, во всяком случае, хоть раз *возможно*, и что поэтому оно может стать возможным когда-нибудь еще; он совершает свой путь с бóльшим мужеством, ибо теперь сомнения в осуществимости его желаний, овладевающие им в минуты слабости, лишаются всякой почвы. Предположим, что кто-нибудь поверил, что для основательного искоренения вошедшей ныне в моду в Германии образованности достаточно сотни продуктивных, воспитанных в новом духе и деятельных людей – как сильно может ободрить его тот факт, что всю культуру эпохи Возрождения вынесла на своих плечах такая же кучка в сотню человек.

И все-таки – чтобы на том же примере тут же выяснить и нечто иное – насколько расплывчато и неустойчиво, насколько неточно было бы такое уподобление, сколь многое приходится игнорировать, чтобы это уподобление обрело силу импульса! К какому насилию приходится прибегать, чтобы втиснуть индивидуальность прошлого в одну общую форму и в целях полного соответствия обломать все ее острые углы и линии! В сущности, то, что было возможно однажды, могло бы снова сделаться возможным во второй раз лишь в том случае, если справедливо убеждение пифагорейцев, что при одинаковой констелляции небесных тел должны повторяться на земле одинаковые положения вещей вплоть до отдельных, незначительных мелочей; так что всякий раз, как звезды занимали бы известное положение, стоик соединялся бы с эпикурейцем для того, чтобы убить Цезаря, а при другом положении Колумб открывал бы Америку. Только в том случае, если бы Земля каждый раз разыгрывала сызнова свою пьесу после пятого акта, если бы с точностью было установлено, что через определенные промежутки времени снова будут возвращаться то же сплетение мотивов, тот же deus ex machina, та же катастрофа, могучий человек мог бы пожелать монументальной истории в ее полной иконической *истинности*, то есть каждого факта в его точно установленной особенности и индивидуальности – стало быть, вероятно, не ранее того, как астрономы снова превратятся в астрологов. Но до наступления этого момента монументальная история не может нуждать-

ся в такой полной истинности: она всегда будет сближать разнородные элементы, обобщать и, наконец, отождествлять их; она всегда будет смягчать различия мотивов и побуждений, чтобы за счет *causae* представить *effectus* в монументальном виде, именно как нечто типичное и достойное подражания; ввиду того, что она по возможности игнорирует причины, ее можно было бы назвать почти без преувеличения собранием «эффектов самих по себе» – таких событий, которые во все времена будут производить эффект. То, что народ празднует в своих празднествах или во время религиозных или военных годовщин, и есть, в сущности, такой «эффект сам по себе»; именно он не дает спать честолюбивым людям, его, как амулет, носят на сердце предприимчивые натуры, а вовсе не действительное историческое *сплетение* причин и следствий, которое, всесторонне исследованное, могло бы служить только доказательством того, что в азартной игре будущего и случая никогда не выпадает до конца одинаковая комбинация.

До тех пор, пока душа историографии будет заключаться в тех великих *побуждениях*, которые черпает из него могучая личность, пока прошлое будет изображаться как нечто достойное подражания и как доступное подражанию и могущее повториться еще раз, – до тех пор истории, конечно, грозит опасность подвергнуться некоторому искажению, приукрашиванию и в силу этого сближению со свободным вымыслом; мало того, были эпохи, которые совершенно не могли провести границу между монументальным прошлым и мифического характера фикцией; ибо как из того, так и из другого мира могут быть извлечены одинаковые стимулы. Если поэтому монументалистское изображение прошлого *господствует* над остальными способами исторического описания, то есть над антикварным и критическим, то от этого *страдает* прежде всего само прошлое: целые значительные отделы прошлого предаются забвению и пренебрежению и образуют как бы серый, однообразный поток, среди которого возвышаются, как острова, отдельные разукрашенные факты; в редких личностях, которые выделяются на этом фоне, бросается в глаза нечто неестественное и чудесное вроде золотого бедра, которое ученики Пифагора мнили видеть у своего учителя. Монументальная

история вводит в заблуждение при помощи аналогий: мужественных она путем соблазнительных параллелей воодушевляет на подвиги отчаянной смелости, а одушевление превращает в фанатизм; когда такого рода история западает в головы талантливых эгоистов и мечтательных злодеев, то в результате подвергаются разрушению царства, убиваются властители, начинаются войны и революции, и число исторических «эффектов самих по себе», то есть следствий без достаточных причин, снова увеличивается. До сих пор шла речь о бедах, которые может натворить монументальная история в среде могучих и деятельных натур, безразлично, будут ли эти последние добрыми или злыми; но можно себе представить, каким окажется ее влияние, если она окажется во власти и в услужении бессильных и бездеятельных!

Возьмем самый простой и наиболее распространенный пример. Представим себе нехудожественные и малохудожественные натуры во всеоружии средств, которые может дать монументальная история искусства. Против кого они обратят теперь свое оружие? Против своих наследственных врагов, против людей с сильно выраженной художественной индивидуальностью, то есть против тех, кто одни были бы в состоянии действительно научиться у этого рода истории – научиться тому, что нужно для жизни, и претворить воспринятое в более высокую практику. Но им-то и преграждают путь, им-то и заслоняют свет, кружась с необыкновенным усердием в какой-то идолопоклоннической пляске вокруг наполовину понятого величавого образа какого-нибудь великого прошлого и как бы желая этим сказать: «Смотрите, вот истинное и настоящее искусство; какое вам дело до ищущих и чающих!» По-видимому, эта пляшущая толпа присвоила себе даже привилегию «хорошего вкуса»: ибо всегда творческие натуры оттеснялись теми, кто был только зрителем и сам не прикладывал рук к делу, точно так же, как во все эпохи политические болтуны казались умнее, справедливее и рассудительнее правящих государственных мужей. Если же мы перенесем в область искусства обычай всенародного голосования и преобладание численного большинства и заставим художника защищать свое дело как бы перед трибуналом эстетических бездельников, то можно заранее поклясться, что он будет осужден, и осуж-

ден не вопреки, а именно *благодаря* тому, что его судьи торжественно провозгласили канон монументального искусства (то есть того, которое, согласно данному нами объяснению, во все времена «производило эффект»): ведь у них нет ни потребности в современном искусстве, ни бескорыстной склонности к нему – то есть к такому, которое еще не успело сделаться монументальным и не освятилось для них авторитетом истории искусства. Напротив, их инстинкт подсказывает им, что искусство может быть убито искусством же: монументальное не должно ни в каком случае вновь возникать, а для этой цели именно пригодно то, что однажды уже заручилось в прошлом авторитетом монументального. Таким образом, они – ценители искусства потому, что они вообще хотели бы упразднить искусство; они выдают себя за врачей, тогда как они в сущности задаются целью отравить искусство; они совершенствуют свой язык и свой вкус только для того, чтобы в своей изощренности найти оправдание упорному отказу от предлагаемых им питательных художественных блюд. Ибо они вовсе не хотят, чтобы было создано что-нибудь великое: средством для них служит фраза: «Смотрите, великое уже существует!» В действительности их так же мало трогает то великое, которое уже существует, как и то, которое возникает; об этом свидетельствует вся их жизнь. Монументальная история есть то маскарадное платье, под которым их ненависть к могучим и великим личностям их эпохи выдает себя за удовлетворенное преклонение пред великими и могучими личностями прошедших времен; этот маскарад нужен также для того, чтобы истинный смысл этого способа исторического рассмотрения подменить противоположным: сознают ли они это ясно или нет, но, во всяком случае, действуют они так, как будто их девиз: «Пусть мертвые погребают живых».

Каждый из существующих трех типов истории может законно развиваться лишь на известной почве и в известном климате, на всякой другой почве он вырождается в сорную траву, заглушающую здоровые побеги. Если человек, желающий создать нечто великое, вообще нуждается в прошлом, то он овладевает им при помощи монументальной истории; кто, напротив, желает оставаться в пределах привыч-

ного и освященного преданием, тот смотрит на прошлое глазами историка-антиквара, и только тот, чью грудь теснит забота о нуждах настоящего и кто задался целью сбросить с себя какою бы то ни было ценою угнетающую его тягость, чувствует потребность в критической, то есть судящей и осуждающей, истории. Бесцельное пересаживание растений порождает немало зла: критикующий без нужды, антиквар без пиетета, знаток великого без способности к великому суть именно такие заросшие сорной травой, оторванные от родной почвы и поэтому выродившиеся растения.

3

Итак, история, во вторую очередь, принадлежит тому, кто охраняет и почитает прошлое, кто с верностью и любовью обращает свой взор туда, откуда он появился, где он стал тем, что он есть; этим благоговейным отношением он как бы погашает долг благодарности за самый факт своего существования. Заботливой рукой оберегая издавна существующее, он стремится сохранить в неприкосновенности условия, среди которых он развился, для тех, которые должны прийти после него, – и в этом выражается его служение жизни. В такой душе «скарб отцов» получает совершенно иной смысл: если предки владели им, то теперь он владеет этой душой. Все мелкое, ограниченное, подгнившее и устарелое приобретает свою особую, независимую ценность и право на неприкосновенность вследствие того, что консервативная и благочестивая душа антикварного человека как бы переселяется в эти вещи и устраивается в них, как в уютном гнезде. История родного города становится его собственной историей; городские стены, башни на городских воротах, постановления городской думы, народные празднества ему так же знакомы и близки, как украшенный картинками дневник его юности; он открывает самого себя во всем этом, свою силу, свое усердие, свои удовольствия, свои суждения, свою глупость и свои причуды. Здесь жилось недурно, говорит он, ибо и сейчас живется недурно; здесь можно будет жить недурно и в будущем, ибо мы достаточно упорны и с нами не так-то легко справиться. При

помощи этого «мы» он поднимается над уровнем преходящего загадочного индивидуального существования и представляется самому себе гением своего дома, рода и города. Подчас он даже через далекие затемняющие и сбивающие с пути столетия приветствует душу своего народа как свою собственную; способность проникать в сокровенный смысл событий, предчувствовать этот смысл, способность идти по почти стершимся следам, инстинктивное умение правильно читать перекрывающие друг друга письмена прошлого, быстрое расшифровывание палимпсестов и даже полипсестов – вот его таланты и добродетели. Во всеоружии последних стоял некогда Гёте пред памятником Эрвина фон Штейнбаха; в буре овладевших его душой чувств порвалась историческая туманная завеса, отделявшая его от той эпохи; он в первый раз снова увидел создание немецкого духа, «явленное сильной, суровой германской душой». Такой же инстинкт и такие же чутье и влечение руководили итальянцами эпохи Возрождения и пробудили в их поэтах античный гений Италии к новой жизни, к «чудесному новому звону древней музыки струн», как выразился Якоб Буркхардт. Но наивысшую ценность имеет такой исторически-антикварный инстинкт благоговения там, где он озаряет скромные, суровые и даже убогие условия, в которых живет отдельный человек или народность, светом простого, трогательного чувства веселья и довольства; Нибур, например, с искренней прямотой сознается в том, что прекрасно может жить среди степей и болот, у вольных крестьян, имеющих свою историю, нисколько не страдая от отсутствия искусства. Чем могла бы история лучше служить жизни, как не тем, что она привязывает даже и менее избалованные судьбой поколения и народности к их родине и родным обычаям, делает их более оседлыми и удерживает от стремления искать счастья на чужбине и бороться за него с другими? По временам кажется, что это упрямство и неразумие как бы пригвождают отдельную личность к этим товарищам и окружению, к этому исполненному лишений привычному существованию, к этим голым утесам; но в действительности это – самое благотворное и полезное для общества неразумие, как хорошо известно каждому, кто ясно представляет себе ужасные последствия страсти к переселениям, в

особенности когда она овладевает целыми группами народов, или кто наблюдал вблизи состояние народа, потерявшего преданность своему прошлому и отдавшегося неутомимому космополитическому выбору и поиску все новых форм. Противоположное этому чувство, чувство благополучия дерева, пустившего прочные корни, счастье сознавать себя не таким уж случайным и произвольным, но наследием, цветом и плодом известного прошлого и благодаря этому прощенным и даже оправданным в своем существовании, – вот что теперь предпочитают называть истинным историческим чувством.

Разумеется, это не то состояние, в котором человек наиболее способен переработать прошлое в чистое знание, так что мы и тут можем наблюдать то же, что наблюдали и в области монументальной истории: само прошлое неизбежно подвергается искажению, пока история призвана служить жизни и пока она подчинена власти жизненных инстинктов. Или, прибегая к несколько вольному сравнению: дерево скорее чувствует свои корни, чем видит их, сила же этого чувства измеряется для него величиной и мощью видимых для него ветвей. Если дерево может заблуждаться уже в этом, то как же оно должно заблуждаться относительно всего окружающего его леса, о котором оно что-то знает и ощущает лишь постольку, поскольку этот лес задерживает его собственный рост или способствует ему – и ничего более.

Антикварное чувство отдельной личности, городской общины или целого народа ограничено очень тесными горизонтами; многого они вовсе не замечают, а то немногое, что входит в круг их зрения, они видят слишком близко и оторванно от целого; они не находят для него подходящего масштаба, поэтому считают все одинаково важным и тем придают слишком большое значение каждому отдельному явлению. Кроме того, для явлений прошлого нет никаких ценностных различий и пропорций, которые действительно сравнивали бы друг с другом эти явления, но всегда лишь меры и пропорции явлений по их отношению к личностям или народам, с антикварным интересом оглядывающимся назад.

Тут-то всегда зреет новая опасность: в конце концов может настать день, когда все старое и прошлое, что толь-

ко попадет в поле зрения, будет без дальнейших рассуждений признано равно достойным уважения, а все, что не согласится преклониться пред этой стариной, то есть все новое и возникающее, будет отклонено и воспринято с враждебностью. Так, даже греки мирились с существованием в их изобразительном искусстве иератического стиля наряду со свободным и великим; впоследствии же они не только мирились с острыми носами и ледяной улыбкой, но даже усматривали в них особую изысканность вкуса. Когда чувства народа делаются настолько грубыми, когда история служит минувшей жизни так, что подрывает дальнейшую, и в особенности высшие ее формы, когда историческое чувство народа не сохраняет, а бальзамирует жизнь, – тогда дерево умирает, и притом, вразрез с естественным порядком вещей, умирает постепенно, начиная от вершины и кончая корнями, которые обыкновенно также в конце концов погибают. Сама антикварная история вырождается, когда живая современная жизнь перестает ее одухотворять и одушевлять. Тогда умирает благоговейное отношение к истории, остается только известный ученый навык, эгоистически самодовольно вращающийся вокруг своего центра. Тут-то нашим взорам открывается отвратительное зрелище слепой страсти к собиранию фактов, неутомимого накапливания всего, что когда-либо существовало. Человек окружает себя атмосферой затхлости; ему удается благодаря антикварной манере низвести даже более выдающиеся способности и более благородную потребность на уровень ненасытного любопытства к новому или, точнее, любопытства к старому и всезнайства; часто же он падает так низко, что под конец довольствуется всякой пищей и с удовольствием глотает даже пыль библиографических мелочей.

Но даже когда такое вырождение не наблюдается, когда антикварная история не теряет из-под ног почвы, на которой она только и может произрастать на благо жизни, все-таки опасность еще не может считаться совершенно устраненной, именно если антикварная история развивается слишком пышно и своим ростом заглушает развитие других методов изучения прошлого. Ведь она способна только *сохранять* жизнь, а не порождать ее, поэтому она всегда приуменьшает значение нарождающегося, не обладая для

правильной оценки его тем чутким инстинктом, каким располагает, например, монументальная история. Благодаря этому она задерживает энергичную решимость на новое, парализует силы деятеля, который в качестве такового всегда будет и должен оскорблять некоторые святыни. Самый факт, что известная вещь успела состариться, порождает теперь требование признать за ней право на бессмертие: ибо если подсчитать все, что такой обломок старины – старый обычай отцов, религиозное верование, унаследованная политическая привилегия – успел испытать в течение своего существования, если подсчитать сумму благоговения и поклонения, которыми он окружался со стороны отдельных лиц или поколений, то представляется большой дерзостью или даже кощунством требовать замены подобной старины какой-либо новизной, а такому громадному скоплению благоговений и поклонений противопоставлять единицы нового и современного.

Не ясно ли теперь, насколько необходим подчас человеку наряду с монументальным и антикварным способами изучения прошлого также *третий* способ – *критический*, но и в этом случае только в целях служения жизни. Человек должен обладать и время от времени пользоваться силой разбивать и разрушать прошлое, чтобы иметь возможность жить дальше; этой цели достигает он тем, что привлекает прошлое на суд истории, подвергает последнее самому тщательному допросу и, наконец, выносит ему приговор; но всякое прошлое достойно того, чтобы быть осужденным – ибо таковы уж все человеческие дела: всегда в них мощно сказывались человеческая сила и человеческая слабость. Не справедливость здесь творит суд и не милость диктует приговор, но только жизнь как некая темная, влекущая, ненасытно и страстно сама себя ищущая сила. Ее приговоры всегда немилостивы, всегда пристрастны, ибо они никогда не проистекают из чистого источника познания; но если бы даже приговоры были продиктованы самой справедливостью, то в громадном большинстве случаев они не были бы иными. «Нет в мире вещи, *стоящей* пощады. Творенье не годится никуда». Нужно очень много силы, чтобы быть в состоянии жить и забывать, до какой степени это одно и то же – жить и быть несправедливым. Даже Лютер

выразился однажды, что мир обязан своим возникновением забывчивости Бога: дело в том, что если бы Бог вспомнил о «тяжелых орудиях», то он не сотворил бы мира. Но по временам та же самая жизнь, которая нуждается в забвении, требует временного прекращения способности забвения; это происходит, когда необходимо пролить свет на то, сколько несправедливости заключается в существовании какой-нибудь вещи, например известной привилегии, известной касты, известной династии, и насколько эта самая вещь достойна гибели. Тогда прошлое ее подвергается критическому рассмотрению, тогда подступают с ножом к ее корням, тогда жестоко попираются все святыни. Но это всегда очень опасная операция, опасная именно для самой жизни, а те люди или эпохи, которые служат жизни этим способом, то есть привлекая прошлое на суд и разрушая его, суть опасные и сами подвергающиеся опасности люди и эпохи. Ибо так как мы непременно должны быть продуктами прежних поколений, то мы являемся в то же время продуктами и их заблуждений, страстей и ошибок и даже преступлений, и невозможно совершенно оторваться от этой цепи. Если даже мы осуждаем эти заблуждения и считаем себя от них свободными, то тем самым не устраняется факт, что мы связаны с ними нашим происхождением. В лучшем случае мы приходим к конфликту между унаследованными нами, присущими нам свойствами и нашим познанием, может быть, к борьбе между новой, суровой дисциплиной и усвоенным воспитанием и врожденными навыками, мы стараемся вырастить в себе известную новую привычку, новый инстинкт, вторую натуру, чтобы таким образом искоренить первую натуру. Это как бы попытка создать себе a posteriori такое прошлое, от которого мы желали бы происходить в противоположность тому, от которого мы действительно происходим, – попытка всегда опасная, так как очень нелегко найти надлежащую границу в отрицании прошлого и так как вторая натура по большей части слабее первой. Очень часто дело ограничивается одним пониманием того, что хорошо, без осуществления его на деле, ибо мы иногда знаем то, что является лучшим, не будучи в состоянии перейти от этого сознания к делу. Но все же победа иногда удается, а для борющихся, для тех, кто пользуется

критической историей для целей жизни, остается даже своеобразное утешение: знать, что та первая природа также некогда была второй природой и что каждая вторая природа, одерживающая верх в борьбе, становится первой.

4

Таковы услуги, которые может оказать жизни история; каждый человек и каждый народ нуждается, смотря по его целям, силам и потребностям, в известном знакомстве с прошлым, в форме то монументальной, то антикварной, то критической истории, но нуждается в этом не как сборище чистых мыслителей, ограничивающихся одним созерцанием жизни, и даже не как отдельные единицы, которые в жажде познания могут удовлетвориться только познанием и для которых расширение этого последнего является самоцелью, но всегда в виду жизни, а следовательно, всегда под властью и верховным руководством этой жизни. Что таково естественное отношение известной эпохи, известной культуры, известного народа к истории – вызываемое голодом, регулируемое степенью потребности, удерживаемое в известных границах внутренней пластической силой, – что, далее, знание прошлого во все времена признавалось желательным только в интересах будущего и настоящего, а не для ослабления современности, не для подрыва устоев жизнеспособности будущности, – это все очень просто, как сама истина, и ясно до очевидности даже тому, кто не считает необходимым требовать и по этому поводу исторических доказательств.

А теперь попробуем бросить беглый взгляд на наше время! Испуганные, мы в ужасе отступаем: куда исчезла вся ясность, вся естественность и чистота упомянутого отношения жизни к истории? Запутанной, преувеличенной, беспокойной встает теперь перед нами эта проблема! Быть может, в этом виноваты мы – исследователи? Или на самом деле констелляция жизни и истории изменилась благодаря тому, что между ними встала какая-то могучая и враждебная звезда? Пусть другие доказывают, что наше зрение обманывает нас; мы же расскажем то, что видим. Созвездие дей-

ствительно изменилось, потому что в него вступила новая, ослепительно сверкающая звезда – *наука, и требование, чтобы история стала наукой.* Теперь не одна жизнь царствует и подчиняет себе знание прошлого – нет, пограничные столбы вырваны, и все, что когда-либо было, обрушивается на человека. Все перспективы отодвигаются назад, к началу всякого развития, то есть в бесконечность. Ни перед одним поколением не открывалось еще такого необозримого зрелища, какое развертывает перед нами теперь наука о всеобщем развитии – история; правда, она руководится при этом весьма смелым, но опасным девизом: fiat veritas, pereat vita[1].

Попытаемся теперь составить себе представление о том духовном процессе, который возникает при этом в душе современного человека. Словно из неиссякаемого источника, изливаются на человека все новые и новые потоки исторического знания, чуждое и лишенное связи надвигается на него, память широко отворяет свои двери, все же не будучи в состоянии вместить всего, природа прилагает все усилия, чтобы достойным образом принять, разместить и почтить чужестранных гостей, но эти последние враждуют между собой, и, по-видимому, она должна одолеть и подчинить себе всех их, чтобы не погибнуть самой в их столкновении. Привычка к такому беспорядочному, бурному и воинственному хозяйничанью становится постепенно второй натурой, хотя уже с самого начала ясно, что эта вторая натура гораздо слабее, гораздо беспокойнее и во всех отношениях менее здорова, чем первая. Современный человек вынужден под конец всюду таскать с собой невероятное количество неудобоваримых камней знаний, которые впоследствии при случае могут, как говорится в сказке, «изрядно стучать в желудке». Эта стукотня выдает существенное свойство современного человека – удивительное противоречие между внутренней сущностью, которой не соответствует ничто внешнее, и внешностью, которой не соответствует никакая внутренняя сущность, – противоречие, которого не знали древние народы. Знание, поглощаемое в избытке не ради утоления голода и даже сверх потребности, перестает действовать в качестве мотива, преобразующего и

1 пусть свершится истина, хотя бы погибла жизнь (*лат.*).

побуждающего проявиться вовне, и остается скрытым в недрах некоего хаотического внутреннего мира, который современный человек со странной гордостью считает свойственной ему лично «духовностью». В таких случаях обыкновенно говорят: содержание у нас есть, нам не хватает только формы; но для всего живого это совершенно недопустимое противоречие. Наша современная культура именно потому и имеет характер чего-то неживого, что ее совершенно нельзя понять вне этого противоречия, или, говоря иначе, она, в сущности, и не может вовсе считаться настоящей культурой; она не идет дальше некоторого знания о культуре, это – мысль о культуре, чувство культуры, она не претворяется в культуру-решимость. То же, что на самом деле действует как мотив, проявляясь в поступке, является часто не более как безразличной условностью, жалким подражанием или даже грубой гримасой. Внутреннее чувство в этом случае покоится, подобно той змее, которая, проглотив целого кролика, спокойно укладывается на солнце, избегая всяких движений, кроме самых необходимых. Внутренний процесс становится теперь самоцелью: он и есть истинная «культура». Такая культура может вызвать у каждого наблюдателя со стороны лишь одно пожелание – чтобы она не погибла от неудобоваримости своего содержания. Если мы представим себе, что в роли такого наблюдателя является грек, то последний, наверно, пришел бы к заключению, что для новых людей понятия «образованный» и «исторически образованный» переплелись так тесно между собой, как будто бы они были тождественны и отличались друг от друга только числом слов. Если бы он далее к этому прибавил еще, что можно быть очень образованным и не иметь в то же время никакого исторического образования, то многие подумали бы, что они ослышались, и, наверно, в ответ на это только покачали бы головой. Одна довольно известная небольшая народность не очень отдаленного прошлого – я разумею греков – в период своего величайшего могущества сумела упорно сохранять присущее ей неисторическое чувство; если бы современный человек каким-нибудь чудом был перенесен в эту атмосферу, он, по всей вероятности, нашел бы греков очень «необразованными», чем, правда, была бы раскрыта и отдана на всеобщее

посмешище столь тщательно скрываемая тайна современного образования, ибо мы, современные, ничего не имеем своего; только благодаря тому, что мы нагружаем и перегружаем себя чужими эпохами, нравами, искусствами, философскими учениями, религиями, знаниями, мы становимся чем-то достойным внимания, а именно, ходячими энциклопедиями, за которые, может быть, нас и принял бы древний эллин, перенесенный в нашу эпоху. Ценность же энциклопедий заключена только в их содержании, то есть в том, что в них написано, а не в том, что значится на обложке – не во внешней оболочке, не в переплете. Точно так же и сущность всего современного образования заключается в его содержимом; на обложке же его переплетчик напечатал что-то вроде: «руководство по внутреннему образованию для варваров по внешности». Мало того, это противоречие между внешним и внутренним делает внешнее еще более варварским, чем оно было бы, если бы дело шло о каком-нибудь некультурном народе, развивающемся только из себя сообразно своим грубым потребностям. Ибо, в самом деле, какое средство остается природе, чтобы одолеть излишек напирающего со всех сторон? Конечно, только одно – воспринимать этот материал сколь можно легче, чтобы потом тем скорее устранить его и от него отделаться. Отсюда возникает привычка относиться к действительным вещам несерьезно; на этой почве образуется «слабая личность», вследствие чего действительное, существующее производит только незначительное впечатление; во внешнем выражении люди становятся все более пассивными и индифферентными, причем опасная пропасть между содержанием и формой все расширяется до тех пор, пока человек не сделается совершенно нечувствительным к проявлениям варварства, при условии, однако, чтобы память постоянно возбуждалась, чтобы не прекращался приток новых интересных явлений, которые могли бы быть опрятно разложены по ящикам этой памяти. Культура известного народа, взятая в ее противоположности варварству, была однажды определена не без некоторого основания как единство художественного стиля во всех проявлениях жизни этого народа; определение это, однако, не должно быть понимаемо в том смысле, что здесь имеется в виду противоположность между вар-

варством и *прекрасным* стилем; народ, за которым признается право на известную культуру, должен лишь во всякой действительности представлять собой некое живое единство и не распадаться столь безобразно на внешнюю и внутреннюю стороны, на содержание и форму. Кто стремится к развитию культуры того или иного народа или желает содействовать ей, тот должен стремиться к этому высшему единству и содействовать ему, работая над вытеснением современной образованности истинным образованием; он должен иметь смелость поставить себе ясно вопрос, каким образом может быть восстановлено подорванное историей здоровье народа и как последнему снова обрести свои инстинкты и вместе с ними свою честность.

Я имею в виду при этом главным образом нас, современных немцев, страдающих, более чем какой-либо другой народ, упомянутой слабостью личности и противоречием между содержанием и формой. Форма в глазах наших является лишь простой условностью, как некоторая маска или притворство, и потому она если и не внушает нам прямой ненависти, то, во всяком случае, не пользуется любовью. Еще правильнее было бы сказать, что мы испытываем какой-то необыкновенный страх перед словом «условность», да и перед самим фактом условности. Из-за этого страха немец ушел из школы французов: ибо он хотел стать более естественным и, следовательно, более немцем. Но, по-видимому, он просчитался в этом «следовательно»: освободившись от школы условности, он побрел, как и куда ему казалось более приятным, а проделывал теперь, в сущности неряшливо и безалаберно и как бы спросонья, то же, чему он прежде столь старательно и часто небезуспешно подражал. Так живем мы, по сравнению с прежними временами, и поныне еще среди какой-то развязно-некорректной французской условности, как об этом свидетельствует вся наша манера ходить, стоять, беседовать, одеваться и жить. Думая возвратиться назад, к естественности, мы, в сущности, усвоили себе какую-то халатность, распущенность, желание как можно меньше утруждать себя. Стоит только пройтись по улицам немецкого города, чтобы увидеть, что вся наша условность, в сравнении с национальными особенностями иностранных городов, сказывается только на отрицатель-

ной стороне дела – все бесцветно, затаскано, плохо скопировано, небрежно. Каждый действует в силу своего собственного усмотрения, но не в силу мощного продуманного усмотрения, а по правилам, подсказанным прежде всего всеобщей торопливостью и затем всеобщим стремлением не очень обременять себя. Какая-нибудь одежда, изобретение которой не требует особенных усилий мысли, а надевание – особенной затраты времени, другими словами, одежда, заимствованная у иностранцев и сшитая по их образцу по возможности небрежно, у немцев сейчас же сходит *за дополнение* к немецкому национальному костюму. Чувство формы отрицается немцами чуть ли не с насмешкой – ибо ведь у них есть *чувство содержания:* недаром они славятся как народ внутренней содержательности.

Но эта внутренняя содержательность связана и с одной очень известной опасностью: само содержание, которое, согласно предположению, не проявляется ни в чем вовне, может при случае совершенно улетучиться, а между тем снаружи отсутствие его совершенно не было бы заметно, как незаметно было раньше его присутствие. Но допустим, что немецкий народ очень далек от этой опасности; все-таки иностранцы всегда до известной степени правы, когда они упрекают нас в том, что наша внутренняя содержательность слишком слаба и неупорядоченна, чтобы проявить себя вовне и вылиться в определенную форму. Тем не менее, этот внутренний мир может отличаться особенно тонкой восприимчивостью, серьезностью, глубиной, искренностью, добротой и, быть может, более богат, чем у других народов; но как целое он остается слабым, ибо все эти прекрасные отдельные волокна не сплетаются в один мощный узел; поэтому видимое внешнее действие не может считаться проявлением и откровением целого внутреннего мира, а только слабой или грубой попыткой одного такого отдельного волокна выдать себя за целое. Поэтому о немце совершенно нельзя судить по одному его поступку, и индивидуальность его может и после этого поступка оставаться совершенно скрытой. Как известно, немца нужно судить по его мыслям и чувствам, а эти последние высказываются им в настоящее время в его книгах. Если бы только эти самые книги не возбуждали за последнее время, более

чем когда-либо, сомнения, продолжает ли действительно эта знаменитая внутренняя содержательность гнездиться в своем недоступном маленьком храме; а то возможна ужасная мысль, что эта внутренняя содержательность в один прекрасный день исчезла и что осталась только одна внешность – та высокомерно неуклюжая и униженно развязная внешность, которая составляет характерную особенность немца. Это было бы почти столь же ужасно, как если бы внутренний мир незаметно был в своем храме подменен другим, поддельным, подкрашенным и накрашенным, и превратился в комедианта, если не во что-либо еще худшее; так склонен был, например, думать на основании своего театрально-драматического опыта Грильпарцер, этот созерцательно-спокойный сторонний наблюдатель. «Мы ощущаем с помощью абстракций, – говорит он, – и мы едва ли можем себе представить, как выражается ощущение у наших современников; мы заставляем его проделывать скачки, которых оно теперь само не делает. Шекспир испортил всех нас, новейших писателей».

Это – единичный и, может быть, слишком быстро обобщенный факт; но как ужасно было бы, если бы мы действительно имели право обобщить его, если бы единичные факты такого рода слишком часто попадались на глаза наблюдателю, – каким отчаянием тогда звучал бы вывод: мы, немцы, ощущаем с помощью абстракции, мы все испорчены историей, – вывод, который мог бы подорвать в самом корне всякую надежду на грядущую национальную культуру: ибо всякая подобная надежда является продуктом веры в неподдельность и непосредственность немецкого чувства, веры в нетронутость внутреннего мира. К чему еще надеяться, к чему верить, когда самый источник веры и надежды замутился; когда наша внутренняя природа научилась делать скачки, плясать, румяниться, проявлять себя в абстрактной форме и с известным расчетом, постепенно утрачивая способность находить самое себя! И как может великий продуктивный ум долго выдержать среди народа, который не уверен больше в единстве своего внутреннего мира и который распался на две половины: на образованных с искаженным и запутанным внутренним миром и на необразованных с недоступным внутренним миром! Как

может он это выдержать, когда единство народного чувства утрачено, когда он, кроме того, знает, что именно чувства той части народа, которая называет себя образованной и заявляет претензии на представительство национального художественного духа, поддельны и подкрашены. Пусть даже в отдельных случаях суждение и вкус единиц сделались более утонченными и изощренными, – это не может его вознаградить: не мучительно ли для него чувствовать, что ему приходится говорить как бы для какой-то кучки сектантов и что он более не нужен в среде своего народа. Может быть, ему было бы приятнее теперь закопать в землю свои сокровища, ибо ему противно высокомерное покровительство секты в то время, когда его сердце полно любви ко всем. Инстинкт народа уже больше не идет ему навстречу; бесполезно раскрывать ему со страстной надеждой свои объятия. Что остается ему теперь делать, как не направить всю силу своей ненависти против этого связывающего его заклятия, против препятствий, воздвигаемых на его пути так называемой культурой его народа, чтобы заклеймить, по крайней мере, в качестве судьи, то, что для него, живого и творящего жизнь, означает разрушение и осквернение: таким образом он вынужден променять божественную радость творчества и содействия на глубокое сознание неотвратимости своей судьбы и окончить свое существование как одинокий мыслитель и пресыщенный знаниями мудрец. Это тягостнейшее из всех зрелищ: в каждом наблюдателе оно пробуждает чувство священной обязанности; он скажет себе: здесь нужна твоя помощь, ибо то высшее единство в природе и душе народа должно быть восстановлено и разрыв между внутренним и внешним должен исчезнуть под ударами молота нужды. К каким же средствам он должен теперь обратиться? Что ему остается опять-таки, кроме глубокого понимания? Высказывая свое убеждение, распространяя его, сея его щедрой рукой, он надеется взрастить известную потребность, а сильная потребность когда-нибудь породит мощное дело. И чтобы не было никаких сомнений, в чем я вижу эту нужду, эту потребность, это познание, о котором я говорил только что, – я удостоверяю здесь определенно, что то единство, к которому мы стремимся, и стремимся с большей страстностью, чем к политическому объе-

динению, есть *немецкое единство, единство немецкого духа и жизни, основанное на устранении противоположности между формой и содержанием, внутренним миром и условностью.*

5

В пяти отношениях представляется мне опасным и вредным для жизни перенасыщение той или иной эпохи историей: избытком истории порождается описанный выше контраст между внешним и внутренним и ослабляется тем самым личность; этот избыток создает для эпохи иллюзию, будто она в большей степени, чем всякая другая, обладает редчайшей из всех добродетелей – справедливостью: избытком этим нарушаются инстинкты народа, задерживается созревание как отдельных личностей, так и целого; на почве этого избытка вырастает вредная при всех условиях вера в старость человечества – вера в то, что наше поколение есть запоздалое поколение эпигонов; благодаря тому же избытку эпоха усваивает себе опасное настроение иронии к самой себе, которое в свою очередь влечет за собой еще более опасное настроение цинизма, а это последнее способствует все большему развитию расчетливой эгоистической практики, парализующей и в конце концов подрывающей жизненные силы.

А теперь возвратимся к нашему исходному утверждению: современный человек страдает ослаблением личности. Римлянин императорского периода, зная, что к услугам его целый мир, перестал быть римлянином и среди нахлынувшего на него потока чуждых ему элементов утратил способность быть самим собой и выродился под влиянием космополитического карнавала религий, нравов и искусств; эта же участь, очевидно, ждет и современного человека, который устраивает себе при помощи художников истории непрерывный праздник всемирной выставки; он превратился в наслаждающегося и бродячего зрителя и переживает такое состояние, из которого даже великие войны и революции могут вывести его разве только на одно мгновение. Война еще не кончилась, а ее уже успели сто тысяч раз переработать в печатную бумагу, она уже предлагается как новейшее

средство для возбуждения испорченного аппетита тем, кто падок на историю. И кажется почти невозможным извлечь сильный и полный тон даже при помощи сильнейшего удара по струнам: он сейчас же слабеет и в следующее же мгновение звучит исторически-нежно и в бессилии замирает. Выражаясь на языке морали, вы не умеете удержаться на почве возвышенного, ваши деяния суть внезапные удары, а не раскаты грома. Даже если вам удается совершить нечто грандиозное и удивительное – оно все же скучно и беззвучно нисходит в Оркус. Ибо искусство тотчас же обращается в бегство, как только вы приступаете к возведению исторического шатра над вашими подвигами. Тот, кто стремится мгновенно понять, рассчитать и постигнуть там, где он, глубоко потрясенный, должен был бы стараться удержать непостижимое, ибо оно возвышенно, может быть назван понятливым, но только в том смысле, в котором Шиллер говорит о разумении рассудительных; он не видит чего-то такого, что видно ребенку, не слышит чего-то такого, что слышно ребенку, и это что-то – как раз самое важное; а так как оно ему не понятно, то его понимание оказывается более ребячливым, чем дитя, и более наивным, чем сама наивность, – несмотря на все хитрые складки в пергаментных чертах его лица и виртуозное искусство, обнаруживаемое его пальцами в деле распутывания запутанного. Это значит: он уничтожил и утратил свой инстинкт, он не может по-прежнему, отпустив поводья, вввериться «божественному зверю» в тех случаях, когда разум ему изменяет, а путь идет через пустыни. От этого индивид делается робким, нерешительным и не смеет больше рассчитывать на самого себя. Он погружается в самого себя, в свой внутренний мир, то есть в беспорядочную груду накопленного знания, которое не проявляет себя ничем вовне, и образования, которое не претворяется в жизнь. Если мы обратим внимание на внешнее, то мы заметим, что подавление инстинктов историей превратило людей почти в сплошные abstractis и тени: никто не осмеливается проявить свою личность, но каждый носит маску или образованного человека, или ученого, или поэта, или политика. Когда же кто-нибудь вздумает ухватиться за эти маски в полной уверенности, что это не шутовская комедия, а серьезное дело (ибо все они имеют самый

серьезный вид), то в руках у него остается только ветошь, да пестрые лоскутья. Поэтому не следует поддаваться обману, но нужно прикрикнуть: «Или снимите ваши маскарадные уборы, или будьте тем, чем вы кажетесь». Нельзя больше допускать, чтобы истинно серьезные люди обращались в Дон-Кихотов, ибо у них есть лучшее занятие, чем борьба с такими мнимыми реальностями. Во всяком случае, они должны зорко вглядываться в окружающее, видя замаскированных людей, они должны кричать: «Стой, кто тут?» – и срывать с них личины. Удивительное дело! История должна была бы прежде всего сообщать людям мужество быть *честными,* хотя бы даже честными глупцами; и таково было действительно всегда ее влияние, но только не теперь! Мы видим одновременное господство исторического образования и универсального буржуазного сюртука. Между тем как еще никогда не говорилось с таким пафосом о «свободной личности», мы не видим не только свободных, но даже просто личностей, а только боязливо закутанных универсальных людей. Индивид притаился в своем внутреннем мире: снаружи его совершенно незаметно, причем позволительно усомниться, могут ли вообще существовать причины без следствий. Или, может быть, необходимо поколение евнухов для охраны великого всемирно-исторического гарема? Им, конечно, чистая объективность очень к лицу. Дело похоже на то, что задача сводится к охране истории, с тем чтобы из нее получались лишь разные «истории», а не действительные события, и к предотвращению возможности для личности сделаться при посредстве истории «свободной», то есть правдивой в отношении себя самой, правдивой в отношении других, и притом не только на словах, но и на деле. Только благодаря такой правдивости обнаружатся убожество и внутренняя нищета современного человека, а на место тщательно прикрывающей всё условности и маскарада могут появиться в качестве истинных спасителей искусство и религия, чтобы общими силами создать такую культуру, которая отвечала бы истинным потребностям человека и которая не учила бы нас только, подобно современному общему образованию, обманывать самих себя относительно этих потребностей и превращаться таким образом в ходячую ложь.

В каких неестественных, искусственных и, во всяком случае, недостойных положениях приходится оказываться в эпоху, страдающую недугом общего образования, правдивейшей из всех наук – честной нагой богине философии! В этом мире вынужденного, внешнего однообразия она остается лишь ученым монологом одинокого скитальца, случайной добычей отдельного охотника, скрытой кабинетной тайной или безопасной болтовней между академическими старцами и детьми. Никто не осмеливается применить к самому себе закон философии, никто не решается жить как философ, обнаруживая ту простую верность мужа, которая заставляла античного мыслителя вести себя, как приличествовало стоику, где бы он ни находился и что бы ни делал, если только он однажды присягнул на верность стоической философии. Все же современное философствование носит политический и полицейский характер и обречено правительствами, церковью, академиями, нравами и людской трусостью на роль только ученой внешности; оно ограничивается или вздохом: «о, если б когда-нибудь», или же сознанием: «так было когда-то». Философия оказывается бесправна внутри исторического образования, коль скоро она не хочет ограничиваться ролью ушедшего в себя пассивного знания без воздействия на жизнь: если бы современный человек вообще мог быть мужественным и решительным, если бы он не был даже в своих антипатиях существом исключительно внутренним, он отрекся бы от такой философии; теперь же он довольствуется тем, что стыдливо прикрывает ее наготу. Да, можно думать, писать, говорить, учить философски, – все это еще, пожалуй, разрешается; только в области действия, в так называемой жизни, дело обстоит иначе: тут позволено только что-нибудь одно, а все остальное просто невозможно; так угодно историческому образованию. Да и люди ли это действительно, спрашиваешь себя тогда, или, может быть, только думающие, пишущие и говорящие машины?

Гёте говорит где-то о Шекспире: «Никто не относился к материальному костюму с большим пренебрежением, чем он; но ему была отлично знакома внутренняя одежда человека, а перед нею все равны. Говорят, он превосходно изображал римлян, я этого не нахожу: все они чистокровные

англичане, но, конечно, они люди, люди до мозга костей, а таким под стать и римская тога». Теперь я спрашиваю, мыслимо ли изобразить наших теперешних литераторов, представителей народа, чиновников и политиков в виде римлян? Разумеется, из этого ничего не выйдет, ибо они не люди, а только ходячие компендиумы и, так сказать, конкретные абстракции. Если у них и есть характер и своеобразность, то запрятаны они настолько глубоко, что их невозможно извлечь на свет божий: если они и могут считаться людьми, то только для того, кто «гадает по внутренностям». Для всех прочих они – нечто иное: не люди, не боги, не животные, а продукты исторического образования, одно сплошное образование, образ, форма без сколько-нибудь заметного содержания, и, к сожалению, лишь плохая форма, к тому же еще и униформа. И в этом смысле должно быть понято и оценено мое положение: *историю могут вынести только сильные личности, слабых же она совершенно подавляет.* Причина в том, что история сбивает с толку наши чувства и ощущения в тех случаях, когда эти последние недостаточно мощны, чтобы помериться с прошлым. Тот, кто не осмеливается больше полагаться на самого себя, но невольно для определения своего чувства обращается к истории за советом: «как мне в этом случае ощущать?», тот из трусости постепенно превращается в актера и играет какую-нибудь роль, большей частью даже несколько ролей, и потому играет каждую из них так плохо и плоско. Постепенно исчезает всякое соответствие между человеком и областью его исторических изысканий; мы видим, что мелкие самоуверенные юнцы обращаются с римлянами запанибрата, они копаются, роются в останках греческих поэтов так, как будто и эти corpora[1] сохранились только для их хирургических операций и были бы vilia[2], подобно их собственным литературным corpora. Если, положим, кто-нибудь занимается изучением Демокрита, то мне всегда хочется спросить: почему именно Демокритом? почему не Гераклитом? или Филоном? или Бэконом? или Декартом? и так дальше по усмотрению. И далее: почему именно философом? почему не поэтом, не

1 тела (*лат.*).

2 ничтожны (*лат.*).

оратором? И почему вообще греком, почему не англичанином, турком? Разве прошлое не достаточно обширно, чтобы в нем не нашлось и для вас чего-нибудь, что не делало бы ваш выбор столь случайным и смешным? Но как уже сказано, это – поколение евнухов: ибо для евнухов все женщины одинаковы, для них женщина есть женщина вообще, женщина в себе, вечно недоступное – и потому совершенно безразлично, чем бы вы ни занимались, лишь бы только история могла сохранить свою прекрасную «объективность» благодаря усилиям как раз тех, кто никогда бы не мог сам делать историю. И так как вас никогда не будет притягивать к себе вечно-женственное, то вы его низводите до себя и, будучи сами среднего рода, трактуете историю как нечто среднего рода. Но чтобы кто-нибудь не подумал, что я всерьез сравниваю историю с вечно-женственным, считаю нужным подчеркнуть, что я рассматриваю историю скорее как нечто вечно-мужественное; для тех же, кто насквозь пропитан «историческим образованием», довольно безразлично, должна ли история рассматриваться как первое или второе; ведь они сами и не женщины, и не мужчины, и даже не communia, а всегда только средний род, или, выражаясь на образованный манер, только вечно объективное.

А раз личности выветрились вышеописанным путем до полной бессубъектности, или, как говорят, объективности, то уже ничто больше не может на них подействовать; пусть совершается что-либо благое и полезное в области практики, поэзии или музыки, такой выхолощенный носитель образования сейчас же, не обращая внимания на самое дело, начинает интересоваться только историей автора. Если последний успел уже создать что-нибудь раньше, то критик стремится сейчас же уяснить себе как прежний, так и вероятный будущий ход его развития, сейчас же автор сопоставляется с другими авторами в целях сравнения, анатомируется в отношении выбора материала и способа его трактовки, разрывается на части, которые потом вновь искусно соединяются в целое, и в целом наставляется на путь истинный. Какие бы поразительные вещи ни совершались, толпа исторически нейтральных уже на месте и готова издали обозреть автора. Тотчас же раздается эхо, но не иначе как в виде «критики», хотя еще за минуту до того критику

и не снилась даже самая возможность совершающегося. Нигде дело не доходит до воздействия, но всегда только лишь до «критики»; но и сама критика не производит какого-нибудь воздействия, а порождает опять лишь критику. При этом вошло в обычай рассматривать обилие критики как успех, а незначительное число ее или отсутствие – как неуспех. В сущности же все остается по-старому даже при наличии такого «успеха»: поболтают, правда, некоторое время о чем-то новом, а затем опять о другом новом, но продолжают делать тем временем то же, что всегда делали и раньше. Историческое образование наших критиков более совершенно не допускает, чтобы дело доходило до какого-нибудь воздействия в собственном значении этого слова, то есть до воздействия на жизнь и деятельность людей: на самый четкий шрифт они тотчас накладывают свою промокательную бумагу, самый изящный рисунок они пачкают жирными штрихами своей кисти, которые выдают за поправки, – и дело сделано. Но их критическое перо никогда не прекращает своей работы, ибо они утратили власть над ним: скорее оно владеет ими, чем они им. Как раз в этой безудержности их критических излияний, в отсутствии способности владеть собой, в том, что римляне называли impotentia, и сказывается слабость современной личности.

6

Но оставим эту слабость. Обратимся лучше к одной из прославленных способностей современного человека с вопросом, правда, несколько щекотливым: дает ли ему его знаменитая историческая «объективность» право называться сильным, точнее, справедливым, и справедливым в большей степени, чем люди других эпох? Верно ли, что эта объективность имеет своим источником повышенную потребность в справедливости и стремление к ней? Или же она, будучи действием совсем других причин, только внешне производит такое впечатление, как будто справедливость служит истинной причиной этого действия? Не создает ли она, быть может, вредный предрассудок о превосходстве современного человека – вредный в силу того, что он яв-

ляется слишком для него лестным? Сократ считал болезнью, близкой к помешательству, уверенность человека в обладании такой добродетелью, которой у него в действительности нет; и на самом деле такая иллюзия опаснее, чем противоположное заблуждение, заключающееся в приписывании себе мнимых недостатков или пороков. Ибо при последнем заблуждении человек еще не лишен возможности сделаться лучше: упомянутая же выше иллюзия делает человека или известную эпоху с каждым днем все хуже и хуже, то есть, в данном случае, несправедливее.

Поистине, никто не имеет больших прав на наше уважение, чем тот, кто хочет и может быть справедливым. Ибо в справедливости совмещаются и скрываются высшие и редчайшие добродетели, как в море, принимающем и поглощающем в своей неизведанной глубине впадающие в него со всех сторон реки. Рука справедливого, правомочного творить суд, уже не дрожит больше, когда ей приходится держать весы правосудия; неумолимый к самому себе, кладет он гирю за гирей, взор его не омрачается, когда чаша весов поднимается и опускается, а голос его не звучит ни излишней суровостью, ни излишней мягкостью, когда он оглашает приговор. Будь он просто холодным демоном познания, он распространял бы вокруг себя ледяную атмосферу сверхчеловечески ужасного величия, которой мы должны были бы страшиться, а не почитать ее; но что он, оставаясь человеком, пытается от поверхностного сомнения подняться к строгой достоверности, от мягкой терпимости к императиву «ты должен», от редкой добродетели великодушия к редчайшей добродетели справедливости, – что он теперь имеет сходство с тем демоном, будучи, однако, с самого начала не чем иным, как слабым человеком, – и прежде всего, что он в каждый отдельный момент должен искупать в самом себе свою человечность и трагически изнемогать в стремлении к невозможной добродетели – все это возносит его на одинокую высоту как *достойнейший* экземпляр человеческой породы: ибо истины желает он, но не как холодного, самодовлеющего познания, а как упорядочивающего и карающего судьи; он стремится к истине не как к эгоистическому предмету обладания для отдельного лица, но как к священному праву передвигать все грани

эгоистических владений, – словом, к истине как к вселенскому суду, а отнюдь не как к пойманной добыче и радости одинокого охотника. Лишь поскольку правдивый человек обладает безусловной решимостью быть справедливым, постольку можно видеть нечто великое в столь бессмысленно восхваляемом всегда стремлении к истине; тогда как для более тупого взора с этим стремлением к истине, имеющим свои корни в справедливости, сливается обыкновенно целый ряд самых разнообразных инстинктов, как-то: любопытство, бегство от скуки, зависть, тщеславие, страсть к игре – инстинкты, которые не имеют ничего общего с истиной. Поэтому, хотя мир кажется переполненным людьми, которые «служат истине», тем не менее добродетель справедливости встречается очень редко, еще реже признается и почти всегда возбуждает смертельную ненависть к себе, между тем как толпа мнимых добродетелей всегда совершала свое шествие, окруженная почтением и блеском. Мало кто воистину служит истине, ибо лишь немногие обладают чистою волей быть справедливыми, и из числа последних лишь совсем немногие достаточно сильны, чтобы на деле быть справедливыми. Совершенно недостаточно обладать только волей к истине; и наиболее ужасные страдания выпадают на долю людей, обладающих стремлением к справедливости, но без достаточной силы суждения; поэтому интересы общего благосостояния не требуют ничего *иного*, как самого широкого посева способности суждения, которая позволила бы нам отличить фанатика от судьи и слепую страсть творить суд от сознательной уверенности в праве судить. Но где найти средство для культивации такой способности суждения! Поэтому люди, когда им говорят об истине и справедливости, обречены испытывать вечно боязливую неуверенность в том, говорит ли с ними фанатик или судья. Ввиду этого им следует простить, если они всегда с особой благосклонностью приветствовали тех «служителей истины», которые не обладают ни волей, ни способностью судить и ограничиваются задачей найти «чистое, самодовлеющее» познание или, точнее, истину, ни к чему не приводящую. Существует масса безразличных истин; существуют проблемы, для правильного решения которых не нужно никакого усилия над собой, не говоря уже о самопожертвовании.

В этой безвредной области безразличия человеку, пожалуй, и удается иногда делаться холодным демоном познания; и все-таки, даже когда, в особенности в самые счастливые эпохи, целые когорты ученых и исследователей превращаются в таких демонов, не исключена, к сожалению, возможность, что эта эпоха будет страдать недостатком строгой и возвышенной справедливости, короче – отсутствием благороднейшего зерна так называемого инстинкта истины.

Допустим теперь, что мы имеем перед собой исторического виртуоза современности; может ли он считаться справедливейшим человеком своего времени? Совершенно верно, что он выработал в себе такую тонкость и возбудимость ощущения, что ничто человеческое не остается ему чуждо; самые разнообразные эпохи и личности находят себе немедленно отголосок в родственных звуках его лиры: он сделался пассивным эхом, которое своими отзвуками в свою очередь действует на другие подобные пассивные отголоски, пока наконец вся атмосфера данной эпохи не переполнится такими переплетающимися нежными и родственными отзвуками. Но мне кажется, что при этом мы слышим только как бы обертоны каждого оригинального исторического основного тона: крепость и мощь оригинала не находят себе выражения в этом небесно-призрачном и остром звоне струн. Если основной тон вызывал в нас большей частью мысль о делах, нуждах, ужасах, то это эхо убаюкивает нас и превращает в изнеженных сибаритов; словно кто-то переложил героическую симфонию для двух флейт и приспособил ее к вкусам погруженных в свои грезы курильщиков опиума. Уже отсюда можно видеть, насколько эти виртуозы способны осуществить верховные притязания современного человека, именно притязания на более возвышенную и чистую справедливость, ибо эта последняя добродетель не знает мягких приемов и ей чужды нежные волнения; она сурова и ужасна. Как низко в сравнении с ней стоит на лестнице добродетели великодушие, – великодушие, которое может считаться преимуществом лишь некоторых, и притом весьма редких, историков! Но большинству удается подняться лишь до терпимости, до признания того, что не может быть оспорено, до приспособления и умеренно-благосклонного приукрашивания; они исходят при этом из вполне осно-

вательного предположения, что когда прошлое излагается без суровых нот в голосе и без выражения ненависти, то для неопытного читателя это может сойти за добродетель справедливости. Но творить суд может только превосходящая сила, слабость должна быть терпимой, если она не хочет симулировать силу и превращать в комедию суд, творимый справедливостью. И вот же, остается еще одна ужасная разновидность историков; это – дельные, суровые и честные характеры, но – тупоголовые; здесь имеются налицо как твердая решимость быть справедливым, так и пафос творящего суд; но все приговоры неправильны по той же приблизительно причине, по которой неправильны приговоры обыкновенных коллегий присяжных. Таким образом, мы видим, как маловероятно частое появление исторических талантов. Мы не станем уже говорить здесь о замаскированных эгоистах и лицах, преследующих партийные интересы, которые стараются объективной миной прикрыть свою злую игру. Точно так же обойдем молчанием тех легкомысленных людей, которые пишут историю в наивной уверенности, что все общепринятые взгляды их эпохи правильны и что описывать события с точки зрения данной эпохи – значит вообще быть справедливым; это – та вера, в которой живет каждая религия и по поводу которой, поскольку речь идет о религиях, не стоит тратить много слов. Эти наивные историки понимают под «объективностью» оценку мнений и подвигов прошлого на основании ходячих суждений минуты: в них видят они канон всех истин; их труд есть приспособление прошлого к современной тривиальности. Наоборот, они называют «субъективным» всякое историческое описание, которое не считает эти ходячие мнения незыблемыми.

И разве не примешивается некоторая доля иллюзии даже к самому возвышенному пониманию слова «объективность»? Ведь под этим словом понимают такое душевное состояние историка, при котором он созерцает известное событие со всеми его мотивами и следствиями в такой чистоте, что оно не оказывает никакого влияния на его личность; при этом имеют в виду тот эстетический феномен, ту свободу от личного интереса, которую обнаруживает художник, созерцающий среди бурного ландшафта, под гром и молнию, или на море во время шторма свои внутренние

образы и забывающий при этом о своей личности. На этом же основании к историку предъявляются требования художественной созерцательности и полнейшего погружения в событие; тем не менее, было бы предрассудком полагать, что образ, который принимают вещи в душе настроенного таким образом человека, воспроизводит эмпирическую сущность вещей. Ведь не можем же мы думать, что в такие моменты вещи как бы самопроизвольно запечатлеваются, копируются, фотографируются душой в чисто пассивном состоянии.

Это, конечно, было бы мифологией, и притом весьма неудачной; кроме того, здесь упускалось бы из виду, что именно этот момент и есть момент наиболее энергичной и наиболее самодеятельной созидательной работы в душе художника, – момент наивысшего напряжения его творческой способности, результатом которого может быть только художественно правдивое, а не исторически верное изображение. Объективно мыслить историю – значит, с этой точки зрения, проделывать сосредоточенную работу драматурга, именно, мыслить все в известной связи, разрозненное сплетать в целое, исходя всегда из предположения, что в вещи следует вложить некое единство плана, если его даже раньше в них не было. Таким образом человек оплетает и оковывает прошлое, так выражается его художественный инстинкт, но не его инстинкт правды и справедливости. Объективность и справедливость не имеют ничего общего между собой. Вполне мыслимо такое историческое описание, которое не заключало бы в себе ни единой йоты обыкновенной эмпирической истины и которое в то же время могло бы с полным основанием претендовать на эпитет объективного. А Грильпарцер имеет мужество даже заявить следующее: «Что такое история, как не способ, которым человеческий дух овладевает *непроницаемыми для него событиями*, связывает то, что Бог весть соединимо ли, заменяет непонятное чем-либо понятным, приписывает свои понятия о внешней целесообразности некоторому целому, которому известна только внутренняя целесообразность, и предполагает случайность там, где действуют тысячи мелких причин? Каждый человек подчинен в то же время и своей индивидуальной необходимости, так что миллионы направлений идут параллельно друг другу в форме прямых или

кривых линий, взаимно перекрещиваются, ускоряют или задерживают друг друга, стремятся вперед или назад и получают благодаря этому друг для друга значение случая, делая таким образом невозможным доказательство всепроникающей, всеохватывающей необходимости событий, если даже и не считаться при этом с влиянием явлений природы». А между тем именно такая необходимость должна выясниться в конечном результате упомянутого «объективного» рассмотрения вещей! Эта предпосылка, будучи выставлена историком в качестве догмата, может принять только самую курьезную форму; Шиллер, правда, ничуть не заблуждался относительно настоящего, чисто субъективного характера этой предпосылки, когда говорил об историке: «Одно явление за другим начинает ускользать из-под власти слепой случайности и беспорядочной свободы и включаться как соответствующее звено в известное гармоническое целое – *которое, правда, существует только в его воображении*». Но что сказать о следующем утверждении одного знаменитого виртуоза истории, высказанном с такой убежденностью, а на деле искусно балансирующем на грани тавтологии и бессмыслицы: «Не подлежит никакому сомнению, что вся человеческая деятельность подчинена незаметному и часто ускользающему от наблюдения, но могучему и неудержимому ходу вещей». В такого рода утверждении чувствуется не столько загадочная истина, сколько ничуть не загадочная неправда, как в изречении гётевского придворного садовника «природу можно форсировать, но нельзя принудить» или в вывеске одной ярмарочной лавки, о которой рассказывает Свифт: «Здесь показывают величайшего в мире слона, за исключением его самого». Ибо какая, на самом деле, может быть противоположность между деятельностью людей и ходом вещей? И вообще, не странно ли, что историки, подобные тому, чье изречение мы цитировали выше, не могут быть поучительными, как скоро они переходят на общие темы и пытаются замаскировать сознание своей слабости разными неясностями. В других науках общие положения суть самое главное, поскольку они содержат в себе законы; если же такого рода положения, как вышеприведенное, должны считаться законами, то на это можно возразить, что тогда работа исторического исследователя по-

трачена даром, ибо то, что вообще в таких положениях, за вычетом темного, неразложимого остатка, о котором мы говорили, остается истинного, – должно считаться известным и даже тривиальным; это бросается в глаза каждому, как бы ни была мала сфера его опыта. Но беспокоить по данному поводу целые народы и затрачивать на это годы тяжелого труда – не равносильно ли это нагромождению в естественных науках опытов, несмотря на то что искомый закон мог бы быть выведен на основании уже имеющегося запаса опытов; это бессмысленное излишество в экспериментировании и составляет, впрочем, согласно Цельнеру, слабую сторону современного естествознания. Если бы ценность драмы заключалась только в главной идее, выясняющейся к концу ее, то драма сама представлялась бы самым длинным, окольным и тяжелым путем к цели; поэтому я надеюсь, что история вправе усматривать свое значение не в общих идеях, выдаваемых за некоего рода цвет и плод, но что ценность ее в том и заключается, чтобы, взяв знакомую, может быть, обыкновенную тему, будничную мелодию, придать ей остроумную форму, поднять ее, повысить на степень всеохватывающего символа и таким способом дать почувствовать присутствие в первоначальной теме целого мира глубины, мощи и красоты.

Но для этого необходимы, прежде всего, большие художественные способности, творческое парение мысли, любовное погружение в эмпирические данные, поэтическая переработка типов – для этого нужна и объективность, но как положительное свойство. Как часто, однако, объективность бывает всего лишь фразой! На место сверкающего в глубине, но неподвижного и непроницаемого на поверхности спокойствия художественного взора заступает аффектация покоя, так же, как недостаток пафоса и нравственной силы выдает себя за беспощадный холод анализа. В иных случаях банальность мысли и ходячая мудрость, которые лишь благодаря их скучности производят впечатление чего-то спокойного и невозмутимого, отваживаются даже выдавать себя за то состояние художественного творчества, во время которого смолкает и делается совершенно незаметным субъект. Тут пускают в ход все, что никоим образом не способно взволновать читателя, и самые сухие выраже-

ния полагают самыми уместными. В конце концов доходят до утверждения, что именно тот, кому *нет никакого дела* до известного момента прошлого, и призван его изобразить. Таково зачастую взаимное отношение филологов и древних греков: они ведь совершенно равнодушны друг к другу, и это называется тогда «объективностью»! Но в особенности возмутительны умышленное и торжественно выставляемое на вид беспристрастие и изысканные трезвенно-плоские приемы объяснения именно там, где дело идет об изображении наиболее возвышенных и редких моментов истории; это происходит обыкновенно в тех случаях, когда равнодушие историка, старающееся казаться объективным, обусловливается его *тщеславием*. Вообще при оценке таких авторов следует исходить из принципа, что каждый человек именно настолько тщеславен, насколько ему не хватает ума. Нет, будьте по крайней мере честны! Не старайтесь придать себе вид художественной силы, которая действительно может быть названа объективностью, не старайтесь казаться справедливыми, если вы не рождены для ответственного призвания справедливых. Как будто задача каждой эпохи заключается в том, чтобы быть справедливой по отношению ко всему, что когда-нибудь имело место! В сущности, ни одна эпоха и ни одно поколение не имеют права считать себя судьями всех прежних эпох и поколений; эта столь тяжкая миссия выпадает всегда лишь на долю отдельных личностей, и притом крайне редких. Кто вас принуждает быть судьями? И далее, испытайте себя хорошенько, можете ли вы быть справедливыми, если бы вы этого и захотели! В качестве судей вы должны стоять выше того, кого вы судите, тогда как, в сущности, вы лишь позже вышли на историческую арену. Гости, которые приходят последними на званый обед, должны, по справедливости, получить последние места; а вы хотите получить первые! Ну, тогда, по крайней мере, стремитесь совершить нечто великое и возвышенное, и, может быть, вам тогда действительно уступят место, хотя бы вы и пришли последними.

Только исходя из того, что составляет высшую силу современности, вправе вы толковать прошлое. Только путем наивысшего напряжения ваших благороднейших свойств вы сумеете угадать в прошлом то, что в нем представляется стоящим

познания и сохранения и что есть в нем великого. Равное познается только равным, иначе вы всегда будете принижать прошлое до себя. Не верьте историческому труду, если он не является продуктом редчайших умов; а вы всегда сумеете заметить, какого качества ум историка, по тем случаям, когда ему приходится высказать какое-нибудь общее положение или повторять еще раз хорошо известные вещи: истинный историк должен обладать способностью перечеканивать общеизвестное в нечто неслыханное и провозглашать общее положение в такой простой и глубокой форме, что при этом простота не замечается из-за глубины и глубина из-за простоты. Никто не может быть одновременно великим историком, художественной натурой и плоским умом, но отсюда не следует, что можно относиться с пренебрежением к тем работникам, которые подвозят материал, складывают его в кучи и сортируют его, только потому, что они ни в каком случае не могут сделаться великими историками; их, разумеется, не следует смешивать с последними, но рассматривать как необходимых сотрудников и помощников на службе их хозяина-мастера: в таком же примерно смысле, в каком французы – с большей наивностью, чем это возможно у немцев, – обыкновенно говорят об historiens de M.Thiers[1]. Эти работники, возможно, станут постепенно большими учеными, но все же никогда не смогут стать мастерами. Большой ученый и большая тупица – это еще как-то уживается в одной голове.

Итак, история пишется только испытанными и выдающимися умами. Кто не пережил некоторых вещей шире и глубже всех, тот не сумеет растолковать ничего великого и возвышенного в прошлом. Заветы прошлого суть всегда изречения оракула: только в качестве строителей будущего и знатоков настоящего вы поймете их. Теперь принято объяснять необыкновенно глубокое и широкое влияние Дельфов главным образом тем, что дельфийские жрецы были удивительными знатоками прошлого; но пора уже понять, что только тот, кто строит будущее, иметь право быть судьей прошлого. Тем, что вы смотрите вперед, ставите себе великую цель, вы обуздываете в то же время ту страсть к анали-

---

1 историках г-на Тьера (*фр.*). См. прим.

зу, которая своим пышным развитием теперь опустошает современность и делает почти невозможным всякое спокойствие, всякий мирный рост и созревание. Окружите себя оградой великой всеохватной надежды и полного упований стремления. Творите в себе идеал, которому должно отвечать будущее, и отбросьте предрассудок, что вы эпигоны. Поставив себе целью эту грядущую жизнь, вы найдете, что создать, что изобрести; но не требуйте от истории, чтобы она ответила вам на вопросы: как и посредством чего? Если же вы, напротив, вживетесь в историю великих людей, то вам удастся извлечь оттуда верховную заповедь стремления к зрелости и освобождения себя от парализующего воспитательного гнета эпохи, которая видит свою выгоду в том, чтобы не позволить вам сделаться зрелыми, дабы властвовать над вашей незрелостью и эксплуатировать вас. И если вы интересуетесь биографиями, выбирайте не те, в которых повторяется припев «имярек и его эпоха», но только такие, на титульном листе которых значится: «борец против своего времени». Старайтесь насытить ваши души Плутархом и имейте мужество верить в самих себя, веря в его героев. Сотня таких воспитанных не в духе времени, то есть достигших зрелости и привычных к героическому, людей может заставить замолчать навеки все крикливое лжеобразование нашей эпохи.

7

Историческое чувство, когда оно властвует *безудержно* и доходит до своих крайних выводов, подрывает будущее, разрушая иллюзии и отнимая у окружающих нас вещей их атмосферу, в которой они только и могут жить. Историческая справедливость даже тогда, когда она неподдельна и проистекает из чистого сердца, есть ужасная добродетель, потому что она постоянно подкапывается под живое и приводит его к гибели: суд ее всегда разрушителен. Когда исторический инстинкт не соединяется с инстинктом созидания, когда разрушают и расчищают место не для того, чтобы будущее, уже живущее в надежде, имело возможность возвести свое здание на освободившейся почве, когда властвует

одна справедливость, тогда творческий инстинкт утрачивает свою мощь и мужество. Так, например, религия, которая под воздействием чистой справедливости способна претвориться в историческое знание, – религия, которая подлежит строго научному изучению, – осуждена в то же время на полное уничтожение в конце этого пути. Причина заключается в том, что при исторической поверке обнаруживается каждый раз такая масса фальшивого, грубого, бесчеловечного, нелепого, насильственного, что та благоговейная атмосфера иллюзии, в которой только и может жить все, что хочет жить, необходимо должна рассеяться: только в любви, только осененный иллюзией любви может творить человек, то есть только в безусловной вере в совершенство и правду. У всякого, кого лишают возможности любить безусловно, тем самым подрезают его живые корни: он должен увянуть, а именно – сделаться нечестным. В этом отношении влиянию истории противоположно влияние искусства; и только в том случае, если бы история могла быть претворена в художественное произведение, то есть сделаться чистым созданием искусства, ей удалось бы, быть может, поддерживать или даже пробуждать инстинкты. Но такого рода понимание истории стало бы в полное противоречие с аналитическим и антихудожественным направлением нашего времени и даже ощущалось бы последним как подделка. История же, которая только разрушает, не руководясь при этом внутренним стремлением к созиданию, делает в конце концов своих работников пресыщенными и неестественными, ибо такие люди разрушают иллюзии, а «того, кто разрушает иллюзию в себе или других, природа наказывает, как самый жестокий тиран». Некоторое время, правда, можно заниматься историей в полной беспечности и беззаботности, без оглядки, как будто это такое же занятие, как всякое другое; в особенности это относится к новейшему богословию, которое, по-видимому, только благодаря своей полнейшей беспечности завязало сношения с историей и даже теперь не успело заметить, что оно тем самым, вероятно против своей воли, служит делу вольтеровского ecrasez[1]. Пусть никто не ищет за этим

---

1 раздавите (*фр.*, имеется в виду вольтеровское «раздавите гадину»).

каких-нибудь новых и сильных созидательных инстинктов, разве только если рассматривать так называемый союз протестантов как зародыш новой религии, а юриста Гольцендорфа (издателя и провозвестника так называемой библии протестантов) – как Иоанна Крестителя на берегах Иордана. Некоторое время укреплению такой беззаботности может способствовать еще продолжающая бродить в головах старшего поколения гегелевская философия, хотя бы в той форме, когда различают между «идеей христианства» и разными несовершенными «формами проявления» ее и внушают себе мысль, что мы имеем здесь дело «с особой склонностью идеи» воплощаться все в более чистых формах и, в последней инстанции, в самую чистую, конечно, самую прозрачную и даже едва доступную наблюдению форму, которую она принимает в мозгу теперешнего theologus liberalis vulgaris[1]. Если прислушаться к тому, как эти наиболее очищенные формы христианства оценивают предшествующие нечистые его формы, то на беспристрастного слушателя это зачастую производит впечатление, словно речь идет не о христианстве, а о... право, не знаю, о чем может идти речь, когда мы слышим, что «величайший богослов столетия» определяет христианство как религию, которая позволяет «ощутить сущность всех существующих и еще некоторых других, пока только возможных, религий», и когда «истинной церковью» должна считаться та, которая «превращается в текущую массу, где не заметно никаких твердых очертаний и каждая часть находится то там, то здесь и все мирно смешивается друг с другом». – Еще раз, о чем может идти в данном случае речь?

На примере христианства мы видим, как оно под воздействием историзирующей обработки становилось надутым и неестественным, пока, наконец, полностью историческая, то есть справедливая интерпретация не превратит его в чистое знание о христианстве и тем погубит его окончательно. То же наблюдается и во всем живущем: оно перестает жить, если его разрезали на части, и влачит болезненное и мучительное существование, когда над ним начинают проделывать опыты исторического анатомирования. Есть лю-

---

1 теолог либеральный обыкновенный (*лат.*).

ди, которые верят в преодолевающее и реформирующее целительное влияние немецкой музыки на немцев. Они смотрят с негодованием, как на величайшую несправедливость, допускаемую по отношению к самым живым элементам нашей культуры, на то, что такие люди, как Моцарт и Бетховен, уже теперь оказываются почти засыпаны всем ученым хламом биографических работ и что в застенках исторической критики у них выпытывают ответы на тысячи назойливых вопросов. Разве живые, не исчерпанные еще в своих последствиях силы не гибнут преждевременно от любопытства людей, проникающих со своими бесчисленными микроскопическими изысканиями в жизнь и творчество великих людей и ищущих познавательные проблемы там, где следовало бы просто учиться жизни и забывать все проблемы? Представьте себе, что несколько таких современных биографов перенесено на родину христианства или лютеровской Реформации; их трезвой, прагматизирующей любознательности оказалась бы как раз достаточно, чтобы сделать невозможной всякую чудесную духовную actio in distans[1] совершенно так же, как самое презренное животное путем поглощения желудей может помешать зарождению могучего дуба. Всему живому нужна окружающая его атмосфера, таинственная пелена. Если мы отнимем у него эту оболочку, если мы заставим религию, искусство, гения кружить в пространстве, подобно созвездию без атмосферы, то нам не следует удивляться их быстрому увяданию, засыханию и бесплодию. Так обстоит со всеми великими вещами,

«которые никогда не удаются без некоторого морока», как говорит Ганс Сакс в «Мейстерзингерах».

Но каждый народ, даже каждый человек, который стремится сделаться *зрелым*, нуждается в таком обволакивающем его мороке, в таком предохранительном и укутывающем облаке; теперь же вообще ненавидят созерцание, так как историю чтут больше жизни. Теперь даже ликуют по поводу того, что «наука начинает господствовать над жизнью»: нет ничего невозможного в том, что этого удастся достигнуть, но не подлежит сомнению, что такая покоренная жизнь не имеет большой ценности, потому что она в значительно

---

1 действие на расстоянии (*лат.*).

меньшей мере является *жизнью* и в значительно меньшей степени обеспечивает жизнь в будущем, чем прежняя, управляемая не знанием, но инстинктами и могучими иллюзиями. Но наше время, скажут нам, и не стремится стать веком достигших законченности и зрелости, гармонически развитых личностей, а только веком общего и наиболее производительного труда. Последнее значило бы лишь: в соответствии с задачами эпохи люди должны быть выдрессированы так, чтобы как можно скорее принять участие в общей работе; они должны работать на фабрике общеполезных вещей, прежде чем они созреют или, вернее, для того, чтобы они не могли созреть, ибо это было бы роскошью, которая отняла бы массу сил у «рынка труда». Некоторых птиц ослепляют, чтобы они лучше пели; я не верю, чтобы современные люди пели лучше, чем их предки, но знаю, что их заблаговременно ослепляют. Средством же, проклятым средством, к которому прибегают для того, чтобы их ослепить, служит *слишком яркий, слишком внезапный, слишком быстро меняющийся свет.* Молодежь как бы прогоняется сквозь строй столетий: юноша, который не имеет никакого представления о войне, о дипломатических действиях, о торговой политике, признается тем не менее достойным введения в область политической истории. Совершенно так же, как юноша бегло знакомится с историей, так же мы, современные, на бегу осматриваем хранилища искусств и так же слушаем мы концерты. Мы чувствуем, конечно, что одно звучит так, другое иначе, что одно действует так, а другое иначе; но утрачивать все более и более это чувство различия и новизны, ничему более чрезмерно не удивляться и, наконец, примиряться со всем – вот что называют теперь историческим чувством, историческим образованием. Говоря без прикрас, масса притекающего так велика, чуждое, варварское и насильственное, «свернувшись в отвратительный клубок», громоздится такой чудовищной массой, так тяжко давит юношескую душу, что она может спасти себя только в преднамеренном отупении. Там же, где в основе лежит более утонченное и более здравое сознание, на сцену является также и другое ощущение – отвращение. Юноша чувствует себя безродным и начинает сомневаться во всех нравственных устоях и понятиях. Те-

перь он твердо знает: в различные времена все было иначе, и потому совершенно не важно, каков ты сам. В меланхолическом равнодушии он перебирает мнение за мнением и научается понимать слова и настроение Гёльдерлина при чтении сочинения Диогена Лаэрция о жизни и учении греческих философов: «Я снова испытал то, что уже раньше было знакомо мне, а именно что изменчивость и преходящее человеческих идей и систем действует на меня, пожалуй, более трагически, чем судьбы, которые обыкновенно считают единственно реальными». Нет, такое все затопляющее, оглушающее и насильственное историзирование, без сомнения, не нужно для юношества, как показывает пример древних, и даже в высшей степени опасно, как об этом свидетельствует новейшая история. Взгляните на студента, изучающего историю, этого наследника скороспелой, появляющейся чуть ли не в детские годы пресыщенности и разочарования. Теперь «метод» заменяет ему действительную работу, он усваивает себе сноровку и важный тон, манеру своего учителя; совершенно изолированный отрывок прошлого отдан на жертву его остроумию и усвоенному им методу; он уже успел нечто произвести на свет, или, употребляя более важный стиль, он нечто «создал», теперь он стал служителем истины на деле и является хозяином во всемирном царстве истории. Если он «созрел» уже мальчиком, то теперь он перезрел: стоит только его хорошенько потрясти, и на вас с треском посыплется его мудрость; но мудрость эта подгнила, и в каждом яблоке есть червоточина. Верьте мне, если люди принуждены работать на научной фабрике и приносить свою долю пользы прежде, чем они дозреют, то вскоре погибнет сама наука, как гибнут до срока отданные ей во власть рабы. Я сожалею, что принужден прибегать к жаргону рабовладельцев и работодателей для описания таких отношений, которые, собственно, должны мыслиться свободными от всяких утилитарных соображений и жизненной нужды, но слова «фабрика», «рабочий рынок», «спрос», «утилизация» и тому подобные вспомогательные термины эгоизма невольно просятся на язык, когда приходится описывать молодое поколение ученых. Добросовестная посредственность становится все посредственнее, а наука в смысле экономическом все полезнее.

Собственно говоря, новейшее поколение ученых мудро только в одном отношении, и в этом отношении, пожалуй, мудрее, чем все люди прошлого, во всех же остальных отношениях оно только, мягко выражаясь, бесконечно отлично от ученых прежнего склада. Несмотря на это, они требуют себе почестей и выгод, как будто государство и общественное мнение были бы обязаны считать новые монеты столь же полновесными, как и старые. Ломовые извозчики заключили между собой рабочий договор и объявили гения излишним, признав печать его на себе самих, но позднейшее поколение, вероятно, сейчас же заметит, что их здание представляет собой груду свезенного в кучу материала, а не правильную постройку. Тем, кто без устали повторяет современный боевой и жертвенный клич: «разделение труда! плечом к плечу!», нужно раз и навсегда коротко и ясно сказать: если вы хотите двинуть науку как можно быстрее вперед, то вы рискуете ее очень быстро погубить, подобно тому, как у вас погибнет наседка, если вы вздумаете принуждать ее искусственными мерами как можно быстрее нести яйца. О, конечно, наука в последнее десятилетие изумительно быстро шагнула вперед, но взгляните на ваших ученых, этих истощенных наседок. Поистине, они не похожи на «гармоничные» натуры; только кудахтать они умеют больше, чем когда-либо, так как они чаще несут яйца; правда, зато яйца делаются все меньше (хотя книги все толще). Последним и естественным результатом такого положения вещей является пользующаяся всеобщими симпатиями «популяризация науки» (наряду с ее «феминизацией» и «инфантилизацией»), то есть пресловутая кройка научного платья по фигуре «смешанной публики», если выразиться по поводу портновской деятельности портновским же языком. Гёте видел в этом злоупотребление и требовал, чтобы науки влияли на внешний мир только *повышенной действенностью*. Ученым старших поколений такое злоупотребление наукой представлялось, кроме того, по весьма веским причинам делом тяжелым и обременительным, и точно так же в силу весьма веских причин ученые младшего поколения относятся к этому вопросу весьма легко, ибо они сами, за исключением маленького уголка их знаний, представляют собой весьма смешанную публику, разделя-

ющую также и потребности последней. Им стоит только удобно усесться, чтобы открыть этой популярной смеси потребности и любопытства доступ в скромную область их изысканий. И этот-то простой акт удобства они претенциозно характеризуют словами: «ученый скромно снисходит к своему народу», в то время как в сущности ученый лишь снизошел к самому себе, поскольку он сам является не ученым, а чернью. Создайте себе истинную идею «народа»: она никогда не может быть слишком благородной и возвышенной. Если бы вы в самом деле были высокого мнения о народе, то вы были бы милосердны к нему и поостереглись бы, конечно, предлагать ему вашу историческую «царскую водку» в качестве «живой воды». Но вы в глубине души весьма невысокого мнения о нем, ибо не можете иметь истинного и прочно обоснованного уважения к его будущему; вы действуете как практические пессимисты, я хочу сказать, как люди, которыми руководит предчувствие гибели и которые вследствие этого сделались апатично-равнодушными к чужому благу и даже к своему собственному. Лишь бы на *наш* век хватило! А если и на наш век не хватит, то и это будет справедливо, – так чувствуют они, ведя свое *ироническое* существование.

8

Может показаться странным, но отнюдь не противоречивым, если я, тем не менее, приписываю той самой эпохе, которая имеет обыкновение в такой громкой и назойливой форме предаваться беззаботнейшему ликованию по поводу своего исторического образования, род *иронического самосознания*, некоторое носящееся в воздухе предчувствие того, что здесь нет места ликованию, и страх, что, может быть, близок конец всем наслаждениям исторического познавания. Такого же рода загадку, но только относительно отдельных личностей, поставил нам Гёте в своей замечательной характеристике Ньютона: он находит в глубине (или, правильнее, на вершинах) существа Ньютона «смутное предчувствие его неправоты», как некоторое, заметное только в определенные моменты, проявление высшего контроли-

рующего сознания, достигшего известного иронического обозрения необходимо присущей ему природы. Точно так же в более широко и высоко развитых исторических людях мы встречаем часто пониженное до уровня тотального скепсиса сознание всей нелепости предрассудка, внушающего, что воспитание народа должно носить исторический по преимуществу характер, как это имеет место сейчас; ведь именно наиболее сильные народы, и притом сильные своими делами и подвигами, жили иначе, иначе воспитывали юношество. Но именно нам эта нелепость, этот предрассудок и приличествует, обыкновенно возражают скептики: нам, поздним пришельцам, нам, последним отцветшим отпрыскам могучих и жизнерадостных поколений, нам, к которым следует отнести пророчество Гесиода, что люди некогда будут рождаться с седыми волосами и что Зевс истребит поколение, на котором сбудется это пророчество. Историческое образование должно действительно считаться родом прирожденного седовласия, и те, кто с детства носят на себе его печать, вынуждены в конце концов прийти к инстинктивной вере в *старость человечества;* а старости и приличествует теперь стариковское занятие – заглядывание в прошлое, проверка счетов, подведение итогов, поиски утешения в прошлом в форме воспоминаний, короче – историческое образование. Но человеческий род крепок и устойчив и не желает, чтобы его рассматривали в его развитии вперед или назад по тысячелетиям или даже сотням тысяч лет; другими словами, он *вовсе не* желает, как целое, подвергаться рассмотрению со стороны бесконечно малого атома, точки – отдельного человека. Ибо что значит какихнибудь несколько тысячелетий (или, выражаясь иначе, промежуток времени в 34 следующие друг за другом человеческие жизни, считая по 60 лет в каждой) и можно ли говорить в начале такого периода о «юности», а в конце его уже о «старости человечества»? Не скрывается ли скорее за этой парализующей верой в уже начавшееся увядание человечества некоторое недоразумение, выросшее на почве унаследованного от средних веков христианско-богословского представления или мысли о близком конце мира и о страшном суде? Не приняло ли это представление лишь новую форму под влиянием повышенной исторической потреб-

ности в суде, словно наша эпоха последняя из возможных и сама призвана организовать тот мировой суд над всем прошлым, который христианская догма ожидала отнюдь не от людей, а от «Сына Человеческого»? Раньше это memento mori, обращенное как к человечеству, так и к отдельным личностям, представляло вечно терзающее жало и как бы пик средневекового знания и средневековой совести. Провозглашенный новейшей эпохой в виде протеста лозунг memento vivere[1] звучит пока, говоря откровенно, довольно робко, произносится не во весь голос и едва ли не заключает в себе что-то неискреннее. Ибо человечество еще прочно сидит на memento mori и выдает это обстоятельство своей универсальной потребностью в истории: знание, несмотря на свой могучий размах, не сумело еще вырваться на волю, глубокое чувство безнадежности еще осталось и приняло ту историческую окраску, которая в настоящее время окутывает меланхолической дымкой все наше высшее образование и воспитание. Религия, для которой из всех часов человеческой жизни наиболее важным является последний, которая предсказывает прекращение земной жизни вообще и заставляет всех живущих жить, так сказать, в пятом акте трагедии, конечно, пробуждает глубочайшие и благороднейшие силы, но она враждебна всякому насаждению нового, всякому смелому опыту, всякому свободному желанию; она противится всякому полету в область неизвестного, так как там у нее нет ни привязанностей, ни надежд; она мирится с вновь возникающим, только скрепя сердце, чтобы при первом удобном случае отодвинуть его в сторону и принести в жертву, как соблазн к жизни, как ложь в оценке бытия. То же, что сделали флорентийцы, когда под впечатлением покаянных проповедей Савонаролы они устроили знаменитое аутодафе из картин, рукописей, зеркал и масок, готово сделать христианство с каждой культурой, которая побуждает к стремлению вперед и избирает своим девизом упомянутое memento vivere, и если оно не может добиться этого прямым путем, без околичностей, то есть путем применения силы, то оно достигает все же этой своей цели, действуя в союзе с историческим

---

1 помни о жизни (*лат.*).

образованием, по большей части даже без ведома последнего, и, говоря затем от его имени, пожимая плечами, отрицает все вновь возникающее, стараясь набросить на него оттенок чего-то крайне запоздалого и свойственного эпигонам, короче говоря, характер прирожденной седины. Проникнутые горечью и глубокомысленно-серьезные размышления о тщете всего земного, о близости страшного суда приняли теперь более утонченную форму скептического сознания, в силу которого быть знакомым со всем, что происходило раньше, хорошо потому, что все равно уже слишком поздно создавать что-нибудь лучшее. Таким путем историческое чувство делает его обладателей пассивными и ретроспективными, и разве только в момент минутного самозабвения, когда именно это чувство временно перестает действовать, страдающий исторической лихорадкой человек становится активным, чтобы сейчас же по совершении какого-либо действия подвергнуть его анатомическому сечению, задержать при помощи аналитического рассмотрения дальнейшее его влияние и препарировать его как «историю». В этом смысле мы еще живем в средние века, а история продолжает оставаться замаскированной теологией, так же как и почтительность, с которой неученый профан относится к касте ученых, ведет свое происхождение от благоговения перед духовными лицами. То, что раньше воздавалось церкви, то воздается и теперь, хотя в более скромных размерах, науке; но факт этой жертвы вообще есть результат прежнего влияния церкви, а не современного духа, который при всех своих других достоинствах отличается, как известно, некоторой скаредностью и плохо знаком с благородной добродетелью щедрости.

Быть может, это замечание не понравится и встретит так же мало сочувствия, как сделанная выше попытка вывести избыток истории из средневекового memento mori, а также из той безнадежности, с которой христианство в глубине своего сердца относится ко всем грядущим эпохам земного существования. Пусть попытаются подыскать на место приведенного объяснения, принятого мною также не совсем без колебаний, лучшие объяснения, ибо что касается происхождения исторического образования – и его внутреннего, во всех отношениях коренного противоречия

духу «нового времени» и «современного сознания», – то это происхождение *должно* быть в свою очередь объяснено исторически, история *должна* сама разрешить проблему истории, знание *должно* обратить свое жало против самого себя – это тройной *долженствование* и есть императив духа «нового времени», если действительно в последнем имеются элементы чего-то нового, могучего, жизнеспособного и изначального. Или же правы те, кто говорит, что мы, немцы (если оставить в стороне романские народы) во всех высших проявлениях культуры осуждены быть постоянно только «потомками» потому, что мы только и *можем* быть ими; это весьма спорное положение было высказано однажды Вильгельмом Вакернагелем в такой форме: «Мы, немцы, народ потомков, мы со всем нашим высшим знанием и даже с нашей верой только наследники античного мира; даже те, кто, будучи враждебно к этому настроены, и не хотели бы этого, вдыхают непрерывно наряду с духом христианства также и бессмертный дух древнеклассического образования, и если бы кому-нибудь удалось исключить эти два элемента из жизненной атмосферы, окружающей внутреннего человека, то вряд ли бы от нее осталось достаточно для поддержания духовной жизни». Но если бы даже мы охотно успокоились на том, что наше призвание – быть наследниками древнего мира, если бы мы даже решились неуклонно рассматривать это наше призвание во всей его строгости и величии и в этой неуклонности видели бы наше почетное и единственное преимущество, то мы тем не менее были бы вынуждены спросить себя, действительно ли вечное наше назначение должно заключаться в том, чтобы быть *питомцами древнего мира на его закате.* Да будет же нам однажды разрешено ставить себе шаг за шагом все более высокие и далекие цели, да будет же за нами некогда признана та заслуга, что мы воспроизвели в себе дух александрийско-римской культуры – в том числе и благодаря нашей универсальной истории – в таких плодотворных и грандиозных формах, что, в качестве благороднейшей награды, у нас появится право поставить себе еще более грандиозную задачу – связать себя с миром, лежащим за и вместе с тем над александрийской эпохой, и смело направить свои поиски за идеалами в древнегреческий исконный мир ве-

ликого, естественного и человеческого. *И вот там-то мы находим реальность по существу неисторической культуры и вместе с тем, несмотря на это или скорее благодаря этому, культуры несказанно богатой и жизненной.* И даже будь мы, немцы, не чем иным, как потомками, мы могли бы, рассматривая такую культуру как наследство, которое мы должны усвоить себе, видеть наше величие и гордость именно в том, чтобы быть потомками.

Этим я хочу сказать только, что даже зачастую мучительное для нас сознание, что мы только эпигоны, может, при широком его понимании, служить залогом и стимулом великого будущего, как для отдельной личности, так и для целого народа. Все это в том случае, конечно, если мы признаем себя наследниками и потомками изумительных сил классического мира и усматриваем в этом нашу честь, наше отличие. Мы никоим образом не должны смотреть на себя как на выцветших и захиревших последышей сильных поколений, – последышей, ведущих жалкое существование антиквариев и могильщиков этих поколений. Таким последышам действительно выпадает в удел ироническое существование: разрушение следует за ними по пятам на всем течении их убогого жизненного странствия; они содрогаются перед этим разрушением, наслаждаясь прошлым, ибо они являют собой ходячую память, без наследников же накопленные ими воспоминания ничего не стоят. Поэтому их охватывает смутное предчувствие, что их жизнь исполнена несправедливости, ибо она не может быть оправдана никакой грядущей жизнью.

Представим себе, что у этих последышей-антиквариев на смену такой иронично-болезненной скромности внезапно явится беззастенчивость; представим себе, что они зычным голосом возвестили бы: наше поколение на вершине своего развития, ибо только теперь оно обладает знанием о самом себе и только теперь оно само себе открылось, – тогда нам откроется зрелище, которое, подобно притче, истолкует загадочное значение для немецкой культуры одной весьма знаменитой философской системы. Я думаю, что в истории немецкой культуры за последнее столетие мы не найдем ни одного опасного колебания или уклонения, которое не стало еще опаснее благодаря громадному

и продолжающемуся до настоящей минуты влиянию этой философии, именно гегелевской. Поистине парализует и удручает вера в то, что ты последыш времен, но ужасной и разрушительной представляется эта вера, когда в один прекрасный день она путем дерзкого поворота мыслей начинает обоготворять этого последыша как истинную цель и смысл всего предшествовавшего развития, а в ученом убожестве его видит завершение всемирной истории. Такой способ мышления приучил немцев говорить о «мировом процессе» и оправдывать свою эпоху как необходимый результат всемирного процесса; эта точка зрения поставила историю на место других духовных сил, искусства и религии, как единственную верховную силу, поскольку она является «реализующим самое себя понятием», «диалектикой духа народов» и «страшным судом».

Эту понятную на гегелевский лад историю в насмешку назвали земным шествием Бога, хотя названный Бог есть, в свою очередь, лишь продукт самой истории. Но этот Бог стал сам себе прозрачно ясным и понятным в недрах гегелевского мозга и успел пройти все диалектически возможные ступени своего развития, вплоть до упомянутого самооткровения, так что для Гегеля вершина и конечный пункт мирового процесса совпали в его собственном берлинском существовании. Мало того, ему бы следовало сказать, что все, что произойдет после него, в сущности должно рассматриваться только как музыкальная кода всемирно-исторического рондо или, еще точнее, как нечто совершенно ненужное и лишнее. Этого он не сказал, но зато привил пропитанным его философской закваской поколениям то восхищение перед «властью истории», которое на практике постоянно вырождается в голое преклонение перед успехом и идолопоклонство перед фактом, для каковой цели теперь приспособили крайне мифологическое и, сверх того, весьма немецкое выражение «считаться с фактами». Но кто привык с самого начала гнуть спину и склонять голову перед «властью истории», тот под конец станет, подобно китайскому болванчику, механически поддакивать всякой власти, будет ли то правительство, общественное мнение или численное большинство, и двигать своими членами строго в такт с движениями нитки, за которую дергает какая-нибудь

управляющая им «власть». Если каждый успех заключает в себе какую-нибудь разумную необходимость, если каждое событие есть победа логического или «идеи», то нам остается только стремительно преклонить колени и в этой позе пройти всю лестницу «успехов»! И после этого вы говорите, что время господства мифологии прошло или что религии находятся в состоянии вымирания? Взгляните только на религию исторического могущества, обратите внимание на священнослужителей мифологии идей и их израненные колена! И разве мы не видим, что даже сами добродетели шествуют в свите этой новой веры? Разве это не самоотречение, когда исторический человек позволяет превратить себя в объективное зеркало? Разве это не великодушие, когда он отрекается от всякой власти на небе и земле, преклоняясь в лице каждой власти перед властью самой по себе? Разве это не справедливость, когда он постоянно держит в руках чаши весов, зорко наблюдая, которая, как более тяжелая, перевесит другую? А какой школой благоприличия является такое отношение к истории! Все рассматривать объективно, ни на что не гневаться, ничего не любить, все понимать – это делает человека столь кротким и гибким; и даже тогда, когда один из воспитанников названной школы начинает публично негодовать и раздражаться, этому только радуются, ибо все хорошо знают, что это нужно понимать в смысле артистическом и что это есть ira[1] и studium[2] и в то же время вполне sine ira et studio[3].

Какие устарелые мысли вызывает в моей душе зрелище такого сочетания мифологии и добродетели! Но мне надо их высказать, и пускай над ними смеются, сколько угодно. Я бы сказал так: история постоянно твердит: «так было однажды», а мораль: «вы не должны» или «вы не должны были бы». С этой точки зрения история является в действительности компендиумом фактической безнравственности. В какую грубую ошибку впал бы тот, кто стал бы рассматривать историю в то же время и как судью этой фактической безнравственности! Так, например, тот факт, что Рафаэлю

1 гнев (*лат.*).
2 пристрастие (*лат.*).
3 без гнева и пристрастия (*лат.*).

пришлось умереть, едва достигнув 36 лет, оскорбляет наше нравственное чувство: существо, подобное Рафаэлю, не должно умирать. Если же вы хотите прийти на помощь истории в качестве апологетов факта, вы скажете: он выразил все, что имел выразить, а если бы и продолжал жить, то постоянно творил бы столь же прекрасное, но не создавая новой красоты и т.д. Но, идя этим путем, вы становитесь адвокатами дьявола и именно потому, что вы из успеха, из факта делаете себе идола, в то время как факт всегда глуп и во все времена походил скорее на тельца, чем на Бога. Но, кроме того, вам, как апологетам истории, служит суфлером также и невежество: ибо только потому, что вы не знаете, что представляет собой такая natura naturans[1], как Рафаэль, вы можете оставаться равнодушным к тому, что он был и что его больше не будет. По поводу Гёте нас недавно тоже кто-то хотел просветить, утверждая, что в свои 82 года он уже пережил себя; а я все-таки охотно променял бы целые возы свежих высокосовременных жизней на несколько лет «пережившего себя» Гёте, чтобы быть еще участником таких бесед, какие вел Гёте с Эккерманом, и чтобы этим способом избавиться от всех нынешних поучений со стороны легионеров минуты. Сколь немногие из живущих имеют вообще право жить, когда такие люди умирают! Что живы многие и что тех немногих уже нет в живых, это – только грубая истина, т.е. непоправимая глупость, неуклюжее «так уж заведено», противопоставленное моральному «этого не должно было быть». Да, противопоставленное моральному! Ибо о какой бы добродетели мы ни говорили – о справедливости, о великодушии, о храбрости, о мудрости и сострадании человека, – везде он добродетелен потому, что он восстает против этой слепой власти фактов, против тирании действительного и подчиняется при этом законам, которые не тождественны с законами исторических приливов и отливов. Он плывет всегда против исторического течения, борется ли он со своими страстями, как ближайшей к нему формой окружающей его нелепой действительности, или стремится быть честным, в то время как вокруг него ложь плетет свои блестящие сети. Если бы даже во-

1 творящая природа (*лат.*).

обще история не представляла собой ничего, кроме «мировой системы страсти и заблуждения», то человек должен был бы так читать ее, как Гёте некогда советовал читать «Вертера», то есть слышать в ней зов: «Будь мужем и не следуй моему примеру!» К счастью, она сохраняет и память о великих борцах *против истории*, то есть против слепой власти действительного, и пригвождает себя сама к позорному столбу тем, что выделяет в качестве подлинных исторических натур именно те натуры, которые, мало заботясь о «так оно обстоит», с радостной гордостью подчиняют свою деятельность принципу «так должно быть». Не хоронить свое собственное поколение, но *создать новое поколение* – вот цель, которая неустанно увлекает их вперед; и если даже сами они родились последышами – существует такой род жизни, который может заставить забыть это, – грядущее поколение будет знать их только как первенцев.

9

Не есть ли, быть может, наше время такой первенец? – И в самом деле, острота его исторического чувства так велика и выражается в столь универсальной и прямо безграничной форме, что, по крайней мере, в этом будущие эпохи признают его первенство – если вообще эти *будущие эпохи* в смысле культурном когда-либо наступят. Но именно в этом пункте остаются тяжкие сомнения. В современном человеке рядом с гордостью уживается ироническое отношение к самому себе, сознание, что ему приходится жить в историзирующем и как бы вечернем настроении, и страх, что он не сумеет ничего сохранить для будущего из своих юношеских надежд и юношеских сил. В некоторых отношениях идут еще дальше, вплоть до *цинизма*, оправдывая исторический ход вещей или даже всего мирового развития исключительно интересами современного человека согласно циническому канону: все совершилось именно так, как и должно было, современный человек именно таков, каким исторически должен был стать, против этой необходимости никто не смеет восставать. Под спасительную сень такого рода цинизма спешит укрыться тот, кому не по силам

ирония; помимо этого последнее десятилетие предоставило в его распоряжение одно из своих лучших изобретений – именно громкую и закругленную фразу для выражения этого цинизма, характеризуя его современное и в высшей степени беззаботное отношение к жизни как «полное растворение личности в мировом процессе». Личность и мировой процесс! Мировой процесс и личность земной блохи! Когда же мы наконец устанем вечно повторять эту гиперболу из гипербол, твердить это слово: «Мир, мир, мир», в то время как по совести каждый из нас должен был бы лишь повторять: «Человек, человек, человек!» Наследники греков и римлян? Христианства? Это в глазах циников не имеет никакой цены. Зато наследники мирового процесса!.. Вершина и мишень мирового процесса! Смысл и разгадка всех загадок становления, отлившиеся в форму современного человека, этого наиболее зрелого из всех плодов древа познания! – вот что я называю высокоразвитым самомнением; по этому признаку можно узнать первенцев всех эпох, если бы даже они и явились последними. Так далеко еще никогда не заносилось историческое созерцание, даже и тогда, когда оно видело сны; ибо теперь история человечества есть только продолжение истории животного и растительного царства; даже на дне морском исторический универсалист ухитряется находить свои следы в виде живой слизи. Если мы удивляемся громадности пути, пройденного уже человеком, как некоему чуду, то взор наш останавливается с головокружительным изумлением, как на еще более поразительном чуде, на современном человеке, который достиг того, что может мысленно проследить весь этот путь; он гордо стоит на вершине пирамиды мирового процесса; закладывая последний, замковый камень своего познания, он как бы хочет крикнуть прислушивающейся к его словам природе: «Мы у цели, мы – сама цель, мы – венец природы!»

Ты ослеплен гордыней, европеец девятнадцатого столетия, ты безумствуешь! Твое знание не завершает природу, а, напротив, убивает твою собственную. Сопоставь хоть однажды высоту твоего познания с глубиной твоей немощи. Цепляясь за солнечные лучи знания, ты, правда, поднимаешься все ближе к небу, но также и спускаешься в хаос. Твой

способ передвижения, а именно – карабкание вверх по лестнице знания, является для тебя роковым; основа и почва ускользают из-под твоих ног куда-то в неизвестное; жизнь твоя лишается всех точек опоры и держится только на паутинных нитях, которые рвутся при каждом новом усилии твоего познания. – Но не стоит больше тратить по этому поводу серьезных слов, когда можно сказать нечто веселое.

Пусть моралист, художник, пиетист, даже политический деятель раздумывают над неистовым, неразумным раздроблением и разрушением всех фундаментов, растворением их в непрерывно-текучее и расплывающееся становление, неутомимостью, с какой современный человек, как паук-крестовик сидящей в центре всемирной паутины, исторически анатомирует все свершившееся. Мы же для развлечения сейчас рассмотрим все это, созерцаемое в магическом зеркале *философа-пародиста*, в чьей голове наше время дошло до иронического отношения к самому себе, и притом с доходящей «до нечестивости» (говоря по-гётевски) явственностью. Гегель где-то поучает нас, что «когда дух делает шаг вперед, то философы двигаются вместе с ним»: наша эпоха сделала шаг к самоиронии и – гляди-ка! Э. фон Гартман очутился тут как тут и создал свою знаменитую философию бессознательного или, говоря точнее, свою философию бессознательной иронии. Редко нам случалось встречать более забавную выдумку и более удачные образчики философского плутовства, чем в сочинениях Гартмана; кто не уяснил себе процесса *становления* или не освободился внутренне от него благодаря Гартману, тот действительно созрел для прошедшего времени. Начало и цель мирового процесса, от первого недоумения сознания и до его обратного погружения в ничто, вместе с точно сформулированной задачей нашего поколения по отношению к мировому процессу, все это изображено с точки зрения бессознательного, в котором столь остроумно найден источник вдохновения и которое освещено каким-то апокалиптическим светом, все подделано столь искусно и с такой искренней серьезностью, как будто это действительно серьезная философия, а не философия в шутку, и все это, взятое в целом, заставляет видеть в авторе первого философского пародиста всех времен; принесем ввиду этого жертву на его алтарь, пусть

этой жертвой изобретателю истинного универсального лекарства будет локон – употребляя одно из выражений восторга Шлейермахера. Ибо, в самом деле, какое лекарство может быть целительнее против избытка исторического образования, как не гартмановская пародия на всемирную историю?

Если бы мы захотели выразить без прикрас то, что Гартман возвещает нам с высоты своего окутанного курениями треножника бессознательной иронии, то мы должны были бы сказать: он возвещает нам, что наше время именно таково, каким оно должно быть, если человечество действительно пресытится этим существованием, чему мы от всего сердца верим. То ужасное закоснение нашего времени, тот беспокойное похрустывание костями, которое Давид Штраус в своей наивности изобразил нам как прекраснейшую действительность, у Гартмана находит свое оправдание не только, так сказать, сзади, ex causis efficientibus[1], но даже и спереди, ex causa finali[2]; этот шутник рассматривает нашу эпоху в свете дня страшного суда, причем оказывается, что она очень хорошо именно для того, кто сам ищет возможно острых страданий от неудобоваримости жизни и кто ждет не дождется наступления страшного суда. Правда, Гартман называет возраст, к которому теперь приближается человечество, «возрастом возмужалости», а таковым, с его точки зрения, должно считаться то счастливое состояние, когда господствует только одна «золотая посредственность» и когда искусство делается тем, чем примерно для «берлинского биржевика является вечером фарс», когда «нет спроса на гениев, потому что это было бы равносильно метанию бисера перед свиньями или же потому что наша эпоха шагнула черед стадию, которой приличествовали гении, к более важной стадии», именно к той стадии социального развития, в которой каждый работник «благодаря рабочему времени, оставляющему ему достаточный досуг для его интеллектуальных запросов, может вести комфортное существование». Ах, шутник из шутников, ты высказываешь страстное желание современного человечества, но тебе в то же

1 из действующих причин (*лат.*).
2 из конечной причины (*лат.*).

время известно, что за призрак угрожает человечеству в конце этого возраста его возмужалости как результат такого интеллектуального развития до золотой посредственности – именно отвращение. Совершенно ясно, что сейчас положение дел крайне неутешительно, но что в будущем будет еще хуже: «антихрист все шире и шире раскидывает свои сети», но так *должно* быть, так *должно* происходить и впредь, ибо тем самым мы находимся на вернейшем пути к отвращению от всего существующего. «Поэтому без колебаний вперед по пути мирового процесса, как работники в вертограде Господнем, ибо только один процесс может нас привести к спасению!»

Вертоград Господень! Процесс! К спасению! Разве в этих словах не видно и не слышно голоса исторического образования, знающего только слово «становиться», умышленно замаскированного уродливой пародией и под прикрытием нелепой маски рассказывающего о себе самые невероятные небылицы! Ибо чего, в сущности, требует от работников в вертограде Господнем этот обращенный к ним лукавый призыв? К какой работе во имя неустанного движения вперед призывает их? Или, формулируя тот же вопрос иначе: что еще нужно сделать исторически образованному человеку, фанатику процесса, плывущему в потоке становления и уже захлебнувшемуся в нем, чтобы собрать жатву отвращения, этот драгоценнейший плод вертограда Господня? – Ему ничего не нужно предпринимать, а только продолжать жить, как он жил раньше, продолжать любить то, что он любил, продолжать ненавидеть то, что он ненавидел до сих пор, и продолжать читать газеты, которые он читал до сих пор; для него существует лишь один грех – жить иначе, чем он жил до сих пор. А как он жил до сих пор, об этом нам говорит с лапидарной ясностью та знаменитая страница с напечатанными крупным шрифтом тезисами, по поводу которых вся современная образованная чернь впала в слепой восторг и восторженное бешенство, ибо в этих тезисах она усмотрела оправдание своему собственному существованию, и притом оправдание с какой-то апокалиптической точки зрения. Ибо от каждой отдельной личности наш бессознательный пародист требовал «полного растворения личности в мировом процессе ради ко-

нечной цели последнего, спасения мира», – или, еще яснее и прозрачнее: «Утверждение воли к жизни провозглашается нами как единственно правильный предварительный принцип: ибо только путем полного слияния личности с жизнью и ее страданиями, а не путем малодушного самоотречения личности и удаления от света может быть что-нибудь сделано для мирового процесса»; «Стремление к отрицанию индивидуальной воли так же глупо и бесполезно, как самоубийство, или, может быть, даже еще глупее»; «Мыслящий читатель поймет и без дальнейших указаний, какую форму должна получить основанная на этих принципах практическая философия и то, что такая философия должна влечь за собой не разлад, а примирение с жизнью».

Мыслящий читатель поймет это; и как могли не понять Гартмана! И сколь бесконечно забавно, что его неправильно понимали! Так ли уж проницательны современные немцы? Один прямодушный англичанин констатирует у них отсутствие delicacy of perception[1] и даже осмеливается утверждать, что «in the German mind there does seem to be something splay, something blunt-edged, unhandy and infelicitous[2]» – согласился ли бы с этим великий немецкий пародист? Хотя, по его объяснению, мы и приближаемся к «тому идеальному состоянию, в котором человеческий род будет сознательно творить свою историю», но совершенно ясно, что мы довольно далеки от того еще более идеального состояния, когда человечество сможет вполне сознательно прочесть книгу Гартмана. Когда же такое время наступит, то ни один человек не сумеет произнести без улыбки слова «мировой процесс», ибо при этом он непременно вспомнит о том времени, когда евангелие-пародия Гартмана воспринималось, впитывалось, оспаривалось, почиталось, распространялось и канонизировалось со всей простоватостью упомянутого german mind или даже, по выражению Гёте, с «карикатурной важностью совы». Но мир должен идти вперед, а то идеальное состояние, о котором шла речь выше, не может быть создано грезами, оно может лишь быть

1 тонкости восприятия (*англ.*).

2 в немецком сознании, похоже, есть что-то вывихнутое, что-то притупленное, неловкое и несчастное (*англ.*).

добыто в борьбе и завоевано, и путь к спасению, к избавлению от мнимой совиной важности лежит через веселую жизнерадостность. Это будет такое время, когда люди станут благоразумно воздерживаться от всяких сконструированных предположений насчет мирового процесса или даже истории человечества, – такое время, когда в центре внимания будут уже не массы, а снова отдельные личности, образующие своего рода мост через необозримый поток становления. И эти личности не представляют собой звеньев какого-нибудь процесса, но живут как бы одновременно и вне времени благодаря истории, которая делает возможным такое сотрудничество; они составляют как бы республику гениальных людей, о которых где-то рассказывает Шопенгауэр: один великан окликает другого через пустынные промежутки времени, и эти беседы исполинов духа продолжаются, не нарушаемые резвой суетой шумного поколения карликов, которые копошатся у их ног. Задача истории заключается в том, чтобы служить посредницей между ними и этим путем снова и снова способствовать созданию великого и давать ему силы. Нет, цель человечества не может лежать в конце его пути, а только в его высших экземплярах.

На это, правда, наш комик возражает нам со своей достойной изумления диалектикой, которая в такой же степени неподдельна, в какой ее поклонники заслуживают изумления: «Приписывать мировому процессу бесконечную продолжительность в прошедшем означало бы вступить в противоречие с понятием развития, ибо тогда всякое мыслимое развитие должно было быть уже пройдено, что, однако, не имеет места (ох и плут!); и точно так же мы не можем признать бесконечную длительность процесса в будущем; то и другое отменяло бы понятие развития в направлении цели (дважды плут!) и уподобило бы мировой процесс вычерпыванию воды данаидами. Окончательная победа логического над нелогическим (плут из плутов!) должна совпасть с завершением мирового процесса во времени, с днем Страшного суда!» Нет, ясный и насмешливый дух, пока нелогическое продолжает властвовать так же, как сейчас, пока, например, о «мировом процессе» можно при всеобщем одобрении рассуждать так, как ты рассуждаешь, день Страшного суда еще далек: ибо на этой земле еще слишком светло и

радостно, еще цветут некоторые иллюзии вроде, например, иллюзии твоих современников относительно тебя, мы еще недостаточно зрелы для того, чтобы быть снова низринутыми в твое ничто: ибо мы верим в то, что здесь на земле станет еще веселее, как только начнут правильно понимать тебя, о непонятый Бессознательный. Если же все-таки волна отвращения хлынет на человечество, как ты это предсказывал твоим читателям, если твоя характеристика современности и будущего окажется правильной – а никто ведь не относился к ним с таким презрением и отвращением, как ты, – то я готов голосовать вместе с большинством в предложенной тобой форме за то, чтобы твой мир погиб в ближайшую субботу в 12 часов ночи; и принятый нами закон пусть заканчивается такими словами: с завтрашнего дня время перестанет существовать и газеты пусть не выходят более. Но, может быть, ожидаемого эффекта не последует и наше голосование будет напрасно: ну, тогда у нас, во всяком случае, останется достаточно времени для следующего интересного эксперимента. Возьмем весы и положим на одну чашу гартмановское Бессознательное, а на другую – гартмановский Мировой процесс. Есть люди, которые полагают, что чаши весов будут в равновесии: ибо в каждой чаше мы имели бы по одинаково страшному слову и по одинаково доброй шутке. Стоит только понять шутку Гартмана, и никто уже не будет говорить о его «мировом процессе» иначе как в шутку. В самом деле, давно пора весь арсенал сатирической злости пустить в ход против излишеств исторического чувства, против чрезмерного увлечения процессом в ущерб бытию и жизни, против необдуманного отодвигания всех перспектив; а творцу философии бессознательного нужно поставить в неумирающую заслугу, что ему первому удалось остро ощутить все то смешное, что связано с представлением о «мировом процессе», и еще острее дать почувствовать это своим читателям при помощи нарочитой серьезности изложения. Для чего существует «мир», для чего существует «человечество» – этим мы пока заниматься не станем, разве только нам вздумается немного позабавиться: ибо дерзость маленького червяка-человека не есть ли самое забавное и самое веселое из всего совершающегося на земной сцене; но для чего существу-

ет отдельный человек – вот что ты должен спросить у самого себя, и если бы никто не сумел тебе ответить на это, то ты должен попытаться найти оправдание своему существованию, как бы a posteriori, ставя себе самому известные задачи, известные цели, известное «ради», высокое и благородное «ради». Пусть тебя ждет на этом пути даже гибель – я не знаю лучшего жизненного жребия, как погибнуть от великого и невозможного, animae magnae prodigus[1]. Если же, напротив, учения о верховности становления, о текучести всех понятий, типов и родов, об отсутствии серьезного различия между человеком и животным, – учения, которые я считаю хотя и истинными, но смертоносными, – будут хотя бы в течение одного человеческого века распространяться среди народных масс с обычным для нашего времени просветительским рвением, то никто не должен удивляться тому, что народ будет гибнуть благодаря эгоистической мелочности и эгоистическому ничтожеству, благодаря закоснению и себялюбию, предварительно расколовшись на части и перестав быть народом; на месте последнего на арене будущего, может быть, появятся системы отдельных эгоизмов, будут образовываться братства в целях хищнической эксплуатации всех стоящих вне братств и тому подобные создания утилитарной пошлости. Чтобы расчистить почву для таких организаций, нужно только продолжать излагать историю с точки зрения *масс* и стараться открыть в истории такие законы, которые могут быть выведены из потребностей этих масс, то есть законов движения низших слоев общества. Массы представляются мне достойными внимания только в трех отношениях: прежде всего, как плохие копии великих людей, изготовленные на плохой бумаге со стертых негативов, затем, как противодействие великим людям и, наконец, как орудие великих людей; в остальном же побери их черт и статистика! Как? Статистика, по вашему мнению, доказывает, что в истории есть законы? Законы? Да, она показывает нам, насколько пошла и до тошноты однообразна масса; но разве действие сил тяготения, глупости, рабского подражания, любви и голода можно называть законами? Хорошо, допустим это; но тогда мы долж-

---

1 не щадя своей дорогой жизни (*лат.*).

ны признать правильность и такого положения: поскольку в истории действуют законы, постольку эти законы не имеют никакой цены, как не имеет никакой цены тогда и сама история. Но в настоящее время как раз и пользуется всеобщим признанием тот род истории, который видит в главных инстинктах масс наиболее важные и значительные факторы истории, а на всех великих людей смотрит как на наиболее яркое выражение их, как на род пузырьков на поверхности воды. При этом масса сама по себе должна порождать великое, а хаос – порядок; и в заключение, конечно, затягивают гимн в честь творческих способностей масс. «Великим» с этой точки зрения называют все то, что двигало в течение более или менее продолжительного времени такими массами и что представляло собой, как говорят, «историческую силу». Но не значило ли бы это умышленно смешивать количество и качество? Если грубой массе пришлась по душе какая-либо идея, например, религиозная, если она упорно защищала ее и в течение веков цепко за нее держалась, то следует ли отсюда, что творец данной идеи должен считаться в силу этого и только в силу этого великим человеком? Но почему, собственно? Благороднейшее и высочайшее совершенно не действует на массы; исторический успех христианства, его историческая мощь, живучесть и прочность – все это, к счастью, ничего не говорит в пользу величия его основателя, ибо, в сущности, оно говорило бы против него; но между ним и тем историческим успехом христианства лежит весьма земной и темный слой страстей, ошибок, жажды власти и почестей, действующих и поныне сил imperium romanum, то есть тот слой, от которого христианство получило земной привкус и земной придаток, обусловившие возможность его существования в этом мире и как бы обеспечившие его устойчивость. Величие не должно зависеть от успеха; и Демосфен завоевал величие, хотя он и не имел успеха. Наиболее чистые и наиболее искренние из последователей христианства всегда относились скептически к его светским успехам, к его так называемому «историческому влиянию» и скорее старались парализовать их, чем способствовать им; ибо они обыкновенно ставили себя вне «мира сего» и не заботились о «процессе христианской идеи»; благодаря этому они в большинстве

случаев и остались совершенно неизвестными и безымянными в истории. Или, выражаясь по-христиански: владыкой мира и вершителем успеха и прогресса является дьявол; он есть истинная сила всех исторических сил и так будет, в сущности, всегда, хотя это, может быть, и покажется весьма обидным для эпохи, которая привыкла преклоняться перед успехом и исторической силой. Эта эпоха приобрела большой навык именно в искусстве давать вещам новые имена и даже дьявола ухитрилась окрестить по-новому. Несомненно, мы переживаем час великой опасности: человечество, по-видимому, весьма близко к открытию той истины, что рычагом исторических движений всегда служил эгоизм отдельных лиц, групп или масс; в то же время это открытие отнюдь не возбуждает ни в ком тревоги, напротив, оно возводится в степень закона: эгоизм да будет нашим богом. Опираясь на эту новую веру, мы собираемся совершенно осознанно возводить здание будущей истории на фундаменте эгоизма, но только этот эгоизм должен быть эгоизмом разумным, то есть таким, который сам на себя налагает известные ограничения, чтобы прочнее укрепиться в своих позициях, и который изучает историю именно с целью узнать, что представляет собой эгоизм неразумный. Такого рода занятие историей научило нас, что в образовавшейся мировой системе эгоизмов на долю государства выпадает особая миссия: оно должно стать покровителем всех разумных эгоизмов для того, чтобы оградить их при помощи своей военной и полицейской силы от ужасных взрывов неразумного эгоизма. Для той же цели неразумным и потому опасным народным и рабочим массам тщательно прививается история, и именно история животного царства и история человечества, ибо известно, что даже крупица исторического образования в состоянии сломить силу грубых и тупых инстинктов и страстей или направить их в русло утонченного эгоизма. In summa: современный человек, говоря словами Э. фон Гартмана, «озабочен устройством здесь, на своей земной родине, удобного и комфортабельного жилья, имеющего в виду будущее». Этот же самый писатель называет подобную эпоху «зрелым возрастом человечества» – как бы в насмешку над тем, что теперь называется «мужем», словно под этим последним словом понимается только «трезвый

себялюбец». После «зрелого возраста» он предсказывает соответствующую старость; очевидно, только глумясь над нашими современными старцами, он не раз упоминает о той зрелой созерцательности, с которой они «оглядываются назад, на бурные треволнения прожитых годов, и понимают всю тщету прежних ложных целей их стремлений». Нет, зрелому возрасту этого лукавого и исторически образованного эгоизма соответствует такой старческий возраст, который с отвратительной и унизительной жадностью цепляется за жизнь, а затем последний акт, в котором

«Конец всей этой странной, сложной пьесы –
Второе детство, полузабытье:
Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего.»

Все равно, угрожает ли нашей жизни и нашей культуре опасность от этих беспутных, лишенных зубов и вкуса старцев или от так называемых мужей Гартмана, будем зубами отстаивать против тех и других права нашей *молодости* и неустанно защищать в нашей молодости будущее от покушений этих иконоборцев будущего. Но в этой борьбе нам предстоит сделать еще одно особенно неприятное наблюдение, а именно, что *эта болезнь века – злоупотребление чувством истории – умышленно поддерживается и развивается с тем, чтобы использовать ее в известных целях.*

Ею пользуются как средством, чтобы привить юношеству этот тщательно насаждаемый повсюду эгоизм зрелого возраста; ею пользуются, чтобы при помощи магического научного освещения, в котором предстает этот мужественный и в то же время недостойный мужчины эгоизм, побороть в юношестве естественное отвращение к этой болезни. Да, мы хорошо знаем, к каким результатам может привести чрезмерное преобладание истории, мы слишком хорошо это знаем; оно может в корне подрезать наиболее могучие инстинкты юности: юношеский огонь, юношеский задор, способность к самозабвению и любви, охладить пыл присущего ей чувства справедливости, подавить или оттеснить на второй план стремление к медленному созреванию посредством противоположного стремления возможно скорее сделаться готовым, полезным и продуктивным, привить яд сомнения юношеской честности и смелости чув-

ства; более того, история может лишить юность ее главного преимущества – способности проникаться глубокой верой в великую идею и претворять ее в недрах своего существа в еще более великую идею. Все это может натворить преизбыток истории, мы это видели; а именно – тем, что она путем постоянного сдвигания горизонтов и перспектив и устранения предохраняющей атмосферы не позволяет человеку чувствовать и действовать *неисторически*. От безграничных горизонтов он обращается тогда к самому себе, в свою узкую, эгоистическую сферу, в которой он неизбежно завянет и засохнет; может быть, ему удастся таким способом достигнуть благоразумия, но ни в коем случае мудрости. Он доступен убеждению, он умеет считаться с обстоятельствами и приспосабливаться к ним, хорошо владеет собой, смекает и умеет извлечь выгоду для себя и своей партии из чужой выгоды или вреда; он отбрасывает излишнюю стыдливость и таким путем, шаг за шагом, превращается в гартмановского зрелого «мужа» и «старца». Но это и есть то, во что он *должен* превратиться, именно в этом и заключается смысл предъявляемого теперь с таким цинизмом требования «полного растворения личности в мировом процессе» – ради цели последнего, то есть спасения мира, как нас уверяет шутник Э. фон Гартман. Сомнительно, чтобы желанием и целью этих гартмановских «мужей» и «старцев» было именно спасение мира, но, несомненно, мир был бы ближе ко спасению, если бы ему удалось избавиться от этих мужей и старцев. Ибо тогда наступило бы царство юности.

10

Упомянув здесь о *юности*, я готов воскликнуть: земля! земля! Довольно, слишком довольно этих страстных исканий и скитаний по чужим незнакомым морям! Теперь вдали наконец виднеется берег; каков бы он ни был, мы должны к нему пристать, и наихудшая гавань лучше, чем скитание и возвращение в безнадежную, скептическую бесконечность. Будем крепко держаться обретенной земли, мы всегда сумеем найти потом хорошие гавани и облегчить потомству возможность пристать к ним.

Опасно и полно тревог было это плавание. Как далеки мы теперь от той спокойной созерцательности, с которой мы поначалу выходили в открытое море! Исследуя шаг за шагом опасности истории, мы увидели, что сами подвергнуты в сильнейшей степени всем этим опасностям; мы носим на самих себе следы тех страданий, которые выпали на долю людей новейшего поколения вследствие избытка истории, и именно это исследование, чего я отнюдь не намерен скрывать от себя, носит вполне современный характер, характер слабовыраженной индивидуальности, проявляющейся в неумеренности его критики, в незрелости его человечности, в частом переходе от иронии к цинизму, от самоуверенности к скептицизму. И все-таки я полагаюсь на ту вдохновляющую силу, которая, как гений, направляет мой корабль. И все-таки я верю, что *юность* направила меня на истинный путь, *заставив меня протестовать против исторического образования современного юношества* и заставив меня требовать, чтобы человек прежде всего учился жить и пользовался историей только для *служения познанной жизни*. Нужно быть юным, чтобы понимать этот протест, более того: при преждевременном седовласии нашего теперешнего юношества нельзя быть достаточно юным, чтобы почувствовать, против чего, в сущности, здесь протестуют. Я поясню это примером. Не далее как столетие тому назад в Германии в некоторых молодых людях пробудилось естественное тяготение к тому, что называют поэзией. Можно ли заключить отсюда, что их современники и предшественники никогда не заикались об этом внутренне им чуждом и с их точки зрения неестественном искусстве? Напротив, мы знаем как раз обратное: что эти поколения по мере своих сил размышляли, писали, спорили о «поэзии» посредством слов о словах, словах, словах. Но наступившее пробуждение слова к жизни вовсе не повлекло за собой исчезновения тех кропателей слов; в известном смысле они живы и поныне; ибо если, как говорит Гиббон, не требуется ничего, кроме времени, хотя и многого времени, для того чтобы погибла известная эпоха, то точно так же не нужно ничего, кроме времени, хотя и гораздо большего времени, чтобы в Германии, «этой стране постепенности», исчезло навсегда какое-либо ложное понятие. Во всяком случае, понимающих поэзию людей

теперь найдется, пожалуй, на сотню больше, чем столетие тому назад; может быть, через сто лет найдется еще сотня людей, которые за это время научатся понимать, что такое культура, а также и то, что у немцев нет до сих пор никакой культуры, как бы они ни распространялись и ни важничали на сей счет. Им столь распространенная ныне удовлетворенность немцев своим «образованием» будет казаться в такой же степени невероятной и такой же нелепой, как нам – некогда общепризнанная классичность Готшеда или возведение Рамлера в сан немецкого Пиндара. Они, может быть, придут к выводу, что это образование есть только известный вид знания об образовании, и к тому же совершенно ложного и поверхностного знания. Ложным же и поверхностным оно было потому, что допускало противоречие между жизнью и знанием и не замечало характерной черты в образовании действительно культурных народов, а именно – что культура может вырасти и развиться лишь на почве жизни, в то время как у немцев ее прикалывают, как бумажный цветок, или поливают сверху, как глазурь на торт, и потому она всегда остается живой и бесплодной. Немецкое же воспитание юношества опирается именно на это ложное и бесплодное представление о культуре: тут конечной ее целью, понимаемой в чистом и высоком смысле, является вовсе не свободный человек культуры, но ученый человек науки, и притом такой человек науки, которого можно использовать возможно раньше и который отстраняется от жизни, чтобы возможно точнее познать ее; результатом такого воспитания с общеэмпирической точки зрения является историческо-эстетический образованец, умный не по летам и самонадеянный болтун о государстве, церкви и искусстве, вместилище для тысячи разнообразных ощущений, ненасытный желудок, который тем не менее не знает, что такое настоящие голод и жажда. Что воспитание, поставившее себе подобные цели и приводящее к таким результатам, противоестественно, это чувствует только тот, кто еще окончательно не сложился под влиянием его, это чувствует только инстинкт юности, ибо только она сохраняет еще инстинкт естественного, который это воспитание может заглушить лишь при помощи искусственных и насильственных мер. Но кто, в свою очередь, пожелал бы бо-

роться с таким воспитанием, тот должен помочь юношеству сказать свое слово, должен осветить бессознательное юношеское сопротивление светочем понимания и довести его до ясного, громко заявляющего о своих правах сознания. А как достигнуть такой мудреной цели?

Прежде всего уничтожением известного предрассудка – а именно, веры в *необходимость* упомянутого воспитательного приема. Существует же мнение, что невозможна никакая иная действительность, кроме нашей современной, крайне убогой, действительности. Если бы кто-нибудь вздумал проверить этот факт на литературе, посвященной высшему школьному образованию и воспитанию за последние десятилетия, то он был бы неприятно удивлен, заметив, насколько, при всех колебаниях и противоречиях, однообразны господствующие представления о конечной цели образования, насколько единодушно и решительно продукт предшествующего развития – «образованный человек», как его теперь понимают, – принимается за необходимую и разумную основу всякого дальнейшего воспитания. И это единодушие нашло бы себе выражение, вероятно, в следующей формуле: «Юноша должен начать с науки об образовании, но не с науки о жизни и уж ни в коем случае не с самой жизни или жизненного опыта». Эта наука об образовании внедряется к тому же в головы юношей как историческое значение; другими словами, головы их начиняются невероятным количеством понятий, выведенных на основании весьма отдаленного знакомства с эпохами и народами прошлого, но отнюдь не на основании прямого наблюдения над жизнью. Страстная потребность юноши узнать что-нибудь собственными силами, страстная потребность чувствовать, как внутри его зреет стройная и живая система собственных переживаний, – эти потребности всячески стараются в нем приглушить и как бы опьянить, пробуждая в нем соблазнительную, но ложную уверенность, что можно в течение немногих лет переработать в себе важнейшие и замечательнейшие результаты и опыты прошлых эпох, и притом величайших эпох. Это тот же претенциозный метод, в силу которого наши молодые художники изучают искусство в музеях и галереях вместо того, чтобы изучать его в мастерских великих художников, и прежде всего в един-

ственной в своем роде мастерской единственной великой мастерицы – природы. Как будто поверхностной прогулки по владениям истории достаточно для того, чтобы перенять у прошлых времен их приемы и уловки и усвоить себе их жизненные итоги! Или как будто сама жизнь не есть известное ремесло, которое мы должны основательно и неустанно изучать и, не щадя усилий, упражняться в нем, если мы не хотим, чтобы им завладели дилетанты и болтуны!

Платон думал, что первое поколение его нового общества (в совершенном государстве) должно быть воспитано при помощи могучей *вынужденной лжи;* дети должны быть воспитаны в уверенности, что они уже раньше жили под землей, как бы в состоянии сна, где их лепил и формовал по своему усмотрению творец природы. Немыслимо поэтому восставать против прошлого! Немыслимо противодействовать делу богов! Таков нерушимый закон природы: кто родился философом, тот сделан из золота, кто родился стражем, тот сделан из серебра, а ремесленник – из железа и сплавов. Как невозможно, говорит Платон, сплавить вместе эти металлы, так невозможно будет когда-либо уничтожить кастовое устройство и перемешать касты друг с другом; вера в aeterna veritas[1] этого устройства и есть фундамент нового воспитания и вместе с тем нового государства. Совершенно так же верит и современный немец в aeterna veritas своего воспитания и своего вида культуры; и все-таки эта вера погибнет, как погибло бы платоновское государство, если бы необходимой лжи была противопоставлена необходимая истина: у немца нет свой культуры, ибо он не может обладать ею благодаря своему воспитанию. Он хочет цветка без корня и стебля, и поэтому хочет его напрасно. Такова простая истина, неприятная и неизящная, – поистине вынужденная истина.

Но на этой вынужденной истине должно быть воспитано *наше первое поколение;* ему, разумеется, придется в особенности сильно страдать от нее, ибо оно должно с ее помощью воспитывать само себя, и притом воспитывать в себе в борьбе с самим собой новые привычки и новую природу взамен старой и первоначальной природы и привы-

---

1 вечную истину (*лат.*).

чек, так что оно могло бы сказать самому себе на староиспанском наречии: «Defienda me Dios de my» – да защитит меня Господь от меня самого, то есть от уже привитой мне воспитанием природы. Оно должно усваивать себе эту истину каплю за каплей, как горькое и противное лекарство, и каждый отдельный член этого поколения должен решиться произнести над самим собой тот приговор, с которым ему легче было бы примириться, если бы приговор этот относился вообще ко всей эпохе: у нас нет образования, мы непригодны для жизни, мы не способны правильно и просто смотреть и слушать, мы утратили счастливую способность схватывать ближайшее и естественное, и до настоящего времени мы не заложили даже фундамента культуры, ибо сами не убеждены в том, что мы живем настоящей жизнью. Мы распались на мелкие куски, мы в нашем целом разделены полумеханически на внутреннее и внешнее, мы усеяны понятиями, как драконьими зубами, из которых вырастают понятия-драконы; мы страдаем болезнью слов, не доверяя никакому собственному ощущению, если оно еще не запечатлено в форме слов; в качестве такой мертвой и в то же время жутко шевелящейся фабрики понятий и слов я, может быть, еще имею право сказать о себе самом: cogito, ergo sum, но не vivi, ergo cogito[1]. За мной обеспечено право на пустое «бытие», а не на полную и цветущую «жизнь»; мое первоначальное ощущение служит мне порукой лишь в том, что я являюсь мыслящим, но не в том, что я являюсь живым существом, порукою в том, что я не animal, а разве только в крайнем случае – cogital. Подарите мне сначала жизнь, а я уж создам вам из нее культуру! – Так восклицает каждый отдельный член этого первого поколения, это пароль, по которому все эти индивидуумы будут узнавать друг друга. Но кто подарит им эту жизнь?

Не бог и не человек, а только их собственная *юность*: снимите с нее оковы, и вы вместе с нею освободите и жизнь. Ибо она только до поры до времени скрывалась в темнице, она еще не засохла и не завяла – об этом вы можете спросить самих себя.

---

1 мыслю, следовательно, существую ... живу, следовательно, мыслю (*лат.*).

Но она больна, эта освобожденная от оков жизнь, и ее нужно лечить. У нее множество недугов, ее заставляют страдать не только воспоминания о прежних оковах, но и новая болезнь, которая нас здесь главным образом интересует, – *историческая болезнь*. Избыток истории подорвал пластическую силу жизни, она не способна больше пользоваться прошлым как здоровой пищей. Болезнь ужасна, и, тем не менее, если бы природа не наделила юность даром ясновидения, то никто бы не знал, что это болезнь и что рай здоровья нами утрачен. Та же самая юность при помощи все того же спасительного инстинкта природы угадывает, каким образом мы могли бы завоевать обратно этот рай; ей известны бальзамы и лекарства против исторической болезни, против избытка исторического: как же называются эти лекарства?

Пусть не удивляются, это названия ядов: средства против исторического называются *неисторическим и надисторическим*. Эти термины возвращают нас к исходным пунктам нашего исследования и к их спокойствию.

Словом «неисторическое» я обозначаю искусство и способность *забывать* и замыкаться внутри известного ограниченного *горизонта;* «надисторическим» я называю силы, которые отвлекают наше внимание от процесса становления, сосредоточивая его на том, что сообщает бытию характер вечного и неизменного, именно – на *искусстве и религии. Наука* – ведь о ядах говорила бы, конечно, она – видит в этой способности, в этих силах враждебные силы и способности: ибо она считает только такое исследование вещей истинным и правильным и, следовательно, научным, которое видит всюду совершившееся, историческое и нигде не видит существующего, вечного; она живет во внутреннем противоречии с вечными силами искусства и религии точно так же, как она ненавидит забвение, эту смерть знания, как она стремится уничтожить все ограничения горизонтами и погружает человека в бесконечно-безграничное световое море познанного становления.

Как может он жить в нем! Подобно тому, как при землетрясениях разрушаются и пустеют города и человек лишь боязливо и на скорую руку строит свой дом на вулканической почве, так жизнь колеблется в своих устоях и лишается силы и мужества, когда под воздействием науки *сотряса-*

ется почва понятий, отнимая у человека фундамент, на котором покоится его уверенность и спокойствие, а также веру в устойчивое и вечное. Должна ли господствовать жизнь над познанием, над наукой, или познание над жизнью? Какая из двух сил есть высшая и решающая? Никто не усомнится: жизнь есть высшая, господствующая сила, ибо познание, которое уничтожило бы жизнь, уничтожило бы вместе с нею и само себя. Познание предполагает жизнь и поэтому настолько же заинтересовано в сохранении жизни, насколько каждое существо заинтересовано в продолжении своего собственного существования. Поэтому наука нуждается в высшем надзоре и контроле; рядом с наукой возникает учение о *гигиене жизни*, а одно из положений этого учения гласило бы так: неисторическое и надисторическое должны считаться естественными противоядиями против заглушения жизни историческим, против исторической болезни. По всей вероятности, мы, больные историей, будем страдать также и от противоядий. Но то обстоятельство, что противоядия также причиняют нам страдания, не может считаться аргументом против правильности избранного метода лечения.

И вот в этом-то я и усматриваю миссию того *юношества*, того первого поколения борцов и истребителей змей, которое идет в авангарде более счастливого и более прекрасного образования и человечности, не получая от этого грядущего счастья и будущей красоты ничего, кроме многообещающего предчувствия. Это юное поколение будет одновременно страдать и от болезни, и от противоядий, и все-таки оно имеет больше прав говорить о своем более крепком здоровье и более естественной природе, чем предыдущие поколения – поколения образованных «мужей» и «старцев» современности. Миссия же его заключается в том, чтобы подорвать веру в понятия, которые господствуют теперь относительно «здоровья» и «образования», и возбудить ненависть и презрение к этим чудовищным понятиям-ублюдкам; и наивернейшим показателем более прочного здоровья этой молодежи должно служить именно то, что из всех ходячих слов и понятий нашего времени ни одно не подойдет для определения ее естества. Это нарождающееся поколение в каждую благоприятную минуту своей

жизни убеждается в своей внутренней силе – активной, борющейся, выделяющей, дробящей – и в повышенном чувстве жизни. Можно оспаривать, что эта молодежь уже обладает образованием – но какой молодежи это могло бы быть поставлено в упрек? Можно обвинять ее в грубости и неумеренности – но она еще недостаточно стара и умудрена опытом, чтобы сдерживать свои порывы; да, прежде всего ей нет никакой надобности лицемерно претендовать на законченное образование и защищать его, ибо она имеет право на все утешения и преимущества юности, в особенности на преимущество смелой и не знающей колебаний честности и на утешения воодушевляющей надежды.

Я знаю, что для всех живущих такой надеждой эти обобщения понятны и близки, и их собственный опыт даст им возможность претворить их в личную доктрину. Другие же пусть видят пока только скрытые глубины, которые могут оказаться и не глубокими; придет время, когда они вдруг собственными глазами увидят, что под этими обобщениями скрывались страсти, жизненные силы, требования, которые наконец неудержимо вырвались наружу. Напоминая этим скептикам, что время в конце концов все обнаруживает, я в заключение обращаюсь к этому кругу уповающих, чтобы показать им символически ход и течение их исцеления, их избавления от исторической болезни и вместе с тем их собственную историю вплоть до момента, когда они настолько оправятся от болезни, что смогут снова заняться историей и под верховным руководством жизни использовать прошлое в трояком смысле: монументальном, антикварном или критическом. В этот момент они будут невежественнее наших «образованных» современников, ибо они многое забудут и даже потеряют всякую охоту вообще интересоваться тем, что эти образованные хотели знать прежде всего; отличительными их признаками, с точки зрения образованных, будут служить именно их «необразованность», их равнодушие и замкнутость по отношению ко многому окруженному громкой славой и даже к некоторым хорошим вещам. Но зато они снова станут в этом конечном пункте своего лечения *людьми* и перестанут быть человекоподобными агрегатами, – а это уже чего-нибудь да стоит! В этом заключены надежды! Разве сердце ваше не радуется, – вы, уповающие?

Но как мы достигнем этой цели? – спросите вы. Дельфийский бог напутствует вас в самом начале вашего пути к этой цели изречением: «Познай самого себя». Это трудная заповедь: ибо названный бог «и не говорит, и не утаивает, а подает знаки», как сказал Гераклит. На что же он указывает вам?

В продолжение столетий грекам грозила та же опасность, которой подвергаемся мы, а именно – опасность погибнуть от затопления чужим и прошлым, «историей». Они никогда не жили в гордой изоляции; их «образование», напротив, в течение долгого времени представляло собой хаотическое нагромождение чужеземных, семитских, вавилонских, лидийских, египетских форм и понятий, а религия их изображала настоящую битву богов всего Востока; совершенно так же, например, как теперь «немецкое образование» и религия являют собой хаос борющихся сил всех чужих стран и всего прошлого. И все-таки эллинская культура не превратилась в простой агрегат благодаря упомянутой аполлоновской заповеди. Греки постепенно научились *организовывать хаос;* этого они достигали тем, что в согласии с дельфийским учением снова вернулись к самим себе, то есть к своим истинным потребностям, заглушив в себе мнимые потребности. Этим путем они снова вернули себе обладание собой; они недолго оставались наследниками и эпигонами всего Востока; даже после тяжелой борьбы с самими собою они сумели стать – путем применения на практике этого изречения – счастливейшими обогатителями и множителями унаследованных сокровищ, первенцами и прообразами всех грядущих культурных народов.

Вот символ для каждого из нас: мы должны организовать в себе хаос путем обдуманного возвращения к своим истинным потребностям. Наша честность, все здоровое и правдивое в нашей натуре должны же когда-нибудь возмутиться тем, что нас заставляют постоянно говорить с чужого голоса, учиться по чужим образцам и повторять за другими; мы начнем тогда понимать, что культура может стать чем-то большим, чем просто *декорацией жизни,* то есть, в сущности, лишь известным способом маскировки и прикрытия, ибо всякое украшение скрывает украшаемое. Таким образом, для нас раскрывается истинный характер гре-

ческих представлений о культуре – в противоположность романским, – о культуре как о новой и улучшенной physis, без разделения на внешнее и внутреннее , без притворства и условности, о культуре как полной согласованности жизни, мышления, видимости и воли. Так научимся мы на основании собственного опыта понимать, что грекам удалось одержать победу над всеми другими культурами благодаря более высокой силе их *нравственной* природы и что всякое умножение правдивости должно служить также и подготовке и развитию *истинного* образования, хотя бы эта правдивость и могла при случае причинить серьезный ущерб столь высоко ныне ценимой образованности, хотя бы она и повлекла за собой падение целой бутафорской культуры.

Несвоевременные размышления

Часть третья.

Шопенгауэр как воспитатель

1

Тот путешественник, который, посетив множество стран и народов и несколько континентов и быв спрошен о том, какое человеческое качество он находил решительно повсюду, отвечал: все они там были склонны к лени. Многим покажется, что более правильно и законно было бы сказать: все они трусливы. Они прячутся за обычаями и мнениями. В сущности, каждый человек знает, что живет на свете лишь раз, что он уникален и что никакая, даже самая редкая случайность, не заставит столь причудливо-пестрое разнообразие скомбинироваться второй раз в ту единственность, каковой он является: он знает об этом, но скрывает, как нечистую совесть, – а почему? Из страха перед ближним, который требует выполнять условное соглашение и им же прикрывается сам. Но что же такое вынуждает отдельного человека бояться ближнего, мыслить и действовать стадно и не испытывать счастья от самого себя? Может быть, у некоторых немногих это застенчивость. У большинства же это любовь к покою, косность, короче говоря, та склонность к лени, о которой говорил наш путешественник. И он прав: люди больше ленивы, чем трусливы, и боятся по большей части как раз тех трудностей, которые взвалили бы на них безусловная честность и обнаженность. Лишь художники ненавидят это вялое хождение с заемными манерами и надетыми на себя мнениями и разоблачают тайну, нечистую совесть всякого человека, а именно, утверждение о том, что каждый из нас – это уникальное чудо; они отваживаются показать нам человека таким, каков он, вплоть до мельчайших мышечных движений, есть только сам, он один, более того, что, строго выдерживая эту свою уникальность, он прекрасен и значителен, нов и невероятен, как любое произведение природы, и вовсе не скучен. Презирая людей, великие мыслители презирают их за леность: ведь

из-за нее люди представляют собой фабричные продукты, безразличные и недостойные ни общения, ни назидания. Человеку, не желающему принадлежать к массе, достаточно только перестать быть вялым по отношению к себе; он должен слушать свою совесть, призывающую его: «Будь самим собою! Все, что ты сейчас делаешь, думаешь, к чему стремишься, – это не ты сам».

Всякая юная душа слышит такой призыв день и ночь, содрогаясь при этом; ведь, думая о своем истинном освобождении, она смутно чувствует от века заданную ей меру счастья: покуда она скована цепями мнений и страха, ей никак не пробиться к этому счастью. А какой безотрадной и бессмысленной без такого освобождения может стать жизнь! Нет в природе создания более жалкого и гадкого, чем человек, уклонившийся от своего гения и теперь косящийся направо и налево, назад и во все стороны. До такого человека, в конце концов, и дотронуться-то нельзя, ведь он – целиком и полностью внешняя оболочка, лишенная сердцевины, подпорченная, размалеванная, раздутая одежда, разукрашенный призрак, неспособный ни напугать, ни, разумеется, внушить сочувствие. И если о ленивых по праву говорят, что они убивают время, то за те эпохи, которые видят свое благо в публичных мнениях, иными словами, в лености отдельных людей, следует всерьез опасаться, что они будут вычеркнуты из истории подлинного освобождения жизни. С каким отвращением, вероятно, грядущие поколения будут заниматься наследием того периода, когда всем заправляли не живые люди, а лжелюди публичного мнения; по этой-то причине, возможно, и нынешняя эпоха покажется каким-нибудь далеким нашим потомкам самым темным и неизвестным – потому что нечеловеческим – отрезком истории. Я хожу по новым улицам наших городов и думаю, что через какую-нибудь сотню лет от всех этих мерзких домов, построенных для себя поколением людей публичного мнения, ничего не останется и что тогда же, видимо, уйдут в прошлое и мнения самих этих строителей. Но зато какие надежды можно возлагать на всех тех, которые не чувствуют себя гражданами этой эпохи; ведь если бы они ими были, то соучаствовали бы в убийстве своего времени и погибли бы вместе со своей эпохой – а они, на-

против, хотят пробудить эпоху к жизни, чтобы и самим продолжать жить в этой жизни.

Но даже если будущее не оставляет нам надежды – наше странное существование именно сегодня сильнее всего поощряет нас жить по собственным меркам и законам: странность эта заключается в необъяснимости того, что мы живем именно сегодня, хотя у нас было бесконечно много возможностей, чтобы родиться в другое время, и того, что мы располагаем только крошечным сегодня и сегодня же обязаны показать, почему и для чего родились именно сейчас. Мы должны отвечать за свое существование перед собой; так будем же и настоящими кормчими этого существования и не допустим, чтобы наше бытие уподобилось бездумной случайности. С ним надо обходиться не без дерзости и отваги: тем более что и в худшем, и в лучшем случае мы все равно его потеряем. Зачем держаться за этот клочок земли, за это ремесло, зачем прислушиваться к тому, что говорит наш сосед? Какое провинциальное мещанство – обязывать себя к воззрениям, которые на расстоянии пары сотен миль уже ни к чему не обязывают. Восток и запад – меловые линии, которые кто-нибудь проводит у нас на глазах, чтобы одурачить нашу трусость. Хочу попытаться найти путь к свободе, говорит себе юная душа; но тут перед нею возникают препятствия – скажем, два народа случайно возненавидели друг друга и воюют, или море разделяет два континента, или вокруг насаждают какую-то религию, хотя той не существует уже две тысячи лет. Все это – не ты сама, говорит она себе. Никто не может построить для тебя мост, по которому именно ты пройдешь через реку жизни, – никто, кроме тебя самого. Правда, есть бесчисленное множество дорог, мостов и героев, желающих пронести тебя через эту реку, – но в качестве платы они требуют тебя самого; тут тебе пришлось бы отдать себя в залог и потерять. На всем белом свете есть один-единственный путь, по которому не сможет пройти никто, кроме тебя: и куда же он ведет? А ты не спрашивай, ты по нему иди. Кто это сказал: «Человек поднимается выше всего, если не знает, куда заведет его дорога»?

Так как же нам найти самих себя? Как человек может познать себя? Человек – дело темное, прикровенное; и ес-

ли у зайца семь шкур, то человек снимет с себя семь раз по семьдесят оболочек и все-таки не сможет сказать себе: «Вот теперь это и впрямь я, теперь это не оболочка». Да и вообще почин это мучительный и опасный – на такой вот лад копаться в себе и решительно спускаться в шахту собственного своего существа по ближайшему пути. Тут с легкостью можно ранить себя так, что ни один врач уже не поможет. Ну и, помимо всего прочего: зачем все это нужно, если об этом нашем существе и так говорит все – наша дружба и вражда, наш взгляд и рукопожатие, наша память и то, о чем мы забываем, наши книги и наш почерк. Но чтобы учинить важнейший допрос, есть вот какой способ. Пусть юная душа оглянется на уже прожитую жизнь, спрашивая себя: что доселе ты любил на самом деле, к чему влекло твою душу, что ею владело и в то же время дарило ей отраду? Поставь перед собой ряд этих высокочтимых предметов и, возможно, их суть и их последовательность покажут тебе закон, основной закон твоего подлинного «я». Сравни эти предметы между собой, погляди, как один из них дополняет, расширяет, превосходит, просветляет другой, как они образуют лестницу, по которой ты взбирался до сих пор к самому себе; ведь подлинная твоя сущность отнюдь не сокрыта в тебе где-то глубоко внизу, нет, она находится неизмеримо высоко над тобою или по крайней мере над тем, что ты обычно воспринимаешь как свое «я». Те, кто воспитал и образовал тебя на самом деле, раскроют тебе, в чем заключаются подлинный изначальный смысл и субстанция твоего существа: это нечто такое, что никак невозможно воспитать и образовать, но в любом случае – это нечто с трудом достижимое, связанное, парализованное; твои воспитатели не могут быть ничем иным, кроме как твоими освободителями. В том-то и состоит тайна всякого образования: оно не поставляет искусственных органов, восковых носов, не надевает на глаза очки – напротив, то, что может предоставить эти дары, есть лишь ложный способ воспитания. Нет, образование есть освобождение, очищение от всех сорняков, хлама, вредных насекомых, посягающих на нежные зародыши растений, оно – излияние света и тепла, отрадный шорох ниспадающего по ночам дождя, подражание природе и поклонение ей, когда она настроена по-матерински,

милосердно, оно – высшая ступень природы, когда та предотвращает свои припадки жестокости и немилосердия, обращая их во благо, когда прикрывает покрывалом проявления своей безжалостности и своего прискорбного безрассудства.

Разумеется, есть, наверное, и другие способы найти себя, прийти в себя из обморока, в котором человек обычно ходит, словно окутанный темным облаком, но я не знаю лучшего, чем обращение памятью к своим воспитателям и образователям. Вот я и хочу сегодня вспомнить об одном из учителей и воспитателей, которому обязан отдать дань хвалы, об *Артуре Шопенгауэре*, – чтобы потом вспомнить и о других.

2

Желая описать, каким событием для меня стал первый взгляд, брошенный на страницы сочинений Шопенгауэра, я должен упомянуть об одном представлении, в юности овладевавшим мной так часто и сильно, как никакое другое. Раньше, не зная никакой меры в желаниях, я думал, что судьба избавила меня от ужасных хлопот и обязанности воспитывать себя самому: избавила благодаря тому, что когда-нибудь я вовремя найду себе в качестве воспитателя философа, настоящего философа, которого можно слушаться без всяких раздумий, поскольку доверять ему можно было бы больше, чем самому себе. Потом я серьезно задался вопросом: каковы же должны быть принципы, по которым он будет меня воспитывать? Я стал размышлять о том, как он оценил бы две максимы педагогики, бывшие в ходу в наше время. Первая требует, чтобы воспитатель быстро распознал характерные сильные стороны своего воспитанника, а затем именно к ним направлял все силы и соки, все светлое в нем, чтобы довести их хорошие качества до полной зрелости и производительности. Вторая же максима предполагает, что воспитатель взращивает все наличные способности подопечного, ухаживает за ними и приводит их к взаимной гармонии. Но нужно ли насильно принуждать к музыке того, у кого есть явная склонность к ювелирному искусству? Следует ли признать, что прав был отец Бенвенуто Челлини,

который не уставал навязывать своему сыну «нежнейший корнет», то есть то самое, что сын называл «проклятым дуденьем»? У таких сильных и ярко выраженных дарований этого со всей точностью не определить; а потому, возможно, даже максиму гармоничного развития необходимо применять лишь в случае более слабых натур – ведь в них, правда, гнездится великое множество потребностей и склонностей, но эти последние, взятые все вместе и по отдельности, значат не слишком-то много. Но где нам вообще найти гармоничную цельность и полифоническую слаженность в одной натуре, где мы дивимся гармонии больше, чем именно в таких людях, каким был и Челлини, в которых все – познание, желание, любовь, ненависть – устремлено к единой центральной точке, к единой коренной способности, и где как раз благодаря принуждающей и господствующей верховной власти этого животворящего центра из движений туда и сюда, вверх и вниз образуется гармоничная система? Так, значит, вероятно, обе максимы – вовсе не противоположности? Возможно, одна говорит только, что человек должен обладать центром, а другая – что еще и периферией? Тот философ-воспитатель, о котором мне грезилось, наверное, не только раскрыл бы центральную способность, но и сумел бы уберечь все другие способности от разрушения с ее стороны: а задачей воспитания для него, как мне казалось, было бы, скорее, преобразование всего человека в живую движущуюся солнечную и планетную систему и познание закона ее высшей механики.

Меж тем я такого философа не находил и пробовал то одного, то другого; я обнаружил, насколько мы, современные люди, жалки в сравнении с греками и римлянами уже хотя бы только в смысле серьезного и строгого понимания задач воспитания. Имея такую душевную потребность, можно обежать кругом всю Германию, в особенности все университеты, и не найти того, что ищешь; да и желания куда более низменные и простые останутся тут неутоленными. Если, скажем, кто-то всерьез решил стать оратором всенемецкого масштаба или вознамерился получить писательскую подготовку, то ему нигде не найти таких учителей и такой подготовки; кажется, здесь еще никто не задумывался о том, что говорить и писать – это виды искусства,

которыми невозможно овладеть без самого внимательного руководства и труднейших лет обучения. Но ничто не демонстрирует самоуверенной удовлетворенности современников собою более убедительно и постыдно, нежели наполовину скупая, наполовину бездумная убогость их требований к воспитателям и учителям. Чем тут только не удовлетворяются под именем домашнего учителя даже наши самые отборные и осведомленные люди, какое только сборище сумасбродных голов и устаревших методов частенько не называют гимназией и находят ее хорошей, чем мы все и довольствуемся в качестве высшего образовательного заведения, в качестве университета, и что это за лидеры, что за учреждения, – если сопоставить все это со сложностью задачи воспитать в человеке человека! Даже столь достохвальная манера, с какой немецкие ученые набрасываются на свою науку, показывает прежде всего, что при этом они думают больше о науке, чем о человечности, что они, словно толпа смертников, обучаются приносить себя ей в жертву, чтобы привлекать к такому жертвоприношению все новые поколения. Общение с наукой, если оно не руководится и не ограничивается никакой высшей педагогической максимой, а только все больше раскрепощается согласно принципу «чем больше, тем лучше», конечно, так же вредно для ученых, как экономическое положение о laisser faire[1] – для нравственности целых наций. Кто еще понимает, что воспитание ученого, человеческая сторона которого не должна быть утрачена или засушена, – это в высшей степени трудная проблема? Однако такую трудность можно увидеть собственными глазами, если обратить внимание на многочисленные экземпляры, искривленные и отмеченные горбом из-за бездумной и чересчур ранней увлеченности наукой. Но есть и еще более важное свидетельство отсутствия всякой высшей педагогики – оно и более важное, и более угрожающее, но прежде всего куда более общераспространенное. Если совершенно очевидно, почему сегодня невозможно воспитать оратора или писателя, – просто потому, что для них нет никаких воспитателей, – если почти столь же очевидно, почему ученый в наши дни обречен на искажения

---

1 свободе действий (*фр.*).

в характере и сумасбродство – потому что его вынуждена воспитывать наука, то есть нечто нечеловечески абстрактное, – то надо, наконец, спросить его: где, собственно, среди наших современников нравственные образцы и видные люди для всех нас, для ученых и неученых, благородных и простонародных, где для нашей эпохи зримое высшее воплощение всей творческой морали? Куда, собственно, девалось всякое размышление о вопросах нравственности, которыми, беседуя, во все эпохи всякий раз занимались те люди, что поблагороднее? Нет больше видных людей и размышлений такого рода; фактически мы проедаем наследственный капитал нравственности, который скопили наши предки и который мы умеем только транжирить, а не приумножать; в нашем обществе либо вообще не говорят о подобных вещах, либо говорят с грубой неотесанностью и неосведомленностью, неизбежно вызывающими только отвращение. Вот и выходит, что наши школы и учителя попросту отказываются от нравственного воспитания или отделываются формальностями: а «добродетель» – слово, при котором учителю и ученикам в голову ничего уже не приходит, слово старомодное, вызывающее только улыбку, – и плохо, если оно улыбки не вызывает, потому что тогда это будет уже лицемерием.

Объяснение этой апатии и пониженного приливного уровня всех нравственных сил трудно и запутанно; но всякий, кто учтет влияние победившего христианства на нравственность наших прежних эпох, не ошибется и относительно обратного воздействия на нее со стороны христианства побежденного, то есть его все более вероятного жребия в наше время. Высотой своего идеала христианство настолько превзошло античные системы морали и одинаково господствующую во всех них естественность, что эта естественность стала вызывать равнодушие и отвращение; но затем, когда знание о лучшем и высшем еще сохранилось, но сил на них уже не было, не стало и возможности возвращения к хорошему и высокому, то есть к названной античной добродетели, как бы сильно к такому возвращению ни стремились. В таких вот метаниях между христианским и античным, между запуганной или лживой христианскостью нравов и равным образом малодушным и смущенным антикизировани-

ем и живет современный человек, чувствуя себя при этом плохо; унаследованный страх перед естественным и, с другой стороны, обновленная притягательность этой естественности, страстное желание найти в чем-нибудь опору, обморочное бессилие познания, колеблющегося между хорошим и лучшим, – все это порождает в современной душе тревожное состояние, смятение, что и обрекает эту душу на бесплодие и безотрадное существование. Никогда еще не бывало большей нужды в нравственных воспитателях и никогда не бывало меньшей вероятности их найти; во времена, когда врачи нужнее всего – при больших эпидемиях, – им грозит и наибольшая опасность. Ведь где они все – врачи современного человечества, которые сами стоят на ногах с такой уверенностью и с таким здоровьем, что могли бы поддерживать и вести за руку кого-то другого? Есть на лучших личностях нашей эпохи какой-то налет помраченности и тусклости, какая-то вечная раздраженность по поводу борьбы между лицемерием и честностью, которая идет в их душе, какой-то разлад в доверии к себе – и в результате они становятся совершенно неспособными быть указателями пути и одновременно воспитателями для других.

Таким образом, это и впрямь значит «не знать никакой меры в желаниях» – мое представление о том, что я должен найти в качестве своего воспитателя истинного философа, который смог бы возвысить человека над ущербностью, насколько она присуща эпохе, и снова научил бы его быть *простым* и *честным*, в мышлении и в жизни, иначе говоря, несвоевременным, если понимать это слово в его глубочайшем смысле; ведь люди теперь сделались столь многослойными и многосложными, что должны стать нечестными, если вообще хотят говорить, выдвигать утверждения и действовать в соответствии с ними.

Испытывая такого рода нужды, потребности и желания, я ознакомился с Шопенгауэром.

Я отношу себя к таким читателям Шопенгауэра, которые, прочитав первую страницу, совершенно точно знают, что прочтут все остальные и выслушают каждое слово, сказанное им вообще. Я тотчас проникся к нему доверием – оно и теперь совершенно такое же, как девять лет тому назад. Я понимал его так, словно он писал для меня: выража-

юсь понятно, но нескромно и глуповато. Поэтому вышло так, что я никогда не находил в нем парадоксальности, хотя там и сям находил мелкие ошибки; ведь что иное парадоксы, если не утверждения, не внушающие доверия потому, что сам автор выдвинул их без подлинного доверия, потому, что он желал ими блеснуть, соблазнить и вообще создать видимость. Шопенгауэр никогда не ищет видимости: ведь пишет-то он для себя, а никто не хочет сам, чтобы его обманывали, и меньше всех – философ, который возводит для себя в закон положение: никого не обманывай, в том числе себя самого. Даже тем приятным коллективным обманом, который несет в себе чуть ли не каждая беседа и которому почти бессознательно подражают писатели; а еще того менее – сознательным обманом, совершаемым с трибун искусственными средствами риторики. Нет, Шопенгауэр говорит сам с собою: или, если очень уж хочется представить себе, что у него есть слушатель, то можно представить себе сына, которого наставляет отец. Это – добросовестное, бесхитростное, прямодушное высказывание перед слушателем, который слушает с любовью. Подобных ему писателей у нас нет. Полное сил хорошее самочувствие говорящего охватывает нас при первом же звуке его голоса; на душе у нас так, словно мы входим в высокоствольный лес, мы вдыхаем полной грудью и вдруг снова чувствуем себя хорошо. Здесь всегда один и тот же живительный воздух, говорит нам чувство; здесь некая неподражательная непринужденность и естественность, какая бывает у людей, распоряжающихся в себе как дома, и дом этот очень богат, – в противоположность писателям, которые, уж если проявили остроумие, больше всего дивятся самим себе, а потому в их голосе появляется что-то беспокойное и противоестественное. Столь же мало, когда говорит Шопенгауэр, мы будем думать об ученом с негибкими и неловкими от природы конечностями, узкогрудом – и потому идущем нам навстречу неуклюже, смущенно или, наоборот, чванливо; напротив, душа Шопенгауэра, суровая и немного грубая, учит не столько жалеть об отсутствии гибкости и придворной грации хороших французских писателей, сколько пренебрегать ими, и никто не найдет в нем поддельного, словно посеребренного, мнимого галлицизма, которым так кичатся немецкие писатели.

Манера Шопенгауэра там и сям немного напоминает мне Гёте, а в остальном ни в чем не похожа на немецкий пошиб. Ведь он знает толк в том, как говорить просто о глубоком, без риторики – о волнующем, без педантизма – о строго научном: а у какого же немца он мог бы этому научиться? Он держится независимо даже от изощренной, чрезмерно оживленной и – с позволения сказать – довольно ненемецкой манеры Лессинга: а это большая заслуга, потому что среди немцев Лессинг в смысле прозаической формы – автор самый обольстительный. И чтобы уж сразу сказать лучшее, что я могу сказать о прозе Шопенгауэра, – отнесу к нему его собственное положение: «Философ обязан быть честным, дабы не пользоваться никакими поэтическими или риторическими вспомогательными средствами». Что честность имеет какой-то смысл, а тем более смысл добродетели, в век публичных мнений относится, разумеется, к частным мнениям, а они у нас под запретом; и если я повторяю: он честен, в том числе как писатель, то тем самым не восхваляю Шопенгауэра, а всего лишь даю ему характеристику; подобных писателей так мало, что, по сути, приходится проявлять недоверие ко всем людям, которые пишут. Мне известен только один писатель, которого в смысле честности я ставлю на одну доску с Шопенгауэром и даже еще выше: это Монтень. Удовольствие от жизни на этой земле поистине умножилось оттого, что писал такой человек, как он. Для меня, по крайней мере, с тех пор как я познакомился с этой самой свободной и сильной душой, дела обстоят так, что мне приходится согласиться с его собственным утверждением о Плутархе: «Стоит только мне на него посмотреть, как у меня вырастает нога или крыло». Рядом с ним я не оплошал бы, если бы встала задача освоиться здесь, на земле.

Шопенгауэр делит с Монтенем еще одно, второе, наряду с честностью, качество: подлинную согревающую душу веселость. Aliis laetus, sibi sapiens[1]. Есть два совершенно различных вида веселости. Подлинный мыслитель всегда согревает душу и дает отраду, выражает ли он свою серьезность или шутливость, человеческий взгляд в глубины или

---

1 Весел для других, мудр для себя (*лат.*).

божественный взгляд сквозь пальцы; он делает это без брюзжания, без дрожащих рук, бегающих глаз, а прямо и просто, с мужеством и силой, может быть, несколько по-рыцарски и жестко, но во всяком случае – как победитель: как раз это и дает отраду – видеть бога-победителя рядом со всеми поверженными им чудищами. Веселость же, порой охватывающая посредственных писателей и заигрывающих с читателем мыслителей, вызывает у нашего брата при чтении тошноту – к примеру, такой для меня была веселость Давида Штрауса. Прямо-таки стыдно иметь таких веселых современников – ведь они компрометируют нашу эпоху и нас, ее людей, перед потомками. Подобные весельчаки совсем не замечают страданий и всего ужасающего – того, что им как писателям полагается замечать и атаковать; потому-то их веселость вызывает только оскомину, поскольку лжет, внушая веру в то, что победа уже одержана. В сущности, веселость есть лишь там, где есть победа; это относится к произведениям подлинных мыслителей, так же как и ко всякому произведению искусства. Содержание может быть сколь угодно страшным и серьезным, как проблема существования вообще, – но воздействовать подавляюще и удручающе произведение будет, только если полумыслитель и полухудожник осенили его своей ущербностью; а на долю человека не может выпасть ничего более отрадного и превосходного, чем приблизиться к одному из тех триумфаторов, которые, глубоко мысля, должны любить как раз все полное жизни и, будучи мудрыми, в итоге склоняются к красоте. Они говорят по-настоящему, они не бормочут, но и не повторяют бессмысленно за другими; они движутся и живут на самом деле, а не на столь жутко маскарадный лад, на какой обыкновенно живут люди: поэтому поблизости от них у нас на душе действительно становится человечно и естественно, и нам хотелось бы воскликнуть, подобно Гёте: «Какая же это великолепная, драгоценная штука – нечто живое! Насколько же точно оно соответствует своему состоянию, насколько оно подлинно, наделено бытием!»

Я описываю здесь не более чем первое, словно бы физиологическое впечатление, которое произвел на меня Шопенгауэр, – то подобное колдовству излучение глубинной силы одного создания природы на другое, которое проис-

ходит при первом и самом тихом соприкосновении; и, задним числом разбирая это впечатление, я обнаруживаю, что оно сложено из трех элементов – впечатления его честности, его веселости и его постоянства. Он честен, потому что говорит и пишет себе и для себя, весел, потому что одолел мыслью самое трудное, и постоянен, потому что таким он и должен быть. Его сила, словно пламя в безветренную погоду, вздымается прямо и легко, не сбиваясь в сторону, без дрожи и метаний. В каждом случае он находит свой путь, а мы даже и не замечаем, что он его искал; он мчится к цели, словно подгоняемый законом тяготения, точно, проворно и неуклонно. И кто хоть однажды ощутил, что значит найти вдруг посреди нашего современного эклектичного человечества цельное, унисонное, самобытное и подвижное, непринужденное и вольное создание природы, тот поймет мое счастье и изумление в тот миг, когда я нашел Шопенгауэра: я предчувствовал, что найду в нем того воспитателя и философа, которого так давно искал. Правда, только в виде книги: и это был большой недостаток. Тем сильнее я старался разглядеть сквозь книгу и представить себе живого человека, великое завещание которого мне следовало прочесть и который допускал в число своих наследников лишь тех, кто хотел и мог быть чем-то большим, нежели только его читателем: а именно, своих сынов и воспитанников.

3

Я ценю философа ровно настолько, насколько он в состоянии быть примером. Нет никаких сомнений в том, что он может увлечь за собою примером целые народы; это доказывает история Индии, которая почти целиком есть история индийской философии. Но такой пример должен даваться через зримую жизнь, а не просто через книги, иными словами, таким образом, каким учили философы Греции, – больше выражением лица, повадкой, одеждой, питанием, привычками, нежели речами, а то и вовсе текстами. Как не хватает нам в Германии этой отважной зримости философской жизни; очень медленно освобождаются здесь тела, хотя умы, кажется, давно уж освободились; а что ум свободен

и самостоятелен, если неограниченность, которой он добился, а это, в сущности, творческое самоограничение, не доказывается всякий раз заново каждым взглядом, каждым шагом, с утра и до вечера, – всего лишь иллюзия. Кант держался за университет, подчинялся правительствам, внешне не выходил за пределы религиозной веры, не возражал против нее у коллег и студентов: поэтому естественно, что его пример произвел прежде всего университетских профессоров и профессорскую философию. Шопенгауэр мало церемонится с учеными кастами, отделяет себя от всех, добивается независимости от государства и общества – это и есть его пример, его образец, если исходить здесь только из самых внешних обстоятельств. Но множество степеней освобождения философской жизни среди немцев еще неизвестно, и не всегда им такими оставаться. Наши люди искусства живут отважнее и честнее, и самый сильный пример, который стоит перед нами, пример Рихарда Вагнера, показывает, как гений не боится вступать в самые враждебные противоречия с существующими формами и порядками, если стремится проявить вовне живущие в его душе порядок и истину. А та «истина», о которой так много говорят наши профессора, – существо, которое кажется, конечно, довольно непритязательным, и можно не опасаться, что оно учинит беспорядок или нарушение порядка: это такое приятное и уютное создание, которое снова и снова заверяет существующие власти, что ради нее, истины, никто и пальцем не шевельнет; ведь она – всего лишь «чистая наука». В общем, я хотел сказать, что немецкая философия должна все больше отучаться от того, чтобы быть «чистой наукой»: именно это и будет примером, который дал нам Шопенгауэр как человек.

А что он созрел для этого человеческого примера – чудо, не меньше: ведь и снаружи, и изнутри его как бы теснили со всех сторон чудовищные опасности, которые подавили бы или разбили вдребезги любое более слабое создание. Есть, сдается мне, явные внешние признаки того, что как человек Шопенгауэр должен был бы погибнуть, чтобы после него осталась в лучшем случае «чистая наука»; но и это – лишь лучший случай; вероятнее всего, не осталось бы ни человека, ни науки.

Один англичанин новейших времен таким образом изображает самую общую опасность, угрожающую необычным людям, которые живут в обществе, приверженном ко всему обычному: «Подобные своеобразные характеры вначале становятся надломленными, потом ими овладевает меланхолия, потом они заболевают и наконец умирают. Скажем, Шелли, в принципе, должен был бы погибнуть в Англии, а тип Шелли здесь невозможен». На наших Гёльдерлине, Клейсте и им подобных необычность сказывалась пагубно, они не выдерживали климата так называемого немецкого образования; и устоять могли только такие железные натуры, как Бетховен, Гёте, Шопенгауэр и Вагнер. Но и у них во множестве борозд и морщин проявляются последствия утомительной борьбы и судорожных усилий: они начинают тяжело дышать, а их тон становится немного натужным. Тот опытный дипломат, который лишь мимоходом виделся и говорил с Гёте, сказал его друзьям: «Voilà un homme, qui a eu de grands chagrins!»[1], что Гёте перевел так: «Этот своей шкуры не жалел!». «Если с выражения наших лиц, – добавляет он, – не сходят следы перенесенного страданья, проделанной работы, то не удивительно, что все остальное в нас и в наших делах несет на себе те же следы.» И это говорит Гёте, на которого наши мещане от образования указывают как на самого счастливого из немцев, чтобы вывести отсюда такую мысль: все-таки, наверное, можно стать счастливым среди нас, и еще заднюю мысль: никому не простится чувствовать себя среди нас несчастным и одиноким. Потому-то они прямо-таки с великой лютостью выставили и на практике истолковали тезис, гласящий, что во всяком одиночестве всегда скрыта тайная вина. Тогда, конечно, и бедный Шопенгауэр скрывал в своей душе такую вот тайную вину – он ценил свою философию выше, чем своих современников; к тому же он был настолько несчастен, чтобы прямо от Гёте знать: на него возложен долг любой ценой защищать свою философию от невнимания современников, чтобы спасти ее от гибели. Существует ведь своего рода инквизиторская цензура, в которой немцы, согласно суждению Гёте, продвинулись далеко вперед; это – полное молчание.

---

1 «Этот человек пережил большие невзгоды!» (*фр.*).

Результатом последнего уже стало хотя бы то, что большую часть первого издания его главного труда пришлось сдать на макулатуру. Грозящая опасность того, что его великое дело пропадет втуне просто из-за невнимания, приводила Шопенгауэра в ужасное, с трудом подавляемое беспокойство; не было заметно ни одного порядочного последователя. Печально видеть, как он вынюхивает хоть какие-нибудь следы своей известности; и есть что-то прискорбно-трогательное в его позднем, громком и сверхгромком, ликовании по поводу того, что вот теперь-то его и впрямь читают («legor et legar»[1]). Как раз все те черты, которые не обнаруживают в нем достоинства философа, говорят о нем как о страдающем человеке, опасающемся за свое самое дорогое достояние; так его терзала мысль, что он потеряет свое небольшое состояние и, наверное, больше не сможет сохранять нерушимым свое чистое и подлинно античное отношение к философии; так он не раз ошибался, желая найти всецело доверяющих и сочувствующих ему людей, и неизменно возвращался унылым взглядом к своему верному псу. Он был законченным отшельником; у него не было ни одного настоящего единомышленника, в дружбе с которым он нашел бы отдохновение, – а ведь «кого-то» и «никого» в данном случае, как «нечто» и «ничто», всегда разделяет бездна. Человек, у которого есть настоящие друзья, не знает настоящего одиночества, пусть даже на него ополчатся все кругом. – Ах, я вижу, вам неизвестно, что такое одиночество. Где существовали сильные общества, правительства, религии, публичные мнения, короче говоря, где была какая-нибудь тирания, там она всегда ненавидела одиноких философов; ведь философия предоставляет человеку убежище, куда нет доступа никакой тирании, – пещеру душевных глубин, лабиринт груди: а тиранов это бесит. Там укрываются одинокие: но там же одиноких поджидает величайшая опасность. Эти люди, упрятавшие свою свободу в глубины души, должны ведь жить и вовне ее, проявлять себя вовне, показывать себя; они состоят в бесчисленных человеческих отношениях – в силу своего происхождения, места своего жительства, воспитания, подданства, случая, навязчи-

1 «Меня читают и будут читать» (*лат.*).

вости других людей; кроме того, предполагается, что у них есть бесчисленные мнения, просто потому, что эти мнения господствуют; всякое выражение их лица, если оно не похоже на отрицание, считается согласием; всякое движение их руки, если оно не похоже на разрушение, толкуется как одобрение. Им, этим одиноким и свободным в духе, известно, что они то и дело кажутся в чем-нибудь другими, чем мыслят о себе: они хотят только быть правдивыми и честными, но их опутывает сеть превратных представлений о них; и их сильное желание не может воспротивиться тому, что на их деяниях останется налет ложных мнений, приноравливания, полупризнанности, щадящего молчания, ошибочного истолкования. Облако меланхолии сгущается из-за этого на их челе: ведь необходимость создавать видимость для таких натур более ненавистна, чем смерть; а такое затяжное ожесточение по этому поводу делает их взрывными и агрессивными. Время от времени они мстят за то, что вынуждены прятаться, что им поневоле приходится скрытничать. Они выходят из своей пещеры с угрозой на лице; тогда их слова и поступки становятся взрывными, и бывает, что они несут гибель самим себе. В такой опасности жил Шопенгауэр. Как раз подобным отшельникам нужна любовь, они нуждаются в товарищах, с которыми можно быть открытыми и простыми, как с собой, в присутствии которых исчезает судорога скрытности и притворства. Стоит только удалить этих товарищей, как отшельники оказываются во все возрастающей опасности; от такого равнодушия погиб Генрих Клейст, и это – самое ужасное средство против необычных людей: загонять их в себя так глубоко, что когда они снова выходят наружу, это всякий раз подобно извержению вулкана. Но среди них всегда находится какой-нибудь полубог, который выдерживает жизнь при столь ужасающих условиях, и жизнь эта становится победоносной; а если вам захочется услышать его одинокие песни, слушайте музыку Бетховена.

Это была первая опасность, в тени которой созревал Шопенгауэр: одиночество. Вторая опасность – отчаяние в истине. Она сопровождает всякого мыслителя, начавшего свой путь с кантовской философии, – если он, конечно, человек сильный и цельный в страданиях и желаниях, а не

просто трескучая мыслительная и счетная машина. Но всем нам очень хорошо известно, что за постыдное обстоятельство связано вот именно с таким началом; мне даже кажется, что Кант вообще животворно повлиял лишь на очень немногих, преобразив их плоть и кровь. Правда, всюду пишут, что будто бы после трудов этого тихого ученого во всех сферах духа разразилась революция, – но я этому не верю. Ведь я толком не вижу этого в людях – прежде-то надо, чтобы революция произошла в них самих, а уж потом она может произойти в каких-нибудь сферах. Однако едва лишь Кант начинает оказывать влияние на широкую массу, как мы замечаем это последнее в виде разъедающего и разлагающего скептицизма и релятивизма; и только в самых деятельных и чистых умах, которые никогда не давали сомнению овладеть собою надолго, его место могло занимать то потрясение и отчаяние во всякой истине, какое пережил, скажем, Генрих Клейст под воздействием кантовской философии. «Не так давно, – пишет он в своей хватающей за душу манере, – я ознакомился с кантовской философией – и теперь в виде итога должен сообщить тебе одну мысль, не опасаясь, что она потрясет тебя так же глубоко и болезненно, как меня. – Мы не в состоянии судить, действительно ли то, что мы называем истиной, есть истина, или нам это только кажется. Если верно последнее, то та истина, которую мы здесь собираем, после смерти исчезает без следа, и тщетно всякое стремление получить в собственность то, что последует за нами и в могилу. – Если жало этой мысли не касается твоего сердца, то не смейся над другим, который чувствует себя глубоко раненным в своих сокровеннейших глубинах. Моя единственная, моя высочайшая цель пала, и теперь у меня нет никакой цели вообще». Когда же люди снова будут чувствовать так вот по-клейстовски естественно, когда они научатся соизмерять смысл той или иной философии в первую очередь со своими «сокровеннейшими глубинами»? А ведь это последнее-то и необходимо для начала, чтобы определить, чем, после Канта, может быть для нас как раз Шопенгауэр – а именно, вожатым, который выведет нас из пещеры скептического малодушия или критиканского ниспровергательства к вершине трагического созерцания, к ночному небу с его звездами в безграничной

вышине над нами, и который провел сам себя этим путем как первооткрыватель. В том-то и состоит его величие, что он противопоставил себя картине жизни как целого, чтобы как целое жизнь и объяснить; а ведь и самые проницательные головы не могут избавиться от иллюзии, будто, чтобы подобраться к такому объяснению, надо исследовать краски, которыми нарисована эта картина, и материю, на которую они нанесены, – и результатом вполне может оказаться, что холст соткан абсолютно непонятно, а краски непостижимы с точки зрения химии. Чтобы объяснить картину, надо разгадать художника, – вот что понял Шопенгауэр. Но вся научная братия вознамерилась толковать только холст и краски, а никак не картину; можно даже сказать, что безвредно для себя отдельными науками может пользоваться лишь тот, кто досконально разглядел общую картину жизни и существования, – ведь без такой регулятивной совокупной картины эти науки суть веревки, ни в одну сторону не доводящие до конца, а только делающие наш жизненный путь еще более запутанным и лабиринтоподобным. Тем-то, как уже сказано, и велик Шопенгауэр: он следует за этой картиной, словно Гамлет за привидением, не давая сбить себя с курса, как делают ученые, и не запутываясь в сетях схоластических понятий, что бывает уделом необузданных диалектиков. Изучение всех четверть-философов может быть интересно лишь по одной причине – оно помогает понять, что в строительстве великих философий те сразу оказываются на местах, где позволены всякие ученые «за» и «против», всякое копание, сомнение и прекословие, и что поэтому они уклоняются от условия всякой великой философии, которая всегда обращается к человеку лишь как целое: «Вот картина всей жизни, а уж из нее выводи смысл своей собственной жизни». И наоборот: «Читай только свою жизнь и, исходя из нее, понимай иероглифы жизни всеобщей». Поэтому-то и философия Шопенгауэра всегда должна трактоваться прежде всего таким образом – индивидуально, отдельной личностью только для себя, чтобы понять собственное жалкое состояние и нужду, собственную ограниченность, чтобы узнать о противоядиях и утешениях: а это – самопожертвование «я», это подчинение себя самым благородным устремлениям, в первую оче-

редь справедливости и милосердию. Он учит нас делать различие между подлинными и мнимыми видами ориентаций человеческого счастья: учит тому, что ни приобретение богатства, ни уважение окружающих, ни ученость не могут устранить глубокой досады отдельного человека, вызванной малоценностью его существования, и что стремление к этим благам получает свой смысл лишь благодаря высокой и просветляющей цели – обрести власть, чтобы с ее помощью сделать природе подсказку, научиться в какой-то степени исправлять ее глупости и неумение. Правда, поначалу – только для себя самого; но через себя в конечном итоге – и для всех. Это, конечно, стремление, которое глубоко и душевно подводит к позиции смирения: ведь что и насколько можно вообще исправить, и в индивидуальной, и во всеобщей жизни!

Если мы применим последние слова к Шопенгауэру, то затронем третью и наиболее характерную для него опасность, в которой он жил и которая была заложена в глубочайшей основе всего его существа. Всякий человек обыкновенно находит себя ограниченным от природы – и в способностях, и в силе нравственного чувства, и эта ограниченность внушает ему тоску и меланхолию; если он, тоскуя, стремится уйти от ощущения своей греховности к состоянию святости, то как существо разумное несет в себе глубокое желание гениальности. Здесь корень всякой подлинной культуры; и если под ней я подразумеваю страстное стремление людей *вновъ родиться* в виде святого, в виде гения, то знаю: не надо быть буддистом, чтобы понять этот миф. Когда мы видим одаренного человека, лишенного такого стремления, в кругу ли ученых или просто среди так называемых образованных людей, нас охватывает отвращение, омерзение; мы чувствуем, что такие люди со всем их умом не содействуют, а препятствуют становлению культуры и появлению гениев, то есть достижению цели всякой культуры. Это состояние очерствения, равноценного той основанной на привычке, холодной и гордой собою добродетельности, которая как небо от земли далека от подлинной святости и держится вдали от нее. Натуре же Шопенгауэра присуща странная и крайне опасная двойственность. Немногие мыслители в такой степени и с такой бесподобной определен-

ностью ощущали, что в них живет гений; а его гений обетовал ему высочайшее – что не будет более глубокой борозды, чем та, которую его плуг оставит на пашне современного человечества. Поэтому он чувствовал насыщенной и сбывшейся одну половину своего существа – она, уверенная в своей силе, уже ничего не жаждала; поэтому он с величием и достоинством выполнял свое призвание как победоносный завершитель. В другой же половине жила страстная тоска; она станет нам понятна, когда мы услышим, что он с прискорбием отвел взгляд от портрета великого основателя ордена траппистов, Рансе, со словами: «Это дело благодати». Ведь гений больше тоскует по святости, потому что со своей сторожевой вышки видит дальше и зорче, чем рядовой человек, когда глядит вниз, на примирение познания и бытия, вглубь, в сферу покоя и отвергнутой воли, и вдаль, на другие берега, где учат индусы. Но именно тут и свершается чудо: какой непостижимо цельной и нерушимой была, верно, натура Шопенгауэра, если ее не смогла сломить даже эта тоска, но не одолело и очерствение. Что это значит, каждый поймет в меру того, чем он является сам и насколько он велик: а полностью, во всей значимости, этого не понять никому из нас.

Чем больше размышляешь о трех описанных здесь опасностях, тем более странным все-таки кажется, с какой энергией Шопенгауэр защищался от них и насколько здоровым вышел из борьбы – именно он. Правда, вышел с множеством шрамов и незаживших ран, и в настроении, кажется, несколько слишком суровом, а порой и вовсе воинственном. Его личный идеал превышает возможности даже самого великого человека. Что Шопенгауэр способен быть примером, несомненно, несмотря на все эти рубцы и пятна. Мало того, можно сказать: то, что в его существе было несовершенным и слишком человеческим, как раз в самом человеческом смысле подводит нас к нему ближе, ведь тут мы видим его страдальцем и товарищем по страданию, а не только в неприступном величии гения.

Три названных опасности, идущие от коренного внутреннего склада и грозившие Шопенгауэру, грозят всем нам. В каждом человеке в качестве ядра его существа скрыта продуктивная уникальность; и если он осознает эту свою уни-

кальность, вокруг него возникает ореол странности, необычности. В глазах большинства это нечто невыносимое: ведь большинство, как уже говорилось, лениво, а за такой уникальностью неизбежно тянется целая цепь усилий и тяжестей. Нет никаких сомнений, что для необычного человека, обремененного такой цепью, жизнь теряет почти все, чего он ждет от нее в юности, – веселье, надежность, легкость, почет; удел одиночества – это подарок, который преподносят ему ближние; вокруг него тотчас образуется пустыня и пещера, и пусть он живет, где захочет. Только пусть остережется попасть под ярмо и стать жертвой удрученности и меланхолии. А потому пусть окружит себя портретами славных и смелых борцов, одним из которых был сам Шопенгауэр. Но совсем не так уж редко встречается и вторая опасность, грозившая Шопенгауэру. Природа там и сям снабжает кого-нибудь проницательностью, и его мысли любят двоиться в диалектике; и когда он неосторожно дает полную волю своему таланту, то с легкостью может случиться, что как человек он гибнет, продолжая вести призрачную жизнь почти исключительно в «чистой науке»; или так, что он, привыкнув выискивать в вещах «за» и «против», вообще не попадает в истину и ему приходится жить без мужества и доверия, отрицая, сомневаясь, подтачивая, морщась от недовольства, наполовину отчаявшись, в ожидаемом разочаровании: «Да ни одна собака так жить не захочет!» Третья опасность – очерствение, в сфере нравственной или интеллектуальной; человек разрывает связь со своим идеалом; он перестает быть плодовитым в той или иной области, перестает передавать себя другим, и в смысле культуры становится хилым и ненужным. Уникальность его существа свернулась в неделимый, несообщаемый атом, в застывший камень. Так что человек может испортиться от своей уникальности, а также от страха перед этой уникальностью, от себя самого и в упразднении себя самого, от тоски и от очерствения: тут под угрозой оказывается его жизнь вообще.

Помимо этих опасностей, идущих от всего собственного коренного внутреннего склада, которым Шопенгауэр подвергался бы, живи он в то или иное столетие, есть еще и другие опасности, подступавшие к нему от его *эпохи*; и такое различение опасностей от внутреннего склада и опас-

ностей от эпохи важно для понимания того в натуре Шопенгауэра, что служило примером для других и было его педагогической жилкой. Представим себе, что взор философа направлен на существование в целом: он стремится установить его новую ценность. Ведь в том-то и заключалась специфическая работа всех великих мыслителей, чтобы служить законодателями меры, стоимости и веса всех вещей. В каком же затруднительном положении оказывается Шопенгауэр, когда человечество, которое он видит перед собой первым делом, предстает ему сморщенным и изглоданным червями плодом! Как много ему придется добавить к малоценности нынешней эпохи, чтобы соблюсти справедливость в отношении всего сущего! Если занятия историей исчезнувших или чужих народов плодотворны, то больше всего пользы они приносят философам, стремящимся к справедливой оценке всего человеческого жребия, а, значит, не только среднего, но и прежде всего высшего жребия, какой может выпасть отдельному человеку или целым народам. А все современное назойливо, оно воздействует на взгляд и направляет его, даже если философ этого не хочет; и в общем балансе оно непроизвольно будет расценено чересчур высоко. Поэтому философ должен хорошенько определять, чем его эпоха отличается от других эпох, и путь к этому определению идет через преодоление современности в себе, в том числе в той картине жизни, которую он рисует, – он должен преодолеть современность, то есть сделать ее незаметной и как бы закрасить. Задача эта сложная, даже едва разрешимая. Суждение древнегреческих философов о ценности существования означает нечто куда большее, чем современное суждение, потому что перед ними и вокруг них была сама жизнь в ее роскошном цвету и потому что у них чувство мыслителей не было, как у нас, сбито с толка разладом между желанием свободы, красоты, величия жизни и порывом к истине, которая только и делает, что спрашивает: а чего стоит существование вообще? Во все времена будет важно знать, что сказал о существовании Эмпедокл, живший в разгар сильнейшего и безмерного наслаждения греческой культуры жизнью; его суждение очень весомо, тем более что на него не нашлось ни единого контраргумента любого другого великого философа той

же великой эпохи. Он только сказал об этом яснее всех, но, по сути дела, если вслушаться немного внимательней, то все они говорят одно и то же. Современный мыслитель, как уже было отмечено, всегда будет страдать от невыполненного желания: он будет требовать, чтобы сперва ему снова показали жизнь – настоящую, краснощекую, здоровую жизнь, а уж потом он вынесет ей свой приговор. Он будет считать необходимым по крайней мере самому быть живым человеком, прежде чем дерзнет поверить, что может судить справедливо. Это и объясняет, почему именно современные философы принадлежат к самым могучим защитникам жизни, воли к жизни, и почему с тоской стремятся выйти за пределы собственной утомленной эпохи к какой-то культуре, к какой-то преображенной природе. Но в этой же тоске кроется и *опасность* для них: в каждом из них реформатор жизни борется с философом, иными словами, с судьей над жизнью. Кому бы ни досталась победа, это будет победа, скрывающая в себе поражение. Каким же образом Шопенгауэр ушел и от этой опасности?

Если на всякого великого человека предпочитают смотреть как на подлинное дитя своей эпохи, и он, во всяком случае, страдает всеми ее недугами сильнее и чувствительней, чем все более мелкие люди, то борьба такого великана *против* своей эпохи только выглядит как бессмысленная и разрушительная борьба с самим собою. Но это только видимость; ведь в этой борьбе он одолевает то, что мешает ему быть великим, а для него это означает лишь одно: быть свободным и полностью быть самим собой. Отсюда следует: его вражда, в сущности, направлена как раз на то, что находится хотя и в нем самом, но на самом деле не есть он сам, а именно – на нечистый беспорядок и чересполосицу того, что не смешивается, и того, что навеки несовместимо, на мнимое прилипание того, что современно, к его несовременности; а в конце концов мнимое дитя эпохи оказывается всего лишь ее *пасынком*. Поэтому-то Шопенгауэр уже с юных лет противился этой ненастоящей, пустой и недостойной матери – эпохе, и, как бы выдворив ее из себя, он очистил и исцелил свое существо и обрел себя в присущих ему здоровье и чистоте. Поэтому сочинениями Шопенгауэра надо пользоваться как зеркалом эпохи; и, конечно же, если зер-

кало показывает все современное лишь как обезображивающую болезнь, как худобу и бледность, как пустые глаза и вялое выражение лиц, как зримые хвори пасынков эпохи, то дело тут не в погрешности зеркала. Тоска по крепкой натуре, по здоровому и простому человечеству была у него тоской по себе самому; и едва лишь Шопенгауэр одолел в себе эпоху, как, должно быть, тут же с изумлением обнаружил в себе гениальность. Теперь для него открылась тайна собственного существа, план мачехи-эпохи спрятать от него эту гениальность оказался сорван, и была найдена сфера просветленной природы. Когда он затем обратил свой бесстрашный взгляд к вопросу: «В чем ценность жизни вообще?», ему уже стало не нужно осуждать запутавшуюся и полинявшую эпоху и ее ханжески непрозрачную жизнь. Он хорошо понимал, что на этой земле еще можно найти нечто более высокое и чистое, чем такая современная жизнь, и что горькую обиду наносит существованию всякий, кто знает его только в этом отвратительном облике и соответственно о нем судит. Нет, теперь самому гению предстоит высказаться, чтобы можно было услышать, способен ли он, лучший из плодов жизни, оправдать жизнь вообще; великолепный творческий человек должен ответить на вопрос: «Одобряешь ли ты в глубине души это существование? Доволен ли ты им? Хочешь ли быть его заступником, его спасителем? Ибо одно-единственное твое искреннее *да* – и жизнь, которой предъявлены столь тяжкие обвинения, будет отпущена на свободу». – Чем он ответит на это? – Ответом Эмпедокла.

4

Пусть это последнее указание до поры до времени останется непонятным: для меня сейчас важно нечто очень понятное, а именно – объяснить, как благодаря Шопенгауэру мы все можем воспитать себя *вопреки* нашей эпохе – ведь у нас есть то преимущество, что мы по-настоящему *знаем* эту эпоху благодаря ему. Если, конечно, это преимущество. Во всяком случае, через несколько столетий такое будет, наверное, совершенно невозможно. Меня забавляет вот какая игра мысли: вскоре людям вдруг по горло надоест чтение, а за-

одно и писатели, и ученые в один прекрасный день одумаются, составят завещание и распорядятся сжечь свои трупы среди своих книг, а в особенности собственных сочинений. И если леса будут все больше исчезать, то не наступит ли когда-нибудь пора считать библиотеки древесиной, соломой и хворостом? Ведь большая часть книг явилась на свет из дыма и чада в головах: так почему бы им снова не обратиться в дым и чад? А коли нет в них никакого огня, то пусть их за это покарает огонь. Короче говоря, вполне возможно, что в какое-нибудь из грядущих столетий именно наше собственное столетие будут считать saeculum obscurum[1]; ведь его продуктами станут охотнее всего и дольше всего топить печи. Как же мы поэтому счастливы, что можем ознакомиться с этой эпохой! Ведь если вообще имеет смысл заниматься своей эпохой, то, конечно, это счастье – заниматься ею так основательно, как только можно, так, чтобы ни у кого не оставалось на ее счет никаких сомнений: но как раз это-то и дает нам Шопенгауэр.

Разумеется, счастье было бы в сто раз большим, если бы из такого исследования проистекало, что еще никогда не бывало на свете столь гордой и полной надежд эпохи, как наша. Да и сейчас в каком-нибудь уголке земли, скажем, в Германии, есть люди, которые, того и гляди, поверят во что-то подобное, ведь они вполне серьезно говорят о том, что мир уже несколько лет как исправлен, а тот, кто, возможно, живет в тяжелых и мрачных раздумьях о существовании, противоречит «фактам». Ведь как дело-то обстоит: основание новой германской империи – это, мол, решающий и сокрушительный удар по всякому «пессимистическому» философствованию, а ему на уступки идти никак нельзя. – Так вот, тому, кто хочет напрямик ответить на вопрос о том, что должен означать в нашу эпоху философ как воспитатель, придется ответить на только что описанный, очень распространенный и особенно тщательно лелеемый в университетах взгляд, и ответить так: стыд и срам, что может высказываться и передаваться из уст в уста столь отвратительное, рабски покорное идолам эпохи ханжество так называемых мыслящих и почтенных людей, – и это до-

1 темным столетием (*лат.*).

казывает, что никто даже не подозревает, насколько злободневность в философии далека от злободневности газеты. Подобные люди потеряли последний остаток не только философского, но и религиозного умонастроения, а взамен раздобылись даже не оптимизмом, а журнализмом, духом и бездуховностью дня и ежедневных листков. Любая философия, которая думает, будто политические события отодвигают, а то и разрешают проблему существования, – это потешная философия, горе-философия. С тех пор как мир стоит, уже не раз возникали государства; это старый фокус. Так неужто какого-нибудь политического переворота достаточно, чтобы раз и навсегда сделать людей блаженными обитателями земли? И если кто-нибудь искренне верит в то, что это возможно, то пусть просто заявит о себе: ведь он и впрямь заслуживает того, чтобы сделаться профессором философии любого немецкого университета, подобно Хармсу из Берлина, Юргену Мейеру из Бонна и Каррьеру из Мюнхена.

Здесь, однако, мы сталкиваемся с последствиями проповедуемого на всех перекрестках учения, которое гласит, что государство – это последняя цель человечества, что нет для человека более высокого долга, нежели служение государству: я вижу в этом учении впадение не в язычество, а в глупость. Бывает, что такой человек, который усматривает свой высочайший долг в служении государству, и впрямь не ведает никакого другого высшего долга; но поэтому есть грань, за которой существуют другие люди, другой долг, и одна из его разновидностей, по крайней мере в моих глазах, более высокая, чем служение государству, предполагает искоренение глупости во всех ее формах, а, значит, и вот этой глупости. Поэтому я занимаюсь тут людьми такой породы, телеология которых усматривает кое-что помимо блага государства, философами, да и философами только в связи с миром, в свою очередь достаточно независимым от блага государства, – в связи с культурой. Из многих звеньев, сцепленных друг с другом и образующих человеческое общество, некоторые сделаны из золота, а другие – из латунного сплава.

Так как же философ смотрит на культуру в нашу эпоху? Разумеется, совсем иначе, чем блаженствующие в своем государстве профессора философии. Когда он думает о все-

общей спешке и возрастающей скорости свободного падения, об исчезновении всяческой созерцательности и простоты, ему так и кажется, что он видит перед собой симптомы полного истребления и искоренения культуры. Воды религии спадают, оставляя после себя болота или пруды; народы снова разъединяются самым враждебным образом и жаждут растерзать друг друга. Науки, полностью ослепленные и не ведающие никакой меры в поощрении laisser faire, дробят на куски и разлагают все исконно очевидное; образованные сословия и государства увлечены грандиозно-презренной денежной экономикой. Мир никогда еще не был больше миром, никогда он не был беднее любовью и добротой. Ученые сословия больше не служат маяками или гаванями посреди всех этих тревог секуляризации; у них у самих с каждым днем нарастает тревожность и скудеют мысль и любовь. Всё, не исключая нынешних искусств и наук, служит наступающему варварству. Образованные люди выродились в заклятых врагов образования – ведь они стремятся ложью замолчать всеобщую болезнь и только мешают врачам. А когда говорят об их немощи, когда выступают против их пагубной лживости, они злятся, эти обессиленные бедные плуты. Уж очень им хочется заставить поверить, будто они установили окончательную цену всем столетиям, и они изображают деланную радость. Их манера прикидываться счастливыми порой бывает трогательной, потому что совершенно непостижимо, что́ для них счастье. Их даже не надо спрашивать, как Тангейзер спрашивает Битерольфа: «Так чем же ты, несчастный, наслаждался?» Ведь нам-то ответ известен лучше, и притом лежащий за пределами их понимания. Вокруг нас зимний день, и живем мы в высокогорье, живем в опасности и нужде. Кратки наши радости, и бледны пятна солнца, добирающиеся до нас по белым горам. Вот раздается музыка, это старик играет на шарманке, а люди кружатся в пляске, и зрелище леденит страннику душу, настолько все дико, окончательно, бесцветно и безнадежно, – и вдруг здесь раздаются звуки ликованья, бездумного громкого ликованья! Но уже крадутся туманы раннего вечера, музыка отзвучала, хрустят камни под ногами странника, и все, что он еще видит перед собой, – равнодушный и жестокий лик природы.

Если уж пришлось проявить односторонность, чтобы в картине современной жизни выделить лишь вялость линий и топорность красок, то вторая сторона, уж конечно, ничуть не более отрадна, а только тем сильнее внушает тревогу. Тут, правда, есть силы, неимоверные силы, но необузданные, первобытные и совершенно немилосердные. На них смотришь с пугливым ожиданием, словно в котел на кухне ведьм: варево в нем в любой момент может вздрогнуть и сверкнуть, возвещая какие-то ужасные явления. Уже столетие как мы подготовлены к самым фундаментальным потрясениям; и если с недавних пор совершаются попытки противопоставить этой глубочайшей современной склонности ниспровергать или взрывать конститутивную силу так называемого национального государства, то все равно и оно еще долгое время будет только приумножать всеобщую ненадежность и опасность. Нас не введет в заблуждение, что индивиды ведут себя так, будто ничего не ведают обо всех этих опасениях: их тревожность показывает, как хорошо они об этом ведают; они думают о себе с такой спешкой и исключительностью, с какой люди еще никогда о себе не думали, они строят и растят на злобу своего дня, и погоня за счастьем, словно его непременно надо добыть до завтра, никогда не будет такой суматошной: ведь послезавтра, может быть, охотничий сезон кончится навсегда. Мы живем в период атомов, атомистического хаоса. В Средние века Церковь более или менее удерживала вместе враждующие силы и в какой-то степени взаимно ассимилировала их посредством сильного давления, которое она на них оказывала. Но как только удерживающая связь была порвана, а давление ослабло, одна из них восстала на другую. Реформация объявила многие вещи лежащими по ту сторону оценок, сферами, которые не должны определяться согласно религиозным идеям; это была плата, за которую она сама только и могла существовать, – да уже и христианство подобной ценой утвердило свое существование перед лицом куда более религиозной античности. Начиная с этого момента разрыв только усиливался. Сегодня почти все на земле определяется только самыми зверскими и злобными силами – эгоизмом потребителей да армейскими тиранами. Государство, находящееся в руках этих последних, пытает-

ся, конечно, равно как и эгоизм потребителей, заново организовать все по-своему и стать связующим гнетом для всех враждующих сил: иными словами, оно хочет, чтобы люди почитали его тем же идолослужением, каким прежде почитали Церковь. А каким должен быть результат? Нам еще предстоит испытать его на своей шкуре; во всяком случае, сейчас мы все еще находимся в ледоходном течении средневековья; подтаявший лед взломан, и поток пришел в мощное опустошительное движение. Одна глыба льда громоздится на другую, берега затоплены, и положение угрожающее. Никак не избежать революции, причем революции атомистической: но каковы же мельчайшие неделимые частицы, из которых состоит человеческое общество?

Нет сомнений в том, что когда такие периоды еще только наступают, человеческое начало оказывается в опасности чуть ли не большей, чем во времена самих переворотов и хаотичных водоворотов, и что боязливое ожидание и алчная эксплуатация момента выманивает из души наружу всяческую трусость и эгоистические побуждения, в то время как настоящая беда, и особенно общность великой беды, обычно улучшает и согревает людей. Кто же, посреди таких опасностей нашего периода, посвятит себя, как хранитель и рыцарственный защитник, *человечности*, этой неприкосновенной священной храмовой казне, которую мало-помалу скопили самые разные поколения? Кто поднимет упавший *образ человека* – когда все ощущают в себе лишь шевеление червя эгоизма да собачий страх, а потому отпали от этого образа, упали вниз, став чем-то животным, а то и тупо-механическим?

Есть три образа человека, расставленных нашей новой эпохой один позади другого, зрелище которых, наверное, еще долго будет давать смертным стимулы для преображения своей жизни: это человек Руссо, человек Гёте и, наконец, человек Шопенгауэра. В первом из этих образов больше всего огня, и он уверен в своей величайшей популярности; второй создан лишь для немногих – для созерцательных натур большого размаха, а толпой понимается превратно. Третий требует, чтобы его зрителями были наиболее деятельные из людей – только такие будут смотреть на него без вреда для себя, поскольку людей созерцательных он ослабляет, а толпу устрашает. От первого исходила сила,

толкавшая и еще поныне толкающая к бурным переворотам; ведь когда происходят всякие социалистические содрогания и землетрясения, то это всегда, подобно древнему Тифону под Этной, шевелится человек Руссо. Угнетенный и наполовину растоптанный высокомерными кастами, беспощадным богатством, испорченный священниками и плохим воспитанием, стыдящийся себя по причине смехотворных манер, этот человек в своей беде взывает к «святой природе» и внезапно чувствует, что она от него далека, словно какой-нибудь эпикурейский бог. До нее не доходят его молитвы – настолько глубоко он погрузился в хаос неестественности. Он в сердцах отбрасывает все пестрые наряды, которые еще совсем недавно казались ему всем самым человеческим в себе, – свои искусства и науки, преимущества своей усовершенствованной жизни, он стучит кулаком по каменным стенам, в тени которых так дегенерировал, и вопит, требуя света, солнца, леса и скал. И, восклицая: «Лишь природа добра, лишь естественный человек человечен!», он презирает себя и тоскует по избавлению от себя самого: это настроение, в котором душа готова на страшные дела, но заодно и вызывает из своих глубин наверх самое благородное и редкое.

Человек Гёте – вовсе не столь угрожающая сила, мало того, в определенном смысле он даже подправляет и успокаивает именно те опасные возбуждения, на волю которых брошен человек Руссо. Гёте и сам в юности всей своей любвеобильной душой был предан евангелию от доброй природы; его Фауст был самым величественным и смелым слепком человека Руссо, по крайней мере, когда автор хотел изобразить волчий голод героя по жизни, его неудовлетворенность и тоску, его общение с демонами души. А теперь присмотримся, что же выходит из всех этих сгустившихся туч, – оказывается, вовсе не молния! Вот тут-то и является на свет дня новый образ человека – гётевского человека. Казалось бы, следует думать, что Фауст проходит по угнетенной со всех сторон жизни как неустанный возмутитель и освободитель, как сила, отрицающая из доброты, как подлинный словно бы религиозный и демонический гений переворота – в противоположность своему отнюдь не демоническому спутнику, хотя от этого спутника он никак не

может отделаться и вынужден зараз использовать и презирать его скептическую злобу и нигилизм, что и является трагическим жребием всякого возмутителя и освободителя. Однако подобные ожидания ведут к заблуждению; здесь человек Гёте отходит от человека Руссо; ведь ему ненавистно всякое насилие, всякий резкий сдвиг – а это означает: всякое дело; и вот из Фауста, освобождающего мир, получается как бы всего лишь Фауст, путешествующий по миру. Этот ненасытный наблюдатель пролетает мимо всех сфер жизни и природы, всех ушедших эпох, искусств, мифологий, всех наук, возбуждая и утоляя свое глубочайшее желание, – даже Елена в конце концов больше не выдерживает его; и вот неизбежно наступает момент, которого ждет не дождется его насмешливый спутник. Полет кончается в произвольной точке земного шара, перья выпадают, Мефистофель тут как тут. Когда немец перестает быть Фаустом, ничто не грозит ему больше, чем перспектива стать обывателем и попасть в лапы дьявола, – а избавить его от этого могут лишь силы небесные. Человек Гёте, как я уже сказал, – созерцательный человек в возвышенном стиле, который держится на этой земле лишь благодаря тому, что собирает себе на пропитание все великое и значительное, что только было и есть, и живет этим, хотя его жизнь есть жизнь от одного желания к другому; он – не человек дела: наоборот, когда он встраивается в каком-нибудь месте в существующие порядки людей дела, то можно не сомневаться в том, что ничего путного из этого не выйдет – как и из горячего рвения, которое сам Гёте проявлял к театру, – но прежде всего в том, что никакой «порядок» ниспровергнут не будет. Гётевский человек – сила сохраняющая и примиряющая, но ему, как уже говорилось, грозит опасность выродиться в обывателя, так же как человек Руссо с легкостью может сделаться катилинарием. Будь у первого чуточку больше мышечной силы и природной необузданности, все его доблести сразу возросли бы. Сдается, Гёте понимал, в чем заключается опасность для его человека и в чем его слабость – он намекает на это словами Ярно в «Вильгельме Мейстере»: «Вы человек недовольный и ожесточенный, это прекрасно, это замечательно; но если б Вы только как следует разозлились, то было бы еще лучше».

Так вот, говоря откровенно: нам нужно как следует разозлиться, чтобы дела пошли лучше. И в этом нам должен придать духа образ шопенгауэровского человека. *Шопенгауэровский человек добровольно берет на себя страдание от своей правдивости*, и это страдание служит ему для того, чтобы умертвить собственное своеволие и подготовить тот полный переворот, ту трансформацию своего существа, вести к которой и составляет подлинный смысл жизни. Говорить правду в лицо – другим людям это кажется проявлением злобы, ведь консервацию своих недомолвок и уверток они считают долгом гуманности и думают, будто только злобный человек может своей правдивостью растоптать их игрушку. Их так и подмывает крикнуть подобному человеку то, что Фауст говорит Мефистофелю: «Итак, живительным задаткам, производящим все кругом, объятый зависти припадком, грозишь ты злобно кулаком?»; а тот, кто захотел бы жить по-шопенгауэровски, был бы, наверное, похож больше на Мефистофеля, чем на Фауста, – правда, для близоруких современных глаз, в отрицании всегда усматривающих отличительный признак зла. Есть, однако, вид отрицания и разрушения, равнозначный как раз проявлению той могучей тоски по освящению и спасению, первым учителем-философом которой среди нас, оскверненных и в подлинном смысле слова омирщвленных людей, выступил Шопенгауэр. Всякое существование, которое можно отрицать, отрицания и заслуживает; а быть правдивым означает верить в существование, которое вообще невозможно отрицать – оно само истинно, лишено лжи. Поэтому правдивый человек чувствует, что смысл его деятельности – метафизический, объяснимый законами другой, более высокой, жизни и в глубочайшем смысле слова утверждающий: и все, что бы он ни делал, является разрушением и уничтожением законов этой <, более низкой> жизни. Тогда, конечно, его деятельность неизбежно приведет к постоянному страданию, но ему известно то, о чем знал и Мастер Экхард: «Самое быстрое животное, которое довезет вас до совершенства, – это страдание». Мне хочется думать, что у всякого, кто изберет для себя такую жизненную позицию, расширится душа и возникнет горячее желание быть таким вот шопенгауэровским человеком: а это значит, быть очищенным для себя и сво-

его личного блага, быть на редкость невозмутимым, а в познании – полным сильного пожирающего пламени, быть куда как далеким от холодной и презрительной нейтральности так называемого человека науки, быть поднявшимся высоко над брюзгливым и недовольным наблюдением, всегда отдавать себя в первую жертву познанной истине и быть до глубины проникнутым пониманием того, какие страдания непременно породит его правдивость. Понятно, такой смелостью он разрушит свое земное счастье, ему придется быть враждебным даже к людям, которых он любит, к учреждениям, в стенах которых воспитывался, он не сможет щадить ни людей, ни вещи, хотя бы и страдал вместе с ними от нанесенных им же ран, он будет непризнанным, а силы, вызывающие у него отвращение, долго будут считать его своим союзником, при всем стремлении к справедливости ему придется быть несправедливым по человеческим меркам своего разумения: но он имеет право убедить и утешить себя словами, которыми однажды воспользовался Шопенгауэр, его великий воспитатель: «Счастливая жизнь невозможна; самое большее, чего может достичь человек, – это *жить героической жизнью.* Такую жизнь ведет тот, кто в какой-нибудь сфере и по какому-нибудь поводу борется с огромными трудностями за то, что как-то пойдет на пользу всем, и в конце концов побеждает, но при этом получает небольшую награду, а то и вовсе никакой. А в итоге остается стоять, как статуя в "Вóроне" Гоцци, но в благородной позе и с жестом щедрости. Память о нем сохранится, и ее будут чтить, как память героя; его воля, в течение всей жизни умерщвлявшаяся заботами и трудами, неудачами и неблагодарностью мира, угаснет в нирване». Такая героическая жизнь и вдобавок совершенное в ней умерщвление воли, разумеется, меньше всего укладывается в скудные представления тех, что больше всего о них разглагольствуют, справляют праздники в честь великих людей и мнят, будто великий человек велик, точно так же как они малы, словно благодаря какому-то подарку, себе в удовольствие или благодаря некоему механизму, слепо послушный этому внутреннему принуждению: а потому тот, кто такого подарка не получил или не почувствовал такого принуждения, имеет точно такое же право быть малым, какое тот – быть великим. Но

быть осыпанным дарами или подчиненным – это презрительные слова, которые удовлетворяют желание избежать внутреннего призыва, они оскорбительны для всякого, кто такой призыв услышал, а, значит, для великого человека; именно он меньше всего позволяет всем одаривать или принуждать себя – ему так же хорошо, как и любому маленькому человеку, известно, с каким легкомыслием можно относиться к жизни и насколько мягко ложе, на котором он мог бы разлечься, если бы начал проявлять в отношении себя и своих ближних послушание, вести себя обыденно: ведь все человеческие порядки нацелены на то, чтобы в постоянной рассеянности мыслей не *чуять* жизни. Почему же он так сильно жаждет противоположного, а именно – чуять жизнь, то есть страдать от жизни? Потому что замечает, что его обманом хотят лишить самого себя и что существует своего рода соглашение – выкрасть его из пещеры, составляющей его собственность. Тогда он упирается, навостряет уши и принимает твердое решение: «Я хочу оставаться самим собой!» Такое решение ужасно; он понимает это лишь со временем. Ведь теперь ему приходится погружаться в пучины существования с целым рядом необычных вопросов на устах: «Для чего я живу? Какой урок я должен извлечь из жизни? Каким образом я стал таким, какой я есть, и почему же я страдаю от того, что я именно таков?» Он терзается – и видит, что никто кругом так не терзается, что, наоборот, руки его ближних жадно тянутся к фантастическим событиям, разыгранным в театре политики, или – что ближние сами важно вышагивают в сотнях разных масок: мужей, старцев, отцов, граждан, священников, служащих, купцов, заботливо думая о своей совместной комедии, а вовсе не о себе самих. Все они ответили бы на вопрос: «Для чего ты живешь?» быстро и с гордостью – «Чтобы *стать* хорошим гражданином, или ученым, или сановником» – однако *являются-то они* тем, что ни при каких обстоятельствах не станет чем-то другим. Но почему же они именно таковы? А, увы, не что-нибудь получше? Кто понимает свою жизнь всего лишь как точку в истории рода, государства или науки и, стало быть, хочет быть составной частью мирового процесса, истории, тот не понял урока, заданного ему существованием, и должен будет выучить его

как-нибудь в другой раз. Этот вечный процесс – лживое кукольное представление, глядя на которое человек забывает о самом себе, оно – сущее рассеяние, развеивающее индивида по всем сторонам света, бесконечная игра глупости, которую разыгрывает перед нами и в которую играет с собою большое дитя – время. Героизм правдивости, о котором идет речь, заключается в том, чтобы в один прекрасный день прекратить быть игрушкой времени. Все в процессе становления – пустое, обманчивое, плоское и заслуживает нашего презрения; загадку, которую обязан разрешить человек, он может разрешить, лишь основываясь на бытии, на таком-то определенном, а не ином бытии, на непреходящем. Теперь он начинает проверять, насколько глубоко и неразрывно связан со становлением, а насколько – с бытием, и перед его душой встает неимоверная задача: разрушить все становящееся, вывести на чистую воду все лживое в вещах. Он тоже хочет все познать, но он хочет этого иначе, чем гётевский человек, – не в угоду некоей благородной мягкотелости, с целью сохранить себя и наслаждаться многообразием вещей; нет, он сам – первая жертва, которую приносит себе. Героический человек презирает свое благополучие или злополучие, свои добродетели и пороки и вообще измерение вещей своей мерой, он ничего от себя не ждет, ни на что не надеется и хочет заглянуть во все вещи до этого безнадежного дна. Его сила – в забвении себя самого; а если он о себе и вспоминает, то чувствует зияние между своей высокой целью и собой, и ему кажется, будто он видит сзади и под собой какую-то невзрачную кучку шлака. Древние мыслители всеми силами искали счастье и истину – но никому не найти того, что он положил себе искать, гласит лютый принцип природы. А тому, кто во всем ищет неправду и добровольно примыкает к несчастью, возможно, уготовано другое чудо разочарования: к нему приближается нечто невыразимое словами, всего лишь застывшими слепками чего являются счастье и истина, земля перестает притягивать к себе, события и силы, действующие на земле, становятся призрачными, и вокруг него разливается просветление, словно в летние вечера. Созерцающему кажется, будто он только начинает пробуждаться и вокруг него все еще вьются облачка, оставшиеся от исчезающего

сновидения. Но когда-нибудь и они развеются окончательно: тогда настанет день.

5

Однако же я обещал представить Шопенгауэра как *воспитателя* согласно моему собственному опыту, и, значит, еще далеко не достаточно, да еще несовершенными словами, изобразить того идеального человека, который правит в Шопенгауэре и вокруг него, словно его платоновская идея. Теперь остается самое трудное: сказать, как, исходя из этого идеала, следует обретать новый круг обязанностей и каким образом можно вступить в связь со столь амбициозной целью через регулярную деятельность, короче говоря, как доказать, что такой идеал *воспитывает*. Вообще-то можно было бы думать, что лишь на отдельные мгновения дается нам это блаженное, даже пьянящее представление, чтобы тем более жестоко бросить нас потом на произвол судьбы и ввергнуть в тем более глубокое уныние. Да и впрямь, именно *так* мы *начинаем* устанавливать свою связь с этим идеалом, с этими внезапными контрастами света и тьмы, опьянения и отвращения, и здесь воспроизводится опыт, такой же древний, как и сами идеалы. Но нам нельзя медлить на пороге, нам надо быстро пройти это начало. А потому следует серьезно и настойчиво спросить: возможно ли приблизиться к этой невероятно высокой цели так, чтобы она нас воспитывала, вытягивая нас наверх? И при этом так, чтобы к нам не относились великие слова Гёте: «Человек рожден с ограниченным кругозором; ему видны простые, близкие, определенные цели, он привыкает пользоваться теми средствами, что у него под руками; но, попав в менее ограниченные пределы, он перестает понимать, чего хочет, что от него требуется, и тут уж не имеет значения, теряется ли он от обилия новых предметов, или голова идет у него кругом от их великолепия и достоинства. Горе ему, если он вздумает домогаться того, с чем не может быть связан регулярной и самостоятельной деятельностью». С убедительной видимостью справедливости можно выдвинуть такое возражение как раз против шопенгауэровского че-

ловека: его достоинство и великолепие в состоянии только выбить нас из колеи, а вследствие этого, в свой черед, исключить нас из всякого общения с людьми деятельными; и тогда прощай наша связь с людьми через долг, прощай нормальное течение жизни. Кто-то, может быть, привыкнет, наконец, с мрачным видом отходить в сторону и жить по двойной мерке, то есть в разладе с собой, там и сям он будет чувствовать себя неуверенно и потому с каждым днем становиться все слабей и бесплодней; а кто-то и вовсе принципиально откажется взаимодействовать с другими – он и пальцем не пошевельнет, когда другие будут что-то делать. Когда человеку становится чересчур тяжело и он не в состоянии *исполнять* никакой долг, опасности для него всегда велики; из-за этого те натуры, что посильнее, могут сломаться, а те, что послабее, более многочисленные, вдаются в задумчивую лень, а от лени в конце концов утрачивают и саму задумчивость.

Что касается таких возражений, то я согласился бы с ними в том смысле, что наша работа здесь только началась, и я, судя по собственному опыту, уже определенно вижу и знаю лишь одно: исходя из этой идеальной картины, можно протянуть между одним человеком и другим цепь выполнимых обязанностей, и некоторые из нас уже ощущают тяжесть этой цепи. Но чтобы без колебаний высказать формулу, в которую я намерен свести этот новый круг обязанностей, мне понадобятся следующие предварительные рассуждения.

Люди с глубиной во все времена именно поэтому испытывали сострадание к животным, ведь те принимают страдание от жизни, но не обладают способностью обратить жало страдания на самих себя и понять свое существование метафизически; да и вообще, зрелище бессмысленного страдания возмущает до глубины души. Поэтому не в одном только месте земного шара родилось предположение, что в тела этих животных внедрены души отягощенных виною людей и что перед лицом вечной справедливости на первый взгляд возмутительное, бессмысленное страдание исчезает, становясь исключительно осмысленным и полным значения, а именно карой и расплатой. Это и впрямь тяжкая кара – жить вот так в виде животного, в условиях

голода и жажды, но не находить никакой ясности относительно этой жизни; и невозможно представить себе жребия более тяжкого, чем жребий хищника, гонимого по пустыне гложущей мукой, утоляемой редко, да и тогда только таким образом, что утоление превращается в пытку, в кровавую битву с другими животными, или через мерзкую алчность и пресыщение. Так слепо и жадно держаться за жизнь, не зная ей никакой более высокой цены, даже отдаленно не догадываясь, откуда и для чего такая кара, но с глупостью всепоглощающего вожделения томясь как раз по этой самой каре, словно она – счастье: все это и значит быть животным; и если вся природа теснится к человеку, то тем самым она дает понять, что он нужен для ее спасения от проклятья животной жизни и что в нем, наконец, существование подносит себе зеркало, на дне которого жизнь предстает уже не бессмысленной, а полной метафизического значения. Но задумаемся о том, где прекращается животное и где начинается человек. Тот самый человек, до которого природе только и есть дело! Покуда кто-то жаждет жизни как блаженства, его взгляд еще не выходит за пределы горизонта животного, с той лишь разницей, что он с большей сознательностью стремится к тому, чего животное домогается в слепом порыве. Однако большую часть жизни именно этим мы и заняты: мы, как правило, не выходим за пределы животности, мы сами – животные, страдающие как будто бы бессмысленно.

Но бывают мгновения, *когда мы это понимаем*: тогда расступаются облака, и мы видим, что вместе со всей природой пробиваемся к человеку – чему-то такому, что стоит высоко над нами. С внезапной ясностью, ужасаясь, мы глядим вокруг себя и назад: там бегают усовершенствованные хищные животные, и мы находимся прямо посреди них. Чудовищных масштабов передвижения людей по великой пустыне Земли, основание их городов и государств, их войны, их беспрестанное слияние и раздробление, их быстрое перемешивание, взаимная ассимиляция, их взаимный обман и взаимное растаптыванье, их вопли о помощи, их торжествующий рев наслажденья – все это продолжение животности: словно человек нарочно отступил назад и обманным путем лишился своей метафизической предрасположен-

ности, мало того, словно природа, так долго томившаяся по человеку, так долго добивавшаяся его своим трудом, теперь отшатывается от него с дрожью отвращения, предпочитая вернуться к бессознательности влечения. Ах, она нуждается в познании – но познание ее ужасает, познание, которое ей только и нужно; и вот пламя беспокойно мечется туда-сюда, словно боясь самого себя, сначала охватывая великое множество вещей, прежде чем ухватить, почему природа вообще нуждается в познании. В отдельные мгновения все мы знаем, что самые распространенные институты нашей жизни созданы лишь для того, чтобы мы могли улизнуть от своей подлинной задачи, что нам больше всего на свете хотелось бы спрятать куда-нибудь голову, как будто нашей стоглазой совести нас там не поймать; что мы без колебаний отдаем свое сердце государству, заработку, общению или науке – только для того, чтобы от него избавиться; что мы батрачим даже на тяжелой поденной работе с бóльшим жаром и безоглядностью, чем нужно, чтобы жить: ведь нам кажется, будто куда нужнее ни на что не оглядываться. Спешка стала всеобщей, потому что каждый бежит от самого себя, всеобщей стала и манера робко скрывать эту спешку, потому что мы хотим казаться довольными, чтобы обмануть относительно своего жалкого состояния тех наблюдателей, что более проницательны, всеобщей стала потребность в новых звонких словах-бубенчиках, нужных, чтобы увешанная ими жизнь получила призвук шумного празднества. Каждому знакомо странное состояние, когда на нас внезапно наваливаются неприятные воспоминания, и мы вовсю стараемся выбить их из души с помощью бурных движений и звуков: но по движениям и звукам будничной жизни можно догадаться, что все мы и всегда находимся в таком состоянии – в страхе перед памятью и самоуглубленностью. Так что же это столь часто не дает нам покоя, какой комар не дает нам спать? Вокруг нас все призрачно, каждое мгновение жизни хочет что-то сказать нам, но мы не желаем слышать этот призрачный голос. Оставшись наедине с собой и в тишине, мы боимся, что до наших ушей дойдет некий шепот, а потому ненавидим тишину и оглушаем себя общением.

Все это мы, как уже говорилось, время от времени вдруг понимаем и сильно удивляемся всему такому головокружи-

тельному страху и спешке, вообще сноподобному состоянию нашей жизни, которую, кажется, ужасает пробуждение и которая видит сны тем более интенсивно и беспокойно, чем ближе она к пробуждению. Но одновременно мы чувствуем, что слишком слабы, чтобы долго выносить эти мгновения сильнейшей самоуглубленности, и что мы не те люди, к которым вся природа теснится для своего спасения: еще хорошо, что мы вообще иногда выныриваем на высоту головы и замечаем, в какой поток так глубоко погружены. Да и это мы способны делать не собственными силами – выныривать и пробуждаться на исчезающе малый момент: нас надо поднимать. А кто же они – те люди, которые нас поднимают?

Это – подлинные *люди, это те, что перестали быть животными, философы, художники и святые*; при их появлении и благодаря их появлению природа, которая никогда не делает скачков, совершает свой единственный скачок, и притом от радости, поскольку впервые чувствует себя у цели, а именно там, где понимает, что должна позабыть о целях и что уже вдоволь наигралась в игру жизни и становления. Познание этого просветляет ее, и на ее лик ложится мягкий отсвет вечерней усталости – люди зовут это «красотой». То, что выражает теперь этот просветленный лик, – великое *просвещение* о существовании; а величайшее желание, какое только могут питать смертные, – неотрывно и с открытым слухом принимать участие в этом просвещении. Если кто-то поразмыслит о том, чего только не пришлось выслушать, к примеру, Шопенгауэру за всю его жизнь, то, вероятно, он скажет себе: «Ах, мои глухие уши, моя глупая голова, мой мерцающий ум, мое усохшее сердце, ах, все, что я считаю своим! Как я презираю все это! Не летать, а лишь порхать! Глядеть ввысь – и не уметь подняться! Знать путь, что ведет к безбрежно вольному взгляду философа, и уже начать его, но отшатнуться назад, сделав всего несколько шагов! Если бы только мог настать день, когда сбудется то величайшее желание, с каким удовольствием я предложил бы в виде платы за это всю мою оставшуюся жизнь! Подняться на высоту, на которую когда-либо поднимались мыслители, в чистый морозный альпийский воздух, туда, где кончаются туманы и завесы, где изначальное состояние

вещей выражается резко и жестко, но с неумолимой внятностью! Лишь думая об этом, душа становится одинокой и безбрежной; а если б исполнилось ее желание, если б ее взгляд падал на вещи отвесно и горячо, как луч света, если б умерли ее стыд, боязливость и вожделение – какими словами следовало бы тогда передать ее состояние, то новое и загадочное побуждение без возбужденности, с которым она, подобно душе Шопенгауэра, осталась бы простертой на неимоверных иероглифах существования, на застывшем в камень учении о становлении – застывшем не в виде ночи, а в виде пылающего, алого, заливающего весь мир света. И, опять-таки, что же это за удел – предчувствовать особое предназначение и блаженство философа в достаточной степени, чтобы ощутить никчемность и злополучие нефилософа, человека, вожделеющего без надежды! Осознавать себя плодом на дереве, которому никогда не дозреть из-за слишком густой тени, и видеть, как прямо перед тобой лежит солнечный свет, но быть лишенным его!»

Такой муки было бы довольно, чтобы сделать человека, обойденного талантом, завистливым и озлобленным, если в нем вообще заложены зависть и злоба; однако скорее всего он в конечном итоге развернет свою душу в другую сторону, чтобы ей не изводить себя тщетной тоскою, и тогда-то *откроет* для себя новый круг обязанностей.

Вот я и добрался до ответа на вопрос о том, возможно ли такое – вступить в связь с великим идеалом шопенгауэровского человека через регулярную самостоятельную деятельность. Прежде всего, не подлежит никакому сомнению: эти новые обязанности – не обязанности человека одинокого; напротив, вместе с ними человек вступает в могучую общность, которая держится, правда, не на внешних формах и законах, а на некоей фундаментальной идее. Это – фундаментальная идея *культуры*, насколько таковая сумеет поставить перед каждым из нас лишь одну задачу: *содействовать созданию в нас и вне нас философа, художника и святого и тем самым работать над завершением природы*. Ведь природа нуждается в философе, так же как и в художнике, с метафизической целью, а именно, чтобы обрести просвещение относительно себя самой, которое придет, когда в один прекрасный момент перед ней, наконец, в виде ясной и готовой

картины появится то, чего ей в суматохе становления никогда не разглядеть со всей определенностью, – иными словами, чтобы обрести самопознание. Гёте задорно-глубокомысленными словами прозрачно намекнул на то, что все попытки природы результативны, лишь если ее бормотание в конце концов разгадает художник, если он застигнет ее на полпути и ясно скажет, чего она, собственно, своими попытками добивается. «Я не раз говорил, – воскликнул он однажды, – и еще не раз повторю, что causa finalis[1] всех вселенских и человеческих раздоров – это драматическая поэзия. Ведь больше эта штуковина решительно ни на что не годится.» А напоследок природа нуждается в святом, у которого «я» растаяло совершенно и полная страданий жизнь которого воспринимается уже не как индивидуальная или почти не как индивидуальная, а как чувство тождества, соседства и единства со всем живущим: в святом, в чьем существе свершается чудо преображения, чудо, до которого никогда не додуматься игре становления, – это последнее и высочайшее вочеловечение, цель всех стремлений и домогательств природы, а именно ее спасение от самой себя. Нет никаких сомнений в том, что все мы ему родственны и с ним связаны, как родственны философу и художнику; бывают мгновения и как бы искры ярчайшего, нежнейшего пламени, в свете которого мы больше не понимаем, что значит «я»; и есть по ту сторону нашего существа нечто такое, что в эти мгновенья становится чем-то посюсторонним, а потому мы от всего сердца жаждем найти мосты между той стороной и этой. В своем обычном состоянии мы, конечно, ничем не можем содействовать созданию такого человека-спасителя, а потому *ненавидим* себя в этом состоянии – ненавистью, являющейся корнем того пессимизма, снова учить которому нашу эпоху пришлось Шопенгауэру, но который стар в той же степени, в какой в разные времена бывала стара тоска по культуре. Ее корнем, но не цветом, ее как бы нижним этажом, но не верхушкой крыши, началом ее пути, но не конечной целью: ведь когда-нибудь нам еще предстоит научиться ненавидеть что-то другое, более всеобщее – уже не свою индивидуальность с ее жалкой ограниченно-

---

1 целевая причина (*лат.*).

стью, с ее изменчивостью и метаниями; и это будет то повышенное состояние, в котором и любить мы станем нечто иное, чем то, что можем любить сейчас. Лишь когда мы, в этом или каком-нибудь будущем рождении, сами будем приняты в такой возвышеннейший орден философов, художников и святых, перед нами будет поставлена и новая цель для нашей любви и нашей ненависти, – а до тех пор у нас есть наша задача и наш круг обязанностей, наша ненависть и наша любовь. Ведь мы знаем, что такое культура. Она требует, если говорить о практическом применении к шопенгауэровскому человеку, чтобы мы подготавливали и ускоряли ее постоянное сотворение, знакомясь с тем, что ей враждебно, и убирая его с дороги, – короче говоря, чтобы мы неустанно боролись против всего, что лишает *нас* величайшего в нашем существовании осуществления, мешая нам самим сделаться такими шопенгауэровскими людьми.

6

Подчас бывает труднее принять какую-нибудь вещь, чем понять ее; именно так и случится, верно, с большинством людей, если они поразмыслят над тезисом: «Человечество должно неустанно работать для того, чтобы на свет появились отдельные великие люди, – это, и только это, составляет его задачу». Так и подмывает применить к обществу и его целям разъяснение, которое можно получить, рассмотрев каждый из видов в царствах животных и растений: самое важное для них – это только отдельные, наиболее совершенные экземпляры, наиболее необычные, сильные, сложные, плодовитые, – да, так и подмывает, но привитые воспитанием фантастические представления о цели общества оказывают здесь упорное сопротивление! На самом деле нетрудно понять, что цель развития вида лежит там, где тот подходит к своему пределу и границе перехода в более высокоразвитый вид, но не в массе экземпляров и их благополучии, а не то и вовсе в экземплярах, наиболее запоздалых в истории его развития, – как раз наоборот, в тех будто бы разрозненных и случайных экземплярах, которые вдруг возникают там и сям при благоприятных ус-

ловиях; а ведь не более трудно понять, что человечеству, поскольку оно может осознать свою цель, надо нащупывать и устанавливать те благоприятные условия, при которых возможно возникновение великих, несущих спасение людей. Но что только не противится этому: то конечная цель человечества должна будто бы заключаться в счастье для всех или большинства, то ее следует искать в расцвете великих общностей; и насколько быстро человек решается пожертвовать свою жизнь, скажем, государству, настолько же он стал бы медлить и сомневаться, если бы этой жертвы потребовал от него индивид, а не государство. Звучит как бессмыслица, что один человек должен существовать ради какого-то другого человека; «Нет, нет, ради всех других – или по крайней мере ради как можно большего числа людей!» Ах, недалекая и честная твоя душа, как будто более осмысленно отдавать все дело на откуп числу, когда речь идет о ценности и смысле! Ведь вопрос-то гласит: как твоя жизнь, жизнь отдельного человека, может получить свою наивысшую ценность, свой глубочайший смысл? Как свести к минимуму ее напрасную растрату? Уж конечно, только благодаря тому, что ты будешь жить на пользу отборных и наиболее ценных экземпляров, а не на пользу большинства, то есть самых малоценных экземпляров, если брать каждый по отдельности. Именно такое умонастроение следовало бы насаждать и возделывать в юноше, чтобы он понял себя словно бы как неудавшееся творение природы, но в то же время и как свидетельство великолепнейших и чудеснейших замыслов этой художницы; на этот раз у нее вышло плохо, – скажет он себе, – но я отдам дань уважения ее великому замыслу, смиренно помогая ей, чтобы однажды это удалось ей лучше.

Питая такое намерение, он втянет себя в орбиту *культуры*; ведь она есть дитя самопознания каждого из людей и его неудовлетворенности собой. Всякий, кто присягает ей, тем самым свидетельствует: «Я понимаю, что надо мною есть нечто более высокое и человечное, нежели я сам; все должны помогать мне достигать его, как и я берусь помогать всякому, кто понимает то же самое и страстно привержен тому же самому, – дабы в конце концов возник человек, чувствующий себя полным и бесконечным в познании и

любви, в созерцании и деятельности, и всем своим целостным существом любящий природу и преданный ей до глубины души как судья и мера всех вещей». Трудно ввести кого-нибудь в такое состояние неустрашимого самопознания, потому что нельзя научить любви: ведь лишь в любви душе открывается не только ясный, аналитический и презрительный взгляд на себя, но и страстное желание глядеть поверх себя и всеми силами искать свое еще скрытое где-то высшее «я». Значит, лишь тот, кто отдаст свое сердце какому-нибудь великому человеку, тем самым получит *первое посвящение в культуру*; ее признаки – стыд перед самим собой без досады, ненависть к собственной ограниченности и усушенности, сострадание гению, всякий раз заново выпрастывающему себя из этой нашей тупости и сухости, предчувствие, обращенное ко всем, кто формируется и борется, и глубочайшее осознанное желание почти везде идти навстречу природе в ее беде, когда она пробивается к человеку, когда она расстроена от очередной неудачи своего предприятия, когда ей все-таки везде удаются чудеснейшие начатки, черты и формы, так что люди, с которыми мы живем, выглядят как груда осколков на месте ценнейших ваятельских пробных работ, и эти осколки взывают к нам: придите, помогите, доведите до конца, соедините то, что должно быть вместе, – мы неимоверно тоскуем в желании стать целыми.

Эту сумму внутренних состояний я назвал первым посвящением в культуру; теперь же мне надлежит изобразить последствия *второго* посвящения, и я прекрасно понимаю, что тут моя задача куда сложнее. Ведь сейчас следует перейти от внутреннего процесса к оценке внешнего процесса, взгляд должен обратиться вовне, чтобы вновь обнаружить в большом оживленном мире ту жажду культуры, которая знакома ему по описанным выше первым опытам, а отдельный человек должен использовать свою борьбу и тоску как алфавит, с помощью которого сможет получить ясную картину стремлений других людей. Но и на этом ему останавливаться нельзя, с этой ступени он должен подняться на более высокую, культура требует от него не только внутреннего переживания, не только оценки текущего вокруг него потока внешнего мира, но в конечном счете и главным образом действия, то есть борьбы за культуру и вражды к им-

пульсам, привычкам, законам, установлениям, в которых он не признает своей цели, а именно возникновения гения.

Тому, кто сможет подняться на эту вторую ступень, первым делом бросится в глаза, *как чрезвычайно недостаточно и редко знание о названной цели*, но как зато общераспространенна суета вокруг культуры и как неописуемо огромны силы, которые тратятся на ее службе. Тогда с удивлением спрашиваешь себя: так, может, подобное знание и вообще излишне? Может, природа достигает своей цели и так, даже если люди в большинстве своем неправильно устанавливают цель своих усилий? Тому, кто привык высоко ставить бессознательную целесообразность природы, вероятно, не составит никакого труда ответить: «Ну да, так оно и есть! Пусть люди размышляют о ее конечной цели и говорят что хотят – все равно они прекрасно осознают свой праведный путь в ее темном влечении». Чтобы на это возразить, надо кое-что пережить; но кто по-настоящему убежден в том, что цель культуры – это содействие возникновению подлинных *людей*, и ничто иное, и вспомнит, что даже теперь, при всей роскоши и пышности культуры, возникновение таких людей мало чем отличается от постоянного истязания животных, тот поймет, насколько необходимо поставить когда-нибудь, наконец, на место этого самого «темного влечения» сознательную волю. В особенности это необходимо еще и по второй причине: чтобы стало невозможно использовать это не ведающее своей цели влечение, пресловутое темное влечение, для совсем иного рода целей и повести его путями, на которых уже никогда не будет достигнута названная высшая цель – возникновение гения. Есть ведь род культуры, *используемой в превратных целях и наемной* – стоит только поглядеть кругом! И как раз те силы, что сейчас энергичнее всего двигают культуру, лелеют при этом задние мысли и имеют с ней дело, находясь отнюдь не в чистом, бескорыстном умонастроении.

Это, во-первых, *эгоизм потребителя*, нуждающегося в поддержке культуры и в благодарность за это в свой черед оказывающего ей помощь, но при этом, разумеется, желающего предписывать ей цели и пределы. Отсюда берет свое начало то популярное положение и та логическая цепочка, которые гласят приблизительно следующее: как можно боль-

ше познания и образования, а потому как можно больше потребностей, а потому как можно больше производства, а потому как можно больше выгоды и счастья – так звучит эта соблазнительная формула. Образование определяется, видимо, его приверженцами как благоразумие, с помощью которого можно стать абсолютно современным в потребностях и их удовлетворении, ну а заодно, обладая им, можно наиболее эффективно распоряжаться всеми путями и способами быстрее всего добыть деньги. Таким образом, целью было бы – образовать как можно больше имеющих хождение людей (вроде того, как о монете говорят, что она имеет хождение); и народ, согласно этому воззрению, будет тем более счастливым, чем больше будет в нем таких имеющих хождение людей. Поэтому безусловным намерением современных образовательных учреждений должно быть следующее: помогать каждому настолько, насколько он по природе склонен делаться имеющим хождение, формировать каждого таким образом, чтобы от данной ему меры познания и знаний он получал наибольшее количество счастья и выгоды. Индивид, гласит выдвигаемое тут требование, с помощью такого всеобщего образования должен обрести способность точно расценивать себя, дабы знать, чего может требовать от жизни; и напоследок утверждается, что естественный и необходимый союз «интеллекта и собственности», «богатства и культуры» – существует, даже более того, что этот союз является *нравственной* необходимостью. Для этой точки зрения ненавистно любое образование, которое делает человека одиноким, которое ставит перед ним цели за пределами денег и заработка, которое отнимает много времени; такие более серьезные виды образования, разумеется, обычно подвергаются поношению как «утонченный эгоизм», как «безнравственное эпикурейство от образования». Разумеется, согласно принятой тут нравственности, в цене как раз прямо противоположное, а именно быстрое образование, нужное, чтобы быстро сделаться зарабатывающим деньги существом, но при этом образование настолько основательное, чтобы суметь сделаться существом, зарабатывающим очень много денег. Человеку позволяется иметь культуру лишь настолько, насколько это в интересах всеобщего дохода и международных сношений, но

именно столько от него и требуется. Короче говоря: «У человека есть необходимые притязания на земное счастье, а поэтому образование необходимо, но только поэтому!»

Во-вторых, это *эгоизм государства*, которое тоже жаждет как можно более широкого распространения и внедрения культуры и у которого есть самые действенные инструменты, чтобы добиться желаемого. Положим, оно чувствует себя достаточно сильным, чтобы не только раскрепощать, но в нужный момент и запрягать под тягло, положим, его фундамент надежен и достаточно широк, чтобы выдержать всю куполообразную надстройку образования, – тогда распространение образования среди его граждан всегда будет идти на пользу только ему самому в его соревновании с другими государствами. Всюду, где нынче говорят о «культурном государстве», подразумевают, что перед ним поставлена задача раскрепостить духовные силы целого поколения настолько, чтобы благодаря этому они могли служить и приносить пользу существующим порядкам: но лишь в этих пределах, и не больше; так какую-нибудь лесную речку частично отводят с помощью запруд и шлюзов, чтобы уменьшить силу воды для работы мельницы, потому что полная сила для мельницы скорее опасна, чем полезна. В то же время такое раскрепощение – это в куда большей мере порабощение. Стоит лишь припомнить, чем мало-помалу сделалось христианство в условиях государственного эгоизма. Христианство, конечно, – одно из чистейших проявлений тяги к культуре, и как раз к все новому возникновению типа святого; но поскольку его постоянно использовали для вращения мельниц государственных учреждений власти, оно постепенно стало больным до мозга костей, насквозь ханжеским и лживым, и выродилось вплоть до полного противоречия своей изначальной цели. Даже последнее, что в нем свершилось, а именно немецкая Реформация, было бы не более чем внезапной вспышкой и угасанием, если бы она не похитила для себя новые силы и пламя из борьбы и пожара государств.

В-третьих, культуре содействуют все те, которые чувствуют себя *содержательно безобразными или скучными*, желая обмануть себя на этот счет с помощью так называемой *«прекрасной формы»*. Надо принудить наблюдателя к ложному

выводу относительно своего внутреннего содержания, прибегая ко всему поверхностному – слову, жесту, украшениям, пышности, благовоспитанности: при этом молчаливо предполагается, что тот, как обычно и поступают люди, будет судить о человеке по одежке. Мне иногда кажется, что современные люди отчаянно скучают друг с другом и в конце концов ощущают потребность делаться интересными с помощью всевозможных искусств. Тогда они потчуют себя посредством своих художников, этой пикантной и вызывающей жжение пищи, тогда вдоволь поливают себя пряными приправами всего Востока и Запада, ну и, конечно, пахнут потом очень интересно, Востоком и Западом вместе взятыми. Тогда они настраивают себя так, чтобы потрафить любому вкусу; и обслужить надо каждого, тянет ли его на благоуханное или зловонное, на утонченное или мужицки-грубое, на греческое или на китайское, на трагедии или на драматизированные непристойности. Наиболее прославленных кухмейстеров для этих современных людей, любой ценою желающих быть интересными и заинтересованными, как известно, можно найти у французов, а самых скверных – у немцев. Для последних это, в сущности, более утешительно, чем для первых, и давайте меньше всего обижаться на французов, когда они издеваются над нами как раз из-за нехватки у нас интересного и изысканного и когда, замечая страстное желание некоторых отдельных немцев быть изысканными и воспитанными, вспоминают о том индейце, который хочет себе кольцо в носу, да еще требует, чтобы ему сделали татуировку.

– И тут уж ничто не удержит меня от отступления. Со времени последней войны с Францией в Германии многое изменилось и сдвинулось с мертвой точки, и понятно, что заодно на родную почву занесли в том числе некоторые новые пожелания в отношении немецкой культуры. Эта война для многих была первой поездкой в более изысканную половину мира; какое великолепное впечатление производит непринужденность победителя, когда он не пренебрегает усвоением у побежденного кое-чего из культуры! Художественное ремесло в особенности постоянно намекает на соперничество с более образованным соседом – обстановка немецких домов должна уподобиться французской;

даже немецкий язык, посредством созданной по французскому лекалу академии, должен усвоить «здоровый вкус» и избавиться от сомнительного влияния, которое оказал на него Гёте, как совсем недавно авторитетно высказался берлинский академик Дюбуа-Реймон. Наши театры уже давно тихо и чинно добиваются того же, изобретен даже тип изысканного немецкого ученого – и теперь уже вполне можно ожидать, что все до сих пор не пожелавшее подчиниться этому самому закону изысканности, немецкая музыка, трагедия и философия, отныне будет отметаться прочь как ненемецкое. – Да уж, ради немецкой культуры не стоило бы и пальцем шевельнуть, если бы под культурой, которой у немцев еще нет и которой сейчас им приходится жаждать, они понимали не что иное как искусства и любезности, коими можно приукрасить жизнь, включая сюда все изобретения танцмейстеров и обойщиков, если бы и в языке они благоволили хлопотать лишь о правилах, одобренных академиками, и о некоторой общепринятой воспитанности. Однако, сдается, последняя война и возможность на опыте сравнить себя с французами так и не вызвали к жизни притязаний более высоких, скорее, напротив, меня часто охватывает подозрение, что немцам хотелось бы теперь насильно избавиться от тех старых обязанностей, которые налагает на них удивительная одаренность, характерные меланхоличность и глубокомыслие, присущие их натуре. Им больше по нраву фиглярничать, обезьянничать, усваивать манеры и искусства, которые делают жизнь занимательной. Но нет для немецкого духа большего оскорбления, чем считать его восковым – и думать, что в один прекрасный день к нему можно прилепить еще и изысканность. И хотя, увы, правда, что добрая часть немцев охотно дала бы себя лепить и формовать, все-таки надо возражать против этого так часто, пока не будет услышано: не обитает он уже среди вас, этот старый немецкий пошиб, который, конечно, жёсток, суров и донельзя упрям, но зато служит ценнейшим материалом, работать с которым имеют право лишь величайшие художники, потому что только они достойны его. А вот то, что внутри вас, – это материал мягкотелый, подобный каше; делайте с ним что хотите, лепите из него изысканных кукол и интересных идолов – все и тут останется таким, как в сло-

вах Рихарда Вагнера: «Немец угловат и неуклюж, когда хочет казаться воспитанным; но уж если он воспламенится, то становится благородным и превосходит <в этом> всех». Остерегаться этого-то немецкого пламени и есть все основания у изысканных, иначе в один прекрасный день оно пожрет их вместе со всеми их восковыми куклами и идолами. – Конечно, можно было бы объяснить эту возобладавшую в Германии склонность к «прекрасной форме» еще и по-другому, и притом более глубоко: той спешкой, той задыхающейся ловлей мгновения, той бездумной торопливостью, что рвет все вещи с ветки зелеными, той гонкой и погоней, что оставляет теперь на лицах людей глубокие морщины и словно наносит татуировку на все, что они делают. Они, будто не в состоянии нормально вдохнуть под действием какого-то зелья, несутся сломя голову по своим беспрестанным хлопотам измученными рабами трех «м» – момента, мнений и моды: тут, конечно, в глаза уж очень неприятно бросается дефицит достоинства и пристойности, а тут уж, в свою очередь, требуется лживая изысканность, которой приходится прикрывать болезнь непристойной поспешности. Ведь модная жажда прекрасной формы связана с безобразным содержанием современного человека таким образом: первая должна прятать, последний должен быть спрятан. А быть образованным означает: не показывать вида, насколько человек жалок и плох, насколько хищны его желания, насколько он ненасытен в накопительстве, насколько эгоистичен и бесстыж в потреблении. Когда я демонстрировал кому-нибудь отсутствие у немцев культуры, мне уже не раз возражали: «Так ведь это отсутствие совершенно естественно, потому что немцы были до сих пор слишком бедными и нетребовательными. Сначала сделайте наших крестьян богатыми, дайте им чувство собственного достоинства, и у них тоже будет культура!» Какое бы блаженство ни внушала вера, *этот* род веры делает меня несчастным, поскольку я чувствую, что та немецкая культура, в будущее которой здесь верят – культура богатства, внешнего лоска и благовоспитанной симуляции, – это самый враждебный антипод той немецкой культуры, в которую верю я. Конечно, тот, кому приходится жить среди немцев, сильно страдает от пресловутой серости их жизни и

их чувств, от невоспитанности, тупоумия и затхлости, от пошлости в деликатных отношениях, а еще того больше – от зависти и некоторой скрытности и нечистоплотности их характера; его огорчает и оскорбляет пустившее в них корни наслаждение всем фальшивым и поддельным, неудачными имитациями, переводом хорошего иностранного на плохое родное: но теперь, когда еще большей бедой сюда добавились упомянутые лихорадочные метания, мания успеха и прибыли, завышенная оценка мгновения, предельное возмущение вызывает в нем мысль о том, что все эти болезни и слабости никогда не будут принципиально излечены, а будут только загримированы – именно такой вот «культурой интересной формы»! И это у народа, который породил *Шопенгауэра* и *Вагнера*! И который должен порождать гениев все снова и снова! Или, может быть, мы обманываемся самым безутешным образом? Неужто вышеназванные гении больше не смогут ручаться за то, что в немецком духе, в немецкой душе действительно будут жить такие способности, какие есть у них? Неужто они сами – исключения, как бы последние отростки и отводки качеств, которые прежде считались немецкими? Ничего придумать я здесь больше не могу и потому возвращаюсь на дорогу своих общих рассуждений, с которой меня то и дело стремятся увести в сторону полные тревоги сомнения. Я перечислил еще не все силы, которые, правда, содействуют культуре, но при этом не признают ее цели – возникновения гения; я назвал три такие силы – эгоизм потребителя, эгоизм государства и эгоизм всех тех, у кого есть основания притворяться и прятаться за форму. В четвертую очередь я называю *эгоизм науки* и характерную сущность ее служителей, *ученых*.

Наука относится к мудрости, как добродетельность – к святости: она холодна и суха, она лишена любви и ничего не ведает о глубоком ощущении неудовлетворенности и тоски. Она полезна для самой себя ровно настолько, насколько вредна для своих служителей, поскольку переносит на них собственный характер, тем самым словно заставляя окостенеть их человечность. Покуда под культурой будут понимать преимущественно содействие науке, она будет проходить мимо великих страдающих людей с немилосерд-

ной холодностью, поскольку наука видит повсюду лишь проблемы познания и поскольку страдание в ее мире – это, по сути, нечто неприличное и несуразное, то есть самое большее – еще одна проблема.

Но если только человек приучает себя переводить каждый опыт в диалектическую игру вопросов и ответов, в дело чисто умственное, то удивительно, за сколь короткое время он сохнет от такой деятельности, как быстро чуть ли не начинает греметь костями. Каждый это видит и понимает: так как же тогда получается, что, несмотря на это, молодые люди отнюдь не отшатываются в ужасе от таких скелетов в человеческом облике, а всё снова и снова, слепо, без разбора и без меры, предаются наукам? Не может же это идти от мнимого «влечения к истине»: ведь как вообще может существовать какое-то влечение после холодного, чистого, ни к чему не обязывающего познания! Для непредвзятого взгляда уж слишком очевидно, каковы подлинные движущие силы, действующие в служителях науки: и настоятельно рекомендуется когда-нибудь обследовать и анатомировать ученых – ведь они уже и сами привыкли бесцеремонно ощупывать и разлагать все на свете, даже самое достойное почтения. Чтобы высказать начистоту, что я об этом думаю, то мой тезис гласит: ученый состоит из запутанного переплетения очень разных мотивов и стимулов, он представляет собой сплошь нечистый металл. Первым делом стоит обратить внимание на сильную и постоянно растущую любознательность, маниакальную страсть к приключениям познания, беспрерывно подстрекающую властную силу всего нового и редкого в противоположность старому и набившему оскомину. Добавим сюда некоторый диалектический инстинкт вынюхиванья и игры, охотничий азарт находить хитроумные лисьи норы мышления, так что предметом поиска становится не истина, а сам поиск, и главное наслаждение заключается в лукавых обходных путях, осадах и умерщвлении по всем правилам искусства. К сему присовокупим еще страсть противоречить – личность хочет, вопреки всем остальным, чувствовать себя самостоятельной и давать чувствовать это же другим; противоборство становится удовольствием, а целью – личная победа, в то время как борьба за истину – только предлог. Далее, к ученому примешана

еще добрая доля влечения находить *известные* «истины» – он делает это из верноподданнических чувств к известным властвующим личностям, кастам, мнениям, церквям, правительствам, потому что ощущает свою полезность, привлекая «истину» на их сторону. Не так закономерно, но все же довольно часто в ученом встречаются следующие качества. Во-первых, простодушие и вкус ко всему простому, высоко ценимые, если представляют собой что-то большее, чем негибкость и неумелость в деле притворства, ведь для него требуется некоторая живость ума. Да и впрямь, всюду, где в глаза так и бросается живость ума и ловкость, нужно проявлять чуточку осторожности и сомневаться в прямоте характера. С другой стороны, такое простодушие почти всегда мало чего стоит, да и в науке редко дает плоды, поскольку любит все привычное и бывает правдивым обычно только в простых вещах или in adiaphoris[1]; ведь здесь говорить правду, а не умалчивать ее, больше соответствует косности. А поскольку все новое требует переучивания, то простодушие, если уж оно проявляется, почитает старое мнение и упрекает провозвестников нового в том, что у них отсутствует sensus recti[2]. Как известно, простодушие восстало против учения Коперника потому, что тут на его, простодушия, стороне были очевидность и привычка. Отнюдь не редкая у ученых ненависть к философии – это главным образом ненависть к длинным цепочкам выводов и искусственности доказательств. Мало того, каждому поколению ученых, в сущности, свойственна непроизвольная мера *разрешенной* проницательности; то, что выходит за ее пределы, подвергается сомнению и используется чуть ли не как основание для подозрений в адрес простодушия. – Во-вторых, острота зрения для близкого, связанная с большой близорукостью для далекого и всеобщего. Поле зрения ученого обычно очень узко, и глаза ему приходится держать прямо рядом с предметом. Если ученый хочет перейти от одного только что исследованного пункта к другому, то сдвигает к этому последнему весь свой зрительный аппарат. Он разлагает картину на отдельные кусочки, подобно зрителю,

---

1 В безразличных (не важных) вещах (*лат.*, *греч.*).

2 Чувство справедливости (*лат.*).

который пользуется театральным биноклем, чтобы глядеть на сцену, и видит то голову, то часть одежды, но ни одна целая фигура его глазам недоступна. Ученый никогда не видит связи между этими отдельными кусочками, а лишь делает выводы о такой связи; поэтому у него нет внятного представления обо всем всеобщем. К примеру, он судит о каком-нибудь трактате по некоторым местам, положениям или ошибкам, потому что не может составить для себя его целостную картину; он недалек от искушения утверждать, что картина маслом – это несуразная куча цветных пятен. – В-третьих, будничность и заурядность его натуры в симпатиях и антипатиях. Это качество приносит ему удачу особенно в истории, поскольку он выслеживает мотивы людей прошлого на основании известных ему мотивов. В кротовой норе лучше всех разбирается крот. Он предохранен от всех искусственных и чрезмерно смелых гипотез; упорно работая, он выкапывает все будничные мотивы прошлого, потому что чувствует себя с ними на одной доске. Разумеется, именно поэтому он, как правило, неспособен понять и оценить все редкостное, великое и необычное, то есть важное и существенное. – В-четвертых, эмоциональная скудость и сухость. Она сообщает ему даже способность к вивисекции. Он не имеет понятия о страдании, а ведь оно несет с собой много знания, и потому не испытывает страха в сферах, где у других душа уходит в пятки. Он холоден, и потому его легко принять за жестокого. Его считают и отважным, но он отважен не больше, чем мул, не знающий головокружения на горных тропах. – В-пятых, невысокая самооценка, даже скромность. Ученые, даже если их загнать в какую-нибудь жалкую дыру, не ощутят ни самоотречения, ни отчаянной дерзости, и часто так и кажется, что в самой глубине души они знают о себе: мы рождены не летать, а ползать. Это качество делает их даже где-то трогательными. – В-шестых, их преданность своим учителям и вождям. Им они от всей души стремятся помогать и хорошо знают, что те наилучшим образом помогут им в поисках истины. Ведь они преисполнены благодарности, поскольку получили доступ в почтенные залы науки лишь благодаря им, а своими силами ни за что туда не проникли бы. Кто в наше время умеет преподать какую-нибудь область знаний, где с кое-

каким успехом могут работать и скромные умы, тот очень быстро становится знаменитостью, такое огромное сборище людей тотчас начинает стекаться к его кафедре. Конечно, каждый подобный преданный и благодарный ученик – в то же время и сущее несчастье для наставника, ведь все они ему подражают, и несоразмерно большими и преувеличенными кажутся как раз его изъяны, потому что бросаются в глаза у столь мелких индивидов, в то время как доблести учителя, наоборот, представлены в тех же индивидах уменьшенными в той же самой пропорции. – В-седьмых, вызванное инерцией привычки движение по пути, на который ученого толкнули, машинальная приверженность истине в соответствии с однажды усвоенной привычкой. Такие натуры – собиратели, толкователи, составители указателей, гербариев; они изучают и обыскивают какую-то одну область просто потому, что никогда не думают о существовании и других областей. Их прилежание чем-то напоминает чудовищную глупость силы тяготения: поэтому часто бывает видно, что они перестарались. – В-восьмых, бегство от скуки. Если для настоящего мыслителя нет ничего более желанного, чем праздность, то обыкновенный ученый ее избегает, потому что не знает, что с ней делать. Его утешение – книги: иными словами, он слушает, как кто-то мыслит другое, и день-деньской развлекает себя подобным образом. Особенно он любит книги, чтение которых как-то побуждает его выразить свое личное отношение, где симпатия и антипатия могут немного погрузить его в аффект, то есть книги, в которых подвергаются рассмотрению он сам или его сословие, его политическая, эстетическая или хотя бы только грамматическая доктрина; а уж если речь там идет и вовсе о его собственной науке, то у него не будет недостатка в развлечениях и мухобойках против скуки. – В-девятых, мотив выгодного дела, то есть, по сути, знаменитого «borborygmen[1] страждущего желудка». Служить истине стоит, если она в состоянии прямо продвигать в окладах и высоких должностях – или по крайней мере способна снискать благосклонность тех, которые могут наделить заработком и почетом. Но служить стоит только *этой* истине:

1 Урчания в животе (*греч.*).

поэтому столь подвижна граница между истинами выгодными, которым служат многие, и невыгодными, а им предаются лишь очень немногие, для которых ничего не значит изречение: ingenii largitor venter[1]. – В-десятых, почтение к коллегам, страх перед неуважением с их стороны – мотив более редкий, чем предыдущий, но более высокий; он, правда, встречается все еще очень часто. Все члены цеха самым ревнивым образом контролируют друг друга, дабы истина, от которой столь многое зависит – заработок, чины, почет, – была крещена именем своего настоящего открывателя. Ученые неукоснительно отдают дань уважения другим за найденную теми истину, чтобы требовать такой же дани от них и себе, если им и самим посчастливится найти какую-нибудь истину. Ложь, ошибку с грохотом подрывают, дабы ограничить численность конкурентов; но там и сям иногда подрывают и настоящую истину, чтобы хоть ненадолго оставить место для упрямых и наглых заблуждений; ведь, как и повсюду, так и здесь нет недостатка в «моральном идиотизме», который по-другому называют плутовством. – В-одиннадцатых, тип ученого из тщеславия, разновидность уже более редкая. Он стремится по возможности заполучить какую-нибудь область науки для себя одного и потому останавливает свой выбор на странных, необычных вещах, в особенности если их исследование требует чрезвычайных расходов, путешествий, раскопок, многочисленных связей в различных странах. Как правило, он довольствуется честью самому вызывать изумление в качестве чего-то необычайного и не думает о том, чтобы получать свой хлеб посредством ученых штудий. – В-двенадцатых, тип ученого из страсти к игре. Он забавен, потому что ищет и развязывает в науках узелки; при этом ему не нравится напрягаться очень уж сильно, чтобы не утратить ощущения игры. Поэтому он забирается не слишком-то глубоко, но нередко ухватывает то, чего ученому ради куска хлеба с его мучительно ползающим взглядом не усмотреть никогда. – Если, наконец, в-тринадцатых, в качестве мотива, движущего учеными, я назову еще влечение к справедливости, то мне можно будет возразить так: это благородное влечение, которое

---

1 Желудок (голод) – покровитель (двигатель) таланта (*лат.*).

надо понимать, скорее, уже метафизически, очень трудно отделить от других мотивов, и потому они, по сути, неразличимы и неопределимы для человеческого глаза; вот почему я добавляю последний номер с благим пожеланием – пусть это влечение встречается среди ученых почаще и будет более действенным, чем мы наблюдаем теперь. Ведь одной искры от пламени справедливости, запавшей в душу ученого, достаточно, чтобы воспламенить его жизнь и чаяния и очистительно испепелить их: тогда он забудет о покое и навсегда бросит теплоту или ледяной холод души, с которыми обычные ученые тянут свою лямку.

Теперь нужно представить себе, что все эти элементы, или многие из них, или отдельные, сильно перемешаны и перепутаны: вот мы и поймем, откуда берется служитель истины. Чрезвычайно странно видеть, как здесь, на пользу занятия, в сущности, внечеловеческого и сверхчеловеческого – чистого и ни к чему не обязывающего, а потому и безучастного познания, слито воедино множество мелких, очень человеческих влечений и влеченьиц, чтобы возникло одно химическое соединение, и как результат, то есть ученый, выглядит в свете этого неземного, возвышенного и исключительно чистого занятия столь просветленным, что совершенно забываешь о смешении и слиянии, необходимых для его возникновения. Но бывают мгновения, когда приходится думать и вспоминать именно об этом: а именно, как раз тогда, когда ученого нужно принять в расчет в его значении для культуры. Ведь тот, кто умеет наблюдать, заметит, что ученый по своей природе *неплодовит* – последствие обстоятельств его возникновения! – и что он некоторым естественным образом ненавидит людей плодовитых; по этой-то причине гении и ученые во все времена враждовали друг с другом. Ведь последним надо умертвить, разложить и понять природу, а первые стремятся обогатить природу новой живой природой; поэтому существует столкновение умонастроений и направлений деятельности. Эпохи вполне блаженные в ученом не нуждались и не знали его, эпохи совершенно больные и удрученные ценили его как высший и наиболее ценный тип человека, присуждая ему первый ранг.

Да разве кто-нибудь в достаточной степени владеет врачебным искусством, чтобы понять, как обстоит дело с

нашей эпохой в отношении здоровья и болезни! Несомненно, даже сегодня оценка ученых в очень многих делах слишком высока и потому оказывает пагубное воздействие, особенно во всех потребностях развивающегося гения. Ученый не обращает глубокого внимания на его настоятельные нужды, он учит резким холодным голосом, глядя поверх его головы, и слишком уж скоро пожимает плечами, как бы по поводу чего-то чудно́го и вздорного, на что у нет ни времени, ни охоты. И у него не найти знания о цели культуры. –

Так что же все-таки нам уяснилось в результате всех этих размышлений? Что всюду, где теперь, как кажется, энергичнейшим образом содействуют культуре, об этой цели ничего не известно. Как бы громко ни выставляло вперед государство свои заслуги в области культуры, оно помогает ей, чтобы помочь себе, и не понимает цели, более высокой, нежели его благополучие и существование. То, чего хотят потребители, неотступно желая занятий и образования, – это в конечном счете как раз потребление. Когда люди, жаждущие формы, приписывают себе подлинный труд на благо культуры и, к примеру, мнят, будто все искусство принадлежит им и обязано обслуживать их потребности, то ясно только одно – что, приветствуя культуру, они приветствуют себя и что, стало быть, они тоже так и не выбрались из непонимания. О типе ученого сказано уже достаточно. Итак, насколько истово все четыре силы размышляют совместно о том, как с помощью культуры принести пользу *себе*, настолько же они бессильны и бездумны, когда их интерес тут не затронут. А потому условия для возникновения гения в новейшее время *не улучшились*, и отвращение к самобытным людям возросло до такой степени, что Сократ у нас прожил бы недолго и уж во всяком случае не дотянул бы до семидесяти.

Тут я вспомнил о том, что́ заявил в третьей главе: весь наш современный мир выглядит вовсе не таким уж прочным и долговечным, чтобы предрекать вечное существование и понятию его культуры. Следует даже считать вероятным, что следующее тысячелетие придет к нескольким новым идеям, от которых волосы на голове у всякого ныне живущего какое-то время стояли бы дыбом. *Вера в метафизический смысл культуры* была бы, в конце концов, вовсе не

столь уж и пугающей: пугающими оказались бы разве что некоторые выводы, которые можно извлечь из нее для педагогики и школьного образования.

Чтобы, глядя поверх нынешних образовательных учреждений, увидеть когда-нибудь институции абсолютно иной природы, которые посчитает необходимыми для себя, возможно, уже второе или третье поколение, потребуется, правда, совершенно незаурядная вдумчивость. Ведь если усилия нынешних педагогов высшего образовательного уровня приводят к возникновению либо ученого, либо чиновника, либо потребителя, либо образованного мещанина, либо, наконец и как обычно, чего-то среднего, то у тех учреждений, которые еще только предстоит изобрести, задача будет, конечно, более сложной – хотя более сложной она будет не сама по себе, потому что это будет задача, во всяком случае, более естественная и в этом смысле более легкая; да и может ли быть, к примеру, что-то более сложное, чем вопреки природе дрессировкой превратить юношу в ученого, как это происходит сейчас? Подлинная же сложность заключается для людей в том, чтобы переучиться и поставить себе новую цель; и будет стоить неслыханных усилий заменить какой-то новой основной идеей основную идею нашей нынешней педагогики, укорененной в эпохе средневековья, педагогики, которой в качестве цели законченного образования предносится, собственно говоря, тип средневекового ученого. Уже сейчас самое время обратить внимание на эти антагонизмы; ведь какому-то поколению все равно придется начать борьбу, победа в которой достанется одному из следующих. Уже сейчас индивид, понявший эту новую основную идею культуры, оказывается у распутья; на одной из дорог его будет радушно приветствовать эпоха, и уж она отблагодарит его венками и наградами, его будут поддерживать могущественные партии, за его спиной соберется столько же единомышленников, сколько будет стоять перед ним, и когда впереди идущий выкрикнет лозунг, его подхватят во всех рядах. Тут первейший долг гласит: «Биться в сомкнутом строю», второй – считать врагом всякого, кто не хочет стать в строй. Вторая дорога сведет его с редкими спутниками, она более трудна, извилиста, крута; те, что идут по первой, глумятся над ним, потому что

шаги его там мучительно-тяжки и он то и дело попадает в опасность, а они пытаются переманить его к себе. Если две дороги вдруг пересекаются, то его истязают, выбрасывают вон или изолируют, вынуждая робко тащиться по обочине. Что же для этих столь различных путников на двух дорогах означает такая институция, как культура? Та чудовищная орава, что прет к своей цели по первой дороге, понимает под ней организации и законы, посредством которых приводится в порядок и идет вперед она сама и благодаря которым объявляются вне закона все строптивые и одинокие, все, кто высматривает цели более высокие и отдаленные. Для этой другой, меньшей кучки людей такая институция должна была бы иметь, конечно, совсем другой смысл; она сама, находясь в бастионе крепкой организации, стремится не допустить, чтобы ее смыла и разметала та, первая орава, чтобы ее отдельные представители не сгинули из-за преждевременного истощения, а то и вовсе не были отбиты от своей великой задачи. Эти отдельные представители должны завершить свое дело – таков смысл их сплоченности; и все участвующие в институции культуры должны прилагать усилия, чтобы беспрестанным облагораживанием и взаимной заботой подготавливать в себе и вокруг себя рождение гения и вызревание его творчества. Немалое их число, в том числе из ряда дарований второго и третьего ранга, предрасположены к такому содействию, и лишь подчиняясь этой предрасположенности, они приходят к ощущению, что жить надо ради долга, и жить с целью и смыслом. Но в наши дни соблазнительные голоса модной «культуры» сбивают с пути как раз этих даровитых людей, отдаляя их от инстинкта; это искушение нацелено на их эгоистические поползновения, на их слабости и тщеславные помыслы, и дух времени именно им нашептывает с заискивающей настойчивостью: «Следуйте за мной, не ходите туда! Ведь там вы – всего лишь прислужники, подручные, орудия, на которые падает свет от натур более возвышенных, ваша самобытность там не будет вам в радость, вас тянут там за ниточки, вы скованы цепями, словно рабы, даже автоматы: а здесь, у меня, вы сполна насладитесь своей свободной личностью как господа, ваши таланты смогут заблистать собственным светом, вы сами должны стоять в переднем ряду, вокруг вас будет

роиться огромная свита, и одобрительные возгласы общественного мнения наверняка порадуют вас куда больше, чем аристократическое, дарованное свыше одобрение, идущее откуда-то из холодных эфирных высей гения». Таким соблазнам подвергаются, пожалуй, лучшие: и, в сущности, выбор здесь определяет не редкость и сила дарования, а влияние некоторого глубинного героического настроения и степень внутреннего родства и неразрывной связи с гением. Ведь *существуют* люди, которые переживают как *свою* собственную беду, когда видят, как гений тяжко борется, оказываясь на грани саморазрушения, или когда его творения равнодушно отодвигают в сторону близорукий эгоизм государства, пошлость потребителя, сухое самодовольство ученого: но я все же надеюсь, что найдутся немногие люди, которые поймут, что я хочу сказать, приводя здесь в качестве примера судьбу Шопенгауэра, и кого, по моим представлениям, Шопенгауэр как воспитатель должен *воспитывать* на самом деле.

7

Чтобы уж оставить в стороне все мысли об отдаленном будущем и возможном перевороте в педагогике, то чего надо пожелать *в настоящее время* развивающемуся философу и, если потребуется, сделать так, чтобы он вообще мог перевести дух и в самом благоприятном случае достичь жизни по образцу Шопенгауэра, конечно, нелегкой, но по крайней мере возможной? Что, кроме того, нужно придумать, чтобы его воздействие на современников оказалось более реальным? И какие препятствия должны быть устранены, чтобы, прежде всего, его пример стал полностью действенным, чтобы философ воспитывал новых философов? Здесь наше рассмотрение переходит в плоскость практическую и чреватую возмущениями.

Природа всегда стремится быть общеполезной, но не умеет находить наилучшие и наиболее пригодные средства и возможности для достижения этой цели: это ее великая беда, в этом причина ее меланхолии. Понятно, что, при своем страстном порыве к освобождению, она, производя на

свет философа и художника, хотела сделать существование объяснимым и осмысленным для людей; но насколько же непонятно, насколько же слабо и вяло то воздействие, которого она почти всегда достигает с помощью философа и художника! Как редко она вообще доводит дело до воздействия! Ее растерянность в том, что касается общеполезного применения философа, особенно велика; ее средства кажутся всего лишь слепыми попытками, случайными затеями, и ее замысел терпит крах несчетное число раз – по большей части философы не становятся общеполезными. Метод природы выглядит как расточительство; но это расточительство идет не от дерзкой избалованности, а от неопытности; надо думать, что если бы она была человеком, то никогда не переставала бы злиться на себя и свою неловкость. Природа посылает в человека философа, словно стрелу, она не прицеливается, а просто надеется, что эта стрела куда-нибудь да попадет и останется. Но в этом она раз за разом ошибается и потому злится. В сфере культуры она действует с тем же расточительством, что и там, где речь идет о растении и посеве. Она добивается своего, не глядя на частности и потому неуклюже, а, значит, тратит на это чересчур много сил. Художник, с одной стороны, и знатоки, ценители его искусства – с другой, относятся друг к другу, как мощное орудие и стайка воробьев. Только большая наивность может спустить большую лавину, чтобы сбить с места горстку снега, или убить человека, чтобы прихлопнуть муху у него на носу. Художник и философ – это доводы против целесообразности природы и ее средств, хотя они же – превосходнейший довод в пользу мудрости ее замыслов. Они попадают лишь в немногих, а должны попадать во всех, – да и эти немногие не бывают поражены с той же силой, с какой философ и художник посылают свой снаряд. Печально, что приходится столь различно судить об искусстве как причине и искусстве как следствии-воздействии: как неимоверно сильно оно в качестве причины и как расслабленно, как, словно отзвук, еле внятно, когда воздействует! Художник делает свое дело по воле природы и на благо других людей, в этом нет никаких сомнений: и несмотря на это, он знает, что ни один из этих других людей никогда не поймет и не полюбит его творение так, как он сам понимает и любит его.

Значит, эта высокая и единственная ступень любви и понимания необходима, согласно неуклюжему распоряжению природы, чтобы возникла ступень более низкая; великое и благородное применяется как средство для возникновения низкого и неблагородного. Природа ведет свое хозяйство нерасчетливо, ее расходы куда больше доходов, на которые она зарится; при всем ее богатстве ей когда-нибудь да придется разориться. Куда разумнее она управилась бы, если бы ее экономическое правило гласило: мало тратить, но получать сторицей, как, скажем, было бы, если бы существовало очень немного художников, да еще не слишком больших дарований, но зато в изобилии воспринимающих и зачинающих, причем эти последние – из породы более крепкой и мощной, чем порода самого художника; тогда воздействие произведения искусства относилось бы к его причине, как стократно усиленное эхо. Следовало бы по крайней мере рассчитывать на то, что причина и следствие будут равны по силе; но как далеко отстает природа от такого расчета! Нередко так и кажется, что художник, а уж тем более философ оказался в своей эпохе *случайно*, что он там – отшельник или отбившийся от своих и оставшийся позади скиталец. Стоит хотя бы до глубины души прочувствовать, насколько велик, велик везде и во всем Шопенгауэр – и насколько же мало, насколько абсурдно мало его воздействие! И как раз для честного человека этой эпохи нет ничего более постыдного, чем осознавать, каким случайным выглядит в ней Шопенгауэр, какие силы и бессилия приложили руку к тому, что его воздействие было настолько загублено. Сначала и долгое время спустя его раздражала нехватка читателей, и он постоянно издевался над нашей литературной эпохой, потом, когда читатели появились, – несоразмерность ему его первых публичных свидетелей: но, конечно, еще больше, как мне кажется, апатичность всех современных людей по отношению к книгам, которые они вообще больше не желают воспринимать всерьез; мало-помалу появлялась и новая опасность, возникшая из-за многочисленных попыток приспособить Шопенгауэра к хилой эпохе, а то и вовсе растереть его, как поразительную и возбуждающую приправу, словно своего рода метафизический перец. Таким-то образом он, правда, постепенно сделался

известным и прославился, и, думаю, его имя сейчас знакомо уже большему числу людей, чем имя Гегеля: тем не менее он все еще отшельник, тем не менее его воздействие до сей поры так и не началось! Настоящие литературные противники и хулители доселе менее всего имели честь противодействовать этому воздействию, во-первых, потому что найдется немного людей, которые смогли бы дочитать их до конца, а во-вторых, потому что, уж если кто-то их и дочитает, то прямиком придет к Шопенгауэру; да разве погонщик осла сможет помешать человеку сесть на прекрасную лошадь, как ни расхваливай он своего осла в ущерб лошади?

Так вот, кто распознал глупость в природе этой эпохи, тому надо искать способы хоть немного выправить положение; задачей же его будет – познакомить с Шопенгауэром свободные умы и тех, кто глубоко уязвлен нашей эпохой, собрать их вместе и тем самым создать течение, силой которого можно преодолеть ту неуклюжесть, что обыкновенно, и в наши дни в очередной раз, природа демонстрирует в использовании философа. Такие люди придут к осознанию того, что одни и те же агенты противодействия препятствуют воздействию великой философии и стоят на пути возникновения великих философов; поэтому они смогут увидеть свою цель в подготовке нового возникновения Шопенгауэра, то есть гения философии. Но то, что с самого начала противилось воздействию и распространению его учения, то, что в конечном счете всеми средствами стремится сорвать и это новое рождение философа, – это, коротко говоря, испорченность нынешней человеческой природы; поэтому всем начинающим свой путь великим людям приходится тратить неимоверные силы, чтобы прорваться сквозь эту испорченность хотя бы самим. Мир, в который они вступают, окутан пеленой вранья; это на самом деле не обязательно одни религиозные догмы, но и такие морочащие голову понятия, как «прогресс», «всеобщее образование», «национальный», «современное государство», «битва за культуру»; мало того, можно сказать, что все слова с отвлеченным значением носят сейчас поддельный и неестественный наряд, почему более просвещенные потомки и будут откровенно упрекать нашу эпоху в извращенности и уродстве – как бы

громко мы ни чванились нашим «здоровьем». Красота античных сосудов, говорит Шопенгауэр, происходит от того, что они совершенно непосредственно выражают, чем призваны быть и для какой цели созданы; то же относится и ко всей остальной утвари древних; зритель чувствует, что так выглядели бы вазы, амфоры, светильники, столы, стулья, шлемы, щиты, панцири и тому подобное, если бы их сотворила природа. И наоборот: кто поглядит на то, как чуть ли не каждый обращается с искусством, государством, религией, образованием – чтобы из соображений приличия умолчать о наших «сосудах», – тот обнаружит, что люди проявляют себя с известным варварским самоволием и чрезмерностью, и начинающему гению больше всего бывает помехой как раз то, что в его эпоху в ходу такие странные представления и такие причудливые потребности: они очень часто, внезапно и необъяснимо, давят свинцовым грузом, заставляющим его опустить руки, которые собираются вести плуг, – да так, что даже его величайшие творения, взмывая вверх с властной силой, тоже в некоторой степени вынуждены нести на себе печать этой насильственности.

И вот, когда в уме я собираю воедино условия, опираясь на которые – в самом удачном случае – прирожденный философ по крайней мере избегает подавления со стороны обрисованной современной испорченности, то замечаю нечто странное: это отчасти как раз те условия, при которых, хотя бы в общем и целом, вырос сам Шопенгауэр. Правда, не было недостатка в условиях обратного действия: к примеру, испорченность эпохи оказалась ужасающе близко к нему в лице его тщеславной и эстетствующей матери. Но гордый и республикански-вольный характер отца словно спасал его от матери, дав ему первое, в чем нуждается философ, – несгибаемое и суровое мужество. Этот отец не был ни чиновником, ни ученым: он много путешествовал с юношей по чужим краям – и каждый раз это было чистейшим благодеянием для того, кому нужно было узнать не книги, а людей, и научиться чтить не правительство, а истину. Временами он становился то менее восприимчивым к национальной ограниченности разных народов, то чересчур восприимчивым; в Англии, Франции и Италии он жил, как на своей родине, и немалую симпатию испытывал к духу Испа-

нии. В целом он не почитал для себя за честь, что родился именно среди немцев; и я даже не знаю, рассудил ли бы он иначе в новых политических условиях. Как известно, единственной целью государства он считал защиту от внешних угроз, защиту от внутренних угроз и защиту от самих защитников, – а если приписать ему какие-нибудь иные цели, кроме защиты, то истинная цель легко могла бы оказаться под угрозой: поэтому он, к ужасу всех так называемых либералов, завещал все свое состояние семьям тех прусских солдат, которые пали в 1848 году, защищая порядок. Если кто-то умеет воспринимать государство и его обязанности просто, то отныне это все больше будет признаком умственного превосходства; ведь у того, кому свойствен furor philosophicus[1], уже не найдется времени на furor politicus[2], и он станет благоразумно остерегаться каждый день читать газеты, а то и вовсе сотрудничать с какой-нибудь партией: правда, если отечеству будет грозить настоящая беда, он без раздумий займет свое место. Все государства, в которых о политике приходится хлопотать кому-нибудь, кроме государственных деятелей, устроены плохо, и они заслуживают того, чтобы погибнуть от такого избытка политиков.

Другое великое благодеяние выпало на долю Шопенгауэра благодаря тому, что его не прочили в ученые заранее и не воспитывали в этом духе: некоторое время он, хотя и сопротивляясь, по-настоящему проработал в купеческой конторе и во всяком случае всю свою юность дышал более вольным воздухом большого торгового дома. Ученому философом никогда не бывать; это не удалось даже Канту, который, несмотря на природный напор своего гения, до конца оставался в состоянии как бы окукленности. А если кто-то думает, что эти мои слова о Канте несправедливы, то он не знает, что такое философ, – ведь это не только великий мыслитель, но и настоящий человек; а разве когда-нибудь из ученых получались настоящие люди? Кто допускает между собой и вещами понятия, мнения, то, что уже исчезло, книги, кто, стало быть, в самом широком смысле слова рожден для исторического исследования, тому никогда не уви-

1 Пламенную страсть к философии (*лат.*).

2 Пламенную страсть к политике (*лат.*).

деть вещи впервые, да и самому никогда не стать такой вот увиденной впервые вещью; а у философа то и другое составляет одно целое, ведь большую часть разъяснений ему приходится получать от себя самого, и он служит для себя самого отображением и аббревиатурой целого мира. Если кто-то глядит на себя через призму чужих мнений, то не удивительно, что и в себе он не увидит ничего, кроме чужих мнений! А ведь именно таковы, так живут и так видят ученые. На долю же Шопенгауэра выпала неописуемая удача видеть гений в упор не только в себе, но и вне себя, в Гёте: благодаря такому двойному взгляду в зеркало он получил полное представление обо всех объектах ученого интереса и культурах и научился относиться к ним с мудростью. На основе этого опыта он узнал, каким должен быть свободный и сильный человек, к которому льнет всякая художественно ориентированная культура; и разве в такой перспективе ему еще могли доставлять удовольствие занятия так называемым «искусством» в ученой или лицемерной манере современного человека? Ведь он лицезрел даже нечто более высокое: ужасную потустороннюю сцену Суда, на котором все живое, в том числе и наиболее развитое и совершенное, положено на весы и признано слишком легким, – он лицезрел фигуру святого как судьи над существованием. Никак невозможно определить, насколько рано Шопенгауэр узрел этот образ жизни, и притом именно таким, каким позднее пытался воспроизводить его во всех своих сочинениях; но можно показать, что это неимоверное видение он испытал, будучи юношей и, хотелось бы верить, уже мальчиком. Все, что позже он усвоил из жизни и книг, из всех областей науки, стало для него чуть ли не всего лишь краской и средством выражения; даже кантовскую философию он привлекал прежде всего в качестве мощнейшего риторического инструмента, с помощью которого надеялся высказать этот образ в словах еще более ясно: а той же самой цели служила для него подчас и буддийская и христианская мифология. Для него существовала лишь одна задача и сто тысяч способов ее решить: одно значение и бесчисленные иероглифы для его выражения.

Одним из прекрасных условий его существования было то, что он и впрямь мог жить для такой задачи в соответствии

со своим лозунгом vitam impendere vero[1], и что на него не давили никакие нешуточные нужды низкой жизни: известно, как великолепно он отблагодарил своего отца именно за это – в то время как в Германии человек, занятый теоретическими изысканиями, реализует свою научную задачу почти всегда за счет чистоты своего характера, становясь «вежливым негодяем», домогающимся должностей и почестей, осмотрительным и изворотливым, льстящим всему влиятельному и начальствующему. Шопенгауэр, увы, ничем не оскорбил многочисленных ученых больше, чем своим с ними несходством.

8

Итак, названы некоторые условия, при которых в нашу эпоху, несмотря на пагубные препятствия, философский гений может хотя бы возникнуть: вольная мужественность характера, знание людей с малых лет, отсутствие ученого воспитания, патриотической ограниченности, принуждения к добыче хлеба, связи с государством – короче говоря, свобода и еще раз свобода, та самая чудесная и опасная стихия, в которой имели возможность расти греческие философы. Если кому-то захочется упрекнуть его в том, в чем Нибур упрекал Платона – что тот был плохим гражданином, – то пусть он сам это сделает, пусть будет хорошим гражданином: тогда он будет прав, и Платон вместе с ним. Кто-нибудь другой истолкует эту великую свободу как зазнайство: он тоже будет прав, потому что сам-то он ничего толкового с такой свободой сделать не может и, безусловно, проявил бы большое зазнайство, если бы жаждал ее для себя. Та свобода – и впрямь тяжкая вина; а искупить ее можно лишь великими делами. Любому обычному смертному позволительно глядеть на такого счастливчика с неприязнью: только пусть уж какой-нибудь бог убережет его от того, чтобы самому сделаться счастливчиком на такой лад, иными словами, чтобы связать себя такими страшными обязательствами. Ведь свобода и одиночество тотчас его погубят, и он сделается дураком, злобным дураком от скуки. –

---

1 за правду пожертвовать жизнью (*лат.*).

Возможно, тот или иной отец научится чему-нибудь из сказанного и сможет найти ему какое-нибудь практическое применение в деле частного воспитания своего сына; правда, в действительности нельзя ожидать, что отцы захотят иметь в сыновьях только философов. Вероятно, отцы во все времена будут почти всегда против философствования своих сыновей как величайшей испорченности; Сократ, как известно, пал жертвой гнева отцов по поводу «совращения молодежи», а Платон на точно таких же основаниях считал необходимым построение совершенно нового государства, чтобы сделать возникновение философов независимым от глупости отцов. Так вот, дело выглядит чуть ли не так, будто Платон и впрямь чего-то добился. Ведь современное государство нынче причисляет содействие философии к *своим* задачам и постоянно пытается осчастливить некоторое количество людей тою «свободой», под которой мы понимаем важнейшее условие возникновения философа. С Платоном же в ходе истории случилось странное злосчастье: как только возникало образование, в существенных чертах соответствовавшее его рекомендациям, при ближайшем рассмотрении оно всегда оказывалось подкинутым ребенком гнома, безобразным отродьем – каким, скажем, была средневековая теократия в сравнении с владычеством «сыновей богов», о котором ему мечталось. Современное же государство, правда, как небо от земли далеко от того, чтобы вручать владычество именно философам – и слава Богу, добавит любой христианин, – но даже упомянутое содействие государства философии, как оно его понимает, видимо, предполагает, что оно понимает это содействие *платонически*, то есть настолько серьезно и откровенно, будто его окончательный замысел – производство новых платонов. Если философ, как правило, появляется в своей эпохе случайно, то неужто государство нынче и впрямь ставит перед собой задачу сознательно превратить эту случайность в необходимость, подправив природу и тут?

Опыт, увы, вразумляет нас – или разочаровывает: он говорит о том, что ничто не мешает возникновению и росту воздействия прирожденных великих философов так, как плохие философы, полученные в государственном порядке. Предмет, вызывающий неловкость, не так ли? – и,

как известно, тот самый, на который Шопенгауэр первым делом обратил внимание в своей знаменитой статье об университетской философии. Я возвращаюсь к этому предмету: ведь надо заставить людей отнестись к нему серьезно, иными словами, побудить их с его помощью к делу, и считаю бесполезным всякое написанное слово, если за ним не стоит такого рода побуждение к делу; да и в любом случае не лишне еще раз, и притом в прямом применении к нашим ближайшим современникам, привести раз и навсегда действительные положения Шопенгауэра, поскольку люди добродушные могут, пожалуй, подумать, что с тех пор, как он выдвинул свои тяжкие обвинения, в Германии все изменилось к лучшему. Его дело еще не доведено до конца даже в этом пункте, каким бы незначительным он ни был.

Если приглядеться, та «свобода», которой государство в наши дни, как я уже говорил, благодетельствует некоторых людей, чтобы содействовать философии, – это уже вообще не свобода, а служба, дающая человеку хлеб. Значит, содействие философии заключается в том, что сегодня благодаря государству по меньшей мере какое-то количество людей получает возможность *жить* своей философией, поскольку они могут сделать ее источником заработка: в то время как древних мудрецов Греции государство не финансировало, а самое большее – однажды, как это было с Зеноном, почитало золотым венком да надгробным памятником в Керамике. Служат ли люди истине, показывая путь, каким можно на ней зарабатывать, я в обобщенном виде сказать не смогу, потому что здесь все зависит от характера и добротности отдельного человека, которому предлагают этим путем идти. Я прекрасно могу представить себе ту степень гордости и самоуважения, при которой человек говорит своим ближним: «Вы уж обо мне позаботьтесь, ибо у меня есть дело поважнее, чем у вас, – а именно, заботиться о вас». Подобное величие духа и его выражения не показалось бы странным у Платона и Шопенгауэра; по этой-то причине как раз они и могли бы быть даже университетскими философами, как Платон одно время был придворным философом, – не унижая достоинства философии. Но уже Кант был таким, какими обыкновенно бываем мы, ученые, – предупредительным, подобострастным и лишенным

чувства собственного достоинства в своих сношениях с государством: так что он в любом случае не мог бы послужить оправданием университетской философии, если бы та подверглась обвинениям. А если и есть натуры, способные быть для нее оправданием – как раз такие, как Шопенгауэр и Платон, – то я опасаюсь лишь одного: им никогда не представится для этого случай, потому что ни одно государство не рискнет благодетельствовать таким людям, давая им соответствующие должности. Но почему же? Потому что любое государство их боится и всегда будет благодетельствовать только таким философам, которых оно не боится. А ведь бывает и так, что государство боится философии вообще, и как раз когда это происходит, оно тем более будет стараться привлекать к себе философов, которые придадут ему такой вид, будто философия на его стороне, – ведь на его стороне люди, носящие ее, этой стороны, имя, но вовсе не такие уж и страшные. Однако если появится человек, и впрямь делающий такую мину, с какой нож истины вонзают во все, в том числе и в государство, то государство, в первую очередь поддерживающее свое существование, вправе зачеркнуть такого человека и обращаться с ним как со своим врагом; точно так же и он зачеркивает ту религию и обращается с нею как с врагом, которая ставит себя выше него и хочет быть судьей над ним. Значит, если кому-то по нраву быть философом в государственном порядке, то ему должно быть по нраву и то, что он будет выглядеть так, будто отказался следовать за истиной во все закоулки. По крайней мере, покуда он облагодетельствован и состоит при должности, ему придется признавать, что есть нечто более высокое, чем истина, – государство. Да не просто государство, но заодно и все, чего государство требует для своего благополучия: это, к примеру, какая-нибудь определенная форма религии, общественного устройства, общевойскового устава – на всех подобных вещах стоит надпись noli me tangere[1]. Уяснил ли себе когда-либо кто-то из университетских философов весь объем своих обязательств и своей ограниченности? Этого я не знаю; если кто-то это и сделал, но все равно остается государственным служащим, то в любом

1 Не тронь меня (*лат.*) – Ин. 20, 17.

случае он – плохой друг истины; а если он этого не делал – что ж, надо думать, тогда он тоже – вовсе не друг истины.

Я высказал тут самые общие сомнения: однако для людей, каковы те сейчас, эти сомнения сами по себе будут, конечно, чрезвычайно слабыми и безразличными. Большинство довольствуется пожатием плеч и словами: «Уж будто бы все великое и чистое на этой земле когда-нибудь могло выдержать и удержаться, не делая уступок человеческой подлости! Вы что же, предпочитаете, чтобы государство преследовало философов, а не содержало их и не брало себе на службу?» Не отвечая на этот последний вопрос прямо сейчас, я только добавлю, что эти уступки государству со стороны философии заходят сегодня уж очень далеко. Во-первых, государство отбирает для себя философских служителей, причем столько, сколько ему нужно для своих учреждений; стало быть, оно делает вид, будто умеет различать хороших философов и плохих, более того, оно заранее предполагает, что всегда должно быть достаточно *хороших*, чтобы укомплектовать ими все свои кафедры. Теперь оно авторитарно решает вопрос не только о том, кто хорош, но и о необходимом количестве этих хороших. Во-вторых, тех, кого оно для себя отобрало, государство принуждает оставаться в определенном месте, среди определенных людей, и заниматься определенной деятельностью; они должны обучать любого академического юношу, который этого пожелает, и притом ежедневно, в твердо установленные часы. Вопрос: да может ли, в самом деле, философ с чистой совестью обязаться ежедневно иметь дело с тем, чему учит? И учить этому в присутствии всякого, кто захочет слушать? Не придется ли ему делать вид, будто он знает больше, чем знает? Не придется ли ему говорить перед незнакомой аудиторией о вещах, о которых без опаски он осмеливается говорить лишь с ближайшими друзьями? И вообще: обязавшись публично мыслить о предопределенном по определенным часам, не лишит ли он себя своей великолепной свободы следовать за своим гением, когда тот позовет и куда тот позовет,? Да к тому же перед юнцами! Не будет ли такого рода мышление как бы заранее оскопленным? А если он и вовсе в один прекрасный день скажет себе так: «Сегодня я мыслить не могу, мне в голову не приходит ничего

толкового» – а все равно обязан стать за кафедру и делать вид, что мыслит?

Но – возразят мне – ведь он и не должен быть мыслителем, а самое большее должен воспроизводить чужое мышление и судить о нем, а прежде всего быть ученым знатоком всех живших раньше мыслителей; о них-то он и должен всегда уметь рассказать своим ученикам то, чего те не знают. – Как раз это и есть третья, наиболее опасная уступка философии государству: она обязуется перед ним выступать в первую очередь и главным образом как ученость. И прежде всего – как знание истории философии; а ведь для гения, который, подобно поэту, глядит на вещи чисто и с любовью и никогда не может накупаться в их глубине вдоволь, копание в бесчисленных, чуждых и превратных мнениях – занятие в целом преотвратительное и крайне неприятное. Ученая история прошлого никогда не была занятием истинных философов, ни в Индии, ни в Греции; и профессор философии, если он занимается такого рода работой, должен смириться с тем, что о нем скажут в лучшем случае: он дельный филолог, знаток старинных книг, языковед, историк, но не скажут: он философ. Да и это, как сказано, лишь в лучшем случае: ведь, читая большинство ученых работ, которые пишут университетские философы, филолог испытывает чувство, что сделаны они плохо, без научной строгости и по большей части до отвращения скучно. Кто избавит, к примеру, историю греческой философии от усыпительного тумана, который нагнали на нее ученые, но не слишком-то научные и, увы, слишком уж скучные работы Риттера, Брандиса и Целлера? Я, по крайней мере, с большею охотой читаю Диогена Лаэрция, чем Целлера, потому что в первом хотя бы жив дух древних философов, а во втором нет ни этого духа, ни какого-нибудь другого. И наконец, ради всего святого: что толку нашим юношам от истории философии? Должна ли путаница мнений обескуражить их настолько, чтобы самим иметь мнения? Должны ли они быть приучены с ликованием подпевать, в чем мы так отлично и преуспели? Или они должны научиться и вовсе ненавидеть или презирать философию? Так и кажется, что верно это последнее, если знаешь, какие пытки должны претерпеть студенты, готовясь к экзаменам по философии, чтобы

запихнуть в свой бедный мозг самые безумные и самые хитроумные находки человеческого духа наряду с самыми великими и труднодоступными. В университетах не обучают тому единственному роду критики в адрес той или иной философии, который возможен и даже кое-что доказывает, а именно попытку жить согласно этой философии: там всегда учат критике слов с помощью слов. И вот представим себе юную голову, снабженную небольшим жизненным опытом, в которой хранится пятьдесят систем в виде слов и пятьдесят их критических разборов, и все вперемешку, – ну что это за пустыня, что за дикие места, какое глумление над воспитанием для философии! На самом деле никто и не спорит, что воспитывают тут вовсе не для нее, а для экзамена по философии: его результат, как известно и как обычно, заключается в том, что сдавший экзамен, проэкзаменованный вдоль и поперек, с тяжким вздохом говорит себе: «Какое счастье, что я не философ, а христианин и гражданин своего государства!»

А что, если этот тяжкий вздох как раз и был на уме у государства, а «воспитание для философии» – лишь способом отвлечь от философии? Стоит задаться этим вопросом. – Но если дело и впрямь обстоит именно так, то бояться нужно лишь одного: что однажды, наконец, молодежь догадается, с какой целью тут, собственно, злоупотребляют философией. Неужели самая высокая цель, возникновение философского гения, – не более чем предлог? А подлинная цель, может быть, – как раз воспрепятствовать его возникновению? Обратить весь смысл дела в его противоположность? Ну, тогда берегись, весь комплекс государственного и профессорского хитроумия! –

А может быть, что-то в этом роде уже известно? Этого я не знаю; но как бы там ни было, университетская философия подверглась всеобщему неуважению и сомнению. Отчасти оно связано с тем, что нынче на кафедрах заправляет немощный род людей; и Шопенгауэру, если бы ему понадобилось написать свою статью об университетской философии сейчас, для победы нужна была бы не дубина, а камышовая тростинка. Это наследники и потомки тех горемыслителей, которых он бил по их вконец извращенным головам: они отличаются младенческой глупостью и кар-

ликовостью достаточно, чтобы направить память к индийскому изречению: «По поступкам своим люди рождаются – глупыми, немыми, глухими, безобразными». Отцы заслужили такое потомство по своим «поступкам», как гласит изречение. Поэтому не подлежит никакому сомнению, что академические юноши очень скоро начнут обходиться на худой конец и без философии, которой учат в их университетах, и что люди неакадемические обходятся без нее уже сейчас. Достаточно вспомнить о собственных студенческих годах; лично для меня, к примеру, академические философы были людьми совершенно безучастными и казались мне такими, которые нахватали всякой всячины из результатов других наук, в свободное время читали газеты и ходили на концерты, а вообще-то даже их академические товарищи обращались с ними, вежливо скрывая свое пренебрежительное отношение. Их считали мало осведомленными и не стесняющимися прибегать к темным выражениям, чтобы прикрыть ими нехватку знаний. Поэтому они предпочитали оставаться в таких сумеречных местах, где человек с ясным взглядом долго не выдерживает. Один сомневался в естественных науках: ни одна из них, мол, не может объяснить мне до конца простейшего процесса, так что мне толку от них от всех? Другой сказал об истории так: «У кого есть идеи, тому она не даст ничего нового» – короче говоря, они всегда находят причины, почему «философичнее» ничего не знать, чем чему-то учиться. А уж если они пускались в учебу, то их тайным мотивом при этом было уклониться от наук и где-нибудь в их прорехах и неизученных местах основать темную область. Поэтому они шли впереди наук разве только в *том* смысле, в каком добыча предшествует охотникам, которые у нее на хвосте. С недавних пор они довольствуются утверждением, что они, собственно, лишь пограничники и надзиратели наук; в этом деле особенно полезным для них оказывается кантовское учение, из которого они стараются сделать какой-то ничего не значащий скептицизм, вскоре никого уже больше не интересующий. Лишь там и сям кто-то из них решается на какую-нибудь мелкую метафизику – с обычными последствиями в виде кружений и боли в голове да кровотечений из носу. Они уже много раз терпели неудачу в своем походе в

туманы и облака, а какой-нибудь грубый и упрямый адепт точных наук то и дело хватал их за шиворот и спускал на землю, и теперь их лицо принимает привычное выражение человека особо ранимого и наказанного за ложь. Они совершенно утратили радостную уверенность в себе, и потому в жизни никто из них не сделает ни шагу в угоду своей философии. Прежде кое-кто из них думал, будто сможет изобрести новые религии или заменить своими системами старые; нынче такая спесь у них поослабла, они люди чаще всего благочестивые, нерешительные и бестолковые, отнюдь не храбрые, как Лукреций, не впадающие в ярость из-за бремени, наложенного на людей. У них уже нельзя научиться даже логическому мышлению, и они, естественным образом оценивая свои силы, прекратили вообще-то обычные упражнения в искусстве спора. Нынче, вне всякого сомнения, те, что на стороне отдельных наук, мыслят логичнее, осмотрительнее, экономнее, изобретательнее, – короче говоря, там все идет философичнее, чем у так называемых философов: и всякий согласится с непредвзятым англичанином Бэджетом, когда тот говорит о теперешних системотворцах следующее: «Кто чуть ли не заранее убежден, что их исходные посылки содержат странную смесь истины и заблуждения, а потому не стоит усилий задумываться над их выводами? Возможно, молодежь привлекает готовая законченность этих систем, которая впечатляет людей неопытных, но люди вполне сложившиеся на этот счет не обманываются. Они всегда готовы благосклонно принять намеки и предположения и приветствуют самую незначительную истину – но толстый том дедуктивной философии вызывает только раздражение. Бесчисленные и бездоказательные абстрактные принципы с энтузиазмом собраны людьми сангвинического склада и тщательно разработаны вширь в книгах и теориях в попытке объяснить ими целый мир. Но миру нет дела до этих абстракций, и нисколько не удивительно, что они противоречат друг другу». Если прежде философы, и особенно в Германии, настолько глубоко погружались в раздумья, что им постоянно грозила опасность стукнуться головой о первую попавшуюся притолоку, то теперь за ними, как за лапутянами у Свифта, ходит целый рой хлопальщиков, чтобы в нужный мо-

мент слегка хлопнуть их по глазам или еще по каким местам. Если порою эти хлопки чересчур сильны, то наши лунатики забываются и стукаются снова, и всегда дело кончается к их посрамлению. Ты что, не видишь притолоки, фантазер? – говорит тогда хлопальщик, и философ нередко все-таки замечает притолоку и успокаивается. Эти хлопальщики – естественные науки и история; мало-помалу они до того запугали немецкие мечтательно-мыслительные трактиры, которые так долго путали с философией, что трактирщикам мысли сильно захотелось бросить попытки ходить самостоятельно; а когда они внезапно попадают к тем в объятия или норовят прицепить к ним ленточку от помочей, чтобы водить себя на помочах самим, то те тотчас хлопают их так устрашающе, как только могут, будто хотят сказать тем самым: «Не хватало еще, чтобы какой-то трактирщик мысли осквернял нам естественные науки или историю! Вон отсюда!» Тут они, к своему смущению и растерянности, отшатываются снова: они во что бы то ни стало хотят получить в свои руки немножечко естествознания, скажем, эмпирической психологии, как гербартианцы, и во что бы то ни стало немножечко истории, – тогда, по крайней мере, они могут на публике делать вид, будто позанимались наукой, хотя в глубине души шлют всю философию и всю науку к чертям.

Но согласимся, что этот рой плохих философов смехотворен – а кто же с этим не согласится? – в какой же степени они тогда еще и *вредны*? Короткий ответ гласит: в той, в какой они делают философию смехотворным занятием. Покуда существует признанное государством горе-мыслительство, всякое масштабное воздействие подлинной философии вообще останется втуне или по крайней мере будет тормозиться, и притом ничем иным, как проклятьем смехотворности, которое снискали себе представители названного великого дела, но которое затрагивает и само это дело. Поэтому я объявляю требованием культуры лишить философию какого бы то ни было государственного и академического признания и вообще отстранить государство и академическую науку от решения невыполнимой для них задачи по установлению различий между подлинной и мнимой философией. Нет, дайте философам расти свободно,

откажите им во всех перспективах на должность и включение в гражданские виды профессий, не подзуживайте их больше жалованьем, даже более того: гоните их, относитесь к ним без всякой жалости – и вы увидите диковинные дела! Тогда они разбегутся в разные стороны искать себе крышу над головой там и сям, эти несчастные воображалы; тут откроется новый приход, там школа, этот забьется в редакцию какой-нибудь газеты, другой станет писать учебники для школы благородных девиц, самый разумный из них возьмется за плуг, а самый тщеславный устроится при дворе. Внезапно окажется, что никого не видно, логово опустело: ведь от плохих философов избавиться легко – достаточно только прекратить благодетельствовать им. И уж во всяком случае это куда более целесообразно, чем публично, в государственном порядке, покровительствовать какой угодно философии.

Государство всегда интересуется не истиной, а только полезной для него истиной, а еще точнее, вообще всем, что для него полезно, будь то истина, полуистина или заблуждение. Значит, союз государства и философии имеет смысл, лишь если философия может пообещать государству свою безусловную полезность, иными словами, лишь если она будет ставить государственную пользу выше истины. Конечно, с точки зрения государства было бы великолепно иметь у себя на службе и на содержании и истину тоже; но оно и само прекрасно понимает, что в *природе* истины – никому не служить и ни у кого не быть на содержании. Следовательно, все, что у него есть, – лишь фальшивая «истина», персонаж под личиной: но она, увы, не может сделать для него того, чего то так сильно жаждет от подлинной истины, а именно санкции и канонизации своего существования. Когда средневековый суверен хотел, чтобы его короновал Папа, но не мог от него этого добиться, он просто назначал антипапу, и уж тот оказывал ему эту услугу. Тогда это до известной степени могло срабатывать; но это не срабатывает, когда современное государство назначает какую-нибудь антифилософию, от которой ждет своей легитимации; ведь философия по-прежнему против него, причем теперь больше, чем когда-либо. Я действительно думаю, что ему полезнее вообще не заниматься ею, вообще ничего

от нее не ожидать и, покуда это возможно, не обращать на нее внимания как на нечто безразличное к нему. А если дело не ограничится этим безразличием, если она станет угрожать ему, нападать на него, то пусть оно ее преследует. – Поскольку государство не может иметь большего интереса к университету, чем воспитание в нем преданных и полезных граждан, то оно должно опасаться, как бы не поставить под вопрос эту преданность и полезность, требуя от молодых людей экзамена по философии: правда, что касается ленивых и неспособных, то верный способ вообще оттолкнуть их от ее изучения – сделать из нее грозный призрак экзамена; но эта выгода не в состоянии уравновесить того ущерба, который те же самые принудительные занятия наносят отчаянным и мятущимся юношам; они знакомятся с запрещенными книгами, принимаются критиковать своих учителей, а в конце концов так и вовсе замечают смысл университетской философии и экзаменов – не говоря уж о сомнениях, которые могут по этому поводу охватить юных богословов и по причине которых они начинают вымирать в Германии, как каменные козлы в Тироле. – Я хорошо понимаю, как государство могло возражать на все это рассуждение, покуда на всех полях еще росла прекрасная зеленая гегелевщина: но после того как этот урожай был побит градом, а из всех надежд, возлагавшихся тогда на него, не сбылась ни одна и все закрома остались пустыми, – оно предпочитает уже ничем не возражать, а просто отворачиваться от философии. Теперь есть власть, а тогда, во времена Гегеля, к ней стремились – в этом огромное различие. Государство больше не нуждается в санкции со стороны философии, которая поэтому стала для него излишней. Если оно больше не содержит своих профессоров или, по моим представлениям о ближайшем будущем, станет содержать их лишь для вида и вяло, то для него это полезно, – но важнее, сдается мне, что и университеты видят тут для себя выгоду. По крайней мере, меня так и подмывает думать, что очаги подлинной науки, вероятно, увидят содействие себе в избавлении от компании полунауки и четвертьнауки. Притом дело с хорошей репутацией университетов обстоит слишком странно, чтобы не желать принципиального исключения дисциплин, мало уважаемых самими же академиками.

Ведь у неакадемиков есть веские основания в известной степени презирать университеты в общем и целом; они упрекают их за то, что те трусливы, что малые боятся больших, а большие – общественного мнения; что во всех вопросах высшей культуры они не идут впереди, а медленно и запоздало хромают сзади; что уже совсем не соблюдается основная линия авторитетных наук. Говорят, к примеру, что языками там занимаются более усердно, чем когда-либо прежде, но не считают необходимой для себя самих строгую дисциплину письма и речи. Индийская древность открывает свои ворота, а ее знатоки имеют такое же отношение к наиболее нетленным из творений индусов, к их философским системам, какое животное имеет к лире: несмотря на это, Шопенгауэр считал знакомство с индийской философией одним из величайших преимуществ нашего столетия перед другими. Классическая древность стала древностью по выбору и больше не играет роли классической и образцовой; доказательством этого служат ее адепты, ведь на самом-то деле они вовсе не являются людьми образцовыми. Куда отлетел дух Фридриха Августа Вольфа, о котором Франц Пассов счел возможным сказать, что он явился как подлинно патриотический, подлинно гуманный дух, что у него хватило бы сил повергнуть в брожение и пламя целый континент? Зато в университеты все больше проникает дух журналистов, и нередко под именем философии; гладкое, цветастое изложение, отсылки к «Фаусту» и «Натану мудрому», язык и воззрения наших тошнотворных литературных газет, с недавних пор еще и болтовня о нашей священной немецкой музыке, даже требование дать кафедры Шиллеру и Гёте – подобные признаки говорят о том, что университетский дух начинает подменяться духом эпохи. В этом отношении мне кажется делом величайшей важности, если вне университетов возникнет какой-то высший трибунал, проверяющий и направляющий и эти учреждения на предмет образования, которое они дают; и как только философия будет исключена из университетов, а тем самым очистится от всех недостойных попыток приладиться, от всех уловок, она не сможет быть ничем иным, как только таким трибуналом: без поддержки государственной власти, без жалованья и почестей, она будет справляться со своим служени-

ем, свободная от духа времени, равно как и от страха перед этим духом, – короче говоря, так, как жил Шопенгауэр, выступая судьей над окружавшей его так называемой культурой. Вот таким-то образом философ сможет использовать и университет, не связывая себя с ним, а, напротив, окидывая его взглядом с некоторой полной достоинства дистанции.

И напоследок – какое нам дело до существования государства, содействия университетам, если речь-то идет прежде всего о существовании философии на свете! Или, дабы не оставлять никаких сомнений по поводу того, что я имею в виду, – если настолько неимоверно более важно, чтобы на свете появился философ, чем продолжило свое существование государство или университет. Достоинство философии может повышаться в той мере, в какой возрастает раболепие перед общественным мнением и угроза свободе; это достоинство было на своей высшей точке при сотрясениях гибнущей Римской республики и в эпоху императоров, когда ее и истории именами стали ingrata principibus nomina[1]. Брут значил для ее достоинства больше, чем Платон; это времена, когда в этике не оставалось общих мест. Если нынче философию не слишком-то уважают, то достаточно задаться вопросом о том, почему в наши дни ни один крупный полководец и государственный деятель не хочет иметь с ней ничего общего, – только потому, что в те времена, когда он испытывал к ней интерес, под именем философии ему попадался какой-то тщедушный фантом, ученая мудрость и осторожность, провозглашаемая с кафедры, короче говоря, потому что философия вовремя сделалась в его глазах делом смехотворным. А должна она была стать в его глазах делом, внушающим ужас; ведь люди, призванные искать власти, должны знать, какой источник героизма из нее проистекает. Один американец любил говорить им, что великий мыслитель, появляющийся на этой земле, должен играть роль нового центра чудовищной силы. «Держитесь настороже, – говорит Эмерсон, – когда Бог посылает на нашу планету мыслителя. Тогда всему грозит опасность. Это похоже на пожар в большом городе, когда никто не знает, куда бежать и когда все кончится. Тогда в

1 безразличные (к ней) имена вождей (*лат.*).

науке не остается ничего, что не могло бы назавтра претерпеть полный переворот, тогда в литературе нет больше авторитетов, нет и так называемой непреходящей славы; все вещи, которые до той поры были дороги и ценны для человека, таковы лишь за счет идей, взошедших на его духовном горизонте и служащих причиной нынешнего порядка вещей точно так же, как яблоня служит причиной своих яблок. *Новая ступень культуры мгновенно перевернула бы всю систему человеческих чаяний.*» И если такие мыслители опасны, то, конечно, понятно, почему не опасны наши академические мыслители; ведь их мысли так мирно произрастали на почве всего традиционного, как только яблоки росли на своей яблоне: они не ужасают, они не переворачивают все вверх дном; а обо всех их помыслах и чаяниях можно сказать то, что возразил Диоген, когда при нем похвалили какого-то философа: «Да разве он сделал что-то великое, если так давно занимается философией, а еще никого не *разозлил*?» Вот и на надгробном камне университетской философии должно значиться: «Она никого не разозлила». Только это, конечно, – больше похвала старой женщине, чем богине истины, и нет ничего удивительного, если те, которым эта богиня известна лишь как старая женщина, сами-то очень мало похожи на мужчин, а потому по справедливости уже не пользуются ровно никаким вниманием со стороны стоящих у власти мужчин.

Если в наше время дела обстоят таким образом, то достоинство философии повергнуто в прах: кажется, будто она сама сделалась чем-то смехотворным или неинтересным, а потому все подлинные ее друзья обязаны дать показания против такой подмены и по меньшей мере засвидетельствовать, что смешны и неинтересны только ложные служители и недостойные представители философии. А еще того лучше, чтобы они на деле доказали: любовь к истине – нечто внушающее ужас и могущественное.

То и другое доказал Шопенгауэр – и с каждым днем будет доказывать это все больше.

Несвоевременные размышления

Часть четвертая.
Рихард Вагнер в Байрейте

1

Чтобы событие смогло обрести статус великого, должны сойтись воедино две вещи: великое понимание тех, что его совершают, и великое понимание тех, что его переживают. Само по себе величием не обладает ни одно событие, и пусть исчезают целые созвездия, гибнут народы, кладутся основания обширных государств и с огромными силами и потерями ведутся войны: дыхание истории проносится над множеством событий такого рода, будто речь идет о пушинках. А бывает и так, что какой-нибудь могучий человек наносит удар, который не оставляет следов, угодив в твердые каменья; короткий резкий звук, и все кончено. И о таких, словно приглушенных событиях, история тоже не может сообщить почти ничего. Поэтому всякого, кто видит приближение какого-то события, мало-помалу охватывает сомнение в том, будут ли его достойны те, которым суждено его пережить. Человек, который действует, и в большом и в малом всегда рассчитывает на это взаимное соответствие действия и способности воспринимать, и добивается его; а тот, кто хочет давать, должен постараться найти таких берущих, которые были бы на высоте, соответствующей смыслу его дара. Потому-то и отдельный поступок даже великого человека не обладает величием, если его воздействие недолго, не вызывает отклика и не приносит плодов. Ведь в тот момент, когда он его совершает, он наверняка был лишен глубокого понимания того, что этот поступок необходим именно теперь: он недостаточно точно направил его в цель, недостаточно определенно распознал и выбрал для него время – над ним взял верх случай, а ведь величие и понимание необходимости строго требуют друг друга.

Поэтому о том, в правильный ли момент происходит то, что происходит сейчас в Байрейте, и необходимо ли оно, мы, конечно, по справедливости предоставим беспоко-

иться и сомневаться тем, которые сомневаются даже в способности Вагнера понимать необходимое. Нам, более доверчивым, происходящее должно представляться так, что он равно верит как в величие своего деяния, так и в великое понимание тех, кому суждено пережить его в своей душе. Гордость за это должны испытывать все те, на кого рассчитана эта вера, много их или мало, – ведь о том, что они не все, что названная вера относится не ко всей эпохе, даже не ко всему немецкому народу в его нынешнем виде, он сам сказал нам в своей торжественной речи двадцать второго мая 1872 года, и среди нас нет ни одного, кто позволил бы себе вежливо возразить ему именно в этом. «Лишь к вам, – сказал он тогда, – друзьям моего особенного искусства, моей глубоко личной созидательной работы, я мог обратиться со своими замыслами как к причастно-сочувствующим: лишь вашего содействия моему труду я мог попросить, чтобы этот труд в чистом и неискаженном виде был представлен тем, кто выразил свою искреннюю благосклонность к моему искусству, несмотря на то, что прежде оно могло предстать перед ними только в нечистом и искаженном виде.»

В Байрейте к месту и обычная публика, в этом нет никаких сомнений. Какому-нибудь мудрому созерцательному уму, который переходит от одного столетия к другому, чтобы сравнить между собой выделяющиеся из прочих культурные импульсы, здесь было бы на что посмотреть; он, вероятно, почувствовал бы, что тут внезапно оказался в теплых водах, подобно тому, кто плывет в озере и уже приближается к выходу горячего источника: эта струя, верно, пробилась наверх из иных, более глубинных основ, говорит себе пловец, ведь окружающая меня вода не объясняет ее, а сама явно более поверхностного происхождения. Поэтому все, для кого в Байрейте праздник, воспринимаются как люди несвоевременные: их родина где угодно, только не в этой эпохе, а объяснение, равно как и оправдание их существования, – где угодно в другом месте. Со временем мне становилось все яснее, что человек «образованный» целиком и полностью будучи плодом современности, может подступиться ко всему, что делает и мыслит Вагнер, только через пародию – ведь уже спародировано всё и вся, – и что ему хочется, чтобы и на это байрейтское событие ему свети-

ли только далеко не волшебным фонарем наших остроумничающих журналистов. И счастье еще, если дело остановится лишь на пародии! В ней находит себе разрядку дух отчужденности и враждебности, который мог бы подыскать для себя совсем иные пути и средства, да подчас и подыскивал их. Такая необычайная заостренность и напряженность в отношениях между противоположностями тоже бросилась бы в глаза нашему наблюдателю культуры. Тот факт, что отдельный человек за срок обычной человеческой жизни способен создать нечто совершенно небывалое, безусловно, возмущает всех тех, которые веруют в постепенность всякого развития, словно в своего рода закон морали: они сами медлительны и потому требуют медлительности, – и вдруг они видят перед собою кого-то, кто очень быстр, не могут сообразить, как ему это удается, и злятся на него. Не было никаких предвестий, никаких мостиков, никаких переходов, подводящих к такому предприятию, каково байрейтское; долгий путь к цели и саму цель не знал никто, кроме Вагнера. Это первое кругосветное плавание в области искусства: результатом, как представляется, стало открытие не только нового искусство, но искусства вообще. Все существовавшие до сих пор современные искусства, можно сказать, обесценены этим открытием как отшельнически-зачахшие или как предметы роскоши; даже смутные, плохо связанные воспоминания о подлинном искусстве, которые дошли до нас, современных, от греков, ныне могут почить в той мере, в какой они сами не в состоянии засиять теперь в некоем новом понимании. Для многого нынче пришла пора отмереть; это новое искусство – провидица, которая видит приближение гибели не только для искусств. Предостерегающий жест ее руки должен показаться всему нашему нынешнему образованию крайне зловещим, едва лишь смолкнет смех над его пародиями: ну так пусть оно еще немного повеселится и похохочет!

Зато у нас, у адептов возрождающегося искусства, будет время и воля для нешуточности, для глубокой священной нешуточности! Разглагольствования и сотрясение воздуха вокруг искусства, произведенные образованием до сей поры, – теперь мы должны ощутить их как бесстыдную назойливость; все обязывает нас к молчанию, к пятилетнему

пифагорейскому молчанию. Кто из нас не замарал бы рук и души, участвуя в отвратительном идолослужении современного образования! Кто не нуждался бы в очистительной воде, кто не услышал бы голоса, призывающего: молчание и чистота! молчание и чистота! Только если мы послушаемся этого голоса, нам достанется и великая перспектива, из которой мы должны смотреть на событие, свершившееся в Байрейте: и лишь в этой перспективе заключено *великое будущее* названного события.

Когда в тот майский день 1872 года на холме в Байрейте был заложен камень в основание театра и, при потемневшем небе и потоках дождя, Вагнер поехал назад в город вместе с некоторыми из нас, он молчал и долго сидел с обращенным в себя взором, который не описать словами. В тот день начался шестидесятый год его жизни: все, что было дотоле, служило лишь подготовкой к этому моменту. Известно, что в моменты наивысшей опасности или вообще важных для своей жизни решений люди уплотняют все пережитое посредством неимоверно ускоренного внутреннего созерцания и с небывалой четкостью видят перед собой самое близкое и самое далекое. Что мог увидеть Александр Македонский в то мгновение, когда повелел Азии и Европе пить из одного кратера? Но вот то, что в тот день внутренним взором увидел Вагнер – а именно, как он стал тем, что он есть и чем будет, – мы, его близкие друзья, можем до определенной степени проследить вслед за ним: и лишь исходя из этого вагнеровского взгляда мы и сами сможем понять его великое деяние – *дабы своим пониманием гарантировать его плодотворность.*

2

Было бы странно, если бы и во всем облике жизни человека не проявлялось в зримом виде то, что он умеет лучше всего и чем предпочитает заниматься; более того, у людей, наделенных большими дарованиями, жизнь, вероятно, становится не только отображением характера, как у каждого, но прежде всего отображением интеллекта и его сокровеннейших возможностей. Жизнь поэта-эпика будет нести на

себе какую-то печать эпоса – что, кстати, видно на примере Гёте, которого немцы неправомерно привыкли понимать преимущественно как лирика, – а жизнь драматурга будет протекать драматически.

Невозможно не заметить драматического начала в жизненном пути Вагнера начиная с того момента, когда его господствующая страсть осознает себя и охватывает всю его натуру: и вот уж покончено с нащупываньем, блужданием, разрастанием боковых побегов, а на самых запутанных путях и переходах, в нередко авантюрных сальто его планов воцаряется одна-единственная внутренняя закономерность, одна воля, дающая им всем объяснение, сколь бы причудливо оно подчас ни звучало. Но ведь в жизни Вагнера был и другой, предваряющий всякий драматизм отрезок, – его детство и юность, однако невозможно проскочить его, не наталкиваясь на загадки. Кажется, ничто тогда еще не предвещало его *самого*; а то, что теперь, оглядываясь назад, и можно было бы понимать как предвестия, оказывается на первый взгляд сочетанием качеств, которые должны внушать скорее опасения, нежели надежды: мятежный дух, возбудимость, нервная погоня сразу за сотней вещей, неистовое наслаждение, испытываемое им в чуть ли не болезненно напряженных чувствах, внезапные переходы из состояний самого глубокого душевного покоя к состояниям самоуправства и буйства. Никакое наследственное и семейное мастерство не ставило ему жестких рамок: живопись, поэзия, театр, музыка были почти так же далеки от него, как воспитание в ученой среде и научная карьера; если смотреть на поверхность вещей, можно подумать, будто он был рожден для дилетантизма. Тесный мирок, под гнетом которого он вырос, был не таков, чтобы пожелать художнику счастья иметь подобную родину. Он познал опасное наслаждение пробовать самые разные духовные лакомства, равно как и спесь многознайства, столь распространенную в городах науки; чувства пробуждались с легкостью, удовлетворялись поверхностно; насколько мальчику хватало глаз, он видел вокруг себя душевный тип, диковинным образом не по годам умный, но суетливый, забавную противоположность которому образовывал пестрый театр, необъяснимую – покоряющий души звук музыки. Тут сравнивающему

вещи знатоку внезапно придет на ум общее соображение: насколько редко именно современный человек, получив в приданое большой талант, в детстве и юности бывает наделен качеством наивности, скромной своеобычности и индивидуальности, и насколько мало он способен им пользоваться; и наоборот, редкие натуры, которые, подобно Гёте и Вагнеру, вообще приходят к наивности, в наши дни будут обретать ее, скорее став взрослыми людьми, чем в возрасте детей и юношей. Худосочная разносторонность современной жизни должна, подобно серьезной детской болезни, поражать как раз художников, которым особенно свойственна способность к подражанию; мальчиком и юношей такой художник будет похож больше на старика, чем на подлинного себя. Дивно суровый прообраз юноши, Зигфрида из «Кольца нибелунга», смог породить лишь взрослый мужчина, и притом мужчина, поздно обретший собственную юность. Запоздало, как юность Вагнера, пришла к нему и возмужалость, так что, по крайней мере, в этом он являет собой противоположность натуре предвосхищающей.

Как только наступает его умственная и нравственная зрелость, начинается и драма его жизни. И как же теперь все изменяется! Его натура предстает ужасающе упрощенной, разодранной на два инстинкта или две сферы. В самом низу бурным потоком роет себе ход могучая воля, которая словно хочет пробиться к свету любыми путями, через все пещеры и ущелья, и жаждет власти. Путь к добру и благотворности могла бы указать этой воле лишь какая-нибудь безусловно чистая и свободная сила; будучи же связанной с узким умом, такая воля при своей безграничной тиранической жажде могла бы стать злой судьбою; но в любом случае вскоре должен был найтись какой-то путь на свободу, а вместе с ним ясный воздух и солнечный свет. Властная устремленность, если к ней все вновь приходит понимание собственной безрезультатности, озлобляет; причины этой безуспешности подчас могут заключаться в обстоятельствах, в инерции судьбы, а не в нехватке сил: но тот, кто наперекор этой безуспешности неспособен избавиться от устремленности, становится словно воспаленным и потому возбудимым и несправедливым. Он может искать причины своей неудачи в других, он может даже страстно ненавидеть

весь мир, считая виновным его; он может также упрямо идти окольными и обходными путями или применять насилие: вот так и случается, что натуры от природы хорошие вырождаются на пути к лучшему. Даже среди тех, что погнались только за собственным нравственным совершенством, среди отшельников и монахов, можно найти таких вот выродившихся и совершенно больных, изнуренных и изглоданных своей неудачей людей. Дух, преисполненный любви, милосердно убеждающий, полный доброты и приязни, дух, которому ненавистны насилие и саморазрушение и который не хочет видеть оков ни на ком: вот какой дух обратился к Вагнеру. Он низошел на него и отрадно окутал своими крылами, он указал ему путь. Мы бросаем взгляд в иные сферы вагнеровской натуры: но как нам их описать?

Образы, которые творит художник, не суть он сам, – но вереница образов, к которым он явно привязан самой искренней силой любви, безусловно есть некоторое свидетельство о самом художнике. Давайте живо представим себе Риенци, Летучего Голландца и Сенту, Тангейзера и Элизабет, Лоэнгрина и Эльзу, Тристана и Марке, Ганса Сакса, Вотана и Брюнхильду: все эти образы пронизывает связующий подземный поток нравственного облагораживания и величия, поток, который струится все чище и осветленней, – и тут мы стоим, хотя и со стыдливой скромностью, перед наиболее глубинными слоями становления собственной души Вагнера. У какого еще художника можно видеть нечто подобное в подобном величии? Образы Шиллера от разбойников до Валленштейна и Телля проходят тот же путь облагораживания и тоже сообщают кое-что о становлении своего творца, но масштаб у Вагнера больше, путь длиннее. Все соучаствует в этом осветлении и выражает его, не только миф, но и музыка; в «Кольце нибелунга» я нахожу наиболее нравственную музыку, какую только знаю, к примеру, там, где Зигфрид будит Брюнхильду; здесь Вагнер достигает высоты и святости такого настроения, что нам поневоле видится сияние снегов и льдов на вершинах Альп, настолько чистой, одинокой, труднодоступной, бестревожной, омытой сиянием любви вздымается здесь природа; облака и грозы, мало того, и само возвышенное, лежат под нею. Оглядываясь отсюда назад, на «Тангейзера» и «Голландца», мы

чувствуем, как сложился человек Вагнер: в каком мраке и метаниях он начинал, как страстно он искал покоя, как домогался силы, опьяняющей услады, нередко с отвращением обращаясь в бегство, как старался сбросить с себя гнет, как жаждал забыть, отвергнуть, отречься, – весь поток устремлялся то в одну, то в другую долину, протачивая себе путь в самые мрачные ущелья: в ночи этого наполовину подземного пробивания сквозь преграды высоко над ним появилась звезда, в скорбном блеске, и он назвал ее в соответствии с тем, какой познал ее: *преданностью, самоотверженной преданностью*! Почему она светила ему ярче и чище, нежели все другое, какую тайну скрывает в себе слово «преданность» для всей его натуры? Ведь на всем, о чем он думал и что поэтически творил, он отчеканивал образ и проблему преданности, и в его произведениях можно найти почти полный ряд всех возможных видов преданности, среди которых есть самые величественные и почти неожиданные: преданность брата сестре, друга – другу, слуги – господину, Элизабет – Тангейзеру, Сенты – Голландцу, Эльзы – Лоэнгрину, Изольды, Курвенала и Марке – Тристану, Брюнхильды – самому глубокому желанию Вотана, и это только начало ряда. Это тот исконно-личный опыт, который Вагнер находит в себе самом и поклоняется ему, словно таинству веры: его он выражает словом «преданность», его он не устает выявлять из себя в сотнях форм, от всей полноты своей благодарности одаривая самым великолепным из всего, что у него есть и на что он способен, – тот дивный опыт и то познание, которые гласят, что одна сфера его существа осталась верной другой, что она хранила ей верность из свободной самоотверженной любви, сфера творческая, безгрешная, более светлая – более мрачной, необузданной и тиранической сфере.

3

Во взаимном отношении этих двух сокровеннейших сил, в их взаимной преданности заключалась та великая необходимость, благодаря которой он мог оставаться исключительно цельным и исключительно – самим собой: а заодно

и то единственное, что было не в его власти, что ему приходилось лишь наблюдать и с чем – лишь мириться, в то время как он все вновь чувствовал приближение соблазна нарушить верность и ужасающих опасностей, связанных с таким нарушением. Тут-то и текут обильные воды источника страданий для становящегося, и источник этот – неопределенность. Каждое из его влечений стремилось к непомерности, все жизнерадостные потенции желали обособиться и получать удовольствие только для себя; и чем длиннее был их ряд, тем сильнее – неразбериха, тем враждебнее – их столкновение. Случай и жизнь подхлестывали к приобретению власти, блеска, жгучих наслаждений, но чаще мучила немилосердная необходимость попросту выживать; и повсюду были путы и западни. Да как же тут было хранить верность и оставаться цельным? – Это сомнение часто овладевало им и уж тогда выражалось в таких формах, в каких свойственно сомневаться именно художнику – в образах искусства: Элизабет может только страдать, молиться и умереть за Тангейзера, своей преданностью она спасает мятежный и необузданный дух – но не для этой жизни. Жизненный путь всякого истинного художника, заброшенного в нынешние времена, сопровождают опасность и отчаяние. Он может прийти к уважению и власти множеством способов, и на многие лады ему предлагают себя покой и удовольствия, но всегда лишь в том виде, в каком их знает современный человек, – а честному художнику они должны казаться удушливым чадом. Опасности для него заключаются в искушении поддаться им, но точно так же – и в отражении этого искушения, в отвращении к современным способам добывать наслаждение и авторитет, в ярости, обращенной против всякого удовольствия на нынешний лад. Представим себе, каков он был, исполняя какую-нибудь должность, – а Вагнеру приходилось исполнять должность капельмейстера в городских и придворных театрах; почувствуем, как серьезнейший художник хочет вымучить из себя серьезность там, где уж современные-то учреждения основаны чуть ли не на принципиальном легкомыслии и требуют легкомыслия, как ему это отчасти удается, а в целом он всегда терпит крах, как к нему подступает отвращение и ему хочется убежать, как он не находит места, куда убежать, и ему

все вновь приходится возвращаться к цыганам и отверженным нашей культуры в качестве одного из них. С трудом выходя из одного положения, он почти никогда не может добиться какого-нибудь получше, и то и дело оказывается в величайшей нужде. Так Вагнер менял города, спутников, страны, и трудно представить себе, каковы были те требования и условия, при которых он какое-то время все это выдерживал. В большей половине всей его протекшей до сего дня жизни царит тяжелая атмосфера; кажется, будто он уже не надеялся на нормальную человеческую жизнь, а жил только сегодняшним днем, и в такой ситуации он, правда, не терял надежды, но и не верил в иное. Наверное, нередко он испытывал ощущения, подобные тем, что испытывает странник, который идет в ночи, с тяжким бременем и до предела измотанный, но возбужденный бессонницей; тогда и внезапная смерть казалась ему не пугалом, а маняще-обворожительным призраком. Тяжесть, путь и ночь – все исчезает одним махом! – это звучало соблазнительно. Сто раз он вновь и вновь бросался в жизнь все с тою же одышливой надеждой и отворачивался от всех призраков. Но в том, как он это делал, почти всегда было что-то безудержное – признак того, что он не верил в свою надежду глубоко и крепко, а лишь опьянял себя ею. Терзаемый, словно терниями, противоположностью между своей страстной жаждой и привычной неспособностью или полуспособностью эту жажду утолить, подстегиваемый этим беспрерывным лишением, его ум утрачивал чувство меры, как только нужда внезапно ослабевала. Жизнь запутывалась все сильнее; но и способы выйти из положения, которые он обнаруживал как драматург, становились все более рискованными и изобретательными, хотя это были уже чисто драматургические паллиативы, ложные мотивы, создававшие видимость на одно мгновение и изобретенные лишь для одного мгновения. Он находил их молниеносно, и так же быстро они себя исчерпывали. В жизни Вагнера, если глядеть на нее под микроскопом и без любви, есть очень много (тут на ум приходит одна мысль Шопенгауэра) от комедии, и притом комедии необычайно гротескной. Как это ощущение, понимание гротескной унизительности целых отрезков жизненного пути, должно было сказываться на

художнике, который больше, чем кто бы то ни было другой, способен дышать полной грудью лишь в атмосфере возвышенного и сверхвозвышенного, – это заставляет задуматься того, кто мыслит.

И вот в самый разгар этих жизненных метаний, лишь при точнейшем изображении способных внушить ту степень сочувствия, ужаса и изумления, которых они заслуживают, постепенно развивается *дар обучения*, совершенно неординарный даже для немцев, народа, как бы специально предназначенного для обучения. А вместе с этим даром в свой черед появилась и новая опасность, которая была даже большей, чем опасность жизни, которая, казалось, лишена корней и блуждает, вкривь и вкось ведомая мятущейся грёзой. Из неопытного новичка Вагнер сделался полным хозяином музыки и сцены, а в каждом из технических предусловий искусства – изобретателем и обогатителем. Теперь уже никто не может оспорить его славу человека, давшего высочайший образец для любого великого исполнительского искусства. Сделался он, однако, и чем-то куда большим, а чтобы сделаться и этим, и вышеназванным, ему пришлось, как мало кому другому, усваивать, обучаясь, высшую культуру. И как он этого добивался! Наблюдать за этим – одно удовольствие; он пристраивал к себе, в себя всё со всех сторон, а чем крупнее и весомей становилась постройка, тем туже натягивалась арка упорядочивающего и овладевающего положением мышления. И все же мало кому бывало так тяжко подходить к наукам и навыкам, и множество раз ему приходилось импровизировать такие подходы. Первопроходец простой драмы, открыватель места искусств в подлинном человеческом обществе, поэт-истолкователь мировоззрений прошлого, философ, историк, эстетик и критик Вагнер, мастер языка, мифолог и творец мифов, первым сомкнувший кольцо вокруг великолепного древнего, неимоверного здания и начертавший на нем руны своего духа, – какую бездну знаний ему пришлось свести воедино и охватить, чтобы сделаться всем этим! И все же эта полнота свершений не подавляла его воли к действию, а некоторые, наиболее привлекательные из них не уводили его в сторону. Чтобы представить себе всю экстраординарность такого образа действий, возьмем в качестве примера его

великую противоположность, Гёте, который в усвоении знаний и овладении ими подобен сильно разветвленному потоку, но такому, что не течет к морю во всей своей полноте, а по меньшей мере половину взятого с собой у истока теряет и рассеивает на своих путях и перепутьях. Конечно, человек такого склада, как Гёте, несет в себе и доставляет больше отрады, его окружает какая-то атмосфера доброжелательности и благородной расточительности, в то время как стремительный бег и захватывающая, как поток, мощь Вагнера способны скорее страшить и отталкивать. И пусть, кто хочет, пугается: мы, не такие, хотим стать тем более отважными потому, что имеем право воочию видеть героя, который «не научился страху» и в отношении современного образования.

Столь же мало он научился успокаивать себя посредством истории и философии, отбирая для себя из их результатов только то, что дивно умягчает душу и отвращает от деяний. Учеба и образование не сбили с жизненного пути ни художника-созидателя, ни художника-борца. Как только им овладевает его творческая сила, история превращается в его руках в послушную глину; тогда он внезапно начинает относиться к ней иначе, нежели любой ученый – и скорее подобно тому, как относились к своим мифам греки, чем к чему-то такому, что лепят и сочиняют, пускай с любовью и неким робким благоговением, но все же и с сознанием суверенного права творца. И как раз по той причине, что она для него более податлива и изменчива, чем любая мечта, он может творчески вместить в отдельное событие типическое содержание целых эпох и тем самым достичь такой подлинности изображения, какой никогда не достичь никакому историку. Где еще плоть и дух рыцарского средневековья претворены в образы так полно, как в «Лоэнгрине»? И разве «Мейстерзингеры» не поведают даже самым отдаленным будущим эпохам о немецком характере, и не просто поведают, – разве не станут они скорее одним из наиболее зрелых плодов этого характера, который всегда стремится к реформам, а не к революциям, и который, стоя на крепкой почве своего наслаждения жизнью, не отвык и от самого благородного из видов неудобства – неудобства от возрождающего деяния?

И как раз к этому роду неудобства Вагнера все снова подталкивали его занятия историей и философией: он находил в них не только оружие и доспехи; здесь он чувствовал прежде всего вдохновляющую атмосферу, веющую над усыпальницами всех великих борцов, всех великих страдальцев и мыслителей. Ничем нельзя выделиться на фоне всей нынешней эпохи больше, нежели тем, как используются история и философия. На долю первой из них, как ее обычно понимают, сейчас, кажется, выпадает задача дать современному человеку, который поспешает к своим целям, тяжело дыша и обливаясь потом, вздохнуть полной грудью, дабы он на мгновение почувствовал, что с него сняли упряжь. Та роль, какую отдельно взятый Монтень играет в рамках динамичного духа Возрождения, а именно способность найти в себе покой, миролюбиво замкнуться в себе и ни о чем не заботиться – так, конечно, и воспринял Монтеня его лучший читатель, Шекспир, – это для современного ума и есть сегодня историческая наука. Если в последнее столетие немцы особенно полюбили предаваться историческим штудиям, то это говорит о том, что в ходе новейшей истории они выступают сдерживающей, замедляющей, умиротворяющей силой, – что, вероятно, дает некоторым право возносить им за это хвалы. Однако если умственные борения народа обращены преимущественно на прошлое, то в целом это опасный признак, свидетельство одряхления, пробуксовки и шаткости: поэтому такие борения опасно подвержены первой же эпидемически распространяющейся горячке, скажем, политической. Подобное состояние немощности в истории современного духа представляют наши ученые – в противоположность всем реформаторским и революционным течениям; они не поставили перед собой самой высокой задачи, а обеспечили себе некий особый вид тихого и мирного счастья. Всякий более вольный, более мужественный шаг ведет, конечно, мимо них – хотя, разумеется, не мимо самой истории! У нее в запасе есть еще и совсем другие силы, это чувствуют как раз такие натуры, как Вагнер: только писать ее нужно в куда более строгом, серьезном духе и могучей душой, а уж, конечно, не оптимистически, как всегда делалось до сих пор, – иными словами, как писали ее до сего дня немецкие уче-

ные. Во всех их работах есть что-то извиняющее, раболепное и удовлетворенное, и весь ход истории для них вполне оправдан. Хорошо еще, если кто-нибудь из них даст понять: он, мол, удовлетворен лишь потому, что дело-то могло обернуться куда хуже; а в большинстве своем они непроизвольно верят – всё очень хорошо именно так, как оно случилось. Если бы историческая наука не оставалась все еще замаскированной христианской теодицеей, если бы ее писали с большей справедливостью и с пылом сопричастности, то она и впрямь смогла бы сослужить по крайней мере как раз ту службу, какую служит теперь: быть опийным средством против всяческого ниспровергательства и обновительства. Подобным же образом дело обстоит и с философией: ведь большинство хочет научиться у нее тому, как надо приблизительно, очень приблизительно понимать вещи, дабы, поняв их, с ними смириться. Даже наиболее благородные представители философии подчеркивают ее умиротворяющую и утешающую силу с такой настойчивостью, что искатели покоя и люди косные поневоле думают, будто искали как раз то самое, что ищет философия. Мне же кажется, что важнейший вопрос всякой философии гласит: в какой мере вещи имеют неизменный характер и вид, – а потом, когда ответ на этот вопрос будет получен, надо с самой беззастенчивой отвагой приступить к *улучшению той стороны мира, о которой стало известно, что она изменчива.* Настоящие философы на деле и сами этому учат – они работают над улучшением весьма изменчивых человеческих представлений, а не оставляют свою мудрость при себе; этому учат и настоящие последователи настоящих философий, которые, подобно Вагнеру, умеют впитывать оттуда именно повышенную решимость и несгибаемость для своих устремлений, а отнюдь не снотворное. Вагнер – философ больше всего там, где его воля к деянию и героизм крепче всего. А ведь именно в качестве философа он неустрашимо прошел не только сквозь огонь различных философских систем, но и через чад знаний и учености, и хранит верность своему высшему «я», которое потребовало от него *всей цельности деяний его полифонической сущности* и велело ему страдать и учиться, чтобы суметь свершить эти деяния.

4

История развития культуры со времен греков довольно коротка, если принимать во внимание только по-настоящему пройденный ею путь, никак не учитывая остановок, отступлений, задержек и замедлений. Эллинизация всего мира и, с целью ее проведения, ориентализация всего эллинского – двойная задача великого Александра – до сих пор остается последним великим событием; древний вопрос о том, поддается ли вообще чуждая культура перенесению на свою почву, все еще остается проблемой, над которой бьются и в новейшие времена. Ритмическое взаимодействие этих двух факторов и есть то, что главным образом определяло до сих пор ход истории. К примеру, христианство предстает здесь фрагментом восточной античности, которая в мысли и на деле была доведена до логического конца людьми, наделенными необузданной обстоятельностью. По мере того как падало его влияние, снова прибывала сила эллинистической культурности; мы видим перед собой явления, которые настолько поразительны, что остались бы висеть в воздухе необъясненными, если бы их нельзя было привязать к аналогичным греческим, минуя огромный исторический период. Например, между Кантом и элеатами, Шопенгауэром и Эмпедоклом, Эсхилом и Рихардом Вагнером есть такая близость, такое родство, что чуть ли не осязаешь неимоверную относительность всех представлений о времени: так и кажется, будто некоторые вещи суть одно и то же, а время – лишь облако, мешающее нашим глазам обнаружить эту тождественность. История точных наук в особенности создает впечатление, будто мы прямо сейчас стоим в непосредственной близости к александрийско-греческому миру и будто маятник истории, раскачиваясь, снова попал в ту точку, от которой начал движение, и продолжает нестись в таинственную даль и неизвестность. Картина, какую являет собой наш нынешний мир, отнюдь не нова: знатоку истории то и дело кажется, что он узнает давно знакомые черты какого-то лица. Дух эллинской культуры в бесконечно рассеянном виде лежит на нашей современности: и в то время как всевозможные силы теснят друг друга, а плоды современных наук и умений используются как разменная

монета, образ эллинства снова бледно проступает наружу, хотя еще очень далекий и призрачный. Земля, которую доселе вдоволь ориентализировали, снова жаждет эллинизации; тому, кто захочет ей в этом помочь, конечно, понадобятся быстрота и крылья на ногах, чтобы свести воедино самые разнообразные и далекие друг от друга пункты знаний, самые отдаленные континенты таланта, чтобы пробежать по всему неимоверно обширному полю и освоить его. Потому-то сейчас и нужен целый ряд *анти-Александров*, наделенных огромной способностью сводить воедино и связывать, уплотнять далеко разошедшиеся нити и тем предохранять всю ткань от растрепыванья. Не разрубать гордиев узел греческой культуры, как сделал Александр, чтобы его концы растрепались по всему белому свету, а *связать его, после того как он был распущен*, – вот какая теперь стоит задача. В Вагнере я узнаю такого анти-Александра: он сковывает и сплачивает то, что было разрозненным, слабым и вялым, он, если дозволено употребить медицинский термин, обладает *вяжущим* действием: и в этом отношении он входит в число наиболее крупных правящих сил культуры. Он правит искусствами, религиями, историей различных народов – и все-таки он антипод полигистора, ума, ограниченного сопоставлением и классификацией: ибо он амальгамирует и вселяет душу в сплав, он *упрощает мир*. Никто не ошибется относительно подобного понимания, если сравнит эту наиболее общую задачу, которую поставил перед ним его гений, с куда более узкой и сиюминутной, о которой нынче обычно думают в первую очередь при имени Вагнера. От него ждут реформы театра: положим, таковая ему удалась, – но что это означало бы для той, другой, более высокой и отдаленной задачи?

Так вот, это означало бы изменение и реформу современного человека: в нашем новейшем мире все связано с такой необходимостью, что если вытащить из здания хоть один гвоздь, оно зашатается и рухнет. Да и от любой другой настоящей реформы следовало бы ожидать того же, чтó потом мы с налетом преувеличения говорим здесь о вагнеровской. Совершенно невозможно, чтобы искусство театра оказывало самое высокое, самое чистое воздействие, не внося новшеств повсюду – в сферы нравственности и госу-

дарства, воспитания и общения. Любовь и справедливость, достигшие могущества в единой точке, а именно в данном случае в области искусства, по закону своей внутренней потребности должны распространяться дальше, они не могут вернуться в свое прежнее состояние неподвижной окукленности. Для того, чтобы только понять, насколько отношение наших искусств к жизни представляет собой символ вырождения этой жизни, насколько наши театры позорны для тех, что их строят и посещают, нужно полностью переучиться и суметь однажды взглянуть на привычное и будничное как на что-то крайне необычное и многосложное. Странное помрачение суждений, с трудом скрываемое пристрастие к потешному, к развлечению во что бы то ни стало, ученые предрассудки, тщеславие и комедиантское обращение с серьезностью искусства со стороны исполнителей, брутальная жажда наживы со стороны антрепренеров, пустота и невнимательность со стороны высшего общества, которое думает о народе лишь настолько, насколько он ей полезен или опасен, и посещает театры и концерты, не получая при этом никаких напоминаний о своих обязанностях, – все это вместе взятое образует спертую и пагубную атмосферу порядков, царящих в нашем нынешнем искусстве: но если публика приучена к ним лишь так, как приучены к ним наши образованные классы, то, конечно, она мнит, будто эта атмосфера полезна ей для здоровья, и чувствует себя плохо, когда временами по какому-нибудь случаю вынуждена обходиться без нее. На самом деле есть лишь один способ убедиться, не вдаваясь в подробности, в том, насколько пошлы, и притом насколько странно и замысловато пошлы наши театральные заведения: надо просто сравнить их с той реальностью, какой был некогда греческий театр! Положим, мы ничего не знали бы о греках, и тогда наши условия, вероятно, было бы не с чем сравнивать, и такие протесты, какие поначалу громко заявлял Вагнер, сочли бы пустыми грёзами люди, для которых естественно быть без роду и без племени. Говорили бы, наверное, что-то вроде этого: раз уж люди таковы, то им хватает и подобного искусства, оно им впору, – а они никогда другими и не были! – Они, разумеется, были другими, да и сейчас есть люди, которых не устраивают нынешние театральные заведения, –

как раз это и доказывает факт Байрейта. Здесь вы обнаружите зрителя подготовленного и посвященного, взволнованность людей, находящихся на вершинах блаженства и чувствующих, что именно в нем сосредоточивается вся их сущность, чтобы ее укрепили для устремлений более дальних и высоких; здесь вы обнаружите самую бескорыстную жертвенность художников и драму из драм, победоносного создателя творения, которое само по себе есть идеал полноты победоносных свершений искусства. Разве не кажется чуть ли не волшебством, что подобное явление можно встретить в наши дни? Разве те, что содействуют в этом и имеют право быть зрителями, не должны были оказаться уже преображенными и обновленными, чтобы отныне и впредь преображать и обновлять в других сферах жизни? Не найдена ли гавань после хаоса морских далей, не легла ли тут на воды тишина? – А если кто возвратится из царящей здесь глубины и одиночества настроения к равнинам и низинам жизни, имеющим совершенно иную природу, разве не придется ему беспрестанно задавать себе вместе с Изольдой вопрос: «Как мне только удалось это вынести? И как выносить это впредь?» И если он больше не сможет эгоистично прятать в себе свое счастье и свое несчастье, то отныне будет хвататься за любую возможность засвидетельствовать это в поступках. «Где те, что страдают из-за современных театральных заведений? – поинтересуется он. – Где наши естественные союзники, вместе с которыми мы могли бы бороться против буйного и всё заглушающего роста нынешней образованщины?» Ибо некогда у нас был один только враг – некогда! – а именно, те «образованные», для которых слово «Байрейт» означает одно из их самых сокрушительных поражений, – они ничем не помогали ему, они ему с яростью противились или же демонстрировали ту еще более эффективную для их целей тугоухость, что нынче стала обычным оружием самой обдуманной враждебности. Однако как раз благодаря этому мы знаем, что их вражда и коварство не смогли разрушить самой глубинной сути Вагнера, помешать его творчеству, мало того: они показали, что слабы и что сопротивление обладателей власти уже не выдержит многочисленных атак. Настал благоприятный момент для тех, кто хочет с силой овладеть положением и

победить, обширные царства никем не заняты, и неизвестно имя их владетеля, хотя кто-то ими владеет. Так, к примеру, известно, что здание педагогики прогнило, и всюду находятся отдельные люди, уже покинувшие это здание без всякого шума. А если бы удалось хоть раз подбить к открытому возмущению и объявлению своей позиции тех, которые фактически уже сейчас глубоко не удовлетворены им! Если бы удалось избавить их от робкой растерянности! Мне совершенно ясно: если из суммы доходов всей нашей образовательной сферы вычесть один только негромкий вклад этих натур, то вышло бы самое ощутимое кровопускание, и упомянутая сфера понесла бы потери. Из ученых, например, в старом строю остались бы разве что люди, зараженные политическим безумием, да еще всех сортов любители пера. Эта отвратительная структура, черпающая нынче силы из опоры на сферы насилия и несправедливости, на государство и общество, и извлекающая отсюда привилегию делать их все злее и брутальней, без такой опоры являет собою нечто тщедушное и изможденное: стоит только как следует подвергнуть ее презрению, и она полетит вверх тормашками. Тот, кто борется за справедливость и любовь между людьми, может страшиться той структуры меньше всего: ведь его настоящие враги появятся перед ним лишь теперь, когда он доведет до конца свою борьбу, которую пока что ведет с их передовым отрядом – нынешней культурой.

Для нас Байрейт – это утренний освятительный обряд в день битвы. Самой большой несправедливостью для нас было бы предположение, будто нам есть дело только до искусства: словно оно может считаться лечебным и обезболивающим средством, которое способно избавить нас от всех прочих плачевных состояний. В символе байрейтского трагического произведения искусства мы видим как раз борьбу одиночек против всего того, что встает у них на пути как мнимо непреодолимая неизбежность, против власти, закона, обычая, условности и всех принятых распорядков. Наиболее прекрасной жизнью для этих одиночек было бы – созреть для смерти и пожертвовать собой в борьбе за справедливость и любовь. Взгляд, которым взирает на нас таинственный глаз трагедии, – отнюдь не усыпительное и обездвиживающее колдовство. Правда, он требует от нас покоя,

покуда направлен на нас; ведь искусство существует не ради самой борьбы, а ради пауз покоя прежде нее и посреди нее, ради тех минут, когда мы, оглядываясь и предчувствуя, понимаем символический смысл, когда к нам приближается освежающий сон, неся с собой ощущение легкой усталости. Настает день и одновременно битва, тают священные тени, и искусство снова далеко от нас; но дарованное им утешение с самого рассвета ложится на душу. Ведь без него человек будет иметь дело с ощущением своей личной несостоятельности, своей половинной полноценности, а то и неполноценности: а в каком же состоянии духа ему выходить на бой, если прежде он не освящен для чего-то сверхличного! Величайшие страдания отдельного человека, какие только бывают – разобщенность знания у всех людей, ненадежность понимания последних вещей и неравенство способностей, – все это внушает ему потребность в искусстве. Нельзя быть счастливым, покуда вокруг нас всё страдает и причиняет страдания другим; нельзя быть нравственным, покуда весь ход человеческих дел определяется насилием, обманом и несправедливостью; нельзя даже быть мудрым, пока все человечество не приложило усилий в соревновании за мудрость и не научилось вводить отдельного человека в жизнь и знание наимудрейшим образом. Разве можно было бы выдержать такое тройное ощущение несостоятельности, если бы в своих битвах, поисках и смертельных ранах человек не мог распознавать нечто возвышенное и осмысленное и если бы трагедия не научила его получать наслаждение от ритма великой страсти и от ее жертвоприношения. Конечно, искусство не учит непосредственным действиям и не воспитывает для них; человек искусства в этом смысле – не воспитатель и не советчик; цели, которые преследуют трагические герои, нельзя без оговорок считать вещами, которые желательны сами по себе. Покуда мы чувствуем себя в плену у чар искусства, оценка вещей остается измененной, словно во сне: то, что в это время для нас столь желанно, когда мы одобряем трагического героя, предпочитающего смерть отказу от нее, в реальной жизни редко имеет такую цену и заслуживает таких усилий: для того-то как раз искусство и предлагает деятельность во время отдыха. Битвы, которые оно разыгрывает, суть упрощенные подобия

реальных жизненных битв; проблемы, которые оно показывает, суть сокращенные выражения для бесконечно запутанных счетов в человеческих поступках и стремлениях. Однако величие и незаменимость искусства в том-то и состоят, что оно создает у зрителя *видимость* более простого мира, сокращенного решения загадки жизни. Ни один человек, страдающий в жизни, не может обойтись без этой видимости, как ни один человек не может обойтись без сна. Чем сложнее становится познание законов жизни, тем более страстно мы жаждем видимости такого упрощения, пусть только на мгновения, и тем больше растет натяжение между всеобщим знанием о вещах и умственно-нравственными возможностями отдельного человека. Искусство существует для того, *чтобы лук не сломался.*

Отдельный человек должен быть посвящен во что-то сверхличное – такова цель трагедии; он должен забыть ужасные опасения, которые внушают индивиду смерть и время: ведь даже в самый краткий миг, на самом малом участке его жизненного пути он может повстречать что-то священное, с лихвой уравновешивающее всю борьбу, все лишения, – это и значит *быть настроенным трагически.* И если всему человечеству некогда суждено умереть – а в этом никто не сомневается, – то в качестве предельного задания на все грядущие времена ему поставлена цель срастись в единство и общность настолько, чтобы встретить свою предстоящую гибель как *единое целое* в *трагическом настроении*; это предельное задание предполагает в том числе конечное облагораживание человеческого рода; полный отказ от него дал бы самую мрачную картину, какую только может представить себе человеколюбец. Я чувствую, что дело обстоит именно так! Есть лишь одна надежда и один залог будущего для всего, что является человеческим: надо только, *чтобы не угасло трагическое настроение.* Горестный вопль, какого еще не слышали, раздался бы по всей земле, если бы люди однажды полностью утратили его; и наоборот, нет более отрадного наслаждения, чем знать то, что знаем мы – как трагическая идея снова народилась в мире. Ведь наслаждение это – целиком сверхличное и всеобщее, это ликование человечества о гарантированной непрерывности и продолжении всего, что является человеческим. –

5

Вагнер поместил современную жизнь и прошлое под луч света познания, который оказался достаточно силен, чтобы зрение достигало в нем неизведанных далей: поэтому он – упроститель мира; ведь упрощение мира всегда заключается в том, что взгляд познающего все снова овладевает чудовищным изобилием и дикостью мнимого хаоса и сжимает в одно целое то, что дотоле находилось в несовместимой разрозненности. Вагнер сделал это, обнаружив связь между двумя вещами, которые, казалось, живут холодно и отчужденно, словно в раздельных сферах: между *музыкой и жизнью*, а также между *музыкой и драмой*. Он, конечно, не изобрел и не сотворил эти связи: они существуют сами по себе и в общем-то доступны любому – вот так и великая проблема всегда подобна благородной горной породе, по которой равнодушно прошли тысячи, пока, наконец, кто-то один не поднял, не разрешил ее. Почему, спрашивает себя Вагнер, в жизни современных людей со столь несравненной силой возродилось именно такое искусство, как искусство музыки? Не нужно быть какого-то пренебрежительного мнения об этой жизни, чтобы разглядеть здесь проблему; нет, если принять в расчет все свойственные этой жизни великие силы и представить себе картину существования, мощно растущего, борющегося за *осознанную свободу* и за *независимость мышления*, – лишь тогда музыка в этом мире по-настоящему предстанет загадкой. Не надо говорить: «Эта эпоха не *могла* возродить музыку!» Ведь чем тогда оказалось бы ее существование? Случайностью? Правда, и отдельно взятый великий человек искусства может быть случайностью, но появление такого ряда великих композиторов, как в истории новейшей музыки, причем дотоле что-то подобное было только раз, во времена греков, заставляет думать, что тут правит не случай, а необходимость. Как раз эта-то необходимость и есть проблема, которую разрешает Вагнер.

Первым делом к нему пришло познание бедственного состояния, распространенного настолько, насколько нынешние нации вообще связаны цивилизацией: здесь всюду болен язык, и все развитие человечества придавлено грузом

этой чудовищной болезни. Постоянно вынужденный дотягиваться до крайних ступенек своих возможностей, чтобы постичь область мышления как антипода эмоции и сделать это как можно дальше от сильных эмоций, которым изначально он во всей своей простоте мог соответствовать, язык в этом непомерном саморастяжении за короткий срок существования современной цивилизации исчерпал свои силы: и вот теперь он уже не в состоянии делать как раз то, ради чего только и существует на свете, – давать возможность объясняться друг с другом относительно простейших бедственных положений людям, страдающим в них. Человек, испытывающий такое положение, уже не умеет назвать себя, иными словами, правильно сообщить о себе: при таком состоянии сумеречности чувств язык повсюду превратился в самостийную силу, обхватывающую людей словно призрачными руками и подталкивающую их туда, куда им вовсе и не нужно; как только они хотят объясниться друг с другом и объединиться для одного дела, их охватывает безумие общих понятий, а то и просто фонем без значения, а вследствие такой неспособности передать друг другу сообщение все творения их коллективных усилий в свой черед несут на себе печать взаимного непонимания, поскольку отвечают не подлинным нуждам, а только пустоте самовластных слов и понятий. Так ко всем своим бедам человечество добавляет еще беду *условного соглашения*, иными словами, согласования в словах и действиях без согласования в чувствах. Как в своем нисходящем движении всякое искусство достигает той точки, где его болезненно разросшиеся приемы и формы обретают тираническое господство над душами юных художников и порабощают их, так и теперь, при закате языков, люди сделались рабами слов; под таким давлением никто уже не в состоянии обнаружить себя самого, говорить простодушно, и немногие вообще способны сохранить свою индивидуальность в борьбе с образованием, стремящимся доказать свою успешность не тем, чтобы, образуя, идти навстречу отчетливым ощущениям и потребностям, а тем, чтобы улавливать индивида в сеть «отчетливых понятий» и учить его правильно мыслить: как будто имеет хоть какой-нибудь смысл делать кого-нибудь существом правильно мыслящим и умозаключающим, если пре-

жде не удалось сделать его правильно ощущающим. И вот когда теперь, посреди столь изувеченного человечества, звучит музыка наших немецких мастеров, то что, собственно, воплощается в звуках? Именно только *правильное ощущение*, враг всех условных договоров, всякого искусственного отчуждения и непонимания между человеком и человеком: эта музыка есть возвращение к природе, а в то же самое время – очищение и преображение природы; потому что в душах наиболее любящих людей появилось побуждение к такому возвращению, и *в их искусстве звучит природа, преображенная любовью.*

Примем это как один ответ Вагнера на вопрос о том, что значит музыка в наше время: но у него есть и второй. Музыка и жизнь относятся друг к другу не только, как одна разновидность языка к другой, между ними есть и отношение совершенного мира слуха к совокупному миру зрения. Как зрелище для глаз и в сравнении с прежними зрелищами жизни существование современных людей демонстрирует небывалую нищету и истощенность, вопреки небывалой пестроте, способной радовать только очень уж поверхностный взгляд. Надо лишь вглядеться пристальнее и разложить для себя общее впечатление от этой невероятно подвижной игры красок: разве все вместе не являет собою нечто похожее на мерцание и поблескиванье бесчисленных камушков и кусочков, позаимствованных у прежних культур? Не станет ли видно, что все это – неподобающее щегольство, подражательные движения, наглая показуха? Одежда с пестрыми лохмотьями для голого и замерзающего? Пляс мнимого ликованья, которого ждут от страдальца? Гримасы невозможной гордости, выставленные напоказ тяжело раненым? А за всем этим, прикрытое и утаенное лишь быстротой движенья и круговорота, – серое бессилие, гложущее недовольство, трудолюбивейшая скука, нечестная нищета! Зрелище, какое являет собою современный человек, целиком и полностью превратилось в пустую видимость; в том, что он нынче выставляет напоказ, он сам не столько зрим, сколько скрыт; а остаток изобретательности в делах искусства, еще сохранившийся у какого-нибудь народа, скажем, у французов или итальянцев, уходит на искусство этой игры в прятки. Всюду, где теперь требуют

«формы», на публике и в частных беседах, в литературе, в сношениях между народами, под нею бессознательно подразумевают приятную видимость – антипод истинного понимания формы как необходимой конструкции, не имеющей ничего общего с «приятным» и «неприятным», и именно потому, что она необходима, а не произвольна. Но и там, где нынче среди цивилизованных народов не видно настойчивого требования формы, этой необходимой конструкции так же мало – просто в погоне за приятной видимостью люди не так удачливы, хотя как минимум столь же ревностны. А *как приятна* там и сям видимость и почему каждому должно быть приятно, что современный человек по крайней мере силится чем-то казаться, – это каждый ощущает в той мере, в какой он и сам современный человек. «Друг друга знают лишь рабы галер, – говорит Тассо, – <...> Но мы других *не узнаем* учтиво, чтоб и они не узнавали нас».

И в этом мире форм и осознанно принятого неузнавания появляются души, исполненные музыки, – с какою же целью? Они движутся поступью великого, свободного ритма, в благородной честности, в страсти, которая сверхлична, они воспламеняются могуче-спокойным огнем музыки, струящимся в них к свету из неисчерпаемой глубины, – и с какою же целью все это?

Через эти души музыка хочет найти соразмерную себе сестру, *гимнастику*, которая стала бы ее необходимым оформлением в сфере зримого: в ее поиске и в стремлении к ней она делается судьей над всем превратным миром показа и видимости, какой являет собою современность. Это и есть второй ответ Вагнера на вопрос о том, что должна означать музыка в нашу эпоху. Помогите мне, взывает он ко всем, кто может слышать, помогите мне положить начало той культуре, о которой пророчествует моя музыка как вновь обретенный язык правильного чувства, задумайтесь над тем, что душа музыки нынче хочет вылепить себе тело, что она ищет себе путь через вас всех к зримости в движении, деле, обустройстве и обычае! Есть люди, понимающие этот призыв, и их становится все больше; они даже с первого раза поймут, в свою очередь, что означает строить государство на основе музыки, – а это то самое, что эллины архаической поры не только понимали, но и требовали от себя:

и вот эти самые понимающие вынесут нынешнему государству приговор так же решительно, как большинство людей уже сейчас выносит приговор церкви. Путь к столь новой, но все же не всегда неслыханной цели, ведет к признанию того, в чем заключаются постыднейший изъян нашей воспитательной системы и подлинная причина ее неспособности выбраться из состояния варварства: в ней нет движущей и создающей форму души музыки, зато ее потребности и учреждения суть продукты эпохи, так и не породившей ту музыку, на которую мы возлагаем здесь столь многообещающую надежду. Наше воспитание – наиболее ретроградная структура современности, и ретроградно оно как раз в отношении той недавно возникшей воспитательной властной силы, наличие которой дает нынешним людям преимущество над прошлыми столетиями, – или могло бы давать, если бы они прекратили так бессознательно-современно жить и дальше, гонимые бичом мгновения. Доселе они не давали в своей душе приюта музыке – потому-то еще ничего не ведают и о гимнастике в греческом и вагнеровском смысле этого слова; а это в свой черед – причина, по которой представители их изобразительного искусства обречены на безнадежность, покуда они, как до сих пор и все еще, намерены обходиться без музыки как водительницы в новый мир созерцания: их дарование может вырасти как угодно, но все это будет слишком поздно или слишком рано и уж во всяком случае не вовремя, потому что излишне и безрезультатно, если уж даже совершенные и высшие достижения прежних времен, образцовые для нынешних художников, излишни и почти безрезультатны и не могут поставить еще один камень на другой. Если своим внутренним зрением нынешние люди созерцают не новые формы впереди себя, а только старые – позади, то служат своим представлениям об истории, а не жизни, и еще не успев умереть, уже мертвы. Но тот, кто в наши дни чувствует в себе подлинную, плодотворную жизнь, а сейчас это значит только одно – музыку, разве позволит он хоть на мгновение внушить себе далеко идущие надежды тому, что хлопочет об образах, формах и стилях? Он – вне любых сует подобного рода; и он не думает найти чудеса изобразительного искусства в стороне от своего идеального мира слуха, так

же как не ждет от наших исчерпавших себя и выцветших языков новых великих писателей. Для него уж лучше направлять глубоко неудовлетворенный взгляд на нашу современность, чем дарить свой слух каким-нибудь пустым утешениям: и пусть его переполнят желчь и ненависть, если сердце его недостаточно согрето для сострадания! Даже предаваться злости и глумлению для него лучше, чем вверять себя, наподобие наших «друзей искусства», лживому удовольствию и тихому пьянству. Но и в том случае, если он способен на большее, чем отвергать и глумиться, если он способен любить, сострадать и сотрудничать, ему все-таки для начала *придется* отвергать, чтобы благодаря этому сперва проторить путь для своей готовой прийти на помощь души. Чтобы музыка когда-нибудь стала внушать множеству людей благоговение и делать их посвященными в свои высочайшие цели, сначала нужно положить конец всякому сладострастному отношению к столь священному искусству; фундамент, на котором зиждутся наши художественные увеселения, театры, музеи, концертные предприятия, а именно, такой вот «друг искусства», должен быть предан анафеме; фавор, которым государство дарит его желания, должен превратиться в опалу; общественное мнение, придающее особую ценность именно ориентации на подобного рода дружбу с искусством, должно быть вытеснено другим мнением, получше. Когда-нибудь даже человек, *объявивший себя врагом искусства*, будет считаться нашим настоящим и полезным союзником, ведь то, врагом чего он себя объявляет, это всего лишь искусство в понимании «друга искусства»: он ведь не знает никакого другого! Да еще пусть он зачтет этому другу искусства и бесполезную трату денег, идущих на строительство его театров и публичных памятников, на оплату его «знаменитых» певцов и актеров, на обслуживание его совершенно бесплодных художественных училищ и собраний живописи: не говоря уж о том, сколько сил, времени и денег в каждом домашнем хозяйстве, в воспитании детей и юношества люди бросают на ветер ради мнимых «интересов искусства». Тут нет голода и нет насыщения, а всегда есть лишь вялая игра с видимостью того и другого, надуманная для максимально тщеславного выставления напоказ, чтобы ввести других в заблуж-

дение о себе; или еще того хуже: если искусство тут воспринимают относительно серьезно, то тогда уж требуют от него, чтобы оно вызывало особый голод и особое вожделение, а его задачу видят как раз в таком нарочито вызванном возбуждении чувств. Люди, будто страшась погубить себя сами отвращением и тупостью, вызывают всех злых демонов, чтобы те, словно охотники, гнали их как дичь: они томятся по страданиям, гневу, ненависти, накалу страстей, внезапному ужасу, замершему в груди дыханью и подзывают художника как заклинателя этой призрачной охоты. Нынешнее искусство в душевном хозяйстве наших образованных классов – совершенно превратная или постыдная, унизительная потребность, либо пустота, либо нечто порочное. Художник из числа тех, кто получше, более редких, чтобы не видеть всего этого, оказывается под властью как бы одурманивающего сновидения, и нерешительно, неверным голосом повторяет призрачно красивые слова, которые, как ему кажется, долетают до него откуда-то издалека, но недостаточно ясны; а вот художник целиком современного пошиба относится к сновидческим блужданиям и речам своего более благородного сотоварища с полным презрением и ведет за собою на веревке всю гавкающую свору связанных воедино страстей и мерзостей, чтобы по любому требованию спустить их на современных людей: те же предпочитают быть затравленными, ранеными и разорванными на куски, лишь бы не жить наедине с собою в тишине. Наедине с собою! – мысль эта заставляет содрогаться современные души, это *их* страх и боязнь привидений.

Когда в многолюдных городах я наблюдаю тысячные толпы людей, проходящих мимо с выражением тупости или спешки на лицах, то всякий раз говорю себе: должно быть, на душе у них очень скверно. И для всех для них искусство существует только ради того, чтобы они почувствовали себя еще сквернее, еще тупее и бессмысленней – или еще более лихорадочно и сладострастно. Ведь *неправильное чувство* беспрестанно гонит и муштрует их, не позволяя им признаться себе в собственной нищете; а когда они хотят говорить, условное соглашение шепчет им на ухо то, из-за чего они забывают, что хотели сказать на самом деле; когда они хо-

тят объясниться друг с другом, их ум оказывается парализованным словно каким-то заклинанием, и они называют своим счастьем то, что для них беда, а потому еще усерднее вступают в связи друг с другом, к своему несчастью. Так и выходит, что они полностью изменяют своей природе, унизительно превращаясь в безвольных рабов неправильного чувства.

6

Всего на двух примерах я покажу, насколько извратилось ощущение в нашу эпоху и насколько эпоха не осознает этой извращенности. Прежде с чистосердечным аристократизмом смотрели сверху вниз на людей, торговавших деньгами, хотя и нуждались в этих людях; все понимали, что у любого общества должны быть свои потроха. Теперь они – господствующая сила в душе современного человечества как его наиболее алчная часть. Прежде ни от чего не предостерегали так сильно, как от слишком серьезного отношения к дню, к моменту, рекомендуя nil admirari[1] и заботу о вечных потребностях; теперь в современной душе остался только один сорт серьезности, и направлена она на новости, которые приносят газета или телеграф. Воспользоваться минутой и, чтобы извлечь из нее пользу, оценить ее как можно быстрее! – Отсюда можно было бы заключить, что у нынешнего человека осталась хоть одна добродетель: присутствие духа. Увы, на деле это, напротив, вездесущее присутствие грязной ненасытной алчности и всюду сующего свой нос любопытства всех и каждого. *Присутствует* ли в наше время *дух* вообще – давайте предоставим исследование этого вопроса судьям из будущего, которые некогда просеют современных людей через свое решето. Но век наш пошл; это можно видеть уже сейчас, ведь он почитает то, что презирали прежние, аристократические столетия; и если он даже присвоил себе все сокровища мудрости и искусства прошедших эпох, расхаживая в этом самом пышном из всех одеяний, то проявляет какое-то жуткое сознание

1 Ничему не удивляться (*лат.*) – См.: Гораций. Послания. I, 6, 1.

собственной пошлости в том, что пользуется таким покровом не для обогрева, а только для отвода глаз. Жгучая потребность притворяться и прятаться кажется ему более настоятельной, чем потребность не мерзнуть. К примеру, нынешние ученые и философы пользуются мудростью индусов и греков не для того, чтобы самим получить мудрость и душевный покой: их работа призвана служить только одному делу – снискать современности обманчивую репутацию мудрой. Исследователи эволюции животных стараются представить животные вспышки насилия, коварства и мстительности в нынешних сношениях между государствами и людьми как неизменные законы природы. Историки с боязливой старательностью покушаются доказать положение, что у каждой эпохи есть собственное право, собственные условия существования, – дабы заранее сформулировать главную мысль защиты на грядущем судебном процессе, который разразится над нашей эпохой. Учение о государстве, о нации, об экономике, о торговле, о праве – все это имеет сейчас *упреждающе-апологетический* смысл; сдается даже, будто все, что еще в духе работает, все, что в нем не ушло на приведение в движение самого́ великого механизма барыша и власти, служит единственной задаче, а именно защите и оправданию современности.

А кто же будет обвинителем? (Спросят тут с недоумением.) – Собственная нечистая совесть.

Вот тут-то и становится сразу ясно, какова задача нынешнего искусства: тупость или опьянение! Погрузить в спячку или притупить чувства! Совесть обратить в неведение – тем или иным образом! Помочь современной душе выбраться из ощущения виновности, а не вернуться к невинности! И все это хотя бы на мгновения! Защитить человека от него самого так, чтобы он сам же заставлял себя молчать, чтобы доводил дело до неумения слушать! – У тех немногих, которые хоть раз на самом деле прочувствовали эту постыднейшую задачу, это ужасающее унижение искусства, душа навсегда до краев наполнится жалостью и состраданием: но еще и некоей новой, могущественной страстью. Кто стремится освободить искусство, вернуть его неоскверненную святость, тому придется сперва освободить себя от современной души; он имеет право обрести невин-

ность искусства, лишь сам будучи невинным, и обязан пройти два неимоверных очищения и посвящения. Если он выйдет из этого дела с честью, если освобожденной душою, с помощью своего освобожденного искусства обратится к людям, то вот тогда-то и окажется в величайшей опасности, ввяжется в самую страшную битву; люди скорее разорвут на куски и его самого, и его искусство, чем признают, что им лучше провалиться сквозь землю от стыда перед ними. Может оказаться, что спасение искусства, этот единственный обнадеживающий просвет в нашей эпохе, останется событием для нескольких одиноких душ, а большинство будет и дальше вперяться взглядом в мигающее и чадящее пламя своего искусства: ведь люди в большинстве своем *хотят* не света, а ослепления светом, ведь они *ненавидят* свет – свет, пролитый на них самих.

Поэтому они избегают нового светоносца; а тот идет за ними вослед, покоренный любовью, которой порожден сам и которой хочет покорить их. «Вы *обязаны* пройти через мои мистерии, – взывает он к ним, – вам нужны свои очищения и потрясения. Отважьтесь на это для собственного блага и разом бросьте плохо освещенный уголок природы и жизни, который вам, видимо, только и знаком; я поведу вас в области, не менее реальные, и вы сами, вернувшись из моей пещеры в свой день, скажете, какая жизнь более реальна и где, собственно, день, а где пещера. Природа внутри намного богаче, могущественнее, счастливее, ужаснее, вы не знаете ее, живя своей обычной жизнью: научитесь сами снова стать природой, а тогда позвольте моему колдовскому огню, моим любовным чарам участвовать в вашем внутреннем преображении».

Это голос *искусства Вагнера*, так оно обращается к людям. Если нам, детям жалкого века, было позволено первыми услышать его звуки, то это показывает, сколь достойным сожаления оказался именно этот век, и вообще показывает, что истинная музыка есть проявление рока и изначальный закон; ведь совершенно невозможно именно теперь объяснять ее звучание какой-то пустой, бессмысленной случайностью; случайный Вагнер был бы раздавлен превосходящей властной силой другой стихии, в которую он оказался заброшен. Но в становлении реального Вагнера ца-

рит просветляющая и оправдывающая необходимость. Его искусство, рассмотренное в своем возникновении, – великолепная драма, хотя бы само становление и было мучительным, – ведь повсюду тут видны разумность, закон, цель. Наблюдатель в блаженстве этой драмы будет восхвалять и само это мучительное становление и с наслаждением оценивать, как изначально предопределенной натуре и дарованию все и вся должно идти во благо и на пользу, через какие бы тяжкие испытания ей ни суждено было проходить, как всякая опасность закаляет ее, всякая победа делает более осмотрительной, как она питается ядом и злосчастьем, но при этом становится здоровой и крепкой. Насмешки и несогласие окружающих для нее – стимулы и стрекала; если она заблуждается, то возвращается домой из блужданий и затерянности с самой дивной добычей; если она спит, то «встает от сна лишь с новой силой». Она закаляет и тело, делая его крепче; проживая свою жизнь, она не пожирает ее; она правит Вагнером-человеком, словно окрыленная страсть, и дает ему взлететь как раз тогда, когда его ноги утомлены песком и ранены каменьями. Она не может никак иначе, чем отдавать, каждый должен соучаствовать в ее труде, она не скупится на дары. Отвергнутая, она дарит обильней, испорченная получившим дар, она дает в придачу еще и драгоценнейшее сокровище, каким владеет, – и никогда еще получившие не были достойны дара вполне, так гласит опыт и старый, и новый. Потому-то эта изначально предопределенная натура, через которую музыка обращается к миру явлений, – самая загадочная вещь на свете, бездна, где сила и доброта сочетаются в покое, мост между «я» и «не-я». Кто в силах точно назвать цель, для которой она вообще среди нас, если не разгадана и сама целесообразность того, как она сложилась? Однако можно, в радостном предчувствии, задать вопрос: неужто более великое существует ради более низкого, большее дарование – на пользу меньшего, высшая добродетель и святость – для немощи? Неужели подлинная музыка зазвучала потому, что люди *менее всего ее заслужили, но более всего в ней нуждались*? Надо хоть раз погрузиться в льющееся через край чудо этой возможности: если оглянуться оттуда на жизнь, то брызнет свет, какой бы мутной и отуманенной она не виделась прежде. –

7

Иначе и быть не может: наблюдателю, взору которого предстает такая натура, как вагнеровская, время от времени приходится непроизвольно примерять ее к себе, к своей ничтожности и немощности, и задавать себе вопрос: «Что она значит для меня? Зачем на самом деле существую *я*?» – Возможно, ответа он не найдет – и затихнет наедине с собой, пораженный и озадаченный. Пусть тогда с него будет довольно того, что он пережил именно это; пусть он расслышит ответ на свой вопрос как раз в том, что *чувствует себя отчужденным от собственной сущности*. Ведь именно этим чувством он участвует в самом мощном проявлении жизни Вагнера, в средоточии его силы, в той демонической *сообщаемости*, способности уступать себя, свойственной его натуре, которая настолько же умеет сообщать себя другим, насколько и сама сообщает себе других, и величие ее заключается в том, чтобы отдавать и принимать. Наблюдатель, будто бы потерпев поражение от изливающейся и бьющей через край натуры Вагнера, сам приобщился к ее силе и таким способом словно усилил себя *перед ним через него же*; а ведь всякий, кто хорошенько заглянет в себя, поймет, что даже для наблюдения потребна некая таинственная враждебность, враждебность встречного взгляда. Если его искусство позволяет нам пережить все то, что узнаёт душа, отправляющаяся в странствия, все то, к чему она приобщается в других душах и в их жребии, научаясь смотреть на мир глазами многих, то на основе такого отчуждения и отдаления мы становимся способны и видеть его самого, пережив его самого. Тогда мы совершенно определенно чувствуем: в Вагнере все зримое в мире хочет погрузиться и уйти глубоко в слышимое, ища свою потерянную душу; но точно так же в Вагнере все слышимое в мире хочет наружу и вверх, на свет дня, как явленное глазам, хочет словно обрести плоть. Его искусство всегда ведет его двойным путем, из мира как слышимой пьесы в загадочно родственный мир как видимую пьесу, и наоборот: он – и с ним вместе наблюдатель – постоянно принужден переводить зримую подвижную взволнованность назад, в душу и изначальную жизнь и, в свой черед, видеть сокровеннейшее творчество душев-

ных глубин как явление и одевать его в плоть видимости. Все это составляет характер *дифирамбического драматурга*, и во всей полноте своего понимания он заключает в себе одновременно актера, поэта и композитора: такое понимание с необходимостью следует из единственного совершенного проявления характера дифирамбического драматурга до Вагнера – Эсхила и его греческих товарищей по искусству. Если бы кто-то попытался вывести самые грандиозные творческие пути из внутренних заторов или пробелов, если, скажем, поэтическое творчество было для Гёте своего рода паллиативом его неудачи на поприще живописи, если о драмах Шиллера можно говорить как о метаморфозе способностей народного оратора, если сам Вагнер пытается объяснить себе любовь немцев к музыке среди прочего еще и тем, что они, лишенные того обольстительного двигателя, каким является врожденно-мелодический музыкальный слух, были вынуждены воспринимать музыку с тою же глубокой серьезностью, с какой их реформаторы восприняли христианство; если подобным же образом установить связь между творческим путем Вагнера и каким-нибудь внутренним затором такого рода, то, наверное, можно предположить наличие в нем врожденного актерского дара, которому пришлось отказать себе в поисках наиболее удобного, наиболее тривиального пути, и он нашел себе выход из положения и свое спасение в вовлечении всех искусств в великое драматургическое откровение. Но тогда с равным успехом можно было бы сказать, что эта самовластная музыкальная натура, в отчаянии от необходимости обращаться к натурам полумузыкальным и немузыкальным, силою пробила себе путь к другим искусствам, дабы таким образом, наконец, сообщить себя со стократной ясностью и добиться понимания, самого широкого народного понимания. Как бы ни представлять себе творческий путь прирожденного драматурга, он, достигнув зрелости и совершенства, являет собою творение без следа заторов и пробелов: это подлинно свободный художник, который живет мыслью во всех искусствах сразу, потому что просто не умеет иначе, посредник и примиритель двух мнимо разделенных сфер, восстановитель единства и цельности артистической творческой силы, которая не может быть ни раз-

гадана, ни разъяснена, а только проявлена на деле. А того, перед кем внезапно вершится это дело, оно подчиняет своей власти словно каким-то жутким, невероятно притягательным колдовством: и он сразу оказывается перед силой, сминающей сопротивление разума, мало того, убедительно показывающей, что все иное, среди чего человек жил дотоле, неразумно и неясно, – вынесенные из себя наружу, мы плывем в загадочной огненной стихии, забыв о себе, не узнавая самого знакомого; у нас больше нет под рукой никакой меры, все установленное, все застывшее начинает двигаться, любая вещь сияет новыми красками, обращается к нам новыми письменами. Тут уж нужно быть Платоном, чтобы при таком смешении самовластного блаженства и страха все же найти в себе силы, как это делает он, и обратиться к драматургу: «Если муж, который вследствие своей мудрости может стать чем угодно и подражать всем вещам, придет в наше государство, то мы воздадим ему почести как чему-то священному и чудесному, умастим его голову благовониями и увенчаем шерстью, но постараемся упросить его отправиться в какое-нибудь другое государство». Пусть человек, живущий в Платоновом государстве, может и должен принуждать себя к чему-то подобному: а мы, все остальные, живущие далеко не в нем, но в совсем другом государстве, тоскуем и жаждем появления среди нас волшебника, хотя и страшимся его, – как раз для того, чтобы наше государство однажды явилось отвергнутым, а с ним вместе тлетворный разум и власть, которые оно собой воплощает. Такое состояние человечества, его общественной сферы, нравов, жизненного уклада, общего устройства, при котором оно могло бы обойтись без подражающего художника, возможно, не совсем несбыточно, но именно эта возможность относится к самым отчаянным, какие только бывают, и весит ровно столько же, сколько непомерный груз; вести об этом речь дозволено тому, кто мог бы, предвосхищая, зародить и прочувствовать наивысшее мгновенье всего будущего, а потом, словно Фауст, должен был бы немедленно ослепнуть – и имел бы на это право: ведь у *нас* нет права даже на такую слепоту, тогда как Платон, к примеру, получил полное право быть слепым ко всему истинно эллинскому, бросив один-единственный взгляд на идеально-

эллинское. Нам, прочим, напротив, искусство нужно потому, что мы *прозрели как раз для реального*: и нужен нам как раз всеобъемлющий драматург, чтобы хотя бы на несколько часов избавить нас от этого ужасного напряжения, которое зрячий человек нынче ощущает между собой и взваленными на него задачами. Вместе с ним мы поднимаемся на самые высокие ступеньки ощущенья, и нам мнится, будто лишь там мы снова оказываемся на вольном воздухе и в царстве свободы; оттуда, словно сквозь огромные миражи, мы видим себя и себе подобных, видим всю борьбу, победы и поражения как нечто возвышенное и многозначительное, мы получаем наслаждение от ритма страсти и от ее принесения в жертву, при каждом могучем шаге героя мы слышим глухой отзвук смерти и, сознавая ее близость, ощущаем наивысшую притягательность жизни. Так, преображенные в трагических людей, мы в настроении странной умиротворенности возвращаемся к жизни – с новым ощущением уверенности, так, будто нашли путь из страшных опасностей, беспутств и экстазов назад, в родной мир границ, туда, где можно общаться рассудительно-добродушно и уж во всяком случае благороднее, чем прежде. Ведь все, что здесь предстает как злоба дня и нужда, как бег к цели, в сравнении с дорогой, которой, пускай лишь во сне, мы пробежали сами, оказывается странно похожим на разрозненные фрагменты всеобъемлющего переживания, осознаваемого нами с ужасом; мало того, мы будем в опасности и в искушении отнестись к жизни слишком легкомысленно именно потому, что поняли ее в искусстве с чрезмерной серьезностью (чтобы намекнуть на одну фразу Вагнера о своих жизненных перипетиях). Ведь если даже мы, только переживающие такое искусство дифирамбической драмы, но не творящие его, так и норовим счесть сновидение чуть ли не более реальным, чем сама жизнь, реальность, то как же должен расценивать этот контраст сам творец! Вот он стоит посреди всех громогласных и назойливых вызовов будней, нужд жизни, общества, государства – и кто же он тут? Вполне возможно, что он – единственный, кто не спит, единственный, кто настроен на подлинное и реальное посреди сбитых с толка, измученных сновидцев, посреди одних только грезящих, страдающих; иногда он даже, навер-

ное, чувствует, что оказался в лапах стойкой бессонницы, словно вынужден проводить свою столь бессонно освещенную и сознательную жизнь рядом с сомнамбулами, существами, которые всерьез заняты какими-то призрачными делами, и все, что для других просто буднично, ему кажется чем-то жутким, так что его подмывает побороть это свое ощущение озорной насмешкой. Но какое странное скрещивание испытывает такое чувство, когда к ясности его пробитого ознобом озорства присоединяется совсем другое побуждение, тоска высот по низинам, любовное томление по земле, по блаженству общности, – именно тогда, когда на память ему приходит все то, чего он, одинокий творец, лишен, и теперь, словно спустившийся на землю бог, должен немедленно «поднять пылающими руками к небесам» все слабое, человеческое, проигранное, дабы, наконец, снискать уже не поклонение, а любовь, и полностью освободиться от самого себя в любви! Но как раз предположенное здесь скрещивание и есть настоящее чудо, происходящее в душе дифирамбического драматурга: если уж его характер можно постичь где-нибудь еще и понятием, то лишь в этом самом месте. Ведь когда он испытывает напряжение в этом скрещении ощущений и соединяет в себе жуткие и озорные чувства странности и изумления по поводу мира со страстным желанием приблизиться к тому же самому миру с любовью, то это и есть творческие моменты его искусства. И какие бы взгляды он ни бросал тогда на землю, это всегда будут солнечные лучи, которые «выпивают воды», сбивают в клубок туманы, раздвигают грозовые облака. *Прозорливо-трезвый и в то же время любяще-самоотверженный*, падает его взгляд вниз, и все, что он теперь проясняет для себя этой удвоенной силой свечения своего взгляда, с ужасающей скоростью подгоняет природу к разрядке всех ее сил, к откровению самых сокровенных ее таинств: и все это благодаря *стыду*. Если сказать, что таким взглядом он застал природу врасплох, что увидел ее обнаженной, то это будет больше чем метафора: ведь тут она стыдливо хочет укрыться в своих противоположностях. Дотоле незримое, глубинное спасается в сфере зримого и становится явлением; что прежде было лишь зримым, прячется в темном море звука: *так природа, стремясь спрятаться, разоблачает суть*

своих противоположностей. В стремительно ритмичном и все же парящем танце, в экстатических жестах этот прирожденный драматург говорит о том, что сейчас происходит в нем, что происходит в природе: дифирамб его душевных движений – это настолько же дрожь понимания, озорной взгляд насквозь, насколько и любовное приближение, ликующее отречение от себя. Слово в опьянении следует по руслу этого ритма; в сочетании со словом звучит мелодия; а мелодия, в свой черед, бросает искры дальше, в царство образов и понятий. Картина сновидения, похоже-непохожая на образ природы и ее жениха, витает все ближе, она сгущается в человеческие фигуры, она разворачивается в вереницу всех героически-озорных стремлений, блаженного заката и угасания желаний: так возникает трагедия, так жизнь одаряется самой высокой своей мудростью, мудростью трагической идеи, так, наконец, появляется величайший волшебник и благодетель среди смертных – дифирамбический драматург. –

8

Подлинная жизнь Вагнера, то есть постепенное самораскрытие дифирамбического драматурга, была одновременно беспрестанной борьбою с собой – в той мере, в какой он был не только дифирамбическим драматургом: борьба с перечащим миром стала для него столь яростной и жуткой только потому, что он слышал, как этот «мир», эта соблазнительная врагиня, говорит его же устами, и потому что дал в себе приют властному демону переченья. Когда в нем сложилась *ведущая идея* его жизни – что через театр можно оказывать беспримерное воздействие, величайшее, на какое способно искусство вообще, – все его существо пришло в сильнейшее волнение. Это не принесло ему немедленного, ясного и яркого решения относительно своих дальнейших планов и действий; сперва идея явилась чуть ли не только в форме искушения, как выражение темной, ненасытно жаждущей *власти и блеска* личной воли. Воздействие, беспримерное воздействие – чем? на кого? – отныне это стало предметом неустанного вопрошания и поисков его ума и сердца.

Он хотел победить и завоевать, он, как доселе ни один другой художник, хотел по возможности одним ударом обрести то тираническое всемогущество, к которому его так необъяснимо влекло. Ревнивым, всматривающимся в глубину взглядом он оценивал все, что имело успех, а еще пристальнее он изучал тех, на кого надо было воздействовать. Колдовскими глазами драматурга, читающего в душах, как в раскрытой книге, он исследовал зрителя и слушателя, и хотя, разгадав их, он часто оказывался встревожен, все-таки тотчас принимал меры, чтобы покорить их. Эти меры имелись в его распоряжении; что сильно воздействовало на него, то он хотел, а также мог и сделать; в своих образцах он на каждой ступени разбирался ровно настолько, насколько мог создавать образцы и сам, и никогда не сомневался: он в состоянии сделать то, что ему запало в душу. Возможно, здесь он – натура еще более «презумпционная», чем Гёте, сказавший о себе: «Я всегда думал, что уже и так обладаю правами; если бы на меня надели корону, я подумал бы, что это только естественно». Мастерство Вагнера и его «вкус», равно как и его замысел, – всё это во все периоды было пригнано друг к другу так хорошо, как ключ пригнан к замку: все вместе оно *стало* великим и свободным – но тогда оно еще таким не было. Какое ему дело было до болезненных, но благородных и все-таки эгоистически-одиноких чувств, владевших тем или иным литературно и эстетически воспитанным другом искусства в стороне от большой толпы! Но самовластные бури в душах, порождаемые большой толпой на определенных подъемах драматического пения, внезапно охватывающее умы опьянение, насквозь честное и бескорыстное, – все это было отзвуком его собственного опыта и чувства, и тут уж его пронзала пылкая надежда на высочайшую власть и воздействие! Вот так он и понял *большую оперу* как свой инструмент, с помощью которого мог бы выразить свою ведущую идею; к ней его влекла страсть, на ее родину направлялся его взгляд. Долгий период его жизни, наполненный самыми отважными переменами в его планах, занятиях, местах пребывания, знакомствах, объясняется исключительно этой страстью и внешними препятствиями, которые выпадали на долю нуждающемуся, мятущемуся, страстно-наивному немецкому художнику. Как овла-

деть положением в этой сфере – тут лучше знал толк другой художник; и теперь, когда мало-помалу выяснилось, с помощью какой чрезвычайно поддельной паутины влияний всякого рода Мейербер сумел подготовить каждую из своих великих побед и одержать ее и с какой робостью подходили к вопросу о последовательности «эффектов» в самой опере, ясна и степень сконфуженной горечи, овладевшей Вагнером, когда ему открыли глаза на этот почти необходимый «художественный способ» добиться успеха у публики. Сомневаюсь, что в истории можно найти художника, который начинал со столь чудовищного заблуждения и столь безоглядно, доверчиво связывался с самой возмутительной трактовкой искусства: и все равно, способ, каким он это делал, был отмечен величием, а потому изумительной плодотворностью. Ведь именно охваченный отчаянием, которое было вызвано открывшимся ему заблуждением, он понял, что такое нынче успех, нынешняя публика и весь нынешний обман искусства. И когда он начал критически относиться к «эффекту», его охватила дрожь от предчувствий своего очищения. Он почувствовал себя так, будто отныне дух музыки обращается к нему с каким-то совершенно новым душевным очарованием. Как если бы, став на ноги после долгой болезни, он, больше не доверяя рукам и глазам, брел своей дорогой; тогда он пережил как некое чудесное открытие, что он еще и музыкант, еще и артист, мало того, что только теперь он ими и стал.

Каждая дальнейшая ступень в становлении Вагнера характеризуется тем, что две главные силы его существа смыкаются все теснее: их взаимные опасения ослабевают, высшее «я» отныне не просто добровольно служит самовластному земному брату, а *любит* его и чувствует себя обязанным ему служить. Самое нежное и чистое в конце концов, у предельной цели его становления, оказывается включенным в самое могущественное, необоримое влечение продолжает свой ход, как прежде, но другими дорогами, туда, где живет высшее «я»; а оно, в свой черед, нисходит к земле и во всем земном узнает свое подобие. Если бы можно было говорить о последней цели и результате этого развития на такой лад, не выходя за пределы понятного, то, наверное, следовало бы найти наглядное выражение, что-

бы обрисовать длительную промежуточную ступень в нем; но я сомневаюсь в первой возможности, а потому не рискну и на второе. Эта промежуточная ступень в отношении более ранней и более поздней определяется двумя выражениями: Вагнер становится *революционером общества*, Вагнер познает единственного художника, который был доселе, – *художественно творящий народ*. Ведущая идея, явившаяся перед ним после периода великого отчаяния и раскаяния в новом облике и более могущественной, чем когда-либо, подводила его к тому и другому. Воздействие, беспримерное воздействие через театр! – но на кого? Он содрогался от ужаса, вспоминая, на кого рассчитывал воздействовать прежде. Это переживание помогло ему понять постыдное положение, в котором находятся искусство и художник: общество бездушное или с очерствевшею душой, называющее себя добрым, но на самом деле скверное, числит искусство и художника в своей рабской свите, предназначенной для удовлетворения своих *мнимых потребностей*. Современное искусство – это предмет роскоши: он понял это так же, как и другое – что существование искусства целиком и полностью зависит от прав на него потребителей роскоши. Они, самым бессердечным и хитрым образом использовав свою власть, сумели превратить немощных – народ – во все более раболепную, подлую и ненародную массу и сделать из нее современных «пролетариев» – но точно так же лишило народ того величайшего и чистейшего, что он породил для себя в условиях страшного принуждения и в чем, будучи подлинным и единственным художником, сердечно излил свою душу – его мифа, песни, танца, языковой фантазии, чтобы дистиллировать отсюда афродизиак от усталости и скуки своего существования, а именно современные искусства. Как возникло это общество, как из мнимо противостоящих сфер власти оно сумело всосать в себя новые силы, как, скажем, христианство, опустившееся до ханжества и полуправды, стало использоваться для защиты от народа, для укрепления общества и его собственности, и как наука и ученые уж очень покорно впряглись в это тягло, – все это Вагнер изучил на материале истории, чтобы в итоге своих размышлений взорваться от ярости и отвращения: он стал революционером из сострадания к народу. С той поры он

возлюбил его, он затосковал по нему, как тосковал по своему искусству, ибо, увы, лишь в нем, в исчезнувшем, уже едва ощутимом, хитро отстраненном народе он видел теперь единственного слушателя и зрителя, достойного властной силы своего творения, каким он видел его в мечтах, и желавшего дорасти до него. И вот все его раздумья сосредоточились вокруг вопроса: как возникает народ? и как он возрождается к жизни?

Он неизменно находил лишь один ответ: если множество людей страдает от одной и той же нужды, как страдает от нее и он, то это народ, сказал он себе. А там, где одна нужда ведет к одному порыву и стремлению, нужно искать и один способ достижения цели, а в нем находить одно и то же счастье. И когда он оглядывался в поисках того, что больше всего утешило и ободрило бы в нужде его самого, что смягчило бы его бедственное положение, то с отрадной уверенностью понимал: таким утешением и ободрением могут быть только миф и музыка – миф, который был для него продуктом и языком народной нужды, и музыка, явление сходного, хотя и еще более загадочного происхождения. В этих двух стихиях он омывает и исцеляет свою душу, они нужны ему позарез: а отсюда он в состоянии сделать обратное заключение о том, насколько его собственная нужда родственна нужде народа в те времена, когда тот возникал, и что в таком случае народ должен возникнуть вновь, когда появится *много Вагнеров*. Как же миф и музыка жили в нашем современном обществе – в той мере, в какой не пали его жертвой? Их уделом стал сходный жребий – в знак их таинственной взаимосвязи: миф был глубоко унижен и извращен, его заставили переродиться в «сказку», в дарующее шуточную отраду достояние детей и женщин обезображенного народа, миф целиком лишили его чудодейственной, серьезно-священной мужской природы; музыка сохранилась среди бедных и простых, среди одиноких, у немецких композиторов не получилось удачно встроиться в производство искусств как предмета роскоши, они и сами превратились в страшную, недоступную сказку, полную самых трогательных звуков и предзнаменований, в беспомощных просителей, во что-то целиком околдованное и нуждающееся в спасении. Здесь наш художник ясно расслышал приказ,

объявленный ему одному, – творчески вернуть мифу его мужскую природу и расколдовать музыку, заставить ее говорить: он почувствовал, что его силы враз оказались раскованы для создания драмы, что заложены основы для его власти над еще не открытой промежуточной областью между мифом и музыкой. Теперь он поставил перед людьми свое новое произведение искусства, в котором, как только умел, соединил все мощное, приводящее души в движение, вызывающее восторг, вместе со своим великим, болезненно западающим в душу *вопросом*: «Где же вы, страдающие и нуждающиеся так же, как я? Где то множество, которого я так страстно жду в качестве народа? Я узнал бы вас по тому, что вы делили бы со мной общее счастье, общее утешение: по вашей радости открылось бы мне и ваше страдание!» Так он вопрошал своим «Тангейзером», своим «Лоэнгрином», так он искал вокруг себе подобных; одинокий возжаждал множества.

Но что он пережил после? Никто не ответил ему, никто не понял вопроса. И не то чтобы вообще продолжала царить тишина, напротив, посыпались ответы на тысячи вопросов, которых он вовсе и не ставил, раздалось чириканье о новых произведениях искусства, словно они были созданы специально только для того, чтобы их испортили болтовней. Среди немцев разразилась настоящая эйфория бумагомарательства и болтовни, со всех сторон принялись мерить и ощупывать его творения, его личность – с тем дефицитом стыдливости, который свойствен немецким ученым не меньше, чем немецким газетчикам. Вагнер попытался было дать подсказки для понимания своего вопроса статьями: новая путаница, новый звон в ушах – композитор, который пишет и мыслит, был тогда для всех каким-то абсурдом; тут поднялся крик: это теоретик, стремящийся перевернуть все искусство с помощью выдуманных понятий, побейте его камнями! – Вагнер был словно оглушен; его вопрос не был понят, его нужда не была пережита, его творение выглядело как сообщение глухим и слепым, его народ – подобным химере; он заколебался и пошатнулся. Его взору вдруг представилась возможность полного всеобщего ниспровержения, и он уже не ужаснулся перед этой возможностью: может быть, после переворота и опустошения возникнет новая надежда, а может быть, и нет – и уж во

всяком случае, такое ничто лучше, чем отвратительное нечто. Спустя недолгое время он становится политическим беглецом и оказывается на чужбине.

И лишь теперь, именно с этим ужасным поворотом его внешней и внутренней судьбы, в жизни великого человека начинается тот период, на который сияние высшего мастерства льется, словно отблеск текучего золота! Лишь теперь гений дифирамбической драматургии сбрасывает с себя последние покровы! Он уединяется, время перестает для него что-либо значить, он больше ни на что не надеется – поэтому его перспектива мира идет в глубину и на этот раз доходит до дна: там он видит, что страдание в природе самих вещей, и отныне, словно став более безличным, он более безропотно мирится и со своей долей страданий. Жажда величайшей власти, это наследие его прежних душевных состояний, полностью претворяется в художественное творчество; его искусство обращено только к себе самому, а не к публике или народу, как раньше, и он старается придать ему для такого самого могучего из всех диалогов величайшую ясность и добротность. С произведением искусства предшествующего периода дело еще обстояло иначе – даже там он делал расчет, правда, деликатный и облагороженный расчет на немедленный эффект: ведь в качестве вопроса мыслилось это самое произведение искусства, и оно должно было вызывать немедленный отклик, ответ; а уж как часто Вагнер стремился облегчить понимание тем, кому задавал свой вопрос, – вплоть до того, что, идя навстречу им с их неопытностью в ответах на вопросы, он приноравливался к более старым формам и выразительным средствам искусства; там, где ему приходилось опасаться, что его исконный язык окажется неубедительным и его, Вагнера, не поймут, он пытался уговаривать и оповещать о своем вопросе на языке наполовину чуждом, но более знакомом слушателям. Теперь не оставалось ничего, что могло бы диктовать ему такой расчет, теперь он хотел только одного: объясниться с самим собой, мыслить о сущности мира событиями, философствовать звуками; остаток того, что было в нем *умышленного*, ориентирован на *понимание* последних вещей. Кто достоин знать о том, что́ тогда в нем свершалось, о чем он беседовал с собой в священнейшем

мраке своей души, а достойны этого немногие, – тот да услышит, увидит и переживет «Тристана и Изольду», настоящий opus metaphysicum всяческого искусства, творение, на котором покоится угасающий взор умирающего, со всей его ненасытной сладчайшею тоской по таинствам ночи и смерти, далеко в стороне от жизни, злой, обманчивой и разлучающей, резко обдающей ужасающим, призрачным утренним светом: при этом драматическое действие отличается самой суровой строгостью формы, простое величие которой захватывает душу и которая лишь таким образом соответствует своему предмету – тайне того, как можно умереть заживо, тайне единства в двойственности. Но есть нечто еще более чудесное, чем это творение: сам художник, сумевший после него за короткий срок создать картину мира всех цветов радуги – «Нюрнбергских мейстерзингеров», мало того, художник, в обоих этих творениях словно отдохнувший и освежившийся, чтобы, поспешая в пору, довести до завершения четырехчастную циклопическую постройку, задуманную и начатую еще до них, свои помыслы и творческие порывы, владевшие им на протяжении двадцати лет, свое байрейтское произведение искусства – «Кольцо нибелунга»! Если кому-то покажется странным соседство «Тристана» и «Мейстерзингеров», это значит, что в одном важном пункте он не понял жизни и характера всех подлинно великих немцев: он не знает, на какой почве только и могла вырасти та истинно и исключительно *немецкая неомраченность* Лютера, Бетховена и Вагнера, которая совершенно недоступна пониманию других народов, да, кажется, пропала и у самих нынешних немцев, – на почве сияющей золотом, неудержимо притягательной смеси простодушия, ясновидящей любви, созерцательности и плутовства, какую Вагнер как драгоценнейший напиток налил всем тем, кто перенес от своей жизни сильные страдания и теперь снова обращает к ней лицо как бы с улыбкой выздоравливающего. И когда он сам поглядел на мир более дружелюбно, когда бешенство и отвращение стали овладевать им реже, когда он начал скорее отказываться от властной силы, полный печали и любви, чем в ужасе отшатываться от нее, когда он в тишине принялся двигать вперед свое величайшее творение и писать партитуру за партитурой, случилось то, что

заставило его прислушаться: пришли *друзья*, чтобы возвестить ему о некоем подземном движении умов – то был еще отнюдь не пришедший в движение и возвестивший о себе таким образом «народ», но все же, возможно, зародыш и первый исток жизни подлинно человеческого общества, которое окончательно сложится в далеком будущем. Главным же образом то было лишь ручательством в том, что его великое творение некогда может попасть в руки и под защиту надежных людей, которые охраняли бы – и были бы достойны охранять – этот самый великолепный завет для потомков; полуденные краски его жизни стали более сияющими и теплыми в любви друзей; теперь он уже не один лелеял свою благороднейшую заботу – довести до завершения свое творение как бы еще до наступления вечера и найти для него убежище. И тут произошло событие, которое он мог истолковать для себя только символически, событие, ставшее для него новой отрадой, счастливым предзнаменованием. Его взор приковала к себе великая война немцев, тех самых немцев, которых он знал столь глубоко выродившимися, изменившими высокому немецкому жизнеощущению, с глубочайшим пониманием изученному и познанному им на своем примере и на историческом примере других великих немцев, – и он увидел, что эти немцы в совершенно чудовищной ситуации продемонстрировали две подлинные добродетели: простодушную храбрость и присутствие духа. Тогда он с самым искренним блаженством начал верить, что он сам, возможно, – не последний немец в истории и что некогда его творению будет помогать еще одна властная сила – самоотверженная, хотя и незначительная энергия немногих друзей, в течение того долгого срока, когда ему придется поджидать предназначенного для него будущего в статусе произведения искусства этого будущего. Возможно, эта вера недолго могла защищаться от сомнения, по мере того, как он нарочно пытался вызывать в себе немедленные надежды: достаточно было, что он ощутил мощный стимул помнить о своем еще не выполненном высоком *долге*.

Его творение не было бы закончено, не было бы доведено до полного завершения, если бы он оставил его потомкам лишь в виде молчащей партитуры: и ему пришлось публично показать и разобрать самое потаенное, самое со-

кровенное – новый стиль исполнения и изображения, дабы дать пример, какой мог дать никто другой, и таким образом заложить основы *стилистической традиции*, написанной не знаками на бумаге, а воздействиями на человеческие души. Это стало его важнейшим долгом, и в тем большей степени, что другие его произведения, как раз в отношении стиля изложения, постигла между тем самая немилосердная и нелепая судьба: они были прославлены, ими восхищались – но их исковеркали, и никто, кажется, этим не возмутился. Ведь как ни странно, но это факт: в то время как он, самым проницательным образом оценивая современников, все основательнее отказывался от успеха у них и отрекался от мысли о власти, «успех» и «власть» к нему приходили; по крайней мере, все ему об этом заявляли. Он очень решительно все снова изобличал совершенно превратный, даже постыдный для него характер таких «успехов», – ничего не помогало; публика была так мало приучена точно распознавать художника по видам его воздействий, что толком не поверила даже самым торжественным его протестам. После того, как ему открылась взаимосвязь между нашим нынешним театром, театральным успехом и характером нынешнего человека, в душе своей он распрощался с этим театром; ему уже не было дела до эстетического энтузиазма и ликования возбужденных масс, мало того, он поневоле приходил в ярость, видя, как его искусство так безразлично поглощалось зевающей глоткой ненасытной скуки и жаждой развлечений. Насколько плоским и бездумным будет здесь любое воздействие, насколько дело здесь в действительности сводится больше к наполнению бездонной бочки, чем к насыщению голодающего, ему стало ясно главным образом из наблюдения над одним регулярным явлением: даже постановщики и исполнители везде безропотно воспринимали его искусство, как и всякую другую сценическую музыку, в соответствии с отвратительной книгой рецептов оперного стиля и даже – благодаря образованным капельмейстерам – обстругивали и обрубали для себя его произведения до оперы, а певцы думали, что к ним можно подходить лишь по тщательном лишении себя духа; но уж когда возникало желание сделать все как следует, то неуклюже и с жеманной стеснительностью приступали к освоению вагнеровских предпи-

саний, примерно так, как если бы ночное скопление народа на нюрнбергских улицах, предписанное Вагнером во втором акте «Мейстерзингеров», задумали изображать, выводя на сцену одного балетного танцора, делающего неестественные па: и при всем при том, казалось, свято верили, будто действуют без всяких коварных задних мыслей. Самоотверженные попытки Вагнера делом и примером указать хотя бы только на простую корректность и полноту постановки и научить отдельных певцов совершенно новому исполнительскому стилю все снова полностью затягивались тиной царящего всюду бездумья и рутины; к тому же эти попытки заставляли его постоянно заниматься как раз тем театром, самая суть которого ему стала отвратительна. Впрочем, и сам Гёте потерял всякую охоту ходить на свою «Ифигению»: «Я ужасно страдаю, – объяснил он, – когда мне приходится отбиваться от этих призраков, которые являются не так, как надо». Одновременно «успех» в этом набившем ему оскомину театре все возрастал; наконец, дело дошло до того, что именно большие театры стали жить чуть ли не преимущественно на обильные доходы, которые получали от порчи вагнеровского искусства как искусства оперного. Путаница в голове по поводу этого растущего пристрастия театральной публики охватила даже некоторых друзей Вагнера: ему, великому страдальцу, пришлось вытерпеть много горького, наблюдая опьянение своих друзей от «успехов» и «побед», когда его одиноко парящая над всем идея была поражена в самую свою сердцевину и отвергнута. Так и казалось, что какой-то во многом серьезный и тяжеловесный народ старается, чтобы его ужасающее легкомыслие не зачахло в отношении к своему самому серьезному художнику, и что именно поэтому на нем, на художнике, нужно было выместить всю пошлость, тупость, неуклюжесть и озлобленность в немецком характере. – И вот, когда во время немецкой войны, казалось, возобладало более возвышенное, свободное направление умов, Вагнер вспомнил свой долг верности, чтобы по крайней мере спасти свое величайшее творение от этих превратных успехов и поруганий и настроить его в соответствии со своим исконным ритмом, в качестве примера на веки вечные: так он открыл *идею Байрейта.* Итогом названного направления умов он

надеялся увидеть возросшее повышенное чувство долга и у тех, кому хотел вверить свое ценнейшее достояние: на почве такой обоюдности долга выросло событие, которое, подобно нежданному лучу солнца, осветило последние, ближайшие к нам годы. Сотворенное мыслью на благо далекого, лишь возможного, но непредсказуемого будущего, для настоящего и для людей, ограниченных настоящим, оно – едва ли нечто большее, чем загадка или мерзость, для немногих имеющих право соучаствовать в нем – предвкушение, высочайшего уровня набросок будущей жизни, благодаря которому они чувствуют себя осчастливленными, приносящими счастье и плодоносящими далеко за пределами своего времени, для самого же Вагнера – угнетенность от трудов, забот, раздумий, скорбей, всегда свежее неистовство враждебных элементов, но все это перекрыто лучами звезды, имя которой – *бескорыстная верность*, и в этом свете оно преображается в несказуемое блаженство!

Вряд ли стоит специально и оговаривать: на этой жизни лежит печать трагизма. И всякий, кто в состоянии ощутить это собственной душой, всякий, кому не вовсе незнакомы неизбежность трагической иллюзии о цели жизни, нарушение и крушение замыслов, отречение и очищение любовью, должен почувствовать упоительное возвращение памятью к собственному героическому существованию великого человека в том, что́ Вагнер сейчас показывает нам своим произведением искусства. Из дальней дали на нас повеет ощущением, будто Зигфрид ведет рассказ о своих подвигах: в блаженнейшем воспоминании вдруг шевельнется глубокая скорбь позднего лета, и вся природа стихает в золотом свете вечера.

9

Размышлять о том, *кто такой Вагнер как художник*, и, наблюдая, прослеживать драму до конца освобожденного мастерства и права творить: вот что станет необходимо для исцеления и восстановления сил всякому, кто мыслил и перестрадал в себе, *как сложился Вагнер-человек*. Если искусство – вообще только способность сообщать другим то, что ты пережил

сам, если всякое произведение искусства, не умеющее доходчиво истолковать себя, несостоятельно, тогда величие Вагнера-художника должно заключаться именно в той демонической сообщаемости его натуры, что словно вещает о себе на всех языках и с величайшей ясностью раскрывает внутреннее, глубоко индивидуальное переживание; его появление в истории искусств подобно извержению вулкана всей совокупной мощи искусства, какой обладает сама природа, когда человечество уже приучило себя к виду обособленных искусств как к правилу. Поэтому не поймешь, какое имя ему дать – называть ли его поэтом, или сценическим художником, или композитором, беря каждое из этих слов в необычайно расширительном смысле, или же надо бы придумать для него первого какое-нибудь новое слово.

Поэтическое начало в Вагнере проявляется в том, что он мыслит не понятиями, а событиями, которые можно увидеть и пережить, иными словами, он мыслит на мифический лад, как всегда мыслил народ. В основе мифа лежит не идея, как ошибочно полагают чада неестественно-манерной культуры, – нет, он сам есть мышление; он дает представление о мире, но делает это, показывая вереницу событий, поступков и страданий. «Кольцо нибелунга» – это необъятная система мышления без понятийной формы мышления. Возможно, какой-нибудь философ и смог бы поставить рядом с ним нечто вполне соответствующее, но совершенно лишенное картин и поступков и обращающееся к нам одними понятиями. Тогда оказалось бы, что одно и то же представлено в двух раздельных сферах: один раз для народа и один – для его противоположности, теоретического человека. Стало быть, Вагнер обращается не к этому последнему; ведь теоретический человек в подлинной поэзии, то есть мифе, понимает ровно столько же, сколько глухой в музыке, иначе говоря, оба видят какое-то движение, которое кажется им бессмыслицей. Из одной такой раздельной сферы невозможно заглянуть в другую: покуда ты под властью поэта, ты мыслишь вместе с ним, будто ты – существо, умеющее только чувствовать, видеть и слышать; выводы, которые тут делают, суть взаимосвязи между зримыми событиями, и, значит, это не логические, а фактические причинные последовательности.

Если герои и боги таких мифологических драм, какие сочиняет Вагнер, обязаны ясно выражать себя и в словах, то ближайшая опасность будет заключаться в том, что этот *язык слов* пробудит в нас теоретического человека и тем самым перенесет нас в некую иную, немифическую сферу: и тогда посредством слова мы в конце концов отнюдь не станем лучше понимать, что произошло на наших глазах, а не поймем вообще ничего. Поэтому Вагнер загнал язык назад, в некое исходное состояние, где тот еще почти ничего не смыслит в понятиях, где тот еще и сам есть поэзия, образ и чувство; бесстрашие, с каким Вагнер подошел к этой очень пугающей задаче, показывает, как властно вел его поэтический дух, его, которому приходилось идти следом, куда бы ни держал свой путь его призрачный вожатый. Надо было, чтобы каждое слово этих драм пелось, и исходить они должны были из уст богов и героев: таково было сверхобычное требование, которое Вагнер поставил перед своей языковой фантазией. Любой другой тут, должно быть, пал бы духом; ведь язык наш кажется чуть ли не слишком старым и дряблым, чтобы требовать от него того, чего требовал Вагнер, – и все-таки его удар по скалам исторг из них обильный родник. Вагнер, именно потому, что любил этот язык больше и большего от него требовал, и страдал от его вырождения и истощения больше, чем другие немцы, – страдал от многообразных изъянов и искажений форм, от неповоротливых частиц наших сложноподчиненных предложений, от не дающихся пению вспомогательных глаголов: а ведь все это вещи, вошедшие в язык через грехи и моральные падения. Зато он с глубокой гордостью ощутил еще не исчезнувшие и по сей день самобытность и неисчерпаемость этого языка, певучую силу его корней, в которых он, в противоположность крайне производным, неестественно-риторическим языкам романской группы, почуял чудесную склонность и приуготовление к музыке, к подлинной музыке. Поэзия Вагнера дарит немцам наслаждение, в общении с ним они обретают сердечность и искренность, и ни один немец, за исключением Гёте, не дает так пережить свои чувства другим. Осязаемость выражения, отважная сжатость, властная сила и ритмическое разнообразие, необычное богатство сильных и значимых слов, упрощение

синтаксиса, чуть ли не уникальная изобретательность в языке волнующегося чувства и предчувствия, порой совершенно чисто бьющая ключом народность и качество крылатого слова – можно перечислять подобные свойства и дальше, но в тени неизменно останутся еще более значительные и достойные изумления. Тот, кто прочтет одну за другой две таких драмы, как «Тристан» и «Мейстерзингеры», почувствует такое же изумление и сомнение в отношении слов, что и в отношении музыки: неужто оказалось возможным творчески повелевать двум мирам, столь же различным по форме, краскам, структуре, как и по душе! Это и есть самое мощное в вагнеровском даровании, нечто такое, что дается лишь великому мастеру: для каждого произведения творить новый язык и наделять новую внутреннюю жизнь новой же плотью и новым звучанием. Там, где проявляется такая наиредчайшая мощь, всякий упрек, относящийся к отдельным шалостям и странностям или к нередко встречающимся случаям непрозрачности оборотов и неясности мысли, всегда будет мелочным и неконструктивным. Да и, помимо прочего, для тех, кто высказывал такие упреки громче всех, предосудительным и неслыханным был, в сущности, не столько язык, сколько душа, то есть общая манера страдать и ощущать. Подождем, покуда эти люди сами обретут какую-то иную душу, – тогда они и заговорят на каком-то ином языке: тогда-то, как мне кажется, и с немецким языком в целом дело будет обстоять лучше, чем нынче.

Но прежде всего любой, кто размышляет о Вагнере-поэте и ваятеле языка, не должен забывать, что ни одна из вагнеровских драм не предназначена исключительно для чтения и, стало быть, не может быть обременена требованиями, которые предъявляются к чисто стихотворной драме. Последняя стремится воздействовать на душу посредством одних понятий и слов; эта цель вводит ее в сферу компетенции риторики. Но в жизни страсть редко бывает красноречивой: в стихотворной же драме она должна быть именно такой, чтобы ее вообще как-нибудь поняли. Но если язык народа уже находится в состоянии упадка и изношенности, то драматург-стихотворец оказывается в искушении придавать языку необычную окраску и новые формы; он стремится поднять язык, чтобы тот снова позволил зазву-

чать приподнятому чувству, и тут он подвергается опасности, что его не поймут вообще. Равным образом возвышенными изречениями и выдумками он пытается придать страсти какой-то накал, а из-за этого подвергается, в свой черед, другой опасности – казаться фальшивым и вымученным. Ведь действительная страсть в жизни не изъясняется сентенциями, а выдуманная поэтами с легкостью возбуждает недоверие в отношении своей честности, когда принципиально отличается от этой действительности. Вагнер же, первый, кто распознал внутренние изъяны стихотворной драмы, дает каждому драматическому событию тройное разъяснение – в слове, жестах и музыке; тут музыка прямо переносит глубинные внутренние движения действующих лиц в души слушателей, которым теперь впервые открывается внешний вид внутренних движений в жестах этих персонажей, а в тексте – еще и их второй, куда менее проявленный облик, переведенный на язык осознанных желаний. Все эти воздействия происходят одновременно, ничуть не мешая друг другу, подталкивая того, перед кем разыгрывается такая драма, к совершенно новому пониманию и сопереживанию, так, будто его чувства одним махом оказались одухотворены, а его дух – полон чувства, и будто все, что просится из души человеческой наружу и жаждет быть познанным, теперь свободно и блаженно ликует в познании. Каждое событие вагнеровской драмы доходит до зрителя с величайшей ясностью, и притом пронизанное изнутри светом и жаром музыки, а потому драматург-композитор мог обойтись без всех тех средств, какие необходимы драматургу-стихотворцу, чтобы придать событиям своей драмы теплоту и светимость. Все хозяйство драмы получило право на бóльшую простоту, а ритмическое чувство архитектора, в свою очередь, отважилось проявить себя в монументальных общих пропорциях здания; ведь теперь уже не было никаких причин преднамеренно усложнять и создавать сбивающую с толка многоликость архитектурного стиля, посредством чего драматург-поэт, радея о своем творении, стремится вызвать чувство удивления и напряженного интереса, чтобы затем усилить его до чувства благодарного восхищения. Впечатления идеализирующей дали и высоты нельзя было добиться только искусными приема-

ми. Язык отступил из риторической шири в сжатость и силу эмоциональной речи; и хотя изображающий художник говорил о том, что делал и ощущал в сценическом действии, гораздо меньше, чем прежде, но внутренние события, дотоле удерживавшиеся страхом драматурга-поэта перед мнимо недраматическим началом вдали от сцены, теперь вынуждали слушателя страстно сопереживать, в то время как сопровождающий язык жестов нужно было пускать в ход лишь в виде тончайшей модуляции. Да и вообще, пропетая страсть занимает несколько больше времени, нежели произнесенная; музыка как бы растягивает ощущение: отсюда в общем и целом следует, что если изображающий художник – одновременно и певец, то ему приходится преодолевать чрезмерную непластичную возбужденность движения, от которой страдает сценическая стихотворная драма. Он ощущает тягу к облагораживанию жестикуляции, и тем сильнее, что музыка погрузила его ощущение в купель какого-то более чистого эфира и тем непроизвольно приблизила к красоте.

Сверхобычные задачи, поставленные Вагнером перед актерами и певцами, на всю жизнь разожгли среди них дух соперничества, а в результате образ вагнеровского героя воплотился в самой телесной зримости и завершенности: ведь эта завершенная телесность уже заложена в музыке драмы. Следуя за этим вожатым, глаза художника-пластика узрят, наконец, чудеса нового сценического мира, которые до него первым увидел лишь создатель таких произведений, как «Кольцо нибелунга»: он – *сценический художник* высшего типа, прокладывающий, как и Эсхил, пути для грядущего искусства. И разве великие дарования не будут пробуждены уже одной только ревностью, когда пластическое искусство станет сравнивать свое воздействие с воздействием такой музыки, какова вагнеровская, излучающая чистейшее, лучезарнейшее блаженство, так что ее слушатель почувствует себя так, словно почти вся прежняя музыка говорила на языке, лишенном глубины, стесненном, несвободном, словно прежде с ее помощью стремились разыгрывать шутки – перед теми, что не были достойны серьезности, или словно с ее помощью нужно было поучать и давать уроки – тем, что не были достойны даже шуток? Такое блаженство проникает в нашу душу из этой, прежней, музыки лишь на крат-

кие часы, а в музыке Вагнера мы ощущаем его всегда: кажется, что ею овладевают редкие мгновения забывчивости, и тогда она говорит лишь с собою, направляя взгляд ввысь, словно Цецилия у Рафаэля, и прочь от слушателей, требующих от нее развлечения, увеселения или учености.

О Вагнере как *композиторе* в целом можно сказать: он дал язык всему тому в природе, что доселе не желало говорить – он не верит в то, что на свете должно существовать нечто немое. Он погружается и в утренние зори, лес, туманы, пропасти, горные вершины, трепет ночи, лунный блеск – и замечает их тайную страсть: они тоже хотят звучать. Если философ говорит, что это – единая воля, жаждущая существования в живой и неживой природе, то композитор добавляет: и эта воля на всех уровнях хочет обрести звучащее существование.

До Вагнера музыка жила в тесных границах; она соотносила себя с неизменными человеческими состояниями, с тем, что греки называли этосом, и лишь у Бетховена начала обретать язык пафоса, страстного желания, драматических событий, разыгрывающихся в глубинах души. Прежде какому-то настроению, сдержанности или веселья, благоговения или покаяния, нужно было обнаруживать себя через звуки, и посредством известной явной однородности формы, а также длительного выдерживания этой однородности, слушателя стремились принудить к истолкованию такой музыки, а в конце концов и привести в такое же настроение. Для каждой такой картины настроения и душевного состояния требовалась своя, отдельная форма; иные стали в них рутинными благодаря конвенции. Длительность произведения была делом предусмотрительности композитора, который, конечно, стремился привести слушателя в определенное настроение, но вовсе не хотел заставить его скучать из-за ее чрезмерности. Следующий шаг был сделан, когда картины контрастирующих настроений стали перемежать, открыв всю прелесть контраста, а еще один – когда в одну и ту же пьесу начали вводить противоположность этоса, к примеру, через антагонизм мужской и женской тем. Все это – еще сырые и самые первые ступени музыки. Боязнь страсти диктует одни законы, боязнь скуки – другие; все приливы и эксцессы чувства ощущались как «неэтичные». Но вот,

наконец, искусство этоса, уже устав изображать все одни и те же привычные состояния и настроения, оказалось исчерпанным, несмотря на изумительнейшую изобретательность своих мастеров. Бетховен первым научил музыку новому языку, дотоле запретному языку страсти: но поскольку его искусство выросло на почве законов и конвенций искусства этоса и как бы поневоле оправдывалось перед ним, то его становлению как художника была свойственна своеобразная затрудненность и невнятность. Внутридушевное драматическое событие – ведь всякой страсти присущ драматический ход – стремилось пробиться к новой форме, но традиционная схема музыки настроения противилась этому и чуть ли не с высоконравственной миной предостерегала от распространения безнравственности. Иногда так и кажется, что Бетховен поставил перед собой противоречивую задачу – выразить пафос средствами этоса. Однако эта мысль не относится к самым великим и самым поздним произведениям Бетховена. Чтобы изобразить великую парящую арку страсти, он нашел по-настоящему новое средство: обособил отдельные пункты ее траектории и обозначил их с величайшей определенностью, чтобы потом через слушателя дать *угадать* по ним всю линию. Эта новая форма, если смотреть на нее чисто внешне, вела себя, как сочетание нескольких музыкальных пьес, каждая из которых изображала будто бы какое-то неизменное состояние, а на самом деле – одно мгновение драматического хода страсти. Слушателю могло казаться, что он слышит старую музыку настроения, вот только соотношение отдельных частей сделалось непостижимым для него и не давалось толкованию по канону контраста. Даже у композиторов выработалось пренебрежение к требованию художественной архитектонической целостности; последовательность частей в их произведениях стала произвольной. Находка большой формы для страсти из-за превратного понимания привела назад, к обособленным частям с произвольным содержанием, и всякое напряжение между частями пьесы исчезло. Потому-то симфония после Бетховена приобрела какой-то причудливо-невнятный вид, особенно когда все еще пытается промямлить отдельные вещи на языке бетховенского пафоса. Средства не соответствуют замыслу, а замысел в целом во-

обще остается неясен слушателю, потому что никогда не был ясным уже в голове автора. Но именно требование полной определенности содержания и полной ясности его выражения становится тем более непременным, чем выше, сложнее и взыскательнее жанр искусства.

Поэтому все усилия Вагнера пошли на то, чтобы найти всяческие средства, обеспечивающие *внятность*; а для этого ему было необходимо в первую очередь избавиться от всех предубеждений и претензий, свойственных старой музыке душевных состояний, и вложить в уста своей музыке, звучащему процессу чувства и страсти, полностью однозначную речь. Если мы посмотрим на то, чего он достиг, то обнаружим: в области музыки он совершил примерно то же, что в области ваяния – изобретатель свободно стоящей группы. Вся прежняя музыка в сравнении с вагнеровской кажется деревянной или оробевшей, так, словно ее нельзя осмотреть со всех сторон и ей поэтому стыдно. Вагнер овладевает каждой ступенью и каждым нюансом чувства с величайшей уверенностью и определенностью; он берет в руки самые тонкие, странные и необузданные движения души, не боясь их упустить, и держит их как нечто затвердевшее, устоявшееся, хотя всякий другой увидел бы в них, должно быть, бабочку, к которой страшно даже прикоснуться. Его музыка никогда не бывает неопределенной, влекомой настроением; у всего, о чем она говорит, будь то человек или природа, есть свой строго индивидуализированный пафос; буря и пламя обретают у него принуждающую властную силу личной воли. Над всеми звучащими индивидами и борьбой их страстей, над всем водоворотом антагонизмов с величайшей вдумчивостью парит всесильный симфонический разум, постоянно рождающий мир из войны: музыка Вагнера как целое есть отражение мира, как его понимал великий эфесский философ, то есть как гармонии, порождаемой битвой, как единства справедливости и вражды. Я изумляюсь способности вычислить великую линию общей страсти из многочисленных страстей, разбегающихся по разным направлениям: что это вообще возможно, несомненно явствует, по-моему, из каждого отдельного акта любой вагнеровской драмы, параллельно повествующего отдельные истории различных персонажей и их об-

щую историю. Мы уже с самого начала чувствуем, что перед нами отдельные сшибающиеся течения, но все они подчиняются единому потоку, мощно прокладывающему себе путь в одном направлении: сначала этот поток течет беспокойно, через скрытые на дне скалы, и порою кажется разорванным, стремящимся растечься в разных направлениях. Мало-помалу мы замечаем, что внутреннее общее движение стало более могучим, захватывающим; судорожное беспокойство превратилось в покой широкого устрашающего движения к какой-то еще неведомой цели; и внезапно, в завершение всего, поток во всей своей шири свергается в глубины, демонически наслаждаясь бездной и грохотом волн. Вагнер больше всего бывает Вагнером, когда трудности приумножаются и он с наслаждением законодателя может распоряжаться всем с неимоверным размахом. Обуздать простыми ритмами неистовые, схлестывающиеся массы, провести единую волю через запутанное разнообразие притязаний и вожделений – вот задачи, для выполнения которых он чувствует себя рожденным, в которых чувствует себя свободным. При этом он никогда не сбивается с дыхания, никогда не достигает своей цели запыхавшимся. Он всегда так же неустанно стремился возлагать на себя самые трудные законы, как другие – облегчить себе бремя; жизнь и искусство угнетают его, если он не может играючи управляться с их самыми сложными проблемами. Стоит поразмыслить хотя бы о соотношении ариозного пения с мелодией речитатива – о том, что он обращается с высотой, силой и темпом человеческого голоса, говорящего со страстью, как с природным прообразом, который он должен преобразовать в искусство; стоит поразмыслить, в свою очередь, о включении такой поющей страсти в целостную симфоническую связь музыки, чтобы познакомиться с чудом преодоленных трудностей; при этом его изобретательность в большом и в малом, вездеприсутствие его духа и прилежания – такого рода, что при виде вагнеровской партитуры так и хочется думать, будто ему вообще не пришлось проделывать тяжелую работу и прилагать усилия. Кажется, будто и в отношении тягостного труда искусства он мог бы сказать, что подлинная доблесть драматурга заключается в отказе от себя, но он, вероятно, возразил бы: есть лишь

один тягостный труд – труд того, кто еще не стал свободным; доблесть же и добротность совсем не трудны.

Если судить о Вагнере как о художнике в целом, то видно, что есть в нем, чтобы упомянуть о хорошо известном типе людей, что-то от Демосфена: устрашающе серьезный подход к делу и властная сила руки, которой он всякий раз схватывает самую суть дела; он мгновенно сжимает его рукой – и оно застывает, будто отлитое из металла. Как и тот, он скрывает свое искусство или заставляет о нем забыть, принуждая думать о существе дела; и все же он, подобно Демосфену, – крайнее и высочайшее явление, составляющее фон для целого ряда мощных художественных умов, а, значит, и скрывать ему приходится больше, чем наиболее видным представителям этого ряда; его искусство воздействует, словно природа, словно восстановленная, вновь обретенная природа. В нем нет ничего показного, что было присуще всем предшествующим композиторам, которые при случае превращали свое искусство в игру, выставляя свое мастерство напоказ. Воспринимая вагнеровское произведение искусства, мы не думаем ни об интересном, ни о восхитительном, ни о самом Вагнере, ни об искусстве вообще: мы только ощущаем *необходимое*. Какой сильной и неустанной волей, какой способностью преодолевать себя должен был обладать художник во время своего становления, чтобы, наконец, в зрелые годы делать то, что необходимо, в каждое мгновение творчества и с радостной свободой – этого никто и никогда не сможет определить со всей точностью: достаточно будет, если мы на основании отдельных мест почувствуем, как его музыка с некоторой свирепой решимостью подчиняется ходу драмы, неумолимому, как судьба, в то время как пламенный дух этого искусства жаждет однажды побродить по вольному чистому полю без всякой узды.

10

Художник, обладающий такой властью над собой, сам того не желая, подчиняет себе всех других художников. А подчинившиеся, его друзья и последователи, в свой черед, не становятся для него опасностью, обузой: в то время как ха-

рактеры более мелкие, желая найти в друзьях опору, обычно теряют из-за них свою свободу. В высшей степени поразительно, как Вагнер всю свою жизнь избегал создавать какую бы то ни было партию, но как позади каждой фазы его искусства смыкался круг приверженцев, и словно нарочно для того, чтобы удержать его на этой фазе. Он же всегда проходил сквозь них, не давая себя связать; да и путь его был слишком долгим, чтобы кто-нибудь мог с самого начала запросто идти по нему вместе с ним: к тому же путь этот был столь необычен и крут, что в один прекрасный момент даже у самого преданного спутника перехватывало дыханье. Почти во все эпохи жизни Вагнера его друзьям так и хотелось сделать из него догму; того же хотели, хотя и по другим причинам, его враги. Будь чистота его художнического характера хоть на одну степень меньшей, он очень рано мог бы стать несомненным властителем современных порядков в искусстве и музыке – правда, теперь он, наконец, им и стал, но в куда более возвышенном смысле: все, что ни происходит в любой области искусства, поневоле чувствует себя стоящим перед судом его искусства и художнического характера. Он подмял под себя и самых строптивых: не осталось ни одного одаренного композитора, который в душе не слушался бы его и не находил бы его более достойным слуха, чем себя самого и всей остальной музыки вместе взятой. Некоторые композиторы, во что бы то ни стало стремящиеся что-то значить, прямо-таки борются с этой внутренней, подавляющей их притягательностью, с боязливым рвением приковывают себя к кругу старых мастеров и предпочитают искать свою «самостоятельность» в опоре на Шуберта или Генделя, чем на Вагнера. Тщетно! Борясь со своим лучшим «я», они сами как художники становятся более незначительными, мелкими; они портят свой характер, потому что им приходится терпеть скверных союзников и друзей: а после принесения всех этих жертв с ними все-таки, пускай даже во сне, случается так, что их слух оказывается настроенным на Вагнера. Такие противники достойны сожаления: они боятся многое потерять, когда теряют себя, и в этом заблуждаются.

А Вагнеру явно все равно, сочиняют ли отныне композиторы на вагнеровский лад и сочиняют ли они вообще;

мало того, он изо всех сил старается разрушить злосчастную веру в то, что теперь уже нужна некая вагнеровская композиторская школа. Насколько хватает его непосредственного влияния на композиторов, он пытается наставлять их в искусстве большой сценической постановки; кажется, для него в развитии искусства настал тот момент, когда добрая воля сделаться порядочным мастером изображения и исполнения куда более достойна уважения, нежели страстная жажда любой ценой «творить» самому. Ведь такое творчество на достигнутой сейчас ступени искусства вызывает роковое следствие – опошление воздействия истинно великого, и происходит это опошление благодаря тому, что его как только могут тиражируют, а способы и приемы гения обесценивают будничным употреблением. Даже добротное в искусстве становится ненужным и вредным, если возникает из подражания лучшему. Цели и средства у Вагнера взаимосвязаны: чтобы это почувствовать, не нужно ничего, кроме художнической честности, а перенять у него средства и применить их для совсем других, более мелких целей, – это нечестность.

Так вот, если Вагнер отказывается увековечивать себя в толпе композиторов, сочиняющих на вагнеровский лад, то тем настоятельней выдвигает он перед всеми дарованиями новую задачу – вместе с ним открыть стилистические законы драматургической постановки. Им движет глубочайшая потребность заложить для своего искусства *традицию стиля*, благодаря которой его творение могло бы продолжать свою жизнь от эпохи к эпохе в неискаженном виде, покуда не достигнет того *будущего*, для коего и было предназначено своим творцом.

Вагнеру свойственно ненасытное влечение передавать другим все, что относится к такой закладке стиля и соответственно к долговечности своего искусства. Сделать свое творение, говоря словами Шопенгауэра, как священный вклад и подлинный плод своей жизни, собственностью человечества, зафиксировав его для потомков, суждение которых будет точнее, – вот что стало для него целью, первенствующей над *всеми другими целями*, и ради нее он носит терновый венец, что некогда должен превратиться в лавровый: усилия Вагнера сосредоточились на гарантиях для

своего творения так же решительно, как усилия насекомого в последней стадии его метаморфоза на безопасности яиц и заботе о потомстве, жизнь которого оно само уже не застанет, – насекомое откладывает яйца там, где, как оно уверено, те в свое время найдут для себя возможность жить и питаться, и после этого спокойно умирает.

Эта цель, первенствующая над всеми другими целями, толкает его к все новым находкам; их он черпает из кладезя своей демонической сообщаемости, и тем больше, чем отчетливее чувствует свое противостояние эпохе, настроенной максимально недоброжелательно, эпохе, которая привнесла в восприятие музыки ожесточенное сопротивление. Но мало-помалу и сама эта эпоха начинает поддаваться его неустанным попыткам, его гибким настояниям, и подставлять уши. Где бы хоть издалека ни показывалась большая или маленькая возможность пояснить свои мысли примером, Вагнер был к этому готов: он приноравливал свои мысли к конкретным обстоятельствам и высказывал их, используя даже самые мелкие поводы. Где бы для него ни приоткрывалась хоть сколько-нибудь восприимчивая душа, он бросал в нее свои семена. Он продолжал надеяться даже там, где безучастный наблюдатель только пожимал плечами; он сто раз обманывался, чтобы однажды этот наблюдатель все-таки признал его правоту. Как мудрец, в сущности, общается с живущими людьми лишь постольку, поскольку может благодаря им приумножить сокровищницу своего знания, вот так же, хочется думать, и художник может общаться только с теми людьми своей эпохи, через которых он способствует увековечению своего искусства: его любят, лишь если любят это увековечение, и точно так же он ощущает только один вид направленной против него ненависти – ненависть, которая стремится обрушить перед ним мосты к будущему его искусства. Ученики, которых Вагнер воспитал для себя, отдельные музыканты и актеры, которым он дал одно поучение, показал один жест, малые и большие оркестры, которыми он дирижировал, города, видевшие его тяжелую работу, монархи и женщины, наполовину с робостью, наполовину с любовью участвовавшие в его замыслах, разные европейские страны, судьей и нечистой совестью для искусств которых он на время бывал: все

это постепенно становилось отзвуком его идеи, его ненасытного стремления к будущей плодотворности; а если этот отзвук часто возвращался к нему искаженным и смутным, то ведь в конечном счете огромной силе властного звука, который он на сто ладов посылал в мир, должен соответствовать и огромной силы отклик; и скоро окажется уже невозможно не слышать его, понимать его превратно. Этот отклик уже сейчас заставляет содрогаться центры искусства современного человечества; всякий раз, как дуновение его духа достигало этих садов, приходило в движение все, что было в них сгнившего и сухостойного; а еще более красноречиво, чем это содрогание, говорит всюду зарождающееся сомнение: никто уже не возьмется сказать, где еще нежданно-негаданно проявится воздействие Вагнера. Он никак не может рассматривать благо для искусства в отрыве от любого другого блага и беды: где бы в современном духе ни таились угрозы, он, глядя глазами самого пристрастного недоверия, чует угрозу и для искусства. Он мысленно разбирает все здание нашей цивилизации, не упуская ничего сгнившего, ничего легкомысленно сколоченного на скорую руку: а если при этом он наталкивается на стойкие стены и вообще на долговечные фундаменты, то тут же задумывает способы сделать из них для своего искусства бастионы и защитные крыши. Он живет, как беглец, стремящийся сохранить не себя, но тайну; как женщина в беде, которая хочет спасти жизнь вынашиваемого ею ребенка, а не свою собственную: он живет, как Зиглинда, «любви ради».

Ведь, конечно же, это – жизнь, полная различных мучений и стыда: чувствовать себя в мире скитальцем, чужаком, но все же обращаться к нему, ощущать его вызов, презирать его, но все же нуждаться в презираемом, – сущая беда для художника будущего; он не может, подобно философу, гнаться за познанием для себя одного в темном углу: ведь ему как представителю будущего нужны человеческие души, нужны публичные учреждения как гарантия этого будущего, как мосты между сегодня и далеким завтра. Его искусство невозможно погрузить на баржу письменной записи, как это делают философы: искусству нужны *умельцы* как передающие традицию, а не буквы и ноты. Целые периоды жизни Вагнера отмечены призвуком страха не най-

ти таких умельцев и вместо примера, который он должен им дать, чувствовать себя насильно ограниченным необходимостью давать письменный намек, а вместо того чтобы показывать на деле – изображать самый смутный отблеск этого дела для тех, которые читают книги, что в общем означает: которые не являются художниками.

Вагнер как *писатель* являет собою зрелище стесненного положения храброго человека, раненного в правую руку и потому сражающегося одной левой: когда он пишет, он всегда страдает, потому что в силу подчас непреодолимой необходимости лишен возможности сообщать себя правым образом, на свой лад, в форме яркого и победоносного примера. В его письменных сочинениях нет ровно ничего канонического, связывающего: канон заключен в его музыкально-сценических произведениях. Это попытки понять инстинкт, подталкивающий его создавать произведения и словно бы заглядывать в глаза себе самому; как только у него получается превратить свой инстинкт в познание, он надеется, что в душах его читателей начнется обратный процесс: в расчете на это он и пишет. Если бы вдруг оказалось, что при этом было испробовано что-то несбыточное, то Вагнер лишь разделил бы общую судьбу всех, кто размышлял об искусстве; а в сравнении с большинством из них он обладает тем преимуществом, что в нем нашел себе приют мощнейший общий инстинкт искусства. Я не знаю других эстетических сочинений, которые проясняли бы столь многое, чем вагнеровские; из них можно узнать все, что вообще можно узнать о происхождении произведения искусства. Тут свидетелем выступает один из самых великих, в течение долгого ряда лет делая свое свидетельство все более совершенным, свободным, ясным и определенным; и даже когда он как познающий спотыкается, то все равно высекает пламя. Некоторые сочинения, такие, как «Бетховен», «О дирижировании», «Об актерах и певцах», «Государство и религия», отбивают всякую охоту противоречить и вынуждают к тихому, углубленному, сосредоточенному созерцанию, какое бывает, когда открывают ларец с драгоценностями. Другие, особенно ранние, включая «Оперу и драму», возбуждают, вселяют беспокойство: в них есть неровность ритма, в силу которой они как прозаические произведения

вызывают замешательство. Диалектика в них нарушена на разные лады, развитие скорее замедлено внезапными скачками чувства, чем ускорено; на них, подобно тени, лежит своего рода отвращение пишущего, словно художник стыдился демонстрации своих тем в понятиях. Но, может быть, больше всего человека не вполне осведомленного тяготит печать авторитарного достоинства, трудно описуемая и очень ему присущая: мне кажется, будто Вагнер часто *обращается как бы к врагам*, – ведь все эти сочинения написаны в манере устной, а не письменной речи, и воспринимаются они куда яснее, если их хорошо читать вслух, – к врагам, с которыми он не желает иметь никакой доверительности, а потому ведет себя сдержанно, дистанцированно. Но нередко сквозь эту преднамеренную драпировку прорывается бурная страсть его чувства; тогда исчезают вымученные, тяжелые, разбухшие от наречий периоды, и у него вырываются предложения и целые страницы, принадлежащие к самому прекрасному, что есть в немецкой прозе. И все-таки, даже если допустить, что в таких местах своих сочинений он обращается к друзьям и призрак врага уже не маячит рядом с его стулом, – у всех друзей и врагов, с которыми Вагнер вступает в общение как писатель, есть что-то общее, радикально отделяющее их от того народа, для которого он творит как художник. Со всей утонченностью и выхолощенностью своего образования они абсолютно *ненародны*, и тот, кто хочет, чтобы они его поняли, должен говорить ненародно: так поступали наши лучшие прозаики, так поступает и Вагнер. Насколько они себя к этому вынуждают, остается только гадать. Но властная сила заботливого, как бы материнского влечения, которому он приносит любые жертвы, тянет его самого назад, в атмосферу учености и образованности, а ведь он как творец навсегда сказал этой атмосфере прощай. Он покоряется языку образованности и всем законам его трансляции, хотя уже стал первым, кто ощутил глубокую ущербность этой трансляции.

Ведь если что и выделяет его искусство на фоне всего остального искусства новейших времен, то это вот что: оно перестало говорить на языке образованности одной касты и уже не знает вообще никакой противоположности между образованными и необразованными. Тем самым оно ока-

зывается в оппозиции всей культуре Ренессанса, которая осенила нас, современных людей, своим светом и своими тенями. Искусство Вагнера на мгновения изымает нас из нее – и лишь тогда мы вообще можем заметить однотипный характер этой культуры: тогда Гёте и Леопарди предстают перед нами как последние великие представители типа итальянских поэтов-филологов, «Фауст» – как изложение самой что ни на есть ненародной загадки, которую задали себе новейшие времена, выдвинув фигуру теоретического человека, томящегося по жизни; даже гётевская песня подражает народной песне, а не опережает ее примером, и ее автор знал, почему с полной серьезностью поделился с одним своим приверженцем такой мыслью: «Мои вещи не могут стать популярными; кто об этом думает и прикладывает сюда силы, тот заблуждается».

Что вообще может существовать искусство, настолько солнечно яркое и теплое, чтобы и освещать своими лучами низких и нищих духом, и размягчать высокомерие знатоков, – об этом нужно было узнать на опыте, а не гадать. Но в уме всякого, кто узнает об этом на опыте сейчас, оно должно переворачивать все представления об образовании и культуре; такому человеку должно казаться, будто перед ним поднимается занавес, скрывавший будущее, где уже нет никаких высших благ и радостей, которые не были бы общими для всех душ. Тогда это искусство упразднит позорный смысл, приставший к слову «общий».

Когда предчувствие отважится таким образом заглянуть в даль, осознанному пониманию откроется вид на зловещую социальную ненадежность нашей современности, и оно не сможет закрыть глаза на угрозу такому искусству, у которого, может показаться, вообще нет иных корней, кроме как в той самой дали и в будущем, и цветущие ветви которого покажутся нам на глаза прежде, чем фундамент, обеспечивающий его рост. Как же нам спасти это бездомное искусство, как дать ему дожить до этого будущего, как остановить потоп революции, кажущейся повсюду неизбежной, таким образом, чтобы вместе с многим из того, что обречено гибели и заслуживает ее, заодно не смыло прочь отрадное предвосхищение и ручательство за лучшее будущее, за более свободное человечество?

Кто задает себе такие вопросы, кто проявляет такое беспокойство, тот уже стал причастным заботе Вагнера; он ощутит вместе с ним потребность искать те уже существующие силы, у которых есть добрая воля быть ангелами-хранителями самых высоких завоеваний человечества во времена землетрясений и переворотов. Только в этом смысле через свои письменные сочинения он и справляется у образованных людей, хотят ли они вместе с ним уберечь в своих сокровищницах завещанное им имущество, драгоценное кольцо его искусства; и даже впечатляющее доверие, которым Вагнер одарил немецкий дух и в его политических целях, мне кажется, происходит от того, что он счел народ Реформации наделенным той силой, мягкосердечием и храбростью, которые нужны, чтобы «загнать море революции в русло спокойно текущего потока человечества»: мне так и хочется думать, что именно это, а не другое, он хотел выразить символикой своего «Императорского марша».

В целом же стремление помогать, присущее творящему художнику, слишком велико, а горизонт его человеколюбия слишком обширен, чтобы его взор могли остановить изгороди национального характера. Его идеи, как и идеи каждого хорошего и великого немца, – *сверхнемецкие*, и язык его искусства обращен не к нациям, а к людям.

Но к *людям будущего*.

В этом и состоит его личная вера, его мучение и его особая примета. Ни один художник прошлого не получил от своего гения столь странного приданого, никому, кроме него, не приходилось пить эту каплю самой терпкой горечи вместе с каждым нектаром, который предлагало ему вдохновение. Это не тот художник, что, как можно подумать, оказался непризнанным, подвергся насмешкам, стал беглецом от своей эпохи – и для самозащиты усвоил себе такую вот веру: нет, успех и неудача в глазах современников не могли ни лишить его почвы под ногами, ни укоренить в ней. Он не принадлежит к этому поколению, славит оно его или поносит: таков приговор его инстинкта; и будет ли когда-нибудь принадлежать какое-либо поколение к нему, тоже невозможно будет доказать тому, кто не захочет в это поверить. Но и такой неверующий, конечно, может поставить вопрос о том, каким должно быть поколение, в кото-

ром Вагнер распознал бы свой «народ» как идеальное воплощение всех, кто ощущает общую нужду и хочет избавиться от нее с помощью общего искусства. Шиллер, безусловно, был человеком более верующим и полным надежд: он не спрашивал о том, как может выглядеть будущее, если окажется прав инстинкт пророчащего его художника, – напротив, он *требовал* от художников:

На крыльях смелых мчась высоко,
Времен перегоните бег!
Уж в вашем зеркале далеко
Горит зарей грядущий век.

11

Да предохранит нас здравый рассудок от веры в то, что когда-нибудь человечество обретет окончательные идеальные порядки и что тогда блаженство будет, подобно солнцу тропиков, неизменно одинаково посылать свои жаркие лучи на подобным образом упорядоченных людей: с такою верой Вагнер не имеет ничего общего, он не утопист. Если он не может обойтись без веры в будущее, это означает лишь то, что он подмечает в современном человеке такие качества, которые не относятся к неизменному характеру и костяку человеческой природы, а изменчивы, даже преходящи, и что как раз *из-за этих-то качеств* искусству при них суждено оставаться бездомным, а ему самому – заблаговременно посланным гонцом другой эпохи. Этим грядущим поколениям не дарован никакой золотой век, никакое безоблачное небо, – поколениям, к которым его отсылает инстинкт и приблизительные черты которых можно угадать, глядя в тайнопись его искусства, в той мере, в какой возможно по виду удовлетворения сделать вывод о виде нужды. Сверхчеловеческая доброта и справедливость тоже не будут парить над полями этого будущего, подобно радуге. Возможно, искомое поколение в целом окажется даже более злым, чем нынешнее, – ведь оно и в плохом, и в хорошем будет *более открытым*; мало того, может случиться, что его

душа, выразившая себя в полном, свободном звучании, потрясла и ужаснула бы нашу душу, как если бы прозвучал голос какого-то прятавшегося дотоле злого стихийного духа. Или же – как для нашего слуха звучат такие вот утверждения: что страсть лучше, чем стоицизм и ханжество, что быть честным, даже в плохом, лучше, чем потерять себя в нравственности традиции, что свободный человек может быть как добрым, так и злым, но что человек несвободный есть срам природы и отлучен и от небесной, и от земной отрады; наконец, что всякий, кто хочет стать свободным, должен стать им благодаря самому себе, и что свобода никому не достается сама собой, как чудесный дар. Как бы резко и жутко они ни звучали, звуки эти доносятся из того грядущего мира, который *по-настоящему нуждается в искусстве* и от него же может ждать и настоящего удовлетворения нужды; это язык природы, восстановленной и в сфере человеческого, это именно то, что выше я назвал правильным чувством в противоположность царящему нынче неправильному чувству.

Но лишь для природы, а не для противоестественности и неправильного чувства, существуют подлинные удовлетворения и избавления. Противоестественности, если она однажды осознает себя, останется лишь тоска по небытию, естество же стремится к преображению через любовь: первая хочет *не* быть, второе хочет быть *иначе*. Кто понял это, тот пусть теперь во всей тишине своей души окинет взглядом вереницу простых мотивов вагнеровского искусства, чтобы спросить себя, добивается ли в них своих целей естество или противоестественность, как они были охарактеризованы только что.

Человек неупокоенный, отчаявшийся находит избавление от своих мучений в милосердной любви женщины, предпочитающей умереть, но не изменить ему: мотив «Летучего Голландца». – Любящая женщина, отрекаясь от какого бы то ни было собственного счастья, в небесном преображении Amor в Caritas[1] становится святой и спасает душу любимого: мотив «Тангейзера». – Нечто предельно великолепное, высочайшее в страстном стремлении нисходит к

1 Любви-страсти *в* любовь-милосердие (*лат.*).

людям, избегая вопроса, откуда оно; а когда злосчастный вопрос поставлен, с прискорбной неизбежностью уходит назад, в свою возвышенную жизнь: мотив «Лоэнгрина». – Любящая душа женщины, как и народ, радостно принимают нового, несущего отраду гения, хотя ревнители традиции и обычая отвергают и порочат его: мотив «Мейстерзингеров». – Двое любящих, не ведая о том, что любят друг друга, а, напротив, думая, что взаимно глубоко уязвлены презрением, жаждут принять чашу с ядом друг от друга, будто бы для искупления за оскорбление, а на самом деле – из бессознательного влечения: смертью они жаждут избавиться от разлуки и обманчивой путаницы. Мнимая близость смерти освобождает их душу и дает ей краткое и страшное блаженство, как если бы они и впрямь ускользнули от света дня, от обмана, от самой жизни: мотив в «Тристане и Изольде».

В «Кольце нибелунга» трагический герой – бог, жаждущий власти, который, добиваясь ее любыми способами, связывает себя договорами, утрачивает свободу и оказывается причастным проклятью, наложенному на власть. Утрата свободы выражается для него именно в том, что у него не остается никакого способа овладеть золотым кольцом, высшим воплощением всякой земной власти и одновременно величайшей опасности для него самого, покуда оно в руках его врагов: его одолевает страх перед концом и гибелью всех богов, как и отчаяние от того, что он может лишь предвидеть этот конец, но не противиться ему. Он нуждается в свободном, бесстрашном человеке, который без его совета и поддержки, мало того, в борьбе против божественного порядка, сам по себе, совершит то, в чем отказано богу: он не видит такого человека, и как раз когда просыпается еще одна новая надежда, оказывается вынужден следовать связывающей его неизбежности – его рукой должно быть уничтожено самое дорогое, а чистейшее сострадание – наказано его бедой. Тогда власть наконец начинает внушать ему отвращение, потому что несет в себе зло и рабство, его воля надламывается, и он сам жаждет конца, уже грозящего ему издали. И лишь теперь происходит столь долгожданное событие: появляется свободный, бесстрашный человек, сложившийся в противоречии всему традиционному;

его родители расплачиваются за то, что их связь шла вразрез с порядком природы и нравов: они гибнут, но Зигфрид живет. При виде его великолепного становления и расцвета отвращение покидает душу Вотана, и он следит за судьбой героя взором отеческой любви и страха. Как он кует себе меч, убивает дракона, добывает кольцо, ускользает от коварного обмана, пробуждает Брюнхильду; как проклятье, наложенное на кольцо, не минует и его, подступая все ближе к нему, как он, верный и в неверности, раня сердце самого дорогого существа из любви к нему, оказывается в тенях и туманах вины, но в конце концов выходит из них, яркий, как солнце, и гибнет, зажигая все небо своим огненным блеском и очищая мир от проклятья, – все это видит бог, властное копье которого сломано в битве с самым свободным человеком, бог, потерявший из-за этого свою власть, исполненный блаженства от своего поражения, исполненный чувств радости за своего победителя и сострадания к нему: он взирает на последние события, светясь от скорбного блаженства, он стал свободным в любви, свободным от себя самого.

А теперь спросите себя, вы, поколения ныне живущих людей: было ли все это сочинено *для вас*? Хватит ли у вас духа своей рукой указать на звезды всего этого небосклона красоты и доброты и сказать: это *наша* жизнь, ее Вагнер озарил звездами?

Где среди вас люди, способные уяснить себе божественный образ Вотана на примере собственной жизни, люди, которые становятся все более великими, чем больше отступают назад, подобно ему? Кто из вас согласится отказаться от власти, узнав и испытав, что власть – зла? Где те, которые, подобно Брюнхильде, из любви пожертвуют своим знанием, а напоследок все же извлекут из своей жизни высочайшее знание: «Ужасная мука печальной любви открыла глаза мне»? А где свободные, бесстрашные, в невинном эгоизме растущие и цветущие из самих себя, где Зигфриды среди вас?

Кто задает такие вопросы, и задает их напрасно, тому придется вглядываться в будущее; а если его взгляду в какой-нибудь дали суждено обнаружить именно тот самый «народ», что будет вправе вычитывать свою историю из сим-

волов вагнеровского искусства, то напоследок он поймет и то, *чем Вагнер будет для этого народа*: тем, чем он не может быть для всех нас, а именно – не провидцем будущего, каким ему, быть может, хотелось бы предстать перед нами, а человеком, который разъясняет и просветляет прошлое.

Из наследия
1872–1873

Лекции о будущности наших образовательных учреждений

Вступление

1

Заглавие, которое я дал моим лекциям, должно было, как полагается каждому заглавию, быть возможно более определенным, ясным и убедительным, но благодаря излишку определенности вышло, как я теперь вижу, чересчур кратким и вследствие этого опять-таки неясным. Поэтому я должен начать с объяснения моим почтенным слушателям этого заглавия, а тем самым и задачи самих лекций и, если потребуется, даже извиниться за него перед ними. Итак, если я обещал говорить о будущности наших образовательных учреждений, то я при этом вовсе не имел в виду специально будущего развития наших базельских учреждений этого рода. Пусть вам нередко покажется, что многое из моих общих утверждений может быть пояснено на примере наших местных учебных заведений; все же не я делаю эти пояснения и поэтому отнюдь не желал бы нести ответственность за них. И это именно по той причине, что я считаю себя слишком чужим и неопытным и слишком мало еще освоившимся со здешними условиями для того, чтобы правильно оценивать данную специальную конфигурацию образовательных условий или с уверенностью рисовать ее будущее. С другой стороны, я слишком хорошо сознаю, в каком месте мне предстоит читать эти лекции, а именно в городе, который в непропорционально грандиозном масштабе, положительно пристыжающем другие более обширные государства, стремится содействовать образованию и воспитанию своих граждан. Поэтому я, конечно, не ошибусь, если предположу, что там, где настолько больше *делают* в этой области, там о ней настолько же больше и *думают*. И моим желанием, мало того, предварительным условием успешности моего дела должно быть духовное общение со слушателями, которые так же много думали над вопросами образования и воспитания, как и полны желания содей-

ствовать делом тому, что признали правильным. При грандиозности задачи и краткости времени я буду понятен лишь для таких слушателей; они должны тотчас же угадывать то, о чем пришлось умолчать, ибо предполагается, что они вообще нуждаются только в напоминании, а не в поучении.

Если я таким образом вынужден безусловно отклонить от себя репутацию непрошенного советчика в вопросах базельской школы и образования, то еще менее думаю я о том, чтобы с горизонта современных культурных народов предсказывать грядущие судьбы образования и его органов. Эта чудовищная даль кругозора слепит мой взор, подобно тому, как и чрезмерная близость лишает его уверенности. Итак, под именем *наших* образовательных заведений я понимаю не специально базельские и не бесчисленные формы учебных заведений широкой, охватывающей все народы современности, но лишь *немецкие учреждения* этого рода, с которыми мы имеем удовольствие сталкиваться даже здесь. Нас должно занимать будущее этих немецких учреждений, т.е. будущее народной немецкой школы, немецкого реального училища, немецкой гимназии, немецкого университета. При этом мы до поры будем воздерживаться от всяких сравнений и оценок, и особенно будем остерегаться лестной иллюзии, будто наши условия являются общими, всюду пригодными и непревзойденными образцами для других культурных народов. Достаточно того, что это наши школы и что они не случайно стоят в связи с нами. Они ведь не навешаны на нас извне, как какая-нибудь одежда, но, будучи живыми памятниками выдающихся культурных движений, в некоторых формациях даже «скарбом отцом», соединяют нас с прошлым народа и являются в существенных чертах таким святым и досточтимым наследием, что я могу говорить о будущем наших учебных заведений лишь в смысле наивозможнейшего приближения к идеальному духу, из которого они родились. При этом для меня несомненно, что многочисленные изменения, которые наше время позволило себе произвести над ними, чтобы сделать их «современными», по большей части лишь искажения изначальной возвышенной тенденции, лежащей в их основе, и отклонения от нее. И от будущего мы в этом отношении смеем ожидать общего обновления, освежения и прояснения немецкого

духа, которое позволит ему до известной степени заново породить эти учреждения; и последние после этого рождения будут казаться одновременно и старыми, и новыми, тогда как теперь они большей частью претендуют лишь на то, чтобы быть «современными» и «своевременными».

Лишь в смысле такой надежды говорю я о будущем наших учебных заведений; и это второй пункт, относительно которого я должен в виде извинения объясниться с самого начала. Величайшее из всех притязаний – это желание быть пророком, поэтому смешно звучит даже и отказ от этого притязания. Никто не должен был бы высказываться в пророческом тоне о будущности нашего образования и связанной с ним будущности воспитательных средств и методов, если он не в состоянии доказать, что это будущее образование в какой-то мере уже является настоящим, которому следует лишь разрастись и распространиться вокруг, чтобы оказать должное влияние на школу и воспитательные учреждения. Пусть же позволят мне, подобно римскому гаруспику, предугадать внутренности по внутренностям настоящего – что в данном случае значит не более и не менее, как обещать в будущем победу одной из уже существующих образовательных тенденций, даже если она в данный момент не пользуется ни любовью, ни уважением, ни популярностью. Но я с величайшей уверенностью допускаю, что она победит, ибо имеет великого и могучего союзника – *природу*. Ведь мы, разумеется, не можем замалчивать того, что многие предпосылки наших современных методов образования носят характер неестественности, и наиболее роковые слабости нашей современности стоят в связи именно с этими неестественными методами образования. Тот, кто чувствует себя вполне солидарным с этой современностью и принимает ее как нечто «само собой разумеющееся», не возбуждает нашей зависти ни этой уверенностью, ни этим сомнительным по своему происхождению модным оборотом «само собой разумеется». Тот же, кто, достигнув противоположной точки зрения, готов прийти в отчаяние – тому уже нечего бороться, ему достаточно лишь отдаться уединению, чтобы вскоре остаться одному. Однако между теми «само собой разумеющими» и этими одинокими стоят *борющиеся*, то есть преисполненные надежды, их наиболее

благородный и возвышенный выразитель, наш великий Шиллер, как его охарактеризовал Гёте в эпилоге к «Колоколу»:

Его ланиты зацвели румяно
Той юностью, конца которой нет,
Тем мужеством, что поздно или рано,
Но победит тупой, враждебный свет,
Той верой, что дерзает неустанно
Идти вперед, терпеть удары бед,
Чтоб, действуя, добро росло свободно,
Чтоб день пришел тому, что благородно.

Пусть все, до сих пор мною сказанное, послужит для моих почтенных слушателей предисловием, задача которого – иллюстрировать заглавие моих лекций и защитить его от возможных недопониманий и неоправданных требований. И чтобы теперь, у преддверия моих рассуждений, переходя от заглавия к делу, описать общий ход мыслей, руководясь которым мы будем вести обсуждение наших образовательных учреждений, я должен прибить у этого преддверия, в виде геральдического щита, ясно сформулированный тезис, который будет напоминать каждому входящему, в чей дом и усадьбу он должен вступить – если только после ознакомления с этим геральдическим щитом он не предпочтет повернуться спиной к дому и усадьбе, характеризуемым таким вот образом. Мой тезис гласит: два мнимо противоположных течения, одинаково гибельных по воздействию и в конечном счете совпадающих по результатам, господствуют в настоящее время в наших, первоначально основанных на совершенно иных фундаментах, образовательных учреждениях: с одной стороны, стремление к возможно большему *расширению образования*, с другой стороны, стремление к *уменьшению и ослаблению его*. Сообразно первому стремлению следует переносить образование во все более широкие круги; сообразно второй тенденции предполагается, что образование должно отречься от своих чересчур автономных притязаний и встать в служебное и подчиненное отношение к другой жизненной форме, а именно к государству. Перед этими роковыми тенденциями к расширению и сокращению пришлось бы впасть в безнадежное от-

чаяние, если бы не представлялось возможным содействовать победе двух противоположных истинно немецких и одинаково богатых будущих тенденций, т.е. стремлению *к сужению и сосредоточению образования* (как противовес возможно большему расширению его) и стремлению к *усилению и самодостаточности* образования (как противовес его сокращению). Если же мы верим в возможность победы, то право на это дает нам сознание, что обе эти тенденции, расширения и сокращения, настолько же противоречат вечно неизменным намерениям природы, насколько необходимым законам этой же природы, и вообще истиной является сосредоточение образования на немногих избранных, тогда как на тех двух стремлениях может быть основана лишь лжекультура.

Предисловие, которое следует прочесть перед лекциями, хотя оно, собственно говоря, к ним не относится

1

Читатель, от которого я чего-либо ожидаю, должен обладать тремя качествами. Он должен оставаться спокойным и читать не торопясь; не примешивать постоянно самого себя и свое «образование»; не ожидать в конце, как бы в виде результата, таблиц. Таблиц и новых расписаний уроков для гимназий и реальных училищ я не обещаю и, наоборот, дивлюсь необычайной природе тех, кто в состоянии отмерить весь путь от глубины эмпиреи до высот собственно культурных проблем и затем снова спуститься оттуда в низины самого засушенного регламента и кропотливого составления таблиц. Я доволен уже, если, запыхавшись, заберусь на достаточно высокую гору и смогу сверху наслаждаться открывшимся видом: поэтому именно в этой книге я не буду в состоянии удовлетворить любителей таблиц.

Я, правда, вижу приближение времени, когда серьезные люди, совместно трудящиеся на пользу полностью обновленного и очищенного образования, сделаются снова законодателями повседневного воспитания – воспитания, направленного именно к такому образованию. Вероятно, они тогда снова будут составлять таблицы. Но как далеко это время! И чего только не случится в промежутке! Быть может, между ним и настоящим лежит уничтожение гимназии, пожалуй, даже и самого университета, или, по крайней мере, такое полное преобразование этих учебных заведений, что их старые таблицы представятся позднейшим взором пережитками эпохи свайных построек.

Книга эта предназначается для спокойных читателей, для людей, которые еще не захвачены головокружительной спешкой нашего стремительно катящегося века и которые еще не испытывают идолопоклоннического наслаждения от того, чтобы быть раздавленными его колесами – то есть для немногих! Зато они еще не привыкли измерять ценность каждой вещи экономией или потерей времени, у них «еще есть время»; им позволительно, не упрекая самих себя за это, избирать самые лучшие часы дня и самые плодотворные и ценные минуты для того, чтобы отдать их думам о будущности нашего образования, они вправе верить, что проживут день полезно и достойно meditatio generis futuri[1]. Такой человек не разучился еще думать во время чтения, он еще владеет секретом чтения между строк; да, он создан даже таким расточителем, что сверх того еще размышляет над прочитанным, быть может, долгое время спустя после того, как отложит в сторону книгу! И не для того, чтобы написать рецензию или опять-таки книгу, но просто чтобы поразмышлять. Достойный наказания мот! Он, кто достаточно спокоен и беззаботен, чтобы отправиться вместе с автором в длинный путь, цели которого с полной ясностью увидит лишь далекое будущее поколение! Если же читатель в страшном возбуждении готов немедленно перескочить к делу, если он хочет сорвать с мгновения плоды, за обладание которыми ведет трудную борьбу весь род человеческий, то мы опасаемся, что он не поймет автора.

Наконец, следует третье, самое важное из требований, предъявляемых к читателю: чтобы он по привычке современного человека ни в коем случае не примешивал на каждом шагу себя и свое «образование» как надежный масштаб и критерий всех вещей. Мы хотели бы видеть его образованным настолько, чтобы иметь самое невысокое, пренебрежительное мнение о своем образовании. Тогда он, вероятно, доверчивее всего отдастся под руководство автора, который осмеливается так говорить с ним, именно исходя лишь от незнания и знания об этом незнании. Для себя же автор хочет претендовать лишь на сильно обостренную чуткость к специфике нашего современного немецкого вар-

---

1 размышлений о будущих поколениях (*лат.*).

варства, того, что столь странно отличает нас, варваров XIX столетия, от варваров других эпох.

С этой книгой в руках он отыскивает читателей, волнуемых подобным же чувством. Откликнитесь вы, разъединенные, в существование которых я верю! Вы, отрекшиеся от своего «я», выстрадавшие на самих себе все муки порчи немецкого духа; вы, созерцатели, чьи глаза не обшаривают в спешке поверхность вещей, но умеют добраться до ядра их сущности; вы, высокие духом, которых Аристотель восхвалял за то, что вы проходите через жизнь медлительно и бездеятельно до тех пор, пока вас не потребует высокая доблесть или великое дело, вас призываю я! Не уползайте только на этот раз в норы вашей отчужденности и вашего недоверия! Будьте по крайней мере читателями этой книги, дабы затем, через свои деяния, предать ее небытию и забвению! Подумайте, что эта книга должна стать вашим герольдом. Но ведь если вы сами, в собственных доспехах появитесь на поле битвы, то кому же тогда придет охота оглянуться назад на герольда, который вас призывал?

Лекция I

Мои уважаемые слушатели,

тема, над которой вы намереваетесь размышлять вместе со мной, так серьезна и важна и в известном смысле так тревожна, что я и на вашем месте пошел бы к каждому, кто обещал бы научить меня чему-либо относительно ее, – хотя он был бы и очень молод и мне казалось бы невероятным, что он в состоянии от себя, собственными силами дать что-нибудь удовлетворяющее и соответствующее такой задаче. Ведь было бы возможно, что он хотя бы *слышал* что-либо правильное насчет тревожного вопроса о будущности наших образовательных учреждений и готов с вами поделиться; было бы возможно, что он имел выдающихся учителей, которым уже скорее приличествует предрекать будущее, особенно если они, подобно римским гаруспикам, гадают по внутренностям настоящего.

В действительности и случилось нечто подобное. Однажды, в силу странных, но, в сущности, вполне невинных обстоятельств, я был свидетелем разговора, который вели на эту тему два замечательных человека, и в моей памяти так крепко запечатлелись основные пункты их рассуждений и все понимание и постановка данного вопроса, что с тех пор, задумываясь над подобными вещами, я сам всегда попадаю в ту же колею, с той лишь разницей, что я часто не обладаю тем непоколебимым мужеством, которое, к моему удивлению, обнаружили тогда эти люди, – как в смелом высказывании запретных истин, так и в еще более смелом построении собственных надежд. Тем полезнее казалось мне закрепить когда-нибудь письменно такой разговор, чтобы привлечь и других к обсуждению этих из ряда вон выходящих взглядов и мнений. И для данной цели мне по особым причинам кажется удобным воспользоваться именно этими публичными лекциями.

Я очень хорошо сознаю, где именно я рекомендую к общему рассмотрению и обсуждению вышеупомянутый раз-

говор – в городе, который содействует образованию и воспитанию своих граждан в непропорционально широком масштабе – в масштабе, который должен был бы пристыдить более обширные государства; так что я, конечно, не ошибусь, высказывая предположение, что там, где настолько больше *делают* для этих вещей, о них настолько же больше и *думают*. Поэтому замечу, что при передаче упомянутого разговора я буду вполне понят лишь теми слушателями, которые немедленно отгадывают то, на что можно было лишь намекнуть, дополняют то, о чем пришлось умолчать, которые вообще нуждаются только в напоминании, а не в поучении.

Позвольте же теперь, уважаемые слушатели, перейти к рассказу пережитого мною невинного события и менее невинного разговора до сих пор не названных мною личностей.

Представьте себе состояние молодого студента, то есть то состояние, которое при безудержном и стремительном движении нашего времени является прямо чем-то невероятным и которое надо пережить, чтобы поверить в возможность такого беззаботного самоубаюкивания, такого отвоеванного у минуты и словно бы потерявшего счет времени довольства. В таком состоянии провел я вместе с одним товарищем и ровесником один год в университетском городе Бонне на Рейне. Год этот, не связанный, благодаря отсутствию всяких планов и целей, ни с какими намерениями будущего, рисуется моему теперешнему восприятию почти каким-то сном, выделенным рамками предыдущих и последующих промежутков бодрствования. Нам обоим никто не мешал, хотя мы жили в среде многолюдного товарищеского союза, волнуемого в сущности, иными стремлениями; и только время от времени нам приходилось удовлетворять или отклонять чересчур настойчивые требования наших сверстников. Но даже эта игра с противонаправленной стихией носит теперь, когда я ее вспоминаю, сходство с теми помехами, которые каждый переживает во сне, когда, например, кажется, будто сейчас полетишь, но какие-то необъяснимые препятствия тянут тебя вниз.

У меня, и у моего друга была масса общих впечатлений из предыдущего периода нашего бодрствования, из нашей гимназической жизни, и об одном из них я должен упомянуть подробнее, так как он образует переход к пережитому

мной невинному событию. Во время одного из предыдущих путешествий по Рейну, предпринятому в конце лета, у меня и у моего друга почти в одно время и в том же самом месте, но совершенно самостоятельно возник один и то же план, и это необычайное совпадение вынудило нас привести его в исполнение. Мы решили основать небольшой союз из нескольких товарищей, который бы являлся прочной и налагающей обязанности организацией, служащей для удовлетворения наших творческих наклонностей в области искусства и литературы. Говоря скромнее, каждый из нас должен был обязаться ежемесячно посылать собственное произведение, будь то стихотворение, статья, архитектурный проект или музыкальное произведение, – и каждому из остальных предоставлялось право с неограниченной откровенностью дружественной критики судить об этом произведении. Таким образом мы надеялись взаимным надзором поощрять и одновременно держать в узде наши образовательные стремления. И действительно, успех этого плана был таков, что мы навсегда сохранили благодарное, даже торжественное чувство к тому моменту и месту, которые нам внушили эту затею.

Для этого чувства вскоре нашлось и подходящее оформление: мы взаимно обязались друг перед другом, если представится только какая-нибудь возможность, ежегодно посещать в этот день уединенное местечко у Роландсека, где мы некогда, в конце лета, сидя в задумчивости друг рядом с другом, внезапно почувствовали себя осененными одним и тем же намерением. Собственно говоря, это обязательство недостаточно строго соблюдалось нами; но именно потому, что на нашей совести тяготел неоднократный грех такого упущения, мы оба в год боннского студенчества, когда наконец снова надолго поселились на Рейне, твердо решили не только исполнить наш закон, но и удовлетворить наше чувство, наше благодарное одушевление и в данный день благоговейно посетить местечко у Роландсека.

Это оказалось для нас довольно затруднительным: так как именно в этот день наш веселый и многочисленный студенческий союз, препятствовавший нашему полету, задал нам массу дела и изо всех сил натягивал нити, которыми мог задержать нас. Наш союз назначил на этот день боль-

шую праздничную поездку в Роландсек, чтобы в конце летнего семестра еще раз собрать всех членов и отпустить их затем по домам с лучшими прощальными воспоминаниями.

Стоял один из тех прекрасных дней, какие, по крайней мере в нашем климате, только и бывают в эту пору лета: небо и земля гармонично и спокойно плыли рядом, чудесно слиты из солнечного тепла, осенней свежести и лазурной бесконечности. В пестрых фантастических костюмах, которыми, при траурности прочих одеяний, теперь вправе щеголять только студенты, разместились мы на пароходе, празднично разукрашенном в нашу честь вымпелами, и водрузили на его палубе знамена нашего союза. С обоих берегов Рейна время от времени раздавались сигнальные выстрелы, которыми, согласно нашему распоряжению, прибрежные жители, и прежде всего хозяин гостиницы в Роландсеке, оповещались о нашем приближении. Я не буду рассказывать ни о шумном шествии от пристани через взбудораженно-любопытствующее местечко, ни о тех не всякому понятных развлечениях и шутках, которые мы себе позволяли в своем кругу. Я обхожу молчанием постепенно оживлявшийся и ставший под конец буйным праздничный обед и невероятный музыкальный дивертисмент, в котором приняли участие все сотрапезники, выступая то отдельно, то общим хором, и дирижировать которым пришлось мне как музыкальному руководителю нашего союза, разучившему предварительно эту музыку со всеми. Во время несколько дикого и все ускорявшегося финала я успел сделать знак своему другу, и сейчас же после завывающего заключительного аккорда мы оба исчезли за дверью; сзади нас как бы сомкнулась ревущая пропасть.

Внезапная освежительная, затаившая дыхание тишина природы. Тени стали уже шире, солнце рдело неподвижно, но низко, и от зеленоватых волн Рейна веяло легкой прохладой на наши разгоряченные лица. Празднование памяти нашего переживания приходилось на более поздние часы дня, и поэтому мы решили отдать последние светлые минуты дня одной из тех наших одиноких любимых забав, которых у нас в ту пору хватало в избытке.

Мы увлекались тогда стрельбой из пистолетов, и каждому из нас этот навык впоследствии весьма пригодился

для военной службы. Служитель нашего союза знал наше стрельбище, лежащее наверху в некотором отдалении, и принес туда заранее наши пистолеты. Это место находилось у верхней опушки леса, покрывавшего холмы за Роландсеком, на маленьком неровном плато, совсем близко от почитаемого нами места основания нашего общества. На лесистом склоне, в стороне от места стрельбы, находилась маленькая безлесная полянка, как бы манившая к отдыху. Оттуда сквозь деревья и кустарники открывался вид на Рейн; как раз напротив красиво изогнутые линии Зибенгебирге и главным образом Драхенфельс обрамляли горизонт, смыкаясь с деревьями, а центр этого закругленного выреза образовал сам сверкающий Рейн, держащий в объятиях остров Нонненверт. Это и было наше место – место, освященное общими мечтами и планами; мы хотели и должны были здесь уединиться в более поздний вечерний час, чтобы закончить день так, как того от нас требовал наш обет.

В стороне, на упомянутой маленькой неровной площадке, стоял могучий дубовый пень, одиноко возвышаясь среди безлесной поляны и низких волнообразных возвышенностей. На этом пне мы когда-то соединенные усилиями вырезали отчетливую пентаграмму, которая еще сильнее растрескалась от непогоды и бурь последних лет и представляла из себя удобную мишень для нашего стрелкового искусства. Был уже предвечерний час, когда мы пришли к нашему стрельбищу, и от дубового пня падала широкая заостренная тень на голую поляну. Было очень тихо: высокие деревья у наших ног закрывали вид на Рейн внизу. Тем оглушительней зазвучал вскоре в этом уединении раскатистый резкий звук наших выстрелов, и едва я выпустил вторую пулю в пентаграмму, как почувствовал, кто-то крепко схватил меня за руку, и увидел, что и моему другу таким же образом мешают зарядить пистолет.

Быстро обернувшись, я увидел рассерженное лицо какого-то старика и почувствовал в то же время, как на спину мне прыгнула большая собака. Прежде чем мы, т.е. я и мой товарищ, которого также держал другой человек помоложе, смогли произнести слова удивления, раздались угрожающие и резкие интонации старика.

«Нет, нет, – закричал он на нас, – здесь нельзя устраивать дуэли! И меньше всего пристало это вам, господа учащиеся юноши! Прочь пистолеты! Успокойтесь, помиритесь, протяните друг другу руки! Как? Вы – соль земли, интеллигенция будущего, семя наших надежд – и вы не можете отрешиться от вздорного катехизиса чести с его законами кулачного права! Я не собираюсь апеллировать к вашим сердцам, но вашим головам это делает мало чести. Вы, чью молодость взлелеяли язык и мудрость Эллады и Лациума и чей юный ум с малых лет был предметом драгоценных забот, направленных на озарение его светлыми лучами всей мудрости и всего благородства прекрасного мира древности, – вы хотите сделать руководящей нитью своего поведения кодекс рыцарской чести, т.е. кодекс невежества и грубости? Вглядитесь же в него как следует, переведите его на точные понятия, разоблачите его жалкую ограниченность и сделайте его пробным камнем не вашего сердца, но вашего ума. И если последний теперь его не отторгнет, то ваша голова не способна работать в той области, где необходимыми условиями являются энергичная сила суждения, легко разрывающая узы предрассудка, правильно рассуждающий ум, который в состоянии отделить истину от лжи даже там, где различие глубоко скрыто, а не лежит, как здесь, на поверхности. А в таком случае, милейшие, ищите другого честного пути в жизни, идите в солдаты или выучитесь ремеслу – это золотое дно».

На эту грубую, хотя и правдивую речь мы стали возбужденно отвечать, постоянно перебивая друг друга: «Прежде всего вы ошибаетесь в главном, так как мы пришли сюда вовсе не для дуэли, но чтобы поупражняться в стрельбе из пистолетов. Во-вторых, вы, по-видимому, совсем не знаете, как происходит дуэль: неужели вы думаете, что мы встретились бы друг с другом в этом уединенном месте как два разбойника, без секундантов, без врачей и т.д.? В-третьих, у каждого из нас своя точка зрения в вопросе о дуэли, и мы не желаем, чтобы на нас обрушивались с непрошенными поучениями вроде ваших и навязывали их нам».

Этот, разумеется, далеко не вежливый отпор произвел дурное впечатление на старика. Сначала, поняв, что дело идет не от дуэли, он стал дружелюбно смотреть на нас. Но

наши заключительные слова раздосадовали его так, что он начал ворчать. Когда же мы позволили себе говорить о своих собственных точках зрения, он подхватил своего спутника и резко повернулся, с горечью крикнув нам вслед: «Следует иметь не только точки зрения, но и мысли». А спутник воскликнул: «И почтение, даже если такой человек и ошибается».

Тем временем мой приятель успел зарядить свой пистолет и с криком «берегись» снова выстрелил в пентаграмму. Этот треск, немедленно раздавшийся за его спиной, разъярил старика; он еще раз обернулся, с ненавистью посмотрел на моего приятеля и сказал, обращаясь к своему младшему спутнику более мягким голосом: «Что нам делать? Эти молодые люди приводят меня в отчаяние своими выстрелами».

«Я довожу до вашего сведения, – обратился к нам младший, – что ваши шумные забавы в данном случае являются настоящим покушением на философию. Обратите внимание на этого почтенного человека – он готов попросить вас больше здесь не стрелять. А когда просит такой человек...» – «Тогда такую просьбу, конечно, исполняют», – перебил его старик и строго посмотрел на нас.

В сущности, мы не знали хорошенько, как отнестись к подобному происшествию. Мы не понимали ясно, что общего имеют наши несколько шумные забавы с философией, и не представляли себе, почему мы в силу непонятных уступок вежливости должны покинуть наше стрельбище, так что, вероятно, выглядели в ту минуту нерешительными и раздосадованными. Спутник заметил наше минутное замешательство и объяснил нам суть дела: «Мы вынуждены, – сказал он, – подождать несколько часов здесь в вашем ближайшем соседстве, так как сговорились встретиться здесь сегодня вечером с одним знаменитым другом этого выдающегося человека; для этой встречи мы выбрали спокойное место с несколькими скамейками здесь, в кустах. Не особенно приятно, если беспрерывные выстрелы будут беспрестанно вспугивать нас. Но мы предполагаем, что вы сами найдете невозможным продолжать вашу стрельбу, узнав, что перед вами один их наших первых философов, избравший это спокойное и уединенное место для свидания со своим другом».

Это разъяснение еще больше встревожило нас: мы почувствовали приближение опасности куда большей, чем изгнание со стрельбища, и поспешно спросили: «Где ваше спокойное место? Неужели здесь налево, в кустах»?

– Именно здесь.

– Но это место сегодня вечером принадлежит нам двоим, – воскликнул мой друг.

– Нам нужно это место, – воскликнули мы оба.

Наше давно задуманное празднество было для нас в данный момент важнее всех философов мира, и мы так оживленно и возбужденно выражали свои чувства, что, вероятно, выглядели немного смешными с нашим непонятным, но весьма настойчиво заявленным требованием. По крайней мере, философы, нарушители нашего спокойствия, смотрели на нас вопросительно улыбаясь, как будто мы должны были что-то сказать в свое оправдание. Но мы молчали, ибо ни в коем случае не хотели себя выдавать.

Так стояли обе группы молча, одна против другой, пока закат широко разливался по вершинам деревьев. Философ смотрел на солнце, спутник – на философа, а мы оба – на наше лесное убежище, которое именно сегодня подвергалось такой опасности. Чувство какой-то ярости овладевало нами. К чему вся философия, думали мы, если она мешает быть одним и уединенно радоваться с друзьями, если она препятствует нам стать самим философами. Ведь нам казалось, что наш праздник воспоминания совершенно философского характера; на этом празднике мы хотели выработать серьезные решения и планы для нашей будущей жизни; в уединенном размышлении надеялись мы найти нечто, чему суждено было бы в будущем так же повлиять на склад нашего внутреннего «я» и удовлетворить его запросы, как это сделала творческая деятельность предыдущих юношеских лет. Именно в этом и должен был состоять священный акт; мы ничего не предрешали заранее, а хотели только погрузиться в уединенное размышление, как тогда, пять лет тому назад, когда мы встретились и приняли общее решение. Это должно было быть молчаливое празднование, всецело – воспоминание, всецело – будущее, а настоящее – только лишь мысленная черта между ними. И вдруг враждебный рок вторгся в наш волшебный круг – и мы не знали,

как от него избавиться; а в странности совпадения нам даже чудилось что-то таинственное и притягательное.

Пока мы так некоторое время стояли молча, разделившись на враждебные группы, вечерние облака все сильнее розовели над нами, и вечер становился все спокойнее и мягче, а мы прислушивались к ровному дыханию природы, которая заканчивала дневную работу, довольная своим творением – совершенным днем. Вдруг тишину сумерек разорвал буйный, нестройный, ликующий клич, поднявшийся с Рейна; множество громких голосов были слышны вдалеке – это, вероятно, наши товарищи студенты, которые теперь захотели покататься на лодках по Рейну. Мы подумали о том, что нас там не хватает, и почувствовали, что и нам чего-то недостает. Почти одновременно с приятелем я поднял пистолет; эхо отбросило назад наши выстрелы и с ним вместе до нас донесся, как бы в виде ответного сигнала, хорошо знакомый крик снизу. Ибо мы пользовались в нашем союзе славой страстных, но плохих стрелков.

Но в тот же момент мы почувствовали все неприличие нашего поведения по отношению к молчаливым пришельцам-философам, которые до тех пор стояли, погруженные в спокойное созерцание, а теперь испуганно отскочили в сторону от нашего двойного выстрела. Мы поспешно подошли к ним и наперебой заговорили: «Простите! Мы выстрелили в последний раз, и это относилось к нашим товарищам на Рейне. Они это поняли. Слышите? Если вы во что бы то ни стало хотите занять то место слева в кустах, то позвольте по крайней мере и нам расположиться там. Там несколько скамеек, мы вам не помешаем; мы будем сидеть тихо и молчать. Но семь часов уже пробило, и мы *должны* быть на месте».

«Это звучит таинственнее, чем оно есть на самом деле, – добавил я после паузы. – Мы дали себе строгий обет провести там следующий час, на то у нас есть особые причины. То место освящено для нас хорошим воспоминанием, оно должно предвозвестить нам и хорошее будущее. Поэтому мы постараемся не оставить у вас плохого воспоминания – хотя мы уже неоднократно беспокоили и пугали вас».

Философ молчал, но его младший спутник сказал: «К сожалению, наши обещания и уговор связывают нас оди-

наковым образом с тем же местом и с тем же самым часом. Нам остается только выбирать, винить ли судьбу или какого-нибудь кобольда за такое совпадение».

«Впрочем, друг мой, – сказал философ примирительно, – я теперь более доволен нашими молодыми стрелками, чем раньше. Заметил ли ты, как они были спокойны, когда мы смотрели на солнце? Они не разговаривали, не курили, они стояли смирно – я почти подозреваю, что они размышляли».

И быстро оборачиваясь к нам, спросил: «Вы *уже* размышляли? Об этом вы мне расскажете по пути к нашему общему месту отдохновения». Мы сделали несколько шагов вместе и вошли, спускаясь по склону, в теплую влажную атмосферу леса, где уже было темно. По дороге мой товарищ откровенно рассказывал философу свои мысли: как он боялся, что сегодня в первый раз философ помешает ему философствовать.

Старик засмеялся. «Как? Вы боитесь, что философ помешает вам философствовать? Подобные вещи случаются; а вы этого еще не испытывали? Разве вы не убедились в этом на опыте в своем университете? А ведь вы слушаете лекции по философии?»

Этот вопрос нас несколько смутил, ибо в последнем мы отнюдь не были повинны. А кроме того, тогда еще мы были полны невинной уверенности, что всякий, облеченный в университете чином и достоинством философа, уже есть философ: у нас толком не было опыта и мы были плохо осведомлены. Мы чистосердечно признались, что еще не слушали лекции по философии, но, конечно, со временем наверстаем упущенное.

«Но что вы называете, – спросил он, – своим философствованием?» «Мы затрудняемся с определением, – отвечал я, – но мы полагаем приблизительно, что хотели бы серьезно поразмыслить, как лучше всего стать образованными людьми». «Это много и мало, – пробормотал философ, – подумайте же хорошенько над этим. Вот наши скамейки; сядем как можно дальше друг от друга; я не хочу вам мешать размышлять о том, как вам стать образованными людьми. Желаю вам успеха и точек зрения, как в вашем вопросе о дуэли, самых самостоятельных, с иголочки новеньких точек зрения. Философ не хочет вам мешать философ-

ствовать: так не пугайте его вашими пистолетами. Подражайте сегодня молодым пифагорейцам: они должны были молчать в течение пяти лет, чтобы стать служителями истинной философии. Быть может, и вам удастся помолчать в продолжении пяти четвертей часа, ради вашего будущего образования, которым вы так старательно занимаетесь».

Мы были у своей цели: наш праздник воспоминания начался. Снова, как пять лет тому назад, Рейн плыл в нежном тумане, снова, как тогда, сияло небо, благоухал лес. Мы приютились на крайнем конце самой отдаленной скамейки; здесь мы сидели почти спрятавшись, так что ни философ, ни его спутник не могли видеть наших лиц. Мы были одни; когда до нас долетал приглушенный голос философа, то под шелест и движение листвы, под жужжащий шум многих тысяч живых существ, кишащих в вышине леса, он становился почти музыкой природы; он превращался в звук, в далекую однотонную жалобу. Нам действительно ничто не мешало.

Так прошло некоторое время, в течение которого закат понемногу бледнел, а воспоминание о нашей юношеской образовательной затее все отчетливей вставало перед нами. Нам казалось, что этому нашему особенному кружку мы обязаны величайшей благодарностью. Он был для нас не просто дополнением к гимназическим занятиям, но настоящим плодотворным обществом, в рамках которого мы рассматривали и нашу гимназию как частное средство на службе нашего всецелого стремления к образованию.

Мы сознавали, что в то время, благодаря нашему союзу, мы никогда не думали о так называемой профессии. Слишком часто встречающаяся в эти годы эксплуатация со стороны государства, стремящегося создать себе как можно скорее пригодных чиновников и убедиться в их безусловной послушности посредством чрезмерно утомительных экзаменов, была совершенно чужда нашему образованию. И как мало нами руководило какое-нибудь соображение выгоды, расчет на быстрое производство и скорую карьеру, показывал утешительный сегодня для каждого из нас факт, что мы оба еще толком не знали, кем мы будем, и даже не беспокоились об этом. Эту счастливую беззаботность воспитал в нас наш союз; и именно за нее мы были ему от души благодарны на празднике воспоминания о нем. Я уже говорил,

что такое бесцельное наслаждение моментом, такое само-убаюкивание в кресле-качалке мгновения должно казаться невероятным, во всяком случае предосудительным, нашей враждебной всему бесполезному действительности. Как бесполезны мы были! И как гордились мы такой бесполезностью! Мы готовы были спорить, кто из нас более бесполезен. Мы не хотели ничего значить, ничего представлять, ничего не ставили себе целью; мы не хотели иметь будущего. Пусть мы только бесполезные бездельники, удобно растянувшиеся на пороге настоящего. Ими мы и были! Хвала нам!

Так, по крайней мере, представлялись нам вещи тогда, уважаемые слушатели!

Отдавшись такому торжественному самоанализу, я готовился уже в таком же самодовольном тоне ответить на вопрос о будущем *нашего* образовательного предприятия, когда мне начало вдруг казаться, что музыка окружающего мира, доносящаяся до нас с отдаленной философской скамьи, потеряла свой прежний характер и звучала все настойчивее и членораздельное. Внезапно мне стало ясно, что я слушаю, что я подслушиваю, подслушиваю со страстью, навострив уши. Я подтолкнул моего, быть может, несколько утомленного друга и сказал ему потихоньку: «Не спи! Мы можем тут кое-чему поучиться. Это подходит нам, хотя нас и не касается».

Дело в том, что я слышал, как младший спутник философа довольно взволнованно защищался, а философ нападал на него, постепенно возвышая голос: «Ты не изменился, – восклицал он, – к сожалению, не изменился; просто не верится, до какой степени ты все тот же, каким был семь лет тому назад, когда я видел тебя в последний раз и простился с тобой с робкой надеждой. К сожалению, снова и без всякого удовольствия должен совлечь с тебя оболочку современной образованности, в которую ты тем временем успел облечься, – и что я нахожу под ней? Правда, все тот же неизменный «интеллигибельный» характер, как его понимает Кант, но, к сожалению, и все тот же не изменившийся интеллектуальный – что, вероятно, так же необходимо, но мало утешительно. Я спрашиваю себя, какой смысл имеет моя жизнь, как философа, если целые годы, проведенные тобой в общении со мной, не могли наложить проч-

ного отпечатка на твой далеко не тупой ум и несомненную жажду знания! Сейчас ты ведешь себя так, будто никогда не слыхал кардинального суждения, относящегося ко всякому образованию, к которому я так часто возвращался в наших прежних беседах. Ну, как гласило это суждение?»

«Я его помню, – отвечал заслуживший выговор ученик. – Вы не раз говорили, что ни один человек не стремился бы к образованию, если бы знал, как неимоверно мало́ в конечном счете число действительно образованных людей и как мало вообще их может быть. И все же и этого небольшого количества истинно образованных людей могло бы не быть, не стремись широкая масса – в сущности, против своей природы и побуждаемая лишь соблазнительным заблуждением, – так же к образованию. Поэтому не следует публично обнаруживать смешную непропорциональность между числом истинно образованных людей и грандиозным образовательным аппаратом, здесь кроется настоящий секрет образованности, состоящий в том, что бесчисленное множество людей, по-видимому, для себя, в сущности же, чтобы сделать возможным появление немногих, стремится к образованию и работает для него».

«Да, таково это положение, – сказал философ, – и все же ты мог настолько забыть его истинный смысл, чтобы считать себя самого одним из этих немногих? Ты так думал – я это хорошо вижу. Но это часть презренного клейма нашей образованной современности. Демократизируют права гения, чтобы облегчить свою собственную образовательную работу и нужду в образованности. Каждый хочет повозможности расположиться в тени дерева, посаженного гением. Хотят освободиться от тяжелой необходимости работать для гения и сделать возможным его появление. Как? Ты слишком горд, чтобы согласиться быть учителем? Ты презираешь теснящую толпу учащихся? Говоришь с презрением о задаче учителя? Ты хотел бы, враждебно отгородившись от этой толпы, вести одинокую жизнь, подражая мне и моему образу жизни? Ты думаешь одним прыжком достигнуть того, чего мне удалось в конце концов добиться после долгой упорной борьбы за возможность вообще жить жизнью философа? И ты не боишься, что одиночество отомстит тебе? Попробуй только стать отшельником образо-

вания – надо обладать неистощимым богатством, чтобы из собственной полноты жить для всех! Странные ученики! Они считают нужным всегда подражать самому трудному и высокому из того, чего удалось достичь учителю. Тогда как должны были бы знать, как это тяжело и опасно и как много способных и одаренных может погибнуть таким образом!»

«Я не хочу от вас ничего скрывать, учитель, – сказал вслед за тем спутник, – я слишком много слышал от вас и слишком долго пользовался вашей близостью, чтобы быть способным всецело отдаться нашей теперешней системе образования и воспитания. Я ощущаю совершенно ясно те ужасные изъяны и недостатки, на которые вы указывали, и все же чувствую в себе мало силы для успехов в смелом бою. Мною овладело общее малодушие. Бегство в уединение не было высокомерием, надменностью. Я вам охотно расскажу, какое клеймо я обнаружил на столь оживленно и настоятельно обсуждаемых теперь вопросах образования и воспитания. Мне кажется, что следует различать два главнейших направления: два, по-видимому, противоположных, по влиянию одинаково пагубных и по результатам в конце концов совпадающих течения господствуют в настоящее время в наших образовательных учреждениях: во-первых, стремление к возможно большему *расширению* и *распространению* образования, а во-вторых стремление к его же *ограничению* и *ослаблению*. Образование следует по различным причинам перенести в самые широкие круги – этого требует одна тенденция. Другая же, напротив, предписывает образованию отказаться от своих наиболее благородных и возвышенных стремлений и ограничиться служением какой-либо иной жизненной форме, например государству.

Мне кажется, я подметил, с какой стороны явственнее всего раздается призыв к возможно большему расширению и распространению образования. Это распространение относится к числу излюбленных политико-экономических догматов настоящего. Как можно больше знания и образования, отсюда возможно большие размеры производства и потребления, а отсюда возможно большая сумма счастья – так приблизительно гласит формула. Здесь цель и результат образования – польза, вернее, нажива, возможно большая денежная прибыль. Образование определяется этим

направлением приблизительно как сумма знаний и умений, благодаря которой держатся «на уровне своего времени», знают все дороги к легчайшей добыче денег, владеют всеми средствами, способствующими общению между людьми и народами. Настоящей задачей образования была бы, сообразно с этим, выработка возможно более «годных к обращению» людей, вроде того как называют «годной к обращению» монету. Чем больше таких годных к обращению людей, тем счастливее народ; и задача современных образовательных учреждений должна заключаться в том, чтобы помочь каждому возможно более развить задатки своей способности стать «годным к обращению», дать каждому такое образование, чтобы он черпал из своей суммы знаний и умений возможно большую сумму счастья и выгоды. Каждый должен уметь правильно таксировать себя самого и знать, чего он вправе требовать от жизни. «Союз интеллигенции и собственности», санкционируемый этими взглядами, считается прямо-таки нравственным требованием. Здесь ненавистно всякое образование, которое делает одиноким, которое ставит цели, лежащие за пределами денег и выгоды, и растрачивает много времени. От таких образовательных тенденций здесь принято отделываться как от «высшего эгоизма» или «безнравственного образовательного эпикурейства». Сообразно признаваемой здесь нравственности требуется нечто совершенно противоположное, а именно *скорое* образование, чтобы быстро превратиться в существо, зарабатывающее деньги, и все же *основательное* образование, чтобы стать существом, зарабатывающим их *очень много.* Человеку дозволяется вкусить лишь такое количество культуры, которое необходимо в интересах наживы, но столько же требуется и от него. Одним словом, человечеству свойственно претендовать на земное счастье, и поэтому образование необходимо. Но только лишь поэтому!»

«Здесь я хочу вставить несколько слов, – сказал философ. – При этом недвусмысленно охарактеризованном воззрении возникает большая, даже огромная опасность, состоящая в том, что широкая масса когда-нибудь перепрыгнет промежуточную ступень и напрямик пойдет к этому земному счастью. Это называется нынче «социальным вопросом». Ведь массе может показаться, что сообразно этому образова-

ние для большей части человечества – лишь средство к земному счастью меньшинства. «Максимальная всеобщность образования» настолько принижает образование, что оно не в состоянии более давать никаких привилегий, никакого престижа. Наивсеобщнейшее образование – это варварство. Но я не хочу прерывать твоих рассуждений».

Спутник продолжал: «Существуют еще другие мотивы столь энергичного стремления к расширению и распространению образования, помимо упомянутого излюбленного политико-экономического догмата. В некоторых странах страх перед религиозным гнетом так силен и боязнь последствий этого гнета так ярко выражена, что все классы общества со жгучей жаждой стремятся навстречу образованности и впитывают именно те элементы, которые подрывают религиозные инстинкты. С другой стороны, государство, сплошь да рядом, в интересах собственного существования, стремится к более широкому распространению образованности, потому что оно все еще сознает в себе достаточно силы, чтобы впрячь в свое ярмо даже самое эмансипированное образование и полагается на то, что широкое образование его чиновников или военных, в конечном счете именно ему – государству – и пойдет на пользу в соперничестве с другими державами. В этом случае фундамент государства должен быть настолько широк и прочен, чтобы удерживать в равновесии сложное здание образования, подобно тому как в первом случае следы былого религиозного гнета должны еще быть достаточно ощутимы, чтобы побуждать к такому отчаянному противодействию. Следовательно, в тех случаях, где самого широкого народного образования требует лишь боевой клич массы, там я обыкновенно различаю, стимулируется ли этот боевой клич ярко выраженной тенденцией к наживе и приобретению, или следами былого религиозного угнетения, или же разумным честолюбием государства.

В противовес этому, мне казалось, что, хотя не так громко, но по крайней мере так же настойчиво раздается с разных сторон другая песнь – песнь о *сокращении образования.* О том же обыкновенно шепчутся во всех ученых кругах; общий факт тот, что при теперешнем напряжении сил, которого требует от ученого его наука, *образование* ученого

становится все более случайным и кажущимся. Ибо теперь изучение наук так развилось в ширину, что если человек с хорошими, но не исключительными способностями захочет что-либо создать в них, то он должен заняться совершенно специальной отраслью и вследствие этого оставить нетронутыми все остальные. И если он в своей специальности стоит выше vulgus[1], то во всем остальном, т.е. в главном, он принадлежит к ней. Такой исключительный специалист-ученый становится похож на фабричного рабочего, который в продолжении всей жизни не делает ничего, кроме определенного винта или ручки к определенному инструменту либо машине, достигая, правда, в этом изумительной виртуозности. В Германии, где умеют прикрывать блестящей мантией мысли даже такие прискорбные факты, доходят до того, что восхищаются такой узкой специализацией наших ученых и считают положительным в нравственном смысле их растущее отдаление от истинного образования: «верность в малом», «верность ломовика» становится поводом для тщеславия, невежество относительно всего, что лежит за пределами специальности, выставляется напоказ как признак благородной скромности.

На протяжении тысячелетий под словом образованный подразумевался ученый и только ученый. Исходя из опыта нашего времени, мы едва ли чувствуем себя склонными к такому наивному отождествлению. Ибо теперь эксплуатация человека в интересах науки является предпосылкой, принимаемой всюду как нечто само собой разумеющееся. Но кто же спрашивает о ценности науки, которая, подобно вампиру, высасывает все соки своих созданий? Разделение труда в науке на практике направляется к той же цели, к которой то и дело сознательно стремятся религии: к уменьшению образования, даже к уничтожению его. Но то, что является вполне правомерным требованием со стороны некоторых религий, сообразно их возникновению и истории, может привести когда-нибудь к самосожжению науки. Сейчас мы уже дошли до того, что во всех общих вопросах серьезного характера, и прежде всего в верховных философских проблемах, человек науки как таковой является

---

1 масса, толпа (*лат.*).

совершенно лишенным слова; и напротив, тот клейкий, связующий слой, который теперь отложился между науками – журналистика, – воображает, что призван выполнять здесь свою задачу и осуществляет ее сообразно своей сущности, т.е., как гласит само его имя, как поденщину[1].

В журналистике и сливаются вместе оба направления: расширение и ограничение образования протягивают здесь друг другу руки. Журнал становится на место образования, и тот, кто в том числе среди ученых претендует на образованность, обыкновенно опирается на этот клейкий передаточный слой, который замазывает швы между всеми жизненными формами, всеми сословиями, всеми искусствами, всеми науками и так же крепок и надежен, как только может быть газетная бумага. В журнале – кульминационный пункт своеобразных образовательных устремлений настоящего; и журналист, этот слуга минуты, занял место великого гения, вождя на все времена, избавителя от сиюминутного. Теперь же скажите мне сами, мой великий мастер, на что я должен был надеяться в борьбе с господствующим всюду искажением всех образовательных стремлений, откуда было взять смелости мне, отдельному учителю, когда я знаю, что над каждым свеже посеянным зерном истинной образованности тотчас же беспощадно пройдет дробящий вал этой мнимой образованности? Подумайте, как бесполезна должна быть теперь утомительная работа учителя, который бы, например, захотел ввести ученика в бесконечно отдаленный и трудно достижимый мир эллинизма, в это истинное отечество образованности? Ведь тот же самый ученик в следующий час возьмет газету или современный роман или одну из тех просвещенных книг, одна стилистика которых уже отмечена отвратительной печатью теперешнего образовательного варварства».

«Остановись же на минуту! – воскликнул философ громко, и в голосе его звучало сожаление. – Я теперь тебя лучше понимаю, и мне не следовало бы говорить тебе раньше таких жестоких слов. Ты во всем прав, кроме своего малодушия. Теперь я скажу тебе кое-что в утешение».

---

1 Н. имеет в виду этимологию слова «журналистика» от «jour» – «день» (*фр.*).

Лекция II

Уважаемые слушатели! Те из вас, кого я только с этой минуты могу приветствовать в качестве своих слушателей и кто только понаслышке знаком с лекцией, читанной три недели тому назад, должны будут примирится с тем, что их без дальнейших предупреждений введут в середину серьезного разговора, который я в тот раз начал пересказывать. Сегодня я лишь напомню оборот, под конец принятый этим разговором. Молодой спутник философа только что честно и откровенно извинился перед своим выдающимся учителем и объяснил, почему он малодушно отказался от своей прежней учительской должности и проводит дни в безотрадном одиночестве, которое он для себя избрал. Высокомерное самомнение меньше всего было причиной такого решения.

«Слишком многое, – сказал правдивый ученик, – слышал я от вас, мой учитель, слишком долго я был вблизи вас, чтобы правоверно отдаться господствовавшей до сих пор системе образования и воспитания. Я слишком живо ощущаю те непоправимые заблуждения и недостатки, на которые вы так часто указывали; и все же я нахожу в себе чересчур мало силы, чтобы добиться успеха в мужественной борьбе и разрушить бастионы этой мнимой образованности. Общее уныние овладело мною; бегство в уединение не было высокомерием и надменностью». Вслед за этим ученик, в свое извинение, так охарактеризовал общие признаки этой образованности, что философ не выдержал и, перебив его, стал сочувственно успокаивать следующим образом: «Остановись же на минутку, мой бедный друг, – сказал он, – я теперь лучше понимаю тебя и мне не следовало бы говорить тебе раньше таких суровых слов. Ты во всем прав, кроме своего малодушия. Теперь я скажу тебе кое-что в утешение. Как долго, думаешь ты, просуществует еще в современной школе столь тяготящая тебя система образования? Не скрою от тебя своей уверенности на этот счет; ее время прошло,

ее дни сочтены. Первый, кто осмелится действовать совершенно честно в этой области, услышит, как его честности отзовутся тысячи смелых душ. Ибо в сущности, среди благородно одаренных и горячо чувствующих людей нашего времени существует молчаливое единомыслие: каждый из них знает, что ему пришлось претерпеть от образовательных условий школы, и хотел бы избавить по крайней мере своих потомков от этого гнета, хотя бы даже ценою себя самого. Если же все-таки дело нигде не доходит до полной откровенности, то печальная причина этого лежит в педагогической скудности духа нашего времени. Именно здесь ощущается недостаток в истинно изобретательских способностях, в истинно практических людях, т.е. таких, которым приходят в голову хорошие и новые мысли и которые знают, что настоящая гениальность и настоящая практика должны необходимым образом встречаться в одном и том же индивиде. Трезвым же практикам именно не хватает удачных мыслей, т.е. опять-таки настоящей практики. Если мы ознакомимся с педагогической литературой нашего времени и не испугаемся при этом беспредельного ее скудоумия и неуклюжего топтания на одном месте, то в нас уже нечего больше портить. Здесь наша философия должна начинаться не с удивления, а с испуга. Тому же, кто не испугается, следует убрать руки прочь от всего педагогического. Правда, до сих пор правилом было обратное: те, кто пугался, робко убегали прочь, подобно тебе, мой бедный друг, а широкие лапы трезвых и бесстрашных широко ложились на самую нежную технику, которая только может существовать в искусстве – технику образования. Но это не продолжится долго. Стоит только прийти честному человеку с хорошими и новыми идеями, для осуществления которых он не побоится порвать со всем существующим, стоит ему только раз показать грандиозный пример того, чего не сумеют повторить широкие лапы, которые одни и были деятельны до сих пор, как тотчас повсюду начнут по крайней мере понимать разницу, начнут чувствовать противоположность и задумываться над ее причинами, тогда как теперь еще многие в простоте душевной полагают, что широкие лапы – необходимая принадлежность педагогического ремесла!»

– Я бы хотел, уважаемый учитель, – перебил здесь спутник, – чтобы вы мне на отдельном примере сами пояснили ту надежду, которой так бодро дышат ваши слова! Мы оба знаем гимназию; полагаете ли вы, например, относительно и этого учреждения, что честность и хорошие новые мысли сумеют не оставить здесь и следа от старых, цепких привычек. Здесь, как мне кажется, все нападения осадных машин отражает не твердая стена, а роковая цепкость и скользкость всех принципов. Нападающему не приходится разбивать видимого и стойкого противника; этот противник замаскирован, он в состоянии принимать сотни образов, чтобы в одном из них ускользнуть от руки, готовой схватить его, и затем снова и снова трусливыми уступками и постоянным отскакиванием в сторону сбивать с толку нападающего. Именно гимназия вынудила меня к малодушному побегу в уединение, и я чувствую, что если здесь борьба поведет к победе, то и все другие образовательные учреждения должны будут уступить, и что тому, кому приходится отчаяться здесь, придется отчаяться и в серьезных педагогических вопросах вообще. Итак, учитель, просветите меня в вопросе о гимназии. Можем ли мы питать надежды на уничтожение или возрождение гимназии?

– И я, – сказал философ, – придаю гимназии такое же высокое значение, как и ты. Образовательной целью, которую себе ставит гимназия, должны измеряться все остальные учреждения; они страдают от заблуждений *ее* тенденции, а через очищение и обновление гимназии очистятся и обновятся так же и они. Такую роль движущего центра не может брать на себя даже университет, который при его теперешнем строе, по крайней мере, с *одной* важной стороны может считаться лишь дальнейшим развитием гимназической тенденции, что я впоследствии разъясню тебе. Сейчас же рассмотрим вместе, что именно порождает во мне надежду на высказанную мною альтернативу, в силу которой культивированный до сих пор пестрый и трудно уловимый дух гимназии целиком рассеется в воздухе или же будет в корне очищен и обновлен. Чтобы не пугать тебя общими положениями, я напомню тебе сперва один из тех фактов гимназической жизни, которые мы все знаем по опыту и от которых мы все страдаем. Что представляет из

себя теперь, строго говоря, *преподавание немецкого языка* в гимназиях?

Сначала я скажу тебе, чем бы ему следовало быть. От природы теперь каждый человек пишет и говорит таким дурным и вульгарным немецким языком, какой только возможен в эпоху газетного немецкого. Поэтому подрастающий юноша, из числа более тонко одаренных, должен быть насильственно помещен под стеклянный колпак хорошего вкуса и строгой филологической дисциплины. Если это невозможно, то я предпочту в будущем опять говорить по-латыни, так как стыжусь такого испорченного и оскверненного языка.

Разве задача высшего учебного заведения в этом пункте не состоит в том, чтобы авторитетно, достойно и строго направить на истинный путь вербально одичавших юношей и крикнуть им: «Отнеситесь серьезно к вашему языку! Тот, у кого в этой связи по-настоящему не просыпается чувство священной обязанности, не имеет ни малейшего задатка для высшего образования. Здесь-то и обнаружится, как высоко или низко вы цените искусство и насколько вы ему близки, здесь – в вашем обращении с родным языком. Если вы не достигнете того, чтобы ощущать физическое отвращение к известным словам и оборотам нашего журналистского обихода, то откажитесь от стремления к образованию. Ибо здесь в непосредственной близи, в каждом мгновении вашего разговора и письма у вас имеется пробный камень того, как трудна, как громадна теперь задача образованного человека и как мало вероятности в том, что многие из вас достигнут истинного образования».

Обращениями такого рода учитель немецкого языка в гимназии должен был бы привлекать внимание своих учеников к тысячам нюансов и со всей уверенностью хорошего вкуса прямо запрещать им употребление таких слов, как, например, «запрашивать», «взимать», «учитывать моменты», «брать инициативу», «само собой разумеется» и так далее cum taedio in infinitum[1]. Показывать на каждой строчке наших классических авторов, как тщательно и строго взвешивает каждый оборот тот, кто носит в сердце подлинное

---

1 с отвращением до бесконечности (*лат*).

художественное чутье и обладает полным пониманием всего того, что пишет. Такой учитель будет постоянно заставлять своих учеников снова и лучше выражать ту же мысль и не оставит своих усилий до тех пор, пока менее одаренными не овладеет священный ужас перед языком, а более одаренными – благородное одушевление им.

Итак, здесь перед нами одна из наиболее важных задач для так называемого формального образования: а что же мы находим в гимназии, на месте так называемого формального образования? Тот, кто умеет подвести под правильные рубрики то, что он здесь видит, знает, какого мнения ему следует быть о современной гимназии как о якобы образовательном учреждении. Он найдет, что гимназия в своем первоначальном виде воспитывает не образованных, а лишь ученых, а в последнее время ее деятельность принимает такое направление, как будто бы она хотела воспитывать уже не ученых, а журналистов. Это может быть показано на способе преподавания немецкого языка как достаточно ярком примере.

Вместо чисто практического обучения, путем которого учитель должен был бы приучить своих учеников к строгой языковой самодисциплине, мы находим всюду попытки учено-исторической трактовки родного языка; то есть с ним обращаются так, как если бы он был мертвым языком и как будто бы не существовало обязательств перед его настоящим и будущим. Историческая манера стала до такой степени присущей нашему времени, что даже живое тело языка приносится в жертву анатомическим штудиям. Между тем образование начинается именно с умения обращаться с живым, как с живым, и начало задачи учителя, желающего дать образование, в том, чтобы оттеснить всюду напирающий исторический интерес в тех случаях, где прежде всего следует научить правильно действовать, а не познавать. Наш родной язык и есть та область, на которой ученик должен научиться правильно действовать; и лишь сообразно этой практической стороне необходимо преподавание немецкого языка в наших учебных заведениях. Правда, кажется, что исторический метод значительно легче и удобнее для учителя; точно так же кажется, что он соответствует его более скромным дарованиям и вообще невысокому по-

лету всех его желаний и стремлений. Но то же самое наблюдение нам придется сделать во всех областях педагогической действительности. Наиболее легкое и удобное драпируется в плащ напыщенных претензий и гордых титулов; собственно же практическая деятельность, имеющая отношение к образованию, будучи по сути более трудной, вызывает недоброжелательные и презрительные взгляды. Поэтому честный человек должен выяснить для себя и других и это quidproquo[1].

Но что же, помимо побуждений чисто ученого характера к изучению языка, дает обыкновенно учитель немецкого? Как связывает он дух своего учебного заведения с духом тех *немногих* истинно образованных людей, которыми обладает немецкий народ, с духом его классических поэтов и художников? Вот темная и прискорбная сфера, которую нельзя осветить без страха. Но и здесь мы не должны ничего утаивать, ибо однажды и здесь суждено всему обновиться. В гимназии отвратительное клеймо нашего эстетического журнализма запечатлевается в несформировавшихся умах молодежи; здесь самим учителем сеются семена грубого, намеренного непонимания великих классиков, которое впоследствии выдает себя за эстетическую критику, а на деле является лишь беззастенчивым варварством. Здесь ученики приучаются в тоне мальчишеского превосходства отзываться о нашем единственном *Шиллере*, здесь их учат с насмешкой смотреть на самые благородные чисто немецкие характеры из его произведений, каковы маркиз Поза, Макс и Текла, – с насмешкой, которая наполняет гневом немецкий гений и за которую будет стыдно будущим лучшим поколениям.

Последняя сфера деятельности учителя немецкого языка в гимназии, которую нередко считают вершиной его деятельности, более того, вершиной всего гимназического образования, – это так называемое *немецкое сочинение*. По тому признаку, что в этой области почти всегда с особой охотой подвизаются наиболее способные ученики, можно убедиться, как опасна и увлекательна поставленная именно здесь задача. Немецкое сочинение – призыв к индивиду; и чем сильнее сознает ученик свои отличительные качества,

---

1 то [принимаемое] за это, путаница (*лат.*).

тем более индивидуальный характер придаст он своему немецкому сочинению. Этот индивидуальный характер, кроме того, в большинстве гимназий требуется уже самим выбором темы, нагляднейшим доказательством чему для меня является то, что уже в более младших классах задаются сами по себе непедагогичные темы, побуждающие учеников к описанию своей собственной жизни, своего развития. Достаточно просмотреть списки таких тем, задаваемых в большинстве гимназий, чтобы прийти к убеждению, что, вероятно, большинству учеников суждено всю жизнь невинно страдать от этой слишком рано взваленной на них работы личности, от этого незрелого процесса созидания мыслей; и как часто вся последующая литературная деятельность человека выглядит печальным следствием этого педагогического прегрешения против духа!

Подумать только, что происходит в столь юном возрасте при написании такой работы. Это первое собственное произведение; еще неразвившиеся силы в первый раз напрягаются для кристаллизации; головокружительное чувство вынужденной самостоятельности придает этим продуктам творчества первое, невозвратное, пьянящее очарование. Все дерзновение натуры вызвано из ее глубин, все тщеславие, не сдерживаемое более прочными преградами, впервые вправе принять литературную форму. С этой минуты молодой человек чувствует себя готовым; он чувствует себя существом, имеющим право высказываться, подавать голос, и даже побуждаемым к этому. Гимназические темы обязывают его высказывать свое суждение о поэтических произведениях или характеризовать исторические личности, самостоятельно излагать серьезные этические проблемы или, развернув фонарь в обратную сторону, осветить свое собственное бытие и дать критический отчет относительно себя самого. Короче, целый мир труднейших задач развертывается перед застигнутым врасплох, до тех пор еще почти несознательным юношей и предоставляется его решению.

Представим же себе рядом с этими, способными на столь многое повлиять, первыми оригинальными работами обыденную деятельность учителя. Что в этих работах кажется ему заслуживающим порицания? На что обращает

он внимание учеников? На все эксцессы формы и мысли, т.е. на все, что в данном возрасте вообще характерно и индивидуально. Тот действительно самостоятельный элемент, который при этом преждевременном возбуждении может проявиться только в неловкостях, резкостях и комических чертах, т.е. именно индивид подвергается порицанию и забраковывается учителем в пользу шаблонной пристойной серости. И напротив, на долю безличной посредственности выпадают унылые похвалы; ибо понятно, что как раз она-то и надоела учителю до крайности.

Быть может, найдутся еще люди, которые увидят во всей этой комедии немецкого сочинения не только самый нелепый, но и самый опасный элемент современной гимназии. Ведь здесь требуется оригинальность, и тотчас же отбрасывается та, которая единственно возможна в этом возрасте. Здесь предполагается формальное образование, которого теперь вообще достигают лишь немногие люди в зрелых годах. Здесь каждый без дальнейших околичностей рассматривается как способное к литературной деятельности существо, которое *вправе* иметь собственные мнения о самых серьезных вещах и личностях, тогда как правильное воспитание будет со всем рвением стремиться лишь к тому, чтобы подавить смешную претензию на самостоятельность суждения и приучить молодого человека к строгому повиновению скипетру гения. Здесь предполагаются широкие рамки изложения в том возрасте, когда каждое высказанное и написанное суждение – варварство. Прибавим же сюда и опасность, лежащую в легкой возбудимости самомнения в эти годы, подумаем о тщеславном ощущении, с которым юноша в первый раз любуется в зеркале своим литературным отражением! Если охватить все это *одним* взглядом, то никто не усомнится в том, что все беды нашей литературно-художественной общественности постоянно снова и снова накладывают свое клеймо на подрастающее поколение. Эти недуги – торопливое и тщеславное творчество, постыдная фабрикация книг, полное отсутствие стиля, неперебродивший, безличный или жалкий в своей напыщенности слог, утрата всякого эстетического канона, сладострастие анархии и хаоса – короче, литературные черты как нашей журналистики, так и нашей учености.

Лишь очень немногие теперь сознают, что, быть может, из многих тысяч едва лишь один имеет право высказываться в качестве писателя, а все остальные, пытающиеся делать это на свой страх и риск, заслуживают в награду за каждую свою печатную строчку лишь гомерический хохот со стороны действительно способных к суждению людей. Ибо можно ли назвать зрелищем, достойным богов, хромого литературного Гефеста, желающего нас чем-то угостить? Воспитать в этой области серьезные и непреклонные привычки и воззрения – такова одна из верховных задач формального образования, тогда как всестороннее, безудержное развитие так называемой свободной личности следует считать лишь признаком варварства. Из всего до сих пор сказанного выяснилось, что, по крайней мере, при преподавании немецкого языка думают не об образовании, а о чем-то другом, именно об упомянутой свободной личности. И до тех пор, пока немецкие гимназии в заботах о «сочинении» будут играть на руку отвратительному и бессовестному борзописанию, до тех пор, пока они не сочтут своей священной обязанностью ближайшую, практическую выучку в области слова и письма, до тех пор, пока они будут обращаться с родным языком так, как если бы он был необходимым злом или мертвым телом, – до тех пор я не причислю эти заведения к подлинно образовательным учреждениям.

Менее всего в вопросе о языке заметно влияние *классического прообраза.* Уже из одного этого соображения так называемое классическое образование, которое должно исходить из наших гимназий, кажется мне весьма сомнительным и основанным на недоразумении. Ибо как можно было при взгляде на классический прообраз не заметить ту необычайную серьезность, с которой греки и римляне с самых юношеских лет относились к своему языку? Как можно было бы не признать своего прообраза в этом пункте, если бы классический эллинский и римский мир действительно служил верховным поучительным образцом воспитательного плана наших гимназий, в чем я очень сомневаюсь? Наоборот, кажется, что претензия гимназии на пестование классического образования – лишь неловкая отговорка, которая выставляется тогда, когда с какой-либо стороны за гимназией отрицается способность воспитывать для образован-

ности. Классическое образование! Это звучит так значительно! Это устыжает нападающего, замедляет нападение – ибо кто может заглянуть сразу до самого дна этой вводящей в заблуждение формулы! А такова давно привычная тактика гимназии: смотря по тому, откуда раздается призыв к битве, она пишет на своем далеко не украшенном знаками отличия щите один из этих дезориентирующих девизов: «классическое образование», «формальное образование» или «научное образование» – три достославные вещи, которые к сожалению, противоречат отчасти самим себе, отчасти друг другу и, если насильно свести их воедино, создадут лишь образовательного трагелафа. Ибо истинное «классическое образование» есть нечто неслыханно трудное и редкое и требует столь сложных способностей, что только наивность и бесстыдство могут видеть в нем достижимую цель гимназии. Термин «формальное образование» относится к грубой, нефилософской фразеологии, которой следует по возможности избегать, ибо не существует никакого «материального образования»! А вот кто выставляет целью гимназии «научное образование», тем самым отказывается от «классического образования» и от так называемого формального образования, вообще от всей образовательной цели гимназий, так как человек науки и образованный человек принадлежит к двум различным сферам, которые время от времени соприкасаются в *одном* индивиде, но никогда не совпадают друг с другом.

Если мы сравним эти три мнимые цели гимназии с наблюдаемой нами действительностью преподавания немецкого языка, <то узнаем,> чем большей частью являются эти цели в обыденной практике: выходами из затруднительного положения, придуманными для борьбы и войны и часто действительно довольно пригодными для одурачивания противника. Ибо мы не нашли в преподавании немецкого языка ничего, что каким-либо образом напоминало бы классический античный прообраз, античную грандиозность воспитания языка. А формальное образование, достигаемое упомянутым преподаванием немецкого, оказалось безграничным потаканием «свободной личности», т.е. варварством и анархией. Что же касается научного образования как следствия этого преподавания, то нашим германистам

предоставляется решить, сколь мало содействовали расцвету их науки именно эти наукообразные гимназические начатки, и сколь много – личность отдельных университетских преподавателей. В итоге, гимназии до сих пор не хватает наипервейшего и ближайшего объекта, с которого начинается истинное образование, – родного языка; в силу этого она лишена естественной плодоносной почвы для всех дальнейших образовательных усилий. Ибо только на почве строгой, художественно тщательной выучки и привычки укрепляется правильное чувство понимания величия наших классиков, признание которых со стороны гимназии до сих пор покоилось лишь на сомнительном, эстетизирующем пристрастии отдельных учителей или же исключительно на воздействии фабул определенных трагедий и романов. Но надо по собственному опыту узнать, как трудно овладеть языком, надо после долгих поисков и борьбы пробиться на дорогу, по которой шли наши великие поэты, чтобы почувствовать, как легко и красиво шагали они по ней и как неуклюже или напыщенно двигаются за ними другие.

Лишь благодаря такой дисциплине в молодом человеке начнет вызывать отвращение столь излюбленная и прославленная «элегантность» стиля наших газетных пролетариев и кропателей романов и «изысканный слог» наших литераторов, и он одним ударом разрешит целый ряд весьма комичных вопросов и недоразумений, вроде того, писатели ли Ауэрбах и Гуцков? Их просто станет невозможным читать без отвращения, и тем вопрос будет исчерпан. Пусть не думают, что легко развить свое чувство до такого физического отвращения, но пусть никто не надеется прийти к эстетической критике иным путем, кроме тернистой тропы языка, и притом не с помощью языковых изысканий, а лишь с помощью языкового самовоспитания.

Здесь каждый всерьез трудящийся почувствует себя в положении взрослого человека, который, например, поступив в солдаты, вынужден учиться ходить, тогда как он прежде был в этом отношении простым дилетантом и эмпириком. Это месяцы тяжкого труда; опасаешься, как бы не лопнули жилы, пропадает всякая надежда на то, что искусственно и сознательно заученные движения ног когда-либо будут производиться свободно и легко; со страхом замеча-

ешь, как неумело и грубо передвигаешь ноги, и боишься, что разучился всякой ходьбе и никогда уже не научишься настоящей. И вдруг замечаешь, что искусственно заученные движения превратились в новую привычку и вторую натуру, и прежняя уверенность и сила шага возвращается укрепленной и даже сопровождается известной грацией. Теперь только знаешь, как трудно ходить, и смело можешь насмехаться над грубым эмпириком или над показной элегантностью дилетанта в ходьбе. Наши писатели, именуемые «элегантными», никогда, как свидетельствует их стиль, не учились ходить; и в наших гимназиях, как доказывают наши писатели, не учатся ходить. Но умение ходить в области языка есть начало образования, которое, если только за него толком приняться, породит по отношению и к этим «элегантным» писателям физическое ощущение, называемое отвращением.

В этом познаются роковые последствия нашего теперешнего гимназического строя; и тем, что гимназия не в состоянии насадить истинное и строгое образование, которое прежде всего повиновение и навык, тем, что она в лучшем случае ставит себе целью лишь возбуждение и оплодотворение научных стремлений, объясняется столь часто встречающийся союз учености с варварством вкуса, науки с журналистикой. В нынешнее время можно сделать то широкое и общее наблюдение, что наши ученые упали и спустились с той высоты образования, которого достиг немецкий дух благодаря стараниям Гёте, Шиллера, Лессинга и Винкельмана. Это падение обнаруживается в том грубом непонимании, которое достается на долю этих людей как со стороны историков литературы (зовутся ли они Гервинусом или Юлианом Шмидтом), так и в каждом обществе, почти в каждом разговоре между мужчинами и женщинами. Это падение сказывается сильнее и болезненнее всего именно в педагогической литературе, относящейся к гимназии. Можно засвидетельствовать, что исключительное значение этих людей для истинного образовательного учреждения, – значение их как первых проводников и мистагогов классического образования, при помощи которых только и может быть найден правильный путь, ведущий к древности, – на протяжении более полувека не то что не признавалось, но даже не высказывалось. Всякое так называе-

мое классическое образование имеет лишь *одну* здоровую и естественную исходную точку – художественно серьезный и строгий навык в обращении с родным языком; но до этого, как и до тайны формы, редко кто правильно доходит изнутри, собственными силами, большинство нуждается в великих вождях и учителях и должно довериться их руководству. Но не существует классического образования, которое могло бы вырасти без развившегося чувства формы. Здесь, при постепенном пробуждении чувства различения между формой и варварством, первый раз расправляются крылья, которые уносят к истинному и единственному отечеству образования – к греческой древности. Правда, при такой попытке приблизиться к бесконечно далекой и обнесенной алмазными стенами твердыне эллинизма мы недалеко улетим с помощью одних лишь этих крыльев; нам снова нужны те же наставники, наши немецкие классики, которые подхватят нас на крыльях своих античных стремлений и унесут в страну наших желаний – в Грецию.

За старозаветные стены гимназии не проникло ни одного звука об этой единственно возможной связи между нашими классиками и классическим образованием. Напротив, филологи неутомимо стараются собственными силами преподнести молодым душам своих Гомеров и Софоклов и без дальнейших сомнений и оговорок называют результат классическим образованием. Пусть каждый, исходя из собственного опыта, вспомнит, что он получил от Гомера и Софокла под руководством таких ретивых наставников. Это сфера наиболее частых и грубых ошибок и ненамеренно распространяемых недоразумений. Я еще никогда не находил в немецкой гимназии ни малейшего следа того, что поистине можно было бы назвать «классическим образованием». И это не удивительно, если вспомнить, как гимназия эмансипировалась от немецких классиков и немецкой дисциплины слога. Прыжком в пустоту нельзя достичь древности, а весь практикующийся в школах способ обращения с древними писателями, добросовестное комментирование и парафразировка наших учителей-филологов – не что иное, как такой прыжок в пустоту.

Чутье классически-эллинского является столь редким результатом самой упорной образовательной борьбы и ху-

дожественного таланта, что лишь благодаря грубому недоразумению гимназия осмеливается претендовать на роль пробудителя этого чувства. И в каком возрасте? В возрасте, который еще слепо поддается самым пестрым тенденциям дня, который еще не имеет ни малейшего представления о том, что это чутье эллинского, *если* только его однажды пробудить, сейчас же становится агрессивным и должно выразиться в непрестанной борьбе со всей мнимой культурой настоящего. Для современного гимназиста эллины, как таковые, мертвы; да, ему нравится Гомер, но все же роман Шпильгагена захватывает его гораздо сильнее; да, он с известным удовольствием поглощает греческие трагедии и комедии, но все же настоящая современная драма, вроде «Журналистов» Фрейтага, затрагивает его совершенно иначе. Глядя на античных авторов, его подмывает задать примерно такие же вопросы, какие однажды в вычурной статье о Венере Милосской поставил перед собой художественный критик Герман Гримм: «Что мне образ этой богини? На что мне мысли, которые она возбуждает во мне? Орест и Эдип, Ифигения и Антигона, что говорят они моему сердцу?» Нет, милые гимназисты, вам нет дела до Венеры Милосской: но так же мало до нее дела и вашим учителям, – и в этом несчастье, в этом тайна современной гимназии. Кто поведет вас в отчизну образования, если ваши руководители слепы и, сверх того, выдают себя за зрячих! Кто из вас достигнет истинного понимания священной важности искусства, когда вас избалуют методом, приучающим вас самостоятельно заикаться, вместо того чтобы научить вас говорить, самостоятельно эстетизировать, вместо того чтобы благоговейно подходить к художественному произведению, самостоятельно философствовать, вместо того чтобы принуждать вас *слушать* великих мыслителей. И все это имеет лишь тот результат, что вы останетесь навеки чуждыми древности и станете слугами настоящего дня.

Самое благотворное, что скрывает в себе современная гимназия, заключается, главным образом, в серьезности, с которой она на протяжении целого ряда лет занимается латинским и греческим языками. Здесь еще научаются уважению к языку со строгими правилами, к грамматике и словарю, здесь еще знают, что такое ошибка, и не испытывают

каждую минуту затруднений от претензий, заявляемых грамматическими и орфографическими капризами и причудами, подобных тому, какие встречаются в немецком слоге современности. Если бы только это уважение к языку не оставалось висящим в воздухе и не рассматривалось как теоретическое бремя, которое снова тотчас же сбрасывают, когда имеют дело со своим родным языком! Обыкновенно сам учитель греческого или латыни мало церемонится с этим родным языком: он с самого начала рассматривает его как область, где можно отдохнуть от строгой дисциплины латыни и греческого, где опять позволительна беспечная распущенность, с которой немец привык относиться ко всему родному. Перевод с одного языка на другой, это прекрасное упражнение, самым целительным и плодотворным образом действующее на развитие художественного понимания собственного языка, никогда не выполняется с надлежащей категорической строгостью и достоинством в отношении к немецкому языку, что как раз здесь, где мы имеем дело с недисциплинированным языком, необходимо прежде всего. Впрочем, в последнее время и эти упражнения все более исчезают: довольствуются знанием чужих классических языков и пренебрегают умением владеть ими.

Здесь снова пробивается ученая тенденция в понимании задач гимназии – явление, которое бросает свет на гуманитарное образование, всерьез считавшееся прежде целью гимназии. В эпоху наших великих поэтов, т.е. немногих действительно образованных немцев, выдающийся Фридрих-Август *Вольф* приобщил и гимназию к новому классическому духу, идущему из Греции и Рима через посредство тех мужей. Его смелому почину удалось создать новую картину гимназии, которая отныне должна была стать не только рассадником науки, но прежде всего настоящим святилищем всякого высшего и более благородного образования.

Из мер, внешне кажущихся необходимыми для этого, некоторые весьма существенные с продолжительным успехом применялись и при современном строе гимназии; не удалось же только как раз самое важное – освятить самих учителей этим новым духом, – так что со временем цель гимназии снова значительно удалилась от того гуманитарного образования, к которому стремился Вольф. Напротив,

старая, самим Вольфом преодоленная абсолютная оценка учености и ученого образования, снова после слабой борьбы заняла место проникшего было нового образовательного принципа и отстаивает теперь, хотя и не с прежней откровенностью, а с закрытым маской лицом, свое исключительное право. И неудача попытки ввести гимназию в широкое русло классической образованности заключалась в не-немецком, почти чужеземном или космополитическом характере этих образовательных усилий, в уверенности, что возможно из-под ног вырвать родную почву и все же прочно стоять на ногах, в иллюзорном убеждении, будто мы в состоянии прямо, безо всякого моста, перепрыгнуть в отдаленный эллинский мир путем отрицания немецкого и вообще национального духа.

Правда, нужно уметь сперва разыскать этот немецкий дух в его потайных убежищах, под модными облачениями или под обломками; надо его любить так, чтобы не стыдиться его искалеченного вида; следует прежде всего остерегаться и не смешивать его с тем, что теперь гордо именуют «немецкой культурой современности». Последней этот дух скорее внутренне враждебен; и как раз в сферах, на недостаточность культуры которых эта «современность» обыкновенно жалуется, часто сохраняется, хотя и в лишенной прелести форме под грубой внешностью, именно этот настоящий немецкий дух. То же, что теперь с особым самомнением называет себя немецкой культурой, представляет собой космополитический агрегат, относящийся к немецкому духу, как журналист к Шиллеру, как Мейербер к Бетховену. Здесь оказывает сильнейшее влияние негерманская в глубочайшей основе цивилизация французов, которой подражают бездарно, порой безвкусно, и в этом подражании придают фальшивое обличие немецкому обществу, прессе, искусству и стилистике. Правда, эта копия никогда не окажет такого завершенного художественного воздействия, какое оказывает вплоть до наших дней оригинальная, выросшая из сущности романского духа французская цивилизация. Чтобы ощутить это противоречие, сравним наших известнейших немецких романистов с любым, даже менее известным французским или итальянским писателем: с обеих сторон те же самые сомнительные тенденции и цели,

те же самые еще более сомнительные средства; но там они соединены с художественной серьезностью, по крайней мере с корректностью слога, часто красивы и являются всегда отзвуком соответствующей общественной культуры, здесь же все не оригинально, расплывчато, халатно по мысли и выражению или неприятно расфуфырено, кроме того, совершенно лишено фона действительной общественной жизни, – так что лишь в лучшем случае ученые манеры и познания напоминают о том, что в Германии журналистом становится неудавшийся ученый, а в романских странах – художественно образованный человек. С этой якобы немецкой, в сущности же неоригинальной культурой немец нигде не может рассчитывать на победу; с ней он терпит посрамление со стороны француза и итальянца, а что касается ловкого подражания чуждой культуре – прежде всего со стороны русского.

Тем крепче следует держаться немецкого духа, который открыл себя в немецкой реформации и немецкой музыке и доказал свою прочную, далеко не призрачную силу в неслыханной отважности и строгости немецкой философии и в недавно испытанной верности немецкого солдата. Именно от *этого* духа мы и должны ожидать победы над модной псевдокультурой «современности». Вовлечь в эту борьбу настоящую образовательную школу и вдохновить, особенно в гимназии, подрастающее новое поколение на все истинно немецкое – вот та будущая деятельность школы, на которую мы возлагаем свои надежды. В этой школе, наконец, и так называемое классическое образование обретет свою естественную почву и свою единственную исходную точку. Истинное обновление и очищение гимназии вытечет только из глубокого и мощного обновления и очищения немецкого духа. Таинственна и трудно уловима связь, которая существует между глубинной немецкой сущностью и греческим гением. Но прежде, чем благороднейшая потребность чисто немецкого духа не схватится за руку этого греческого гения, как за твердую опору среди потоков варварства, пока в немецком духе не пробудится всепоглощающее стремление к греческому миру, пока с трудом достижимая даль греческой отчизны, которая услаждала Гёте и Шиллера, не сделается местом паломничества луч-

ших и одареннейших людей, до тех пор классическая образовательная цель гимназии будет, как флюгер, указывать во все стороны по воле ветров. И нельзя будет по крайней мере порицать тех, кто желает насадить в гимназии хотя бы ограниченную научность и ученость, чтобы все же иметь перед глазами действительную, прочную, так или иначе идеальную цель и спасти своих учеников от соблазнов того лживого призрака, который теперь позволяет называть себя «культурой» и «образованием». Таково печальное положение теперешней гимназии. Самые ограниченные точки зрения до известной степени сохраняют свою правоту, ибо никто не в состоянии достичь или по крайней мере обозначить место, где все эти точки зрения становились бы неправы».

– Никто? – спросил ученик философа с некоторым волнением в голосе, и оба умолкли.

Лекция III

Милостивые государи! Разговор, который мне некогда пришлось услышать и основные черты которого я по памяти старался воспроизвести перед вами, был прерван долгой паузой в том пункте, которым я последний раз закончил свой пересказ. Философ и его спутник сидели погруженные в грустное молчание. На душе у обоих тяжелым бременем лежало странное, только что служившее предметом их разговора неблагополучие важнейшего образовательного учреждения – гимназии, – неблагополучие, для устранения которого благомыслящий индивид оказывается слишком слабым, а масса – недостаточно мыслящей.

Два обстоятельства особенно удручали наших одиноких мыслителей: во-первых, они ясно сознавали, что то, что с полным правом можно было бы назвать «классическим образованием» – это в настоящее время лишь витающий в воздухе идеал образования, совершенно не способный вырасти на почве нашей воспитательной системы, и, напротив, то, что теперь обозначают общепринятым и неоспариваемым эвфемизмом «классическое образование» – не более чем претенциозная иллюзия, вся ценность которой в том, что благодаря ей само выражение «классическое образование» еще продолжает жить и по-прежнему звучит патетически. На примере преподавания немецкого языка эти честные люди выяснили между собой, что до сих пор не найдено правильная исходная точка для высшего образования, воздвигнутого на столпах древности. Одичалость же приемов преподавания языков, вторжение ученых исторических направлений на место практической выучки и приобретения навыка, смычка некоторых требующихся в гимназиях упражнений с сомнительным духом нашей журналистской общественности – все эти явления, наблюдаемые в преподавании немецкого языка, вызывают печальную уверенность, что благотворнейшее влияние классической древности совершенно не известно нашей гимназии, – то

величие классицизма, которое подготовляет к борьбе с варварством современности и которое, быть может, со временем еще превратит гимназию в арсеналы и мастерские этой борьбы.

Между тем сейчас совершается обратное: кажется, будто уже дух древности усердно отгоняется от самого порога гимназии и будто здесь хотят как можно шире отворить двери нашей избалованной лестью, мнимой современной «немецкой культуре». И если для наших одиноких собеседников еще существовала надежда, то заключалась она в ожидании еще худших времен, когда то, что до сих пор угадывалось лишь немногими, станет до очевидности ясно многим и когда в серьезной области народного воспитания уже будет недалека пора честных и решительных людей.

Тем крепче, – сказал философ, – следует держаться немецкого духа, который открыл себя в немецкой реформации и немецкой музыке и доказал свою прочную, далеко не призрачную силу в неслыханной отважности и строгости немецкой философии и в недавно испытанной верности немецкого солдата. Именно от *этого* духа мы и должны ожидать победы над модной псевдокультурой «современности». Вовлечь в эту борьбу настоящую образовательную школу и вдохновить, особенно в гимназии, подрастающее новое поколение на все истинно немецкое – вот та будущая деятельность школы, на которую мы возлагаем свои надежды. В этой школе, наконец, и так называемое классическое образование обретет свою естественную почву и свою единственную исходную точку. Истинное обновление и очищение гимназии вытечет только из глубокого и мощного обновления и очищения немецкого духа. Таинственна и трудно уловима связь, которая существует между глубинной немецкой сущностью и греческим гением. Но прежде, чем благороднейшая потребность чисто немецкого духа не схватится за руку этого греческого гения, как за твердую опору среди потоков варварства, пока в немецком духе не пробудится всепоглощающее стремление к греческому миру, пока с трудом достижимая даль греческой отчизны, которая услаждала Гёте и Шиллера, не сделается местом паломничества лучших и одареннейших людей, до тех пор классическая образовательная цель гимназии будет, как флюгер, указы-

вать во все стороны по воле ветров. И нельзя будет по крайней мере порицать тех, кто желает насадить в гимназии хотя бы ограниченную научность и ученость, чтобы все же иметь перед глазами действительную, прочную, так или иначе идеальную цель и спасти своих учеников от соблазнов того лживого призрака, который теперь позволяет называть себя «культурой» и «образованием».

После нескольких минут молчаливого раздумья спутник обратился к философу и сказал: «Вы желали пробудить во мне надежды, учитель, но вы укрепили мое понимание и тем самым мою силу и мое мужество. Теперь я действительно смотрю смелее на поле сражения и даже почти осуждаю свое преждевременное бегство. Мы ведь ничего не желаем для самих себя, и нас не должно печалить, если многие погибнут в этой борьбе и мы сами падем в числе первых. Именно потому что мы смотрим серьезно на дело, мы не будем серьезно относится к каждой из наших личностей. В тот момент, когда мы падем, несомненно найдется кто-нибудь другой, подхвативший знамя, в символику которого мы веруем. Я не хочу задумываться даже над тем, достаточно ли у меня силы для такой борьбы и как долго я буду в состоянии сопротивляться. И разве не почетная смерть – пасть под насмешливый хохот таких врагов, серьезность которых так часто казалась нам смешной? Когда я подумаю о том, как мои сверстники готовились к одинаковому со мной призванию, к высокому призванию учителя, то я вижу, что часто мы смеялись над противоположным и становились серьезными перед совсем иным –».

«Мой друг, – прервал его со смехом философ, – ты говоришь как человек, который хочет прыгнуть в воду, не умея плавать, и боится не столько пойти ко дну, сколько именно *не* утонуть и быть высмеянным. Но меньше всего мы должны бояться осмеяния; ибо перед нами область, где еще много невысказанных истин, так много пугающих, горьких, непростительных истин, что не может быть недостатка в самой искренней ненависти к нам, и лишь ярость порой будет скрываться под неловкой улыбкой. Представь себе только необозримые толпы учителей, которые с наивной уверенностью освоили существующую до сих пор воспитательную систему, чтобы простосердечно и без лишних

мудрствований насаждать ее дальше. Как, думаешь ты, почувствуют они себя, когда услышат о планах, из которых они исключены и притом beneficio naturae[1]; о требованиях, которые залетают далеко за пределы их средней одаренности; о надеждах, которые остаются без отклика в них; о сражениях, боевой клич которых им непонятен и в которых они играют только роль глухо сопротивляющейся инертной массы? А таково будет, без преувеличения, неизбежное положение большинства учителей в средних учебных заведениях. Впрочем, тот, кто взвесит, как в большинстве случаев создается такой тип учителя, каким образом он *становится* преподавателем среднего образования, тот даже и не удивится такому положению. Теперь почти всюду существует такое преувеличенное количество средних учебных заведений, что для них постоянно требуется гораздо больше учителей, чем в состоянии породить природа даже богато одаренного народа. Таким образом, в эти заведения попадает чересчур много непризванных, которые постепенно, благодаря численному перевесу и инстинкту similis simili gaudet[2], определяют дух этих заведений. Да будут безнадежно далеки от педагогических вопросов все те, кто полагает, будто возможно при помощи каких-нибудь законов и предписаний превратить видимое изобилие наших гимназий и учителей в настоящее изобилие, в ubertas ingenii[3], не уменьшая их числа. Мы должны быть солидарны в том, что лишь чрезвычайно редкие люди предназначены от природы к подлинному образовательному пути и что для их успешного развития достаточно гораздо меньшего числа средних учебных заведений; современные же учебные заведения, рассчитанные на широкие массы, менее всего содействуют развитию именно тех, ради которых вообще имеет смысл учреждать что-либо подобное.

То же самое справедливо и относительно учителей. Как раз лучшие – те, которые, применяя крупный масштаб, вообще достойны этого высокого имени, – теперь, при современном состоянии гимназии, пожалуй, меньше всего

1 милостью природы (*лат.*).
2 подобное стремится к подобному (*лат.*).
3 преизбыток дарований (*лат.*).

пригодны для воспитания этой неотобранной, случайно сведенной вместе молодежи, и принуждены сохранять в тайне то лучшее, что могли бы ей дать. А громадное большинство учителей чувствует себя полноправным в этих заведениях, ибо их способности находятся в известном гармоничном соответствии с низким духовным полетом и умственной скудностью их учеников. Из среды этого большинства раздается призыв к основанию все новых гимназий и средних учебных заведений. Мы живем в эпоху, когда, благодаря этому беспрерывному оглушительному призыву, кажется, будто действительно существует громадная жаждущая утоления потребность в образовании. Но именно здесь надо правильно слушать, именно здесь, не смущаясь звонким эффектов слов, надо смотреть в лицо тем, кто так неустанно твердит об образовательных потребностях своего времени. Тогда придется пережить странное разочарование; то самое, которое мы с тобой, мой добрый друг, так часто переживали. Громкие глашатаи потребности в образовании внезапно при более внимательном рассмотрении вблизи превращаются в ревностных, даже фанатичных противников истинного образования, т.е. такого, которое связано с аристократической природой духа. Ибо в сущности они считают своею целью эмансипацию масс от господства великих индивидов, в сущности, они стремятся ниспровергнуть священный порядок в царстве интеллекта: служебную роль массы, ее верноподданническое послушание, ее инстинкт верности скипетру гения.

Я давно приучился осторожно относиться ко всем тем, кто усердно ратует за так называемое народное образование, как оно обыкновенно понимается. Ибо большей частью, сознательно или бессознательно, они желают для себя, при общих сатурналиях варварства, безудержной свободы, которой им никогда не предоставит священная иерархия природы. Они рождены для служения, для повиновения, и каждое мгновение деятельности их пресмыкающихся, ходульных или слабокрылых мыслей подтверждает, из какой глины их вылепила природа и какое фабричное клеймо выжгла она на этой глине. Следовательно, нашей целью будет не образование массы, а образование отдельных избранных людей, вооруженных для великих и непреходящих дел. Ведь

мы теперь знаем, что справедливое потомство будет судить об общем образовательном уровне народа лишь по великим одиноко шествующим героям эпохи и произнесет свой приговор в зависимости от того, в какой мере их признавали, поощряли и чтили или же изолировали, оскорбляли и истребляли. Прямым путем, т.е. повсеместным принудительным элементарным обучением, удается лишь чисто внешне и приблизительно добиться того, что называют народным образованием; настоящие же более глубокие области, где широкая масса соприкасается с образованием, те области, где народ питает свои религиозные инстинкты, где он продолжает творить свои мифические образы, где он сохраняет верность своим обычаям, своему праву, своей родной почве, своему языку, – все они едва ли достижимы прямым путем, и во всяком случае это будет путь разрушительного насилия; а потому подлинным содействием народному образованию в столь серьезных вещах были бы лишь отпор такому разрушительному насилию и поддержание спасительной бессознательности, той здравой народной сонливости, без противовеса и целительного действия которой невозможна никакая культура с истощающим напряжением и возбуждением ее воздействий.

Но мы знаем, чего домогаются те, кто желает прервать этот целительный сон народа, кто постоянно кричит ему: “Проснись, будь сознательным, будь умным!” Мы знаем, куда метят те, кто путем чрезмерного умножения образовательных заведений, путем вызванного таким образом к жизни высоко мнящего о себе сословия учителей якобы желает удовлетворить могучую потребность в образовании. Именно эти господа и как раз этими средствами борются против естественной иерархии в царстве интеллекта, разрушая корни высочайших и благороднейших образовательных сил, вырастающих из бессознательного состояния народа, материнское назначение которых заключается в порождении гения и затем в правильном его воспитании и уходе за ним. Лишь по сходству с матерью поймем мы значение и обязанности, которые истинная образованность народа имеет по отношению к гению. Само возникновение гения происходит не в ней, он имеет лишь, так сказать, метафизическое происхождение, метафизическую родину. Но то,

что он является перед нами, то, что он выныривает из гущи народа, что он, словно отраженный образ, воплощает насыщенную игру красок всех самобытных сил этого народа, и что высшее назначение народа он дает познать в полуаллегорической сущности индивида и в вечном творении, связуя таким образом свой народ с вечностью и освобождая его от изменчивой сферы минутного, – все это под силу гению лишь тогда, когда он созрел и выкормился на материнском лоне образованности народа. Без этой же укрывающей и согревающей его родины он не развернет крыльев для своего вечного полета, но со временем, подобно чужестранцу, затерявшемуся в зимней глуши, печально удалится из негостеприимной страны».

«Учитель, – заметил тогда спутник, – вы повергаете меня в недоумение этой метафизикой гения, и лишь издалека чувствую я справедливость ваших уподоблений. Зато я вполне понимаю ваши слова об избытке гимназий и вызванном таким образом перепроизводстве учителей средних учебных заведений. Именно на этой почве я имел опыт, убедивший меня, что образовательная тенденция гимназии *должна* приноравливаться к громадному большинству учителей, которые, в сущности, не имеют ничего общего с образованием и лишь в силу упомянутой нужды попадали на этот путь и дошли до таких притязаний. Тот, кто в счастливую минуту просветления убедился в исключительности и недосягаемости эллинского мира и в упорной борьбе защищал от себя самого это убеждение, знает, что доступ к такому прозрению всегда открыт лишь для немногих, и будет считать нелепым и унизительным, когда кто-нибудь с профессиональными целями и в расчете на заработок станет обращаться с греческими классиками как с обыкновенным орудием ремесла и бестрепетно ощупывать руками ремесленника эти святыни. Но именно в том лагере, откуда вербуется большая часть гимназических учителей – в лагере филологов весьма обычно такое грубое и непочтительное обращение. Поэтому наблюдаемое в гимназии распространение и дальнейшая передача такого отношения не должны нас удивлять.

Присмотримся только к молодому поколению филологов. Как редко подметим мы в них то стыдливое чувство,

в силу которого кажется, что по сравнению с миром эллинов мы даже не имеем никаких прав на существование! Как равнодушно и дерзко, напротив, вьют эти юные птенцы свои жалкие гнезда внутри грандиознейших храмов! К большинству тех, кто еще со времени своих университетских годов самодовольно и бестрепетно разгуливает среди изумительных развалин древнего мира, должен бы взывать из каждого угла властный голос: «Прочь отсюда, вы, непосвященные, вы, никогда не добьющиеся посвящения; бегите молча из этого святилища, бегите молча и со стыдом!» Увы, этот голос взывает напрасно: ибо надо обладать хоть каплей эллинского духа, чтобы понять греческую формулу заклятия и изгнания. Но они до такой степени варвары, что сообразно своим привычкам с комфортом располагаются среди этих развалин. Они приносят с собой туда все современные удобства и пристрастия и отлично прячут их под античными колоннами и надгробными памятниками, причем поднимают большое ликование каждый раз, когда в античной обстановке найдут то, что сами же предварительно хитро запрятали туда. Один пишет стихи и умеет рыться в словаре Гесихия: тотчас же он убеждается, что призван быть переводчиком Эсхила и находит верующих, которые утверждают, что он конгениален Эсхилу, он, этот жалкий рифмоплет! Другой подозрительным оком полицейского выслеживает все противоречия, даже тени противоречий, в которых провинился Гомер; он тратит свою жизнь на разрывание и сшивание гомеровских лоскутов, которые он сам же сперва выкрал из его великолепного одеяния. Третьему не по вкусу все мистериальные и оргиастические стороны древности; он раз и навсегда решается допускать признания лишь разъясненного Аполлона и видеть в афинянине только веселого, рассудительного, хотя несколько безнравственного почитателя Аполлона. С каким облегчением он вздыхает каждый раз, когда ему удается возвести какой-нибудь темный уголок древности на высоту собственного просвещения, когда он, например, открывает в старике Пифагоре доблестного собрата по просветительной политике! Четвертый мучится над разрешением вопроса, почему судьба обрекла Эдипа на столь ужасные поступки, как убийство отца и женитьба на родной матери.

Где же тут вина? Где поэтическая справедливость? Внезапно ему все становится понятно: ведь Эдип был собственно страстный малый, не сдерживаемый христианской кротостью; однажды он даже совсем непристойно разгорячился – когда Тирезий назвал его извергом и проклятием всей страны. «Будьте кротки, – вот чему, вероятно, хотел учить Софокл, – иначе вы женитесь на своей матери и убьете своего отца!» Еще другие всю жизнь занимаются подсчетом стихов греческих и римских поэтов и радуются пропорции – 7:13 = 14:26. Наконец, кто-то обещает даже разрешение такого вопроса, как гомеровский, с точки зрения предлогов, и думает с их помощью извлечь истину на свет божий. Но все они, при всем различии тенденций, копаются и роются в эллинской почве с такой неутомимостью и неуклюжей неловкостью, что серьезному другу древности должно буквально сделаться страшно. Поэтому у меня является желание взять за руку всякого способного или не способного человека, обнаруживающего известную профессиональную склонность к античности, и произнести перед ним следующую тираду: «Знаешь ли ты, какие опасности угрожают тебе, молодой человек, отправленный в путь лишь с умеренным запасом школьного знания? Слышал ли ты, что, по словам Аристотеля, быть убитым падающей статуей – значить погибнуть не трагической смертью! А именно такая смерть угрожает тебе. Это тебя удивляет? Так знай же, что филологи в течение столетий пытаются вновь установить упавшую и ушедшую в землю статую греческой древности, но до сих пор их силы оказывались недостаточными; ибо это колосс, по которому отдельные людишки карабкаются точно карлики. В дело пущены громадные соединенные усилия и рычаги современной культуры; но едва ее приподымают от земли, как она снова падает назад, давя людей в своем падении. С этим еще можно было бы примириться, ибо каждое живое существо должно от чего-нибудь погибнуть. Но кто может поручиться, что при этих попытках сама статуя не разобьется на куски? Филологи гибнут от греческих классиков – это еще можно перенести, но ведь сам классический мир разбивается на куски по вине филологов! Подумай над этим, легкомысленный молодой человек, и вернись обратно, коль скоро ты не иконоборец».

«И в самом деле, – со смехом сказал философ, – значительное число филологов вернулось теперь обратно, как ты того требуешь. Я наблюдаю большую перемену сравнительно с положением дел во времена моей юности. Большое количество их сознательно или бессознательно приходит к убеждению, что прямое соприкосновение с классической древностью для них и бесполезно, и безнадежно. Оттого-то изучение классиков у большинства самих филологов слывет бесплодным и отжившим эпигонством. С тем большей охотой накинулась эта стая на языковедение. Здесь, на бескрайних просторах свежевзрытой пашни, где в настоящее время может с пользой применяться даже самое умеренное дарование и где, в свете новизны и неустойчивости методов и постоянной опасности фантастических заблуждений, известная трезвость рассматривается как положительный талант – здесь, где работа сомкнутым строем является наиболее желательной, – здесь приближающегося новичка не ошеломит тот изгоняющий голос божества, который звучал ему из развалин древнего мира. Здесь еще каждого встречают с распростертыми объятиями, и даже тот, кого Софокл и Аристофан никогда не наводили на значительную мысль или незаурядное чувство, может с успехом стоять за этимологическим станком или заниматься собиранием затерявшихся диалектических пережитков – и так среди состыковок и разделений, собирания и рассеивания, беготни взад и вперед и заглядывания в различные книги будет незаметно проходить его день. Но вот от этого приносящего столь большую пользу языковеда требуется, прежде всего, чтобы он был учителем! И именно ему, сообразно своим обязанностям, надлежит преподавать для блага гимназической молодежи нечто о древних авторах, относительно которых у него самого никогда не было самостоятельных впечатлений и еще менее понимания. Какое затруднительное положение! Древний мир ему ничего не говорит, следовательно, и ему нечего сказать о древнем мире. Внезапно у него становиться светло и легко на душе: ведь недаром же он языковед! Недаром те авторы писали по-латыни и по-гречески! И вот он тотчас весело приступает к этимологизированию Гомера, привлекая на помощь литовский или церковно-славянский язык, а прежде всего священный сан-

скрит, как будто бы школьные уроки греческого языка являются только предлогом для всеобщего введения в языкознание и как будто Гомер повинен лишь в одном принципиальном недостатке – в том, что не написан на древнем индоевропейском наречии. Кто знаком с современными гимназиями, знает, как чужды их учителя классической тенденции и как именно из сознания этого недостатка вытекает преобладание у подобных ученых занятий сравнительным языкознанием».

«Я же думаю, – сказал спутник, – важно именно то, чтобы преподаватель классической образованности не смешивал своих греков и римлян с другими варварскими народами и чтобы греческий и латинские языки *никогда* не могли бы стать для него *наряду* с другими языками. Как раз для его классической тенденции безразлично, совпадает ли скелет этих языков со скелетами других и родствен ли он им. Для него суть дела не в совпадениях. Именно *не общее*, именно то, что возносит эти народы как не-варварские высоко над всеми остальными, должно притягивать его подлинную симпатию, поскольку он является преподавателем настоящей образованности и хочет преобразовать самого себя согласно возвышенному прообразу классического мира».

– Быть может, я ошибаюсь, – сказал философ, – но у меня возникает подозрение, что при том методе, по которому теперь в гимназии обучают латыни и греческому, утрачивается именно умение владеть языком, непринужденное, обнаруживающееся в разговоре и письме господство над ним; нечто, характеризовавшее мое, правда, теперь уже сильно состарившееся и поредевшее поколение. Теперешние же учителя, кажется мне, до такой степени вдаются со своими учениками в генетическое и историческое рассмотрение, что, в конце концов, в лучшем случае из них выходят маленькие санскритологи, любители этимологических фейерверков или не знающих никакого удержа гипотез. Но ни один из них не в состоянии, подобно нам, старикам, с удовольствием читать своего Платона или Тацита. Поэтому, быть может, гимназии и теперь еще служат рассадниками учености, но это не та ученость, которая является естественным, непреднамеренным побочным продуктом образования, направленного к благороднейшим целям; ее

скорее можно сравнить с гипертрофической опухолью нездорового тела. И гимназии – рассадники этой ученой жирной немочи – зачастую даже вырождаются в атлетические школы того элегантного варварства, которое теперь чванливо зовет себя «немецкой культурой современности».

– Но куда же, – спросил спутник, – деваться тому несчастному множеству учителей, которых природа не наделила способностью к истинному образованию и которые скорее в силу нужды, из-за того, что избыток школ требует избытка учителей, и чтобы прокормить самих себя дошли до притязания изображать из себя преподавателей образованности? Куда деваться им, если древность властно отвергает их? Разве не должны они пасть жертвой тех сил современности, которые изо дня в день взывают к ним неустанно из всех органов прессы: «Мы – культура! Мы – образование! Мы – стоим на высоте! Мы – вершина пирамиды! Мы – цель мировой истории!» – когда они слышали соблазнительные обетования, когда перед ними в газетах и журналах восхваляют именно позорнейшие знамения некультурности, плебейскую публичность так называемых «культурных интересов», выставляя их как фундамент совершенно новой и в высшей степени зрелой формы образования. Куда деваться этим несчастным, если в них живо еще хотя бы слабое подозрение лживости упомянутых обещаний, – куда же, как не в самую тупую, мелочную, высушенную научность, чтобы по крайней мере здесь не слышать более неустанных образовательных воплей? Разве не вынуждены они, преследуемые таким образом, подобно страусу спрятать свою голову в кучу песка? И не истинное ли для них счастье – возможность вести муравьиную жизнь, зарывшись в диалекты, этимологии и конъектуры, хотя бы и на огромном расстоянии от истинного образования, но зато по крайней мере с заткнутыми ушами, не доступными и глухими голосу элегантной культуры эпохи?

– Ты прав, друг мой, – сказал философ, – но где же та железная необходимость, в силу которой неизбежен излишек образовательных школ, а значит и излишек учителей? Ведь мы же ясно сознаем, что требование такого излишка раздается из сферы, враждебной образованию, и что результаты его благоприятствуют только необразованности.

В действительности же речь о такой железной необходимости может идти лишь постольку, поскольку современное государство привыкло подавать свой голос в этих делах, сопровождая свои требования бряцанием бранных доспехов. Последнее явление, правда, производит на большинство людей такое же впечатление, как если бы им вещала вечная железная необходимость, первичный закон всех вещей. Но все же выступающее с такими требованиями «культурное государство», как его теперь называют, есть нечто юное и стало чем-то «само собой разумеющимся» лишь за последние полвека, то есть в эпоху, которой, согласно ее излюбленному выражению, кажется «само собой разумеющимся» чересчур многое, что само по себе отнюдь не разумеется само собой. Как раз наиболее мощное из современных государств, Пруссия, так серьезно отнеслось к этому праву верховного руководства в деле образования и школы, что, учитывая смелость, свойственную данному государству, усвоенный им сомнительный принцип получает общее угрожающее, а для истинного немецкого духа положительно опасное значение. Ибо с этой стороны мы находим формально систематизированное стремление поднять гимназию на так называемый «уровень требований времени». Здесь процветают все те мероприятия, при помощи которых как можно большее число учеников пришпоривается для гимназического воспитания; здесь государство даже с таким успехом применило свое наимогущественнейшее средство – дарование известных льгот по военной службе, что, по откровенному свидетельству государственных служащих, это и только это объясняет общую переполненность всех прусских гимназий и настоятельную непрекращающуюся потребность в открытии новых. Что же более может сделать государство для поощрения такого избытка образовательных заведений, как ни привести в необходимую связь с гимназией все высшие и большую часть низших чиновничьих должностей, а также и право посещения университета и даже самые значительные военные льготы; и это в стране, где всецело одобряемая народом всеобщая воинская повинность наряду с самым неограниченным политическим честолюбием чиновников бессознательно влекут на эти пути все одаренные натуры. Здесь на гимназию

смотрят как на известную ступень к почестям; и все, что только обуревается влечением к административным сферам, оказывается на дороге гимназии. Новое и несомненно оригинальное явление заключается в том, что государство берет на себя роль мистагога культуры и, заботясь о достижении своих целей, принуждает каждого из своих слуг появляться перед собой только с факелом всеобщего санкционированного государством образования. В неверном мерцании этих факелов гражданин видит государство как высшую цель, как награду за все свои образовательные труды. Последнее явление, правда, должно было привести в недоумение; оно должно бы напомнить родственную, постепенно разгаданную тенденцию философии, которая в свое время поощрялась государством и имела ввиду цели государства – тенденцию гегелевской философии. Пожалуй, не было бы даже преувеличением утверждать, что в деле подчинения всех образовательных стремлений государственным целям Пруссия с успехом воспользовалась практически применимым наследием гегелевской философии; ее апофеоз государства достиг своей высшей точки именно в *этом* подчинении.

– Но, – спросил спутник, – какие же намерения может преследовать государство такой странной тенденцией? А что оно их преследует, вытекает уже из того, что прусские школьные условия вызывают восхищение других государств, серьезно взвешиваются ими и кое-где находят подражателей. Эти другие государства, очевидно, предполагают здесь нечто, в такой же мере способствующее прочности и силе государства, как и прославленная и ставшая вполне популярной всеобщая воинская повинность. Там, где каждый периодически с гордостью носит солдатский мундир, где почти каждый, благодаря гимназии, воспринял обезличивающую, как мундир, государственную культуру, там энтузиасты готовы говорить чуть ли не об античных временах, о достигнутом только однажды, в древнем мире, всемогуществе государства, которое почти каждый юноша, в силу инстинкта и воспитания, приучился считать украшением и величайшей целью человеческого бытия.

– Положим, – сказал философ, – такое сравнение преувеличено и хромает на обе ноги. Античный государственный строй оставался чрезвычайно далек именно от этих

утилитарных соображений, согласно которым значение образования признается лишь постольку, поскольку оно непосредственно приносит пользу государству, а стремления, которые не поддаются незамедлительному использованию в интересах последнего, подавляются. Глубокомысленный грек именно потому питал к государству почти поражающее современного человека чувство восхищения и благодарности, что сознавал, сколь немыслимо было бы развитие малейшего зародыша культуры без такого попечительного и охранительного установления; поэтому вся его неподражаемая и единственная на все времена культура разрослась так пышно благодаря заботам и мудрому покровительству попечительных и охранительных учреждений государства. Государство было для его культуры не пограничным стражем, не регулятором или надсмотрщиком, но крепким, мускулистым, вооруженным для борьбы товарищем и попутчиком, который провожал своего достойного преклонения, более благородного и как бы неземного друга, охраняя его от суровой действительности и получая за это благодарность. Если же теперь современное государство претендует на подобную восторженную благодарность, то это, разумеется, не потому, что оно сознает за собой рыцарское отношение к высшему немецкому образованию и искусству. Ибо с этой стороны его прошедшее так же позорно, как и его настоящее. Чтобы убедиться, следует только подумать о том, как чтится память наших великих поэтов и художников в германских столицах и насколько высочайшие художественные замыслы этих немецких мастеров поддерживаются со стороны государства.

Таким образом, должны существовать особые причины как для той государственной тенденции, которая всевозможными путями поощряет то, что здесь называют «образованием», так и для поощряемой таким образом культуры, подчиняющейся вышесказанной государственной тенденции. С истинно немецким духом и с образованием, которое бы вело от него свое начало и которое я тебе, друг мой, обрисовал беглыми чертами, эта государственная тенденция находится в открытой или тайной вражде. Поэтому *тот* дух образования, который благоприятен государственной тенденции и к которому она относится с живым сочув-

ствием, заставляющим другие страны восхищаться ее постановкой школьного дела, должен происходить из сферы, не соприкасающейся с тем чисто немецким духом, который столь чудесно говорит нам из внутреннего ядра немецкой реформации, немецкой музыки, немецкой философии и на который, как на благородного изгнанника, так равнодушно, так оскорбительно взирает это роскошествующее под санкцией государства образование. Истинно немецкий дух – это чужак: одиноко и печально он проходит мимо, а там раскачивают кадильницы перед той псевдокультурой, которая, под возгласы «образованных» учителей и газетных писак, присвоила себе *его* имя, его почести и ведет постыдную игру со словом «немецкий». Для чего нужен государству этот преизбыток образовательных учреждений и учителей? К чему это основанное на широких началах народное образование и народное просвещение? Потому что ненавидят чисто немецкий дух, потому что боятся чисто аристократической природы истинного образования, потому что хотят довести до добровольного изгнания крупные личности, насаждая и питая в массе образовательные претензии, потому что пытаются избежать строгой и суровой дисциплины великих вождей, внушая массе, что она сама найдет дорогу с помощью путеводной звезды государства! Новый феномен! Государство в роли путеводной звезды образования! Однако меня утешает одно: этот немецкий дух, с которым так борются, которые подменен пестро разукрашенным заместителем, – этот дух храбр. Сражаясь, он пробьется вперед когда-нибудь в более светлую эпоху; благородный, каков он есть, и победоносный, каким он будет, он сохранит некоторое сострадательное чувство по отношению к государству, которое, будучи доведено до крайности, в минуту нужды ухватилось за псевдокультуру как за союзницу. Ибо, в конце концов, кто может оценить трудность задачи управлять людьми, т.е. поддерживать закон, порядок, спокойствие и мир среди многих миллионов, в большинстве случаев беспредельно эгоистических, несправедливых, нечестных, завистливых, злобных и притом ограниченных и упрямых людей, и в то же время постоянно отстаивать от жадных соседей и коварных разбойников то немногое, что приобрело себе государство? В свете таких

угроз государство хватается за всякого союзника. А если к тому же последний сам предлагает себя в напыщенных тирадах, называет его, государство, как, например, Гегель, абсолютно совершенным этическим организмом и ставит задачу образования каждого человека – отыскать место и положение, на котором он мог бы с наибольшей пользой служить государству, то что же удивительного, что государство без дальнейших околичностей бросается на шею к такому напрашивающемуся союзнику и в свою очередь с полным убеждением начинает восклицать своим густым варварским басом: «Да! Ты – образование! Ты – культура!».

Лекция IV

Уважаемые слушатели! После того как вы до сих пор неизменно следили за моим рассказом и мы сообща преодолели уединенный, местами обидный диалог между философом и его спутником, я могу питать надежду, что вы теперь, как выносливые пловцы, готовы превозмочь и вторую половину плавания, тем более что могу вам обещать появление новых марионеток на маленькой сцене кукольного театра моих переживаний; поэтому я полагаю, что если вы выдержали все предыдущее, то волны рассказа теперь быстрее и легче донесут вас до конца. Мы скоро доберемся до поворотного пункта, и будет целесообразно еще раз в коротком ретроспективном взгляде запечатлеть все то, что мы, по-видимому, извлекли из столь изобиловавшего поворотами разговора.

«Оставайся на своем посту, – взывал философ к своему спутнику, – ибо ты вправе надеяться. Ведь все яснее обнаруживается отсутствие у нас образовательных учреждений и необходимость их иметь. Наши гимназии, предназначенные по своему плану для этой цели, сделались либо питомниками сомнительной культуры, с глубокой ненавистью отталкивающей от себя истинное, т.е. аристократическое, опирающееся на мудрый подбор умов образование, либо выращивает мелочную, сухую или во всяком случае чуждую образованию ученость, достоинство которой, быть может, и состоит именно в том, что она по крайней мере притупляет восприимчивость взора и слуха к искушениям упомянутой сомнительной культуры». Философ прежде всего обратил внимание своего спутника на странное вырождение, которое должно было наступать в самом ядре культуры для того, чтобы государство могло считать себя господином, чтобы оно с ее помощью могло преследовать свои государственные цели и в союзе с ней бороться против чужих, враждебных сил, так же как и против духа, который философ отважился назвать «истинно немецким». Этот дух, при-

кованный в силу благороднейшей потребности к грекам, сохранившийся мужественным и выносливым в течение всего тяжелого прошлого, чистый и возвышенный по своим целям, способный, благодаря своему искусству, к верховной задаче, к освобождению современного человека от проклятия современности, – этот дух осужден жить вдали, оставаясь лишенным своего наследия. Но когда его протяжные жалобы раздаются в пустыне современности, тогда они пугают ее многолюдный и пестрый образовательный караван. Не только изумление, но испуг должны мы приносить, гласило мнение философа, не боязливо убегать, а нападать советовал он. Особенно же убеждал он своего спутника не слишком робко и недоверчиво относиться к той личности, которая, благодаря высшему инстинкту, явится носительницей антипатии к современному варварству. «Пусть она погибнет; пифийский бог без труда находил новый треножник и новую пифию, покуда мистический пар еще клубился из глубины».

И снова философ возвысил свой голос: «Заметьте же хорошенько, друзья, – сказал он, – что вы не должны смешивать двух вещей. Очень многому должен научиться человек, чтобы жить, чтобы вести свою борьбу за существование; но все, что он, как индивид, изучает и предпринимает с этой целью, не имеет еще ничего общего с образованием. Последнее, напротив, начинается только в воздушной сфере, которая простирается высоко над миром нужды, борьбы за существование и разных жизненных потребностей. Спрашивается только, как высоко оценивает человек собственный субъект наряду с другими субъектами, как много сил он тратит на ту индивидуальную жизненную борьбу. Некоторые могут путем стоического ограничения своих потребностей скоро и легко подняться до тех сфер, где они будут в состоянии забыть себя и сбросить свой субъект, чтобы в солнечной системе безвременных и безличных интересов наслаждаться вечной юностью. Другие же так растягивают вширь влияние и потребности своего субъекта и строят в таком грандиозном размере мавзолей своего “я”, как будто они таким путем обретут возможность одолеть в единоборстве своего исполинского противника – “время”. И в таком стремлении тоже обнаруживается жажда бессмер-

тия; богатство и власть, ум, присутствие духа, красноречие, цветущий вид, весомое имя – все здесь становится лишь средством для ненасытной личной воли к жизни, стремящейся к новой жизни, алчущей вечности, в конечном счете лишь призрачной.

Но даже и в этой высочайшей форме субъекта и в наиболее интенсивной потребности такого расширенного и как бы коллективного индивида еще нет соприкосновения с истинным образованием. И если, например, с этой стороны желают искусства, то при этом принимаются в соображение лишь его развлекающие и возбуждающие элементы, т.е. те, которые чистое и возвышенное искусство всего менее способно вызвать, но которые лучше всего вызываются искусством обесчещенным и загрязненным. Ибо в совокупности своих поступков и стремлений, пусть даже высокой в глазах постороннего наблюдателя, он никогда не сможет избавиться от своего алчного и беспокойного субъекта. От него ускользает лучезарная эфирная высь созерцания, свободного от всего субъективного, и поэтому он, сколько бы ни учился, ни путешествовал, ни коллекционировал, обречен жить изгнанником, навеки удаленным от пределов истинного образования. Ибо последнее презирает пятнающую его связь с обуреваемым желаниями и потребностями индивидом. Оно благоразумно ускользает от того, кто хотел бы обеспечить его себе как средство для эгоистических намерений. И когда кому-нибудь чудится, что он крепко держит его, так что может обратить в средство для заработка и утолить свои жизненные нужды путем его эксплуатации, оно внезапно неслышными шагами с гримасой презрения убегает прочь.

Итак, друзья мои, не смешивайте это образование, эту легконогую, прихотливую эфирную богиню с той полезной служанкой, которая по временам также зовет себя образованием, но на деле только интеллектуальная прислужница и советчица в делах житейской нужды, добывания средств, утоления потребностей. А всякое воспитание, которое ставит конечной целью своего поприща должность или хлебный заработок, не есть воспитание, направленное к образованию, как мы его понимаем, но лишь наставление, каким путем можно спасти и охранить свой субъект в борьбе за существование. Конечно, подобное наставление для боль-

шинства людей является вопросом первой и ближайшей важности; и чем труднее борьба, тем усерднее надо учиться молодому человеку, тем напряженнее должен он использовать свои силы.

Пусть, однако, никто не думает, что заведения, пришпоривающие и вооружающие человека для этой борьбы, могут в сколько-нибудь серьезном смысле рассматриваться как образовательные учреждения. Это лишь учреждения, вооружающие человека для одоления житейских нужд, все равно, обещают ли они воспитать чиновников или купцов, офицеров, оптовых торговцев, сельских хозяев, врачей или техников. Для таких учреждений, однако, необходимы во всяком случае иные законы и масштабы, чем для создания образовательного заведения; и что здесь позволительно и даже всячески предписывается, может явиться там преступной несправедливостью.

Приведу вам, друзья мои, пример. Если вы хотите вести молодого человека по правильному образовательному пути, то остерегайтесь нарушать его наивное, доверчивое, личное и непосредственное отношение к природе, пусть и лес, и скалы, и буря, и коршун, каждый отдельный цветок и мотылек, и лужайка, и горный склон разговаривают с ним на своем языке: в них, как в бесчисленных разбросанных отблесках и отражениях, в пестром потоке сменяющихся явлений, пусть узнает он себя. Таким образом он бессознательно ощутит метафизическое единство всех вещей на великом примере природы и в то же время обретет успокоение перед лицом ее вечного постоянства и необходимости. Но многим ли молодым людям дозволено вырасти в столь близких, почти личных отношениях к природе? Прочим приходится преждевременно познать другую истину – как подчинить себе природу. Тогда приходит конец прежней наивной метафизике: физиология растений и животных, геология, неорганическая химия вырабатывают в своих учениках иной, измененный взгляд на природу. То, что утрачивается из-за этой новой навязанной точки зрения, не просто поэтическая фантасмогория, но инстинктивное, истинное, единственное понимание природы; на его место заступают теперь благоразумные расчеты и желание перехитрить природу. Таким образом, истинно образованному

человеку предоставлено неоценимое благо – безо всякого слома остаться верным созерцательным инстинктам своего детства и тем самым достичь спокойствия, единства, общей связи и гармонии, о которых даже представления не имеет тот, кто взращен для житейской борьбы.

Но не думайте все же, друзья, что я хочу умалить достоинство наших реальных училищ и высших городских школ; я чту места, где учат основательно считать, где усваивают разговорные языки, серьезно относятся к географии и вооружаются удивительными сведениями естествознания. Я готов так же охотно допустить, что юноши, получившие образование в наших лучших реальных школах, имеют полное право на все притязания, заявляемые выпускниками гимназий, и, очевидно, недалеко уже время, когда людям с такой подготовкой так же неограниченно откроют двери университетов и доступ к государственным должностям, как это до сих пор делали лишь по отношению к питомцам гимназии – заметьте, к питомцам современной гимназии. Но я не могу в заключение удержаться от следующего горестного добавления: если верно, что реальная школа и гимназии в общем так единодушны в своих настоящих целях и, отличаясь друг от друга лишь в тонкостях, могут рассчитывать на полное равноправие перед форумом государства, то, значит, у нас полностью отсутствует одна разновидность воспитательных учреждений – образовательное учреждение! Это менее всего упрек в адрес реальных училищ, которые до сих пор столь же успешно, как и честно, преследовали более низменные, но в высшей степени необходимые тенденции. Но гораздо менее честно и гораздо менее успешно ведется дело в гимназии; ибо здесь живо еще какое-то инстинктивное чувство стыда, неосознанного признания, что учреждение его в целом позорно деградировало и что звучным образовательным лозунгам мудрых учителей-апологетов противоречит варварски пустынная и бесплодная действительность. Итак, образовательных учреждений не существует! А там, где еще пытаются подделаться под них, царит куда большая безнадежность, захудалость и недовольство, чем у очагов так называемого «реализма»! Заметьте, кстати, друзья мои, как грубы и не осведомлены должны быть учительские круги, которые мог-

ли настолько неверно истолковать строго философские термины «реальный» и «реализм», чтобы почуять под ними противоположность между материей и духом и истолковать «реализм» как «направленность на познание, преобразование действительности и овладение ею».

Я, со своей стороны, знаю лишь одну истинную противоположность – *образовательные учреждения и учреждения, вызванные житейскими нуждами*; ко второму роду относятся все существующие, о первом же говорю я».

Прошло, быть может, часа два, пока оба философа беседовали о столь необычных вещах. Ночь наступила, и если уже в сумерках голос философа звучал как музыка природы в этом лесном уголке, то теперь, в полном мраке ночи, каждый раз, когда он заговаривал возбужденно и страстно, звуки рассыпались раскатистым громом, с треском и шипением, отскакивая от бегущих вниз стволов и утесов. Внезапно он замолк; он только что почти жалобно повторил: «У нас нет образовательных заведений, у нас их нет», – как что-то, быть может, еловая шишка, упало прямо перед ним, и его собака с громким лаем бросилась вперед. Прерванный таким образом, философ поднял голову и почувствовал разом ночь, прохладу и уединенность. «Что мы, однако, делаем! – сказал он своему спутнику. – Ведь уже совсем стемнело. Ты знаешь, кого мы здесь ожидаем, но он, верно, уже не придет. Напрасно здесь мы просидели так долго. Пойдем!»

Теперь, уважаемые слушатели, мне следует познакомить вас с ощущениями, с какими мой друг и я следили из нашего потайного уголка за отчетливо доносящимся разговором, к которому мы жадно прислушивались. Я ведь сказал вам, что мы намеревались праздновать дорогое нам воспоминание на этом месте и в этот час. Это воспоминание касалось не более и не менее как вопросов воспитания и образования, т.е. области, где мы, в своей юношеской уверенности, полагали, что за предыдущее время успели собрать обильную и удачную жатву. Таким образом, мы особенно желали с благодарностью помянуть тот союз, который мы некогда задумали, сидя здесь, и целью которого, как я уже раньше сообщал, было взаимно поощрять образовательные наклонности друг друга в тесном товарищеском кругу и наблюдать за их пробуждением. Внезапно же

на все прошлое упал совершенно неожиданный свет, когда мы, молча прислушиваясь, отдались во власть сильных речей философа. Мы очутились в положении людей, которые, неосторожно двигаясь вперед, внезапно замечают, что занесли ногу над пропастью; мы почувствовали, что вместо того, чтобы удаляться от величайших опасностей, приближались к ним. Здесь, в этом памятном для нас месте, услышали мы предостерегающий крик: «Назад! Ни шагу далее! Знаете ли вы, куда несут вас ноги, куда манит эта обманчивая дорога?».

Казалось, что теперь мы это знали, и чувство льющей через край благодарности неудержимо толкало нас к строгому стражу и «верному Эккарту», так что мы оба вскочили разом, чтобы обнять философа. Последний уже поднялся, чтобы уходить. Когда мы неожиданно и шумно подскочили к нему, а собака с резким лаем кинулась нам навстречу, то ему и его спутнику, должно быть, подумалось о разбойном нападении, а не о восторженных объятиях. Очевидно, он забыл о нас; одним словом, он пустился бежать. Когда мы его догнали, наша попытка обнять его потерпела полную неудачу: мой друг вскрикнул, укушенный собакой философа, а спутник последнего с такой яростью набросился на меня, что мы оба упали. Между собакой и человеком завязалась тем временем жуткая свалка, продолжавшаяся несколько минут, пока моему другу не удалось, пародируя слова философа, громко прокричать: «Именем всех культур и псевдокультур! Чего хочет от нас глупая собака! Проклятый пес, прочь отсюда, ты, непосвященный и никогда не удостоящийся посвящения, прочь от нас и наших потрохов, изыди молча и посрамленно». После этого воззвания сцена несколько прояснилась, насколько это допускала полная темнота, царившая в лесу. «Это они! – вскричал философ. – Наши стрелки! Как вы нас напугали! Что заставило вас так наброситься на меня в эту ночную пору?»

«Радость, благодарность, уважение руководило нами, – сказали мы, пожимая руку старца, тогда как собака продолжала заливаться тревожным лаем. – Мы не хотели дать вам уйти, не сказав вам этого. А для того, чтобы вам все объяснить, мы просим вас еще повременить; нам хочется расспросить вас о многом, что как раз теперь у нас на серд-

це. Повремените же немного: нам знаком каждый шаг по дороге, мы потом проводим вас вниз. Быть может, придет и поджидаемый вами гость. Взгляните только вниз на Рейн. Что такое плывет там, точно окруженное светом многих факелов? Там должен быть ваш друг, и нам даже чудится, что он подымется сюда к вам со всеми этими факелами».

Так осаждали мы удивленного старца своими просьбами, обещаниями, фантастическими выдумками, пока, наконец, и спутник не стал уговаривать философа еще немного погулять взад и вперед здесь, на вершине горы, на теплом воздухе ночи, стряхнув с себя, как он добавил, «познаний чад».

«Стыдитесь, – ответил на это философ. – Когда вы начинаете цитировать, то неужели вы можете брать цитаты только из «Фауста»? Но все же я вам уступлю, с цитатой или без нее, если только наши юноши выдержат и не бросятся бежать с такой же поспешностью, с какой они явились; ведь они похожи на блуждающие огни: не успеешь удивиться их появлению, как приходится удивляться их исчезновению».

Тогда мой друг тотчас же продекламировал:

«Почтения узду приняв,
Мы изменим свой легкий нрав:
Зигзаги – наш обычный бег».

Философ в недоумении остановился. «Вы поражаете меня, господа блуждающие огоньки, – сказал он. – Ведь здесь же не болото. На что вам это место? Что значит для вас общество философа? Здесь воздух резок и ясен, почва тверда и суха. Вам следует поискать более фантастическую область для ваших зигзагообразных наклонностей».

«Если я не ошибаюсь, – вмешался спутник, – эти господа сказали нам, что известное обещание связывает их на этот час с данным местом. Но мне кажется, что они, в качестве хора, прослушали нашу комедию об образовании и вели себя при этом как истинные идеальные зрители, ибо совершенно не мешали нам, и мы считали, что находимся наедине друг с другом».

«Да, – молвил философ, – это правда; в этой похвале я не могу отказать вам, но мне кажется, что вы заслуживаете и большей».

В эту минуту я схватил философа за руку и сказал: «Надо быть тупоголовым пресмыкающимся и ползать по земле брюхом, уткнувшись головой в грязь, чтобы, слыша речи, подобные вашим, не задумываться серьезно над ними, не возбудиться и не разгорячиться. Быть может, кто-либо и почувствовал бы при этом гнев, под влиянием досады и самообвинения; на нас же это произвело иное впечатление, и я только затрудняюсь его описать. Именно этот час был как нарочно выбран для нас, наш настрой оказался вполне подготовленным, мы сидели как открытые сосуды! Теперь кажется, что мы до краев наполнены новой мудростью, и я совершенно растерялся. Так что если кто-нибудь сейчас спросит меня, что я хочу делать завтра и что я отныне собираюсь делать, то я не сумею ответить ничего. Ибо, очевидно, мы до сих пор совершенно иначе жили, получали совершенно иное воспитание, чем следовало, но что нам сделать, чтобы перешагнуть пропасть, отделяющую сегодня от завтра?»

«Да, – подтвердил мой друг, – то же самое чувствую и я, тот же вопрос задаю и я. Кроме того, мне кажется, что столь возвышенные и идеальные взгляды на задачи немецкого образования отпугивают меня от него, как того, кто недостоин трудиться над его созиданием. Я вижу, как блестящее шествие самых богатых натур движется к этой цели, и предчувствую, через какие пропасти, мимо каких соблазнов оно идет. Кто будет настолько смел, чтобы присоединиться к нему?»

Тут и спутник также обратился к философу со словами: «Не прогневайтесь, если и я сознаюсь, что ощущаю нечто подобное, в чем и каюсь сейчас перед вами. В разговоре с вами мне часто кажется, что я подымаюсь над самим собой и согреваюсь до самозабвения около вашего мужества и ваших надежд. Но вслед за тем приходит более хладнокровная минута, резкий ветер действительности приводит меня в сознание, и я вижу, как широка пропасть, которая разверзается между нами и через которую вы перенесли меня как бы во сне. То, что вы называете образованием, болтается тогда вокруг меня и тяжестью ложится на мою грудь: это панцирь, который пригнетает меня, меч, которым я не в силах размахнуться».

Внезапно мы трое оказались единодушными перед философом и, медленно прохаживаясь взад и вперед по безлесной полянке, служившей нам днем местом стрельбы, среди полнейшего безмолвия ночи, под мирно распростертым звездным небом, ободряя и подзадоривая друг друга, высказали ему совместными усилиями приблизительно следующее:

«Вы так много говорили о гении, о его одиноком многотрудном странствии по свету, как будто бы природа всегда порождает только крайние контрасты – косную, сонную, размножающуюся лишь в силу инстинктов массу и, с другой стороны, в безграничном отдалении от нее, великие, созерцательные, способные к созиданию вечных творений, единичные личности. Их вы называете вершиной интеллектуальной пирамиды; но ведь, очевидно, необходимы бесчисленные промежуточные ступени от широкого, тяжело нагруженного фундамента до свободно вздымающейся вершины, и здесь-то именно приложимо изречение: «natura non facit saltus»[1]. Где же начинается то, что вы называете образованием, на какой ступени область низов граничит с областью верхов? И если можно говорить об истинном образовании только применительно к этим далеким личностям, то как можно основывать учреждение в расчете на их непредвиденное существование, как можно обдумывать систему образования, пригодную для одних лишь этих избранников? Нам, напротив, кажется, что они-то сумеют найти дорогу и обнаружат свои силы в умении ходить без тех образовательных костылей, которые необходимы другим. Они беспрепятственно проложат себе путь через сутолоку и суматоху мировой истории, подобно лунатику, пробирающемуся сквозь тесное и многолюдное собрание.

Нечто подобное высказали мы, хотя и не особенно складно и связно, а спутник философа пошел даже дальше, заметив учителю: «Подумайте же сами о всех великих гениях, которыми мы привыкли гордиться как испытанными и верными вождями и руководителями истинно немецкого духа; мы чтили их память празднествами и статуями, с гордостью демонстрировали их творения иностранцам. Где

---

1 природа не совершает скачков (*лат.*).

нашли они то образование, которого вы требуете, в какой мере они были вскормлены, и до какой степени созрели на родном солнце образования? И все же их появление оказалось возможным, все же они сделались теми, кого мы теперь так чтим. Их творения оправдывают, быть может, именно ту форму развития, которую приняли эти благородные натуры, оправдывают даже недостаток образования, который мы должны допустить у их времени, у их народа. Что мог Лессинг, что мог Винкельман почерпнуть из имевшегося тогда немецкого образования? Ничего или, по крайней мере, так же мало, как Бетховен, Шиллер, Гёте, как все наши великие художники и поэты. Быть может, таков закон природы, что всегда лишь позднейшие поколения сознают, какими небесными дарами были отмечены предыдущие».

Здесь старец-философ пришел в сильный гнев и закричал на своего спутника: «О, агнец простоты! О вы все, достойные звания млекопитающих! Что за кривые, неуклюжие, узкие, шероховатые, уродливые аргументы! Да, как раз сейчас я слышал голос образования наших дней, и у меня болит в ушах от сплошных исторических «самоочевидностей» и сплошных старчески рассудительных беспощадных исторических умствований. Внимай же, о неоскверненная природа: ты состарилась и уже тысячелетиями покоится над тобой это звездное небо, но таких образованных и, в сущности, злобных речей, какие по вкусу этой современности, ты еще никогда не слыхала. Итак, мои добрые германцы, вы гордитесь вашими художниками и поэтами? Вы показываете на них пальцем и кичитесь ими перед иностранцами? А так как вам не стоило никакого труда иметь их в своей среде, то вы выводите отсюда премилую теорию, гласящую, что и впредь вам незачем стараться ради них. Не правда ли, мои наивные детки, гении являются сами собой; их приносит вам аист. Стоит ли говорить о повивальных бабках? Ну, милейшие, вы заслуживаете серьезного урока. Как вы смеете гордиться тем, что все вышеназванные блестящие и благородные умы преждевременно задушены, истощены и угашены вашим варварством! Как, вы можете без стыда думать о Лессинге, который погиб именно от вашей тупости, в борьбе с вашими смехотворными Клётцами и Гёцами, от убожества вашего театра, ваших ученых,

ваших теологов, не имея возможности хоть раз отважиться на тот вечный полет, ради которого он явился в мир?! А что вы испытываете при упоминании Винкельмана, который, чтобы только не видеть ваших гротескных глупостей, отправился вымаливать помощь у иезуитов, и чье постыдное отступничество падает на вас и будет лежать на вас несмываемым пятном? Вы смеете даже поминать имя Шиллера, не краснея? Посмотрите на его портрет! Горящий взор, с презрением устремленный поверх вас, смертельным жаром пылающие щеки – это ни о чем вам не говорит? То для вас – чудесная, божественная игрушка, которую вы изломали. А если еще отнять дружбу Гёте у этой угасавшей, до смерти затравленной жизни, то вам удалось бы погасить ее еще быстрей! Вы не содействовали творчеству ни одного из ваших великих гениев – и теперь на основании этого вы хотите установить догму, что никому впредь помощи не будет? Для каждого из них вы были тем «сопротивлением косного мира», который Гёте называет по имени в своем эпилоге к «Колоколу», по отношению к каждому вы были недовольными тупицами, или черствыми завистниками или злобными эгоистами; вопреки вам создавали они свои творения, против вас обращали они свой гнев, и вашими стараниями поникали они слишком рано, под грузом нескончаемой поденщины, искалеченные и оглушенные борьбой. Кто может себе представить чего суждено было достичь этим героическим людям, если бы истинно немецкий дух распростер над ними свой охранительный кров в виде мощного учреждения – тот дух, который при отсутствии такого учреждения влачит свои дни разрозненным, раздробленным и выродившимся? Все эти гении загублены; и нужна сумасшедшая вера в разумность всего совершающегося, чтобы пытаться оправдать ею вашу вину. И не одни эти гении! Изо всех областей интеллектуальной незаурядности выступают обвинители против вас. Бросаю ли я взгляд на все дарования в области поэзии, или философии, или живописи, или пластики, будь то даже дарования не самой первой величины, всюду нахожу я нечто недозревшее, чрезмерно возбужденное или рано заснувшее, спаленное или замороженное до расцвета, всюду чую я «сопротивление косного мира», т.е. *вашу* вину. Вот что обозначает мое требование

образовательных заведений и мое сожаление о положении тех, которые себя таковыми именуют. И если кто пожелает назвать это «идеальным требованием» и вообще «идеальным», полагая этим отделаться от меня как похвалой, то да послужит ему ответом мое мнение, что существующее положение вещей попросту пошло и позорно, и что тот, кто в трескучий мороз требует тепла, должен прийти в ярость, если это его требование назовут «идеальным». Здесь дело идет о настоятельной, неотложной действительности минуты; кто ее ощущает, тот знает, что это такая же настоятельная нужда, как и холод и голод. Кто же ее не ощущает – ну, у того по крайней мере имеется масштаб для определения того, где кончается то, что я называю образованием, и на какой высоте пирамиды область низов разграничивается с областью верхов».

Философ, по-видимому, очень разгорячился. Мы предложили ему снова немного пройтись, меж тем как последние слова он произнес, стоя вблизи того пня, который служил нам мишенью для стрельбы. Некоторое время мы все молчали и медленно и задумчиво шагали взад и вперед. Мы чувствовали не столько стыд за приведенные нами нелепые аргументы, сколько, напротив, некоторую реабилитацию нашей личности; именно после возбужденных и нелестных для нас обращений философа мы почувствовали себя более близкими ему и стоящими с ним в более личной связи.

Ибо человек такое жалкое существо, что он быстрее всего сближается с посторонним, когда тот обнаруживает перед ним какую-нибудь слабость или недостаток; тот факт, что наш философ разгорячился и позволил себе употребить бранные слова, перебросил мост через испытываемое до тех пор робкое благоговение. Для того, кто найдет подобное наблюдение возмутительным, следует прибавить, что этот мост часто приводит от дистанцированной почтительности к личной любви и состраданию. И это сострадание постепенно все сильнее овладевало нами вслед за чувством реабилитации нашей личности. К чему водили мы этого старика ночью по лесу и горам? И раз он в этом нам уступил, почему мы не нашли более спокойной и скромной формы для выражения нашего желания поучиться, почему мы, все трое, так неделикатно высказали наше несогласие?

Ибо теперь мы успели заметить, как необдуманны, не подготовлены и наивны были наши возражения, как сильно в них звучало как раз эхо *той* современности, голоса которой старик не хотел слышать в области образования. К тому же наши возражения не были чисто интеллектуального происхождения; причина, пробужденная словами философа и толкнувшая нас к сопротивлению, казалось, лежала в другом месте. Быть может, в нас говорило инстинктивное опасение насчет того, достаточно ли выигрышно смотрятся именно наши личности в свете таких воззрений, какие развивал философ, быть может, наши прежние представления о собственном образовании, почуяв опасность, соединились вместе, чтобы любой ценой найти причины, говорящие против точки зрения, которая во всяком случае в корне отвергала наши мнимые притязания на образованность. С противниками же, которые переносят на личную почву вескость аргументов, спорить не следует; или, как гласила мораль в нашем случае, такие противники не должны спорить, не должны противоречить.

Так шли мы рядом с философом пристыженные, мучимые сожалением, недовольные самими собой и более чем когда-либо убежденные, что старец прав, мы же были несправедливы к нему. Как далеко позади остались юношеские мечтания о нашем образовательном заведении, как ясно сознавали мы опасность, от которой до сих пор ускользали благодаря случаю, – опасность с потрохами продаться той образовательной системе, которая с детских лет, еще с гимназической скамьи, соблазнительно манила нас! Почему же мы, однако, еще не состояли в общественном хоре ее почитателей? Быть может, только потому, что еще были настоящими студентами, что могли пока спасаться от алчной погони и давки, от безудержно бушующего прибоя общественности, на том острове, который ведь также скоро будет смыт.

Обуреваемые подобными мыслями, мы уже намеревались заговорить с философом, когда он внезапно обернулся к нам и сказал смягчившимся голосом: «Мне не следует удивляться вашему юношески неосторожному и опрометчивому поведению. Ибо едва ли вы когда-либо серьезно размышляли над тем, что услыхали от меня. Дайте пройти какому-

то времени, носите это с собой, думайте над этим день и ночь, ведь теперь вы стоите на распутье, теперь вы знаете, куда ведут обе дороги. Идя по одной, вы будете желанны своему времени, и оно не поскупится увенчать вас венками и победными трофеями; вас будут нести огромные партии, сзади вас будет идти столько же единомышленников, сколько и спереди. И когда предводитель выкликнет лозунг, то он откликнется эхом во всех рядах. Здесь первая обязанность – бороться сомкнутыми рядами; вторая – уничтожать всех тех, кто не желает выстраиваться в сомкнутые ряды. Вторая дорога сведет вас с более редкими попутчиками, она труднее, извилистее и круче. Над вами будут глумиться идущие по первому пути, а так как вам труднее дается шаг, они будут пытаться переманить вас к себе. Когда же случайно оба пути сойдутся, то с вами обойдутся жестоко, вас оттеснят в сторону или боязливо отшатнутся от вас и оставят вас в изоляции.

Что же обозначает собой образовательное учреждение для столь различных путников двух дорог? Та необозримая толпа, которая стремится к своим целям по первому пути, подразумевает под ним институт, при помощи которого она выстраивается в сомкнутые шеренги и который отделяет и выключает всех, кто ставит себе более возвышенные и отдаленные цели. Правда, они умеют пускать в ход пышные слова для обозначения своих тенденций: они говорят, например, о «всестороннем развитии свободной личности в рамках прочных общенациональных и гуманно-этических убеждений» или называют своею целью «основание народного государства, покоящего на разуме, образовании и справедливости».

Для другой, меньшей группы, образовательное заведение представляется чем-то совершенно иным. Она хочет, под защитой прочной организации, оградить себя от опасности быть поглощенной и раздробленной первой группой, хочет уберечь отдельных своих членов, чтобы те не обессилели раньше времени, не сбились с пути, не измельчали, не рассеялись и не потеряли бы таким образом из виду свою благородную и возвышенную задачу. Дать возможность этим отдельным единицам совершить свое дело до конца – таков смысл их совместной организации; при-

чем это дело должно быть очищено от всяких следов субъективного и стоять выше переменчивой игры времени как чистое отражение вечной и неизменной сущности вещей. И все участники этой организации должны приложить совместные старания, чтобы путем такого очищения от всего субъективного подготовить рождение гения и создание его творения. Многие даже из числа второстепенных и третьестепенных дарований предназначены для такого содействия и лишь путем служения такой истинно образовательной организации приходят к сознанию выполненной ими обязанности. Теперь же именно эти дарования совращаются со своего пути непрестанными ухищрениями и соблазнами модной «культуры» и становятся чуждыми своему инстинкту. К их эгоистическим побуждениям, к их слабостям и тщеславию обращается искушение, именно им дух времени нашептывает: «Следуйте за мной! Там вы слуги, помощники, вспомогательные орудия, вас затмевают блеском натуры высшего порядка, вы никогда не наслаждаетесь своей самобытностью, вас тянут за нитку, вы в цепях как рабы, даже как автоматы. Здесь, у меня, вы как господа наслаждаетесь вашей свободной личностью, ваши способности могут блистать сами за себя, с ними и вы сами будете стоять на первом месте, вас будет сопровождать громадная свита, и одобрение общественного мнения вам будет более приятно, чем похвала, оброненная с высоты гения». Даже наилучшие поддаются теперь искушению таких соблазнов. И, в сущности, податливость или неподатливость таким голосам вряд ли обуславливается здесь степенью одаренности, а скорее уровнем и степенью известной нравственной высоты, инстинктом героизма, самопожертвования и, наконец, стойкой, обратившейся в привычку и руководимой правильным воспитанием потребностью в образовании, чем, как я уже сказал, является, прежде всего, повиновение гению. Но как раз о такой дисциплине, о такой выучке почти не имеют понятия учреждения, которые ныне называются образовательными. Хотя для меня не подлежит сомнению, что первоначально гимназия была задумана как истинно образовательное учреждение такого рода или, по крайней мере, как подготовительная ступень к нему и что в удивительную, обуреваемую глубокими идеями эпоху ре-

формации были действительно сделаны первые шаги по этому пути. Мне ясно и то, что во время нашего Шиллера, нашего Гёте снова обнаружились следы той позорно отведенной в сторону или изолированной потребности, как бы зачатки тех крыльев, о которых говорит Платон в «Федре» и которые вырастают у души при каждом соприкосновении с прекрасным и уносят ее ввысь, к царству неизменных чистых прообразов всех вещей».

– Ах, мой уважаемый и чудный учитель, – начал тогда спутник, – после того, как вы упомянули о божественном Платоне и о мире идей, я больше не верю, что вы на меня сердитесь, хотя своей предыдущей речью я вполне заслужил ваше неодобрение и гнев. Как только вы начинаете говорить, я чувствую у себя эти платоновские крылья; и лишь в промежуточных паузах мне, как вознице моей души, приходится напрягать силы для обуздания моего сопротивляющегося, дикого, необъезженного коня, которого Платон также описал и о котором он говорит, что он кривобок и не отесан, с негнущейся выей, короткой шеей, плоским носом, вороной масти, с серыми налитыми кровью глазами, косматыми ушами, туговат на ухо, всегда готов на преступление и низость, так что едва-едва удается править им при помощи бича и остроконечного шеста. Подумайте о том, как долго я жил вдали от вас и что именно на мне могли быть испробованы все те ухищрения, обольщения, о которых вы говорили, быть может, и не без известного успеха, хотя и незаметно для меня самого. Теперь я понимаю яснее, чем когда-либо, как необходима организация, которая давала бы нам возможность жить вместе с истинно образованными людьми, чтобы иметь в них руководителей и путеводные светочи. Как живо ощущаю я опасность одинокого странствия! И если я мнил, как я вам сказал, спастись от сутолоки бегством и уклониться таким образом от прямого соприкосновения с духом времени, то и само это бегство было обманчиво. Беспрерывно, из бесчисленных артерий, с каждым глотком воздуха вливается в нас эта атмосфера, и никакое уединение недостаточно уединенно и далеко, чтобы она не могла настичь нас своими туманами и облаками. Под видом сомнения, выгоды, надежды и добродетели в разнообразных маскарадных одеяниях прокрады-

ваются к нам образы этой культуры; и даже здесь, вблизи вас, т.е. рука об руку с настоящим отшельником образования, этот призрак сумел нас обольстить. Как неизменно и верно должна эта маленькая группа стоять в своей среде на страже образования, которое можно назвать почти сектантским! Как должна она взаимно подкреплять друг друга! Как строго следует порицать здесь ложный шаг, с каким состраданьем прощать! Простите же и меня, учитель, после того, как вы так строго наставили меня на истинный путь».

«Ты говоришь, дорогой мой, языком, которого я не переношу, – сказал философ, – и который напоминает стиль религиозных братств. С этим я не имею ничего общего. Но твой платоновский конь мне понравился, ради него тебе будет даровано прощение. На этого коня я обмениваю свое млекопитающее. Впрочем, у меня мало охоты прогуливаться дольше на свежем воздухе. Поджидаемый мною друг, правда, достаточно сумасброден, чтобы и в полночь прийти сюда, раз он это обещал, но я напрасно жду условленного знака. Не понимаю, что его задержало до сих пор, так как он аккуратен и точен, как все мы, старики, что слишком старомодно для современной молодежи. На этот раз он подвел меня; досадно! Пойдемте же за мной! Пора уходить».

Но в это мгновение показалось нечто новое.

Лекция пятая

Пятая речь,
читанная двадцать третьего марта.

Мои уважаемые слушатели!

Если вы с некоторым сочувствием отнеслись к моему пересказу полных разнообразных аффектов речей нашего философа, раздававшихся в ночной тиши, то вы не менее нас должны быть поражены его последним досадным решением. Он неожиданно заявил нам, что хочет уйти. Оставленный своим другом и мало утешенный тем, чем мы и его спутник оказались в состоянии скрасить его одиночество, он, по-видимому, спешил положить конец бесполезно затянувшемуся пребыванию в горах. День казался ему потерянным; и, стряхивая его с себя, он, очевидно, охотно сбросил бы вместе с ним и воспоминание о нашем знакомстве. Итак, он досадливо торопил нас уходить, как вдруг новое событие заставило его остановиться, и уже поднятая нога нерешительно опустилась.

Наше внимание привлекла разноцветная вспышка огня и раскатистый, быстро смолкнувший гул со стороны Рейна. Сейчас же вслед за этим издали к нам донеслась медленная мелодия, подхваченная, хотя и в унисон, многочисленными юношескими голосами. «Да ведь это его сигнал! – вскричал философ. – Мой друг идет, я не напрасно дожидался его. Это будет полуночное свидание. Но как ему дать знать, что я еще здесь? Ну-ка, вы, стрелки, покажите свое искусство! Слышите строгий ритм приветствующей нас мелодии? Запомните же его и постарайтесь повторить в последовательном ряде ваших выстрелов!»

Эта задача была нам по вкусу и способностям. Мы зарядили поскорее наши пистолеты и, быстро сговорившись, подняли их в звездную высь, между тем, как внизу, после краткого повторения, мелодия постепенно замолкла. Первый, второй, третий выстрелы резко прозвучали в тишине ночи. Вслед за этим философ крикнул: «Вы сбились с так-

та», – так как мы неожиданно нарушили ритм, привлеченные падающей звездой, которая стрелой пронеслась вниз после третьего выстрела, и наш четвертый и пятый выстрелы невольно прозвучали одновременно, в том направлении, куда она пронеслась.

«Вы сбились с такта, – закричал философ, – кто просит вас целиться в падающую звезду? Она разорвется и сама, без вас. Надо знать, чего хочешь, когда держишь оружие в руках».

В это мгновение с Рейна снова понеслась мелодия, подхваченная многочисленными и громкими голосами. «Нас все-таки поняли, – закричал, рассмеявшись, мой друг, – а кто может устоять, когда такой блистающий призрак приближается на расстояние выстрела».

«Тише, – прервал его спутник, – откуда подает нам сигнал эта толпа? Я слышу от двадцати до сорока сильных мужских голосов; откуда же приветствует нас этот хор? Кажется, он еще не покинул той стороны Рейна – однако это мы лучше разглядим с нашей скамейки. Пойдемте же скорее туда!»

С того места, где мы до сих пор прогуливались взад и вперед, поблизости громадного пня, вид на Рейн был закрыт густым, темным и высоким лесом. С нашего же места отдыха, как я уже сказал, лежавшего несколько ниже на склоне горы, чем эта плоская полянка, открывался между вершинами деревьев полукруглый просвет, середину которого занимал Рейн, державший в объятиях остров Нонненверт. Поспешно, но все же сообразуясь с силами нашего пожилого философа, подбежали мы к этому месту. В лесу стоял полный мрак, и, поддерживая справа и слева философа, мы, почти ничего не видя, больше по догадке, пробирались по проложенной дороге.

Едва достигли мы скамеек, как нам сразу бросился в глаза пылающий, тусклый и беспокойный свет, находящийся, очевидно, по ту сторону Рейна. «Это факелы, – вскричал я, – вернее всего, что там мои товарищи из Бонна и что ваш друг среди них. Это они пели, они и провожают его. Смотрите! Слушайте! Теперь они садятся в лодки; через полчаса с небольшим факельное шествие будет здесь».

Философ отпрянул назад. «Что вы говорите! – вскричал он. – Ваши товарищи из Бонна – стало быть, студенты, и со студентами придет мой друг?»

Этот почти со злобой брошенный вопрос взволновал нас. «Что имеете вы против студентов?» – спросили мы, но не получили ответа. Только спустя некоторое время философ заговорил медленно и жалобно, как бы обращаясь к еще далекому другу: «Итак, даже в полночь, друг мой, даже на уединенной горе мы не будем одни, и ты сам ведешь ко мне целую толпу буйных студентов, хотя знаешь, как охотно и тщательно избегаю я встреч с этим genus omne[1]. Я не понимаю тебя, мой далекий друг. Ведь не пустяки же наша встреча после долгой разлуки, и недаром выбрали мы такой уединенный уголок и необычный час. К чему нам хор свидетелей, и вдобавок еще каких! Ведь сегодня нас сводит вместе не сентиментальная, слабохарактерная потребность, ведь мы оба научились жить одиноко в гордой разобщенности. Не ради нас самих, не ради культа нежных чувств или патетической картины дружеского свидания решили мы повидаться здесь. Мы хотели здесь, где некогда в достопамятный час я нашел тебя в торжественном уединении, подобно рыцарям новой Феме, серьезно посоветоваться друг с другом. Пусть слушал бы нас тот, кто нас понимает, но к чему ведешь ты с собой толпу, которая нас, конечно, не поймет. Я не узнаю тебя, мой далекий друг!»

Мы считали неудобным прерывать столь горько жалующегося человека и, когда он меланхолически умолк, не осмелились ему сказать, как неприятно было нам это недоверчивое пренебрежение к студентам.

Наконец спутник обратился к философу со словами: «Вы напомнили мне, учитель, что в прежние времена, раньше, чем я с вами познакомился, вы учили во многих университетах и до сих пор живы слухи о вашем общении со студентами, о методе вашего преподавания, относящемся к тому периоду. Из безнадежного тона, каким вы сейчас говорили о студентах, многие бы могли заключить, что ваш собственный опыт в этом отношении был неутешителен. Я же, наоборот, думаю, что вы испытали и увидали то же, что и всякий другой, но судили об этом более строго и верно, чем остальные. Ибо от вас я узнал, что самые необычные, поучительные и важные опыты и события – это те,

---

1 всем родом (*лат.*).

которые совершаются каждый день, и что именно то, что лежит грандиозной загадкой на виду у всех, лишь немногими понимается как таковая, в силу чего такие проблемы лежат нетронутыми у самой проезжей дороги под ногами толпы и, в конце концов, бережно подбираются немногочисленными истинными философами, чтобы затем засиять в качестве алмазов познания. Быть может, вы нам расскажете в тот краткий промежуток времени, что остается до прибытия вашего друга, о ваших сведениях и опыте в сфере университета и тем завершите круг размышлений, к которым мы невольно пришли в вопросе о наших образовательных заведениях. К тому же да будет мне позволено напомнить вам, что на одной из более ранних ступеней нашего разговора вы даже дали мне такого рода обещание. Вы исходили из гимназии и придавали ей чрезвычайное значение; ее образовательной целью должны были измеряться все остальные учреждения, от уклонения ее тенденции страдали и все остальные. На такое значение движущего центрального пункта не может теперь претендовать даже университет, который в его теперешнем виде, по крайней мере, с одной важной стороны может рассматриваться лишь как надстройка гимназической тенденции. Вы обещали мне изложить подробности позже, что, может быть, засвидетельствуют и наши приятели студенты, так как возможно, что они слышали наш тогдашний разговор».

«Мы подтверждаем это», – присовокупил я. Тогда философ обратился к нам и сказал: «Ну, если вы действительно слушали, то можете мне сказать, что вы понимаете после всего сказанного под современной гимназической тенденцией. Кроме того, вы еще достаточно близки этой сфере, чтобы быть в состоянии проверить мои мысли вашим опытом и впечатлениями».

Мой друг по обыкновению быстро и находчиво ответил приблизительно следующее: «До сих пор мы всегда думали, что единственная задача гимназии – подготовка к университету. А эта подготовка должна нас сделать в достаточной мере самостоятельными для чрезвычайно свободного положения студента. Ибо мне кажется, что ни в одной из областей современной жизни личности не предоставлено решать и распоряжаться столь многим, как в области сту-

денческой жизни. Студент должен уметь руководить собой в продолжение многих лет на широком, совершенно свободном поле действия. Следовательно, гимназия должна постараться сделать его самостоятельным».

Я продолжил речь моего товарища. «Мне даже кажется, – сказал я, – что все то, что вы, конечно, вполне справедливо порицаете в гимназии, – лишь необходимые средства для возбуждения в таком раннем возрасте известной самостоятельности или по крайней мере веры в нее. Этой самостоятельности и должно служить преподавание немецкого языка: индивид должен рано сознавать свои воззрения и намерения, чтобы учиться ходить самостоятельно, без костылей. Поэтому его рано побуждают к творчеству, а еще раньше – к строгому обсуждению и критике. Если латинские и греческие уроки не в состоянии зажечь в ученике любовь к далекой древности, то все же метод их преподавания будит в нем научное понимание, пристрастие к строгой причинной связи знания, жажду поисков и открытий. Разве многие из нас не подпадают надолго обаянию науки, благодаря найденной в гимназии и схваченной юношеским восприятием какой-нибудь новой возможности прочтения? Многому должен научиться гимназист и многое собрать в себе. Отсюда, вероятно, и вырастает стремление, руководясь которым он впоследствии в университете подобным же образом самостоятельно учится и собирает. Короче, мы полагаем, что тенденция гимназии в том, чтобы настолько подготовить и приучить ученика, чтобы он впоследствии мог самостоятельно жить и учиться так же, как он должен был жить и учиться под гнетом распорядка гимназии».

Философ рассмеялся на эти слова, однако не совсем добродушно, и сказал: «Сейчас вы дали мне хороший образец такой самостоятельности. Именно эта самостоятельность и пугает меня и делает для меня всегда столь малоотрадной близость современных студентов. Итак, дорогие мои, вы готовы, вы выросли, природа разбила вашу форму, и ваши учителя могут любоваться на вас. Какая свобода, определенность, беззаботность суждения, какая новизна и свежесть воззрений! Вы усаживаетесь на судейских креслах – и культуры всех времен убегают прочь. Научный дух

зажжен, и пламя его языками вырывается из вас – осторожней, как бы от вас не сгореть! Если я возьму вдобавок еще ваших профессоров, то получу еще раз ту же самую самостоятельность, но в более сильной и привлекательной степени. Ни одна эпоха не была еще так богата столь прекрасными самостоятельными личностями, никогда не ненавидели так сильно всякое рабство, включая, конечно, и рабство воспитания и образования.

Но позвольте приложить к вашей самостоятельности масштаб именно этого образования и рассматривать ваш университет лишь как образовательное учреждение. Когда иностранец желает познакомиться с нашей университетской системой, то он прежде всего ставит вопрос: «Чем связан у вас студент с университетом?» Мы отвечаем: «Ухом, так как он слушатель». Иностранец удивляется. «Только ухом?» – еще раз спрашивает он. «Только ухом», – еще раз отвечаем мы. Студент слушает. Когда он говорит, смотрит, находится в обществе, когда он занимается искусством – одним словом, когда он живет, он самостоятелен, т.е. независим от образовательного учреждения. Часто студент одновременно пишет и слушает; это моменты, когда он прикреплен к самой пуповине университета. Он может выбрать, что желает слушать, и ему незачем верить тому, что он слышит: он может заткнуть уши, когда не захочет слушать. Таков «акроаматический» метод преподавания.

Преподаватель же говорит к этим слушающим студентам. То, что он помимо того слушает и делает, непроходимой пропастью отделено от восприятия студентов. Часто профессор, говоря, читает. В целом ему бы хотелось иметь как можно больше таких слушателей; в крайности он довольствуется и немногими, но почти никогда одним. Один говорящий рот, очень много слушающих ушей и вполовину меньше пишущих рук – таков внешний академический аппарат, такова пущенная в ход образовательная машина университета. Во всем остальном владелец этого рта совершенно отделен и независим от владельцев этих ушей; и эту двойную самостоятельность с гордостью восхваляют как «академическую свободу». Кроме того, чтобы еще расширить эту свободу, один может говорить приблизительно все, что он хочет, другие слушать приблизительно все, что захотят. А

позади обеих групп на почтительном расстоянии стоит государство с напряженной физиономией надсмотрщика, чтобы время от времени напоминать, что оно является целью, конечным пунктом и смыслом всей этой странной говорильной и слушательной процедуры.

Таким образом мы, кому разрешено считать этот курьезный феномен образовательным учреждением, сообщаем вопрошающему нас иностранцу, что образование в нашем университете есть то, что передается ото рта к уху и что все воспитание, направленное к образованию, как было сказано, лишь «акроаматично». Но так как слушание и выбор того, что слушать, предоставлены самостоятельному решению свободно настроенного студента, так как последний, с другой стороны, может не признать достоверности и авторитетности всего того, что слушает, то, строго говоря, все воспитание, направленное к образованию, попадает в его руки, и та самостоятельность, за которой гналась гимназия, с гордостью выступает теперь как «академическое самовоспитание для образования» и щеголяет своим блестящим оперением.

Счастливое время, когда юноши достаточно мудры и образованны, чтобы водить самих себя на помочах! Превосходные гимназии, которым удается насадить самостоятельность там, где иным эпохам приходилось насаждать зависимость, дисциплину, подчинение и повиновение и отражать все поползновения кичливой самостоятельности! Становится ли вам теперь ясно, милейшие, почему я, с точки зрения образования, обыкновенно рассматриваю современный университет как надстройку гимназии? Взращенное гимназией образование подходит к вратам университета как нечто целое, готовое и разборчивое в своих притязаниях: *оно* предъявляет требования, оно издает законы, оно судит. Итак, не обманывайтесь насчет образованного студента; поскольку он мнит себя удостоенным посвящения в образование, он все еще остается гимназистом, сформированным руками своих учителей, и, как таковой, с момента своей академической изоляции и окончания гимназии полностью лишен всякой дальнейшей образовательной формовки и руководства; ему предоставляется теперь право жить самому по себе и быть свободным.

Свободным! Исследуйте эту свободу, вы, знатоки людей! Воздвигнутое на глиняном устое современной гимназической культуры, на разваливающемся фундаменте, здание этой свободы покосилось, и каждый порыв ветра угрожает ему. Взгляните на свободного студента, герольда самостоятельного образования, угадайте его инстинкты, уясните себе его потребности! Что вы подумаете о его образованности, если будете мерить ее тремя мерилами: во-первых, его потребностью в философии, во-вторых, его художественным инстинктом и, наконец, греческой и римской античностью как воплощенным категорическим императивом всякой культуры?

Человек до такой степени осажден самыми серьезными и трудными проблемами, что, подведенный к ним правильным образом, рано подпадает под власть того длительного философского изумления, на котором, как на единственно плодородной подпочве, в состоянии вырасти глубокое и благородное образование. Чаще всего к этим проблемам его приводит собственный опыт, и особенно в бурные юношеские годы почти каждое личное переживание отражается двояким образом, как экземплификация повседневности и в то же время вечной, поразительной, достойной объяснения проблемы. В этом возрасте, который видит все свои переживания как бы окруженными метафизической радугой, человек в высшей степени нуждается в руководящей руке, потому что он внезапно и почти инстинктивно убеждается в двояком значении бытия и теряет твердую почву лелеемых до тех пор унаследованных мнений.

Это естественное состояние крайней потребности в руководстве приходится, конечно, рассматривать как злейшего врага той излюбленной самостоятельности, к которой должен быть воспитан образованный юноша нашего времени. Подавить его, парализовать, увести в сторону или исказить – вот над чем усердно трудятся апостолы «современности», перешедшие уже в лоно «самоочевидности». И излюбленное средство здесь – парализовать это естественное философское стремление так называемым «историческим образованием». Одна еще недавно пользовавшаяся скандальной мировой известностью система изобрела даже формулу для этого самоуничтожения философии. И теперь

почти всюду при историческом взгляде на вещи обнаруживается такая наивная беспечность, такое желание свести к «разуму» самое неразумное и выставить белым самое черное, что часто хочется, пародируя Гегеля, спросить: «Является ли это неразумное действительным?» Увы, как раз неразумное кажется теперь единственно «действительным», т.е. действенным, и держать наготове этот род действенности для объяснения истории и означает собственно «историческое образование». В него-то и облеклось философское стремление нашей молодежи, и наши странные университетские философы словно сговорились укреплять его в студентах.

Таким образом, мало-помалу на место глубокомысленного толкования вечно неизменных проблем выступило историческое и даже филологическое взвешиванье и вопрошание; что думал или чего не думал тот или иной философ, имеем ли мы право приписывать ему то или иное сочинение или даже какое из разночтений следует предпочесть. К такому нейтральному обращению с философией приучаются теперь студенты на философских семинарах наших университетов. Поэтому я уже давно взял за обыкновение рассматривать подобную науку как разветвление филологии и оценивать ее представителей постольку, поскольку они хорошие или плохие филологи. Но благодаря этому *сама философия* изгнана из университета; чем и дан ответ на ваш первый вопрос об образовательной ценности университетов.

Об отношении этого самого университета к *искусству* нельзя говорить без стыда: этого отношения вовсе не существует. Здесь нельзя найти даже намека на художественное мышление, обучение, стремление, сравнивание, и даже о подаче университетом голоса для поощрения самых важных национальных художественных замыслов никто не будет говорить всерьез. При этом, конечно, мы не берем в расчет, когда отдельный преподаватель случайным образом чувствует себя лично причастным к искусству или же когда какая-нибудь кафедра оказывается основана ради эстетизирующих историков литературы. Но как целое университет не в состоянии держать академическую молодежь в строгой художественной дисциплине, и если он здесь, обнаруживая полное безволие, дает совершаться тому, что совершается,

то в этом заключается безжалостная критика его неумеренного притязания представлять собой высшее учебное заведение.

Без философии, без искусства живут наши «самостоятельные» студенты. Откуда же у них может явиться потребность заняться греками и римлянами, стимулировать пристрастие к которым теперь уже никто не имеет основания и которые к тому же восседают в труднодоступном уединении и царственной отчужденности. Поэтому университеты нашего времени, вполне последовательным образом, совершенно не считаются с такого рода отжившими образовательными склонностями и продолжают основывать свои филологические профессуры для воспитания новых эксклюзивных поколений филологов, которым, в свою очередь, предстоит заняться филологическим воспитанием гимназистов: жизненный круговорот, не идущий на пользу ни филологам, ни гимназистам, но в третий раз обличающий университет в том, что последний на самом деле – не то, за что хвастливо желал бы выдавать себя, т.е. не образовательное учреждение. Когда вы отбросите и греков вслед за философией и искусством, то по какой лестнице подниметесь вы до образования? Ибо при попытке взобраться на лестницу без их помощи ваша ученость – позвольте это вам сказать – будет бесполезным грузом висеть у вас на шее, вместо того чтобы окрылять вас и поднимать вверх.

Если вы, как честные люди, остались честными на этих трех ступенях познания и признали, что современный студент не способен и не подготовлен к философии, лишен инстинкта к истинному искусству и является по сравнению с греками только варваром, мнящим себя свободным, то вы не станете обиженно убегать от него, хотя, быть может, охотно уклонились бы от слишком близкого соприкосновения с ним. Ибо *он не виноват* в том, что он таков. Таков, каким вы его узнали, он молча, но беспощадно обвиняет виновных.

Вы должны бы прислушаться к тому тайному языку, которым говорит с самим собой этот без вины виноватый; тогда вы поймете и внутреннюю сущность той охотно выставляемой на показ самостоятельности. Ни один из благородно одаренных юношей не избежал непрестанного, уто-

мительного, дезориентирующего, обессиливающего ощущения неудовлетворительности образования. За то время, когда он, по-видимому, является единственным свободным среди чиновной и служебной действительности, за свою грандиозную иллюзию свободы он расплачивается постоянно возобновляющимися муками и сомнением. Он чувствует, что не в состоянии сам руководить собой, не в силах помочь самому себе. Тогда он безнадежно окунается в мир злободневности и поденной работы; самая *тривиальная* деловитость затягивает его, устало опускаются его члены. Иногда ему снова хочется воспрянуть: он еще чувствует не совсем парализованной силу, которая могла бы удерживать его на поверхности. Гордые и благородные решения зарождаются и растут в нем. Его ужасает возможность так рано погрязнуть в мелочной специализации, и он хватается за опоры и устои, чтобы не быть унесенным по этому руслу! Напрасно; опоры поддаются – он по ошибке ухватился за ломкий тростник. С безутешным чувством пустоты видит он, как разлетаются его планы; его состояние отвратительно и унизительно: напряженная деятельность сменяется меланхолической апатией. Тогда он становиться усталым, ленивым, трусит работы, пугается всего великого и ненавидит себя самого. Он анализирует свои способности и находит только пустые или же хаотически заполненные пространства. С высот измышленного самопознания он снова низвергается в самый иронизирующий скепсис. Развенчивая значимость своих борений, он ощущает потребность в какой-нибудь действительной, пусть даже и низменной полезности. Теперь он ищет утешения в лихорадочной, непрестанной деятельности и прячется от самого себя под ее прикрытие. Таким образом беспомощность и нехватка руководства в образовании толкают его из одной формы существования в другую; сомнение, духовный подъем, жизненные нужды, надежда, уныние бросают его из стороны в сторону, в знак того, что погасли все звезды, руководясь которыми он мог бы направить бег своего корабля.

Такова картина пресловутой самостоятельности и академической свободы, отраженная в лучших и действительно жаждущих образования душах; рядом с ними не могут идти в счет те грубые и беззаботные натуры, которые варварски

радуются своей свободе. Ибо низкопробное довольство последних и их ограниченность своей ранней специализацией свидетельствуют, что это как раз их стихия, против чего не возразишь. Но их довольство поистине не перевешивает страданий одного-единственного влекомого в культуре и нуждающегося в руководстве юноши, который в конце концов малодушно бросает поводья и начинает презирать самого себя. Вот он – без вины виноватый; ибо кто навязал ему непосильную ношу – остаться в одиночестве? Кто побуждал его к самостоятельности в возрасте, когда естественной и ближайшей потребностью является доверчивое повиновение великим вождям и вдохновенное следование по путям учителя?

Как-то страшно думать о тех результатах, к которым ведет энергичное подавление столь благородных потребностей. Тот, кто станет вблизи внимательным взором рассматривать наиболее опасных поощрителей и друзей этой столь ненавистной мне псевдокультуры настоящего, найдет среди них немало таких выродков образования, сбитых с правильного пути; внутреннее разочарование довело их до враждебного и озлобленного отношения к культуре, к которой никто не хотел указать им путей. И это вовсе не самые плохие и незначительные люди, которых мы, в метаморфозе отчаяния, встречаем потом в качестве журналистов и газетных писак; дух известных культивируемых теперь жанров литературы можно было бы даже назвать духом отчаявшегося студенчества. Ибо как иначе понять, например, столь гремевшую некогда «молодую Германию» с ее размножающимися до сей поры эпигонами? Здесь мы словно бы обнаруживаем одичавшую потребность в образовании, разжигающую саму себя до крика: образование – это я! Перед дверьми гимназий и университетов толпится сбежавшая оттуда и теперь строящая независимую мину культура этих заведений – правда, без их учености; так что, например, романист Гуцков может лучше всего сойти за современного, уже литераторствующего гимназиста.

Выродок образования – это вещь очень серьезная: и нас несказанно волнует, когда мы видим, что вся наша общественная ученость и журналистика носят на себе клеймо этого вырождения. Как иначе объяснить поведение наших

ученых, спокойно взирающих на дело соблазнения народа журналистами и даже помогающих ему, если не допустить, что их ученость является для них подобием того, чем для первых служит писание романов, а именно – бегством от самих себя, аскетическим умерщвлением стремления к образованию, безнадежным истреблением индивида. Из нашей выродившейся литературы, так же как из раздувшегося до бессмысленности книгописания наших ученых, несется тот же самый вздох: «Ах, если бы мы могли забыть самих себя!» Но это не удается: воспоминание, не задушенное даже горами наваленной на него печатной бумаги, все же время от времени твердит: «Выродок образования! Рожденный для образования и воспитанный к необразованности! Беспомощный варвар, раб сегодняшнего дня, прикованный к цепи мгновения и голодный, вечно голодный!»

О, несчастные, без вины виноватые! Вам недоставало чего-то, что должно было быть приготовлено для каждого из вас, – истинного образовательного учреждения, которое дало бы вам цели, учителей, методы, образцы, сотоварищей и из недр которого на вас веяло бы возвышающее и животворящее дыхание истинно немецкого духа. Теперь вы гибнете в одичании, вырождаетесь во врагов этого, в сущности, внутренне родственного вам духа. Вы нагромождаете вину на вину – и они более тяжки, чем вина каких-либо других поколений: вы загрязняете чистое, оскверняете святое, восхваляете лживое и поддельное. На самих себе можете вы оценить образовательную силу наших университетов и серьезно спросить себя: что поощряете вы в них? Немецкую ученость, немецкую изобретательность, честное немецкое стремление к познанию, немецкое самоотверженное прилежание – все это прекрасные и великолепные вещи, в которых другие нации станут завидовать вам; да, самые прекрасные и великолепные вещи в мире, если над всеми ими, подобно молниеносной, оплодотворяющей и благословенной туче, простирается тот самый благословенный немецкий дух. Но вы страшитесь этого духа, и поэтому над вашими университетами тяжело и удушливо нависла другая туча, под гнетом которой с трудом и усилием дышат наиболее благородные из ваших юношей и безвозвратно гибнут наилучшие из них.

В этом столетии была одна трагически серьезная и поучительная попытка рассеять эту тучу, открыть просвет на высокое парение облаков немецкого духа. История университетов не содержит более подобной попытки, и тот, кто захочет убедительно доказать, чего им не хватает, никогда не найдет более ясного примера. Это феномен старых, первоначальных «буршеншафтов».

На войне добыл юноша неожиданный и достойнейший боевой трофей – свободу отечества: украшенный этим венком, он стал мечтать о еще более благородном. Возвратясь в университет, он задыхался в том удушливом и спертом воздухе, который охватил все области университетского образования. Внезапно его испуганные, широко открытые глаза увидели искусно спрятанное под всякого рода ученостью не-немецкое варварство, внезапно он открыл, что его собственные товарищи, лишенные руководителя, становились жертвами отвратительного юношеского шатанья умов. Это разгневало его. Он поднялся с тем же видом гордого возмущения, с каким, вероятно, некогда Фридрих Шиллер декламировал своим товарищам «Разбойников»; и если тот на заглавном листе своей трагедии поместил изображение льва и надпись «in tyrannos», то его ученик сам был этим львом, готовым к прыжку. И все тираны действительно затрепетали. Да, эти возмутившиеся юноши не слишком отличались в глазах робких и поверхностных людей от разбойников Шиллера; их речи звучали для испуганного слушателя так, что Спарта и Рим в сравнении с ними казались женскими монастырями. Страх перед этими возмутившимися юношами был даже более велик, чем тот, который некогда внушали «Разбойники» придворным сферам. А ведь о последних один немецкий князь, по словам Гёте, однажды сказал: «Если бы я был Господом Богом и предвидел возникновение «Разбойников», то я не создал бы мира».

Откуда же происходила непостижимая сила этого страха? Ведь эти возмутившиеся юноши были самыми храбрыми, одаренными и чистыми из своих сверстников: великодушная беззаботность, благородная простота нравов выделяла их даже по манерам и костюму, прекрасные обеты соединяли их друг с другом и обязывали к строгой порядочности. Чего можно было тут бояться? Никогда не удастся

выяснить, сколько самообмана и притворства было в этом страхе или же действительного понимания вещей. Но в этом страхе и в постыдном и бессмысленном преследовании слышался голос стойкого инстинкта. Этот инстинкт упорно ненавидел две стороны буршеншафтов: во-первых их организацию как первую попытку истинного образовательного института, и во-вторых, дух этого образовательного института, тот мужественный, серьезный, тяжеловесный, твердый и смелый немецкий дух – дух сына горнорабочего Лютера, сохранившийся невредимым со времен реформации.

Подумайте же о *судьбе* буршеншафта вслед за моим вопросом: понял ли немецкий университет этот дух тогда, когда даже немецкие князья в своей ненависти по-видимому постигли его? Обвил ли он смело и решительно своими руками самых благородных из своих сынов со словами: «Если только захотите их тронуть, вам придется сначала убить меня»? Я слышу ваш ответ; по нему вы можете судить, является ли немецкий университет немецким образовательным учреждением.

В те времена студент чувствовал, в каких глубинах должно корениться истинное образовательное учреждение; а именно во внутреннем обновлении и возбуждении самых чистых нравственных сил. И это всегда должно быть поставлено в заслугу студенту. На полях сражения он научился тому, чему меньше всего мог научиться в сфере «академической свободы»: что нужны великие вожди и что всякое образование начинается с послушания. И в разгар победоносного ликования, при мысли о своей освобожденной отчизне он дал себе обещание оставаться немцем. Немцем! Теперь он научился понимать Тацита, теперь он постиг категорический императив Канта, теперь восхитился он музыкой лиры и меча Карла Марии фон Вебера. Врата философии, искусства, самой древности распахнулись перед ним, и в одном из достопамятнейших кровавых деяний, в убийстве Коцебу, он с глубоким инстинктом и близорукостью мечтателя отомстил за своего единственного, преждевременно замученного «сопротивлением косного мира» Шиллера, который мог бы быть его вождем, учителем, организатором и которого он теперь оплакивал с такой сердечной горечью.

Ибо несчастье этих владевших даром предчувствия студентов было в том, что они не нашли вождей, в которых нуждались. Мало-помалу они сами стали не уверены, не согласны, не довольны; несчастные случайности слишком скоро показали, что в их среде не хватает такого все осеняющего гения. И упомянутое символическое кровавое деяние обнаружило наряду с ужасающей силой также и ужасающую опасность такой нехватки. У них не было вождя – и в силу этого они погибли.

Итак, я повторяю, друзья мои, всякое образование начинается с противоположности всему тому, что теперь восхваляют под именем академической свободы, – с повиновения, с подчинения, с дисциплины, со служения. И как великие вожди нуждаются в последователях, так и руководимые люди нуждаются в вождях. Здесь в иерархии умов господствует взаимное предопределение, род предустановленной гармонии. Этому вечному порядку, к которому по естественному закону тяготения постоянно снова стремятся все вещи, хочет противодействовать, нарушая и разрушая его, та культура, которая теперь восседает на престоле современности. Она хочет унизить вождей до роли *своих* батраков или довести их до изнеможения. Она подсматривает за нуждающимися в руководстве, когда они ищут предназначенного им руководителя, и притупляет одурманивающими средствами их ищущий инстинкт. Но если, несмотря на это, взаимно предназначенные друг для друга натуры встречаются, израненные после упорной борьбы, то они испытывают глубоко волнующее отрадное чувство, подобно тому, какое возбуждают звуки вечной мелодии струн, – чувство, о котором я хотел бы вам дать понятие путем сравнения.

Приглядывались ли вы когда-нибудь внимательно на музыкальной репетиции к удивительной, сморщенно-добродушной разновидности человеческого рода, из которой обыкновенно вербуется немецкий оркестр? Какая игра своенравной богини «формы»! Что за носы и уши, что за одеревенелые или угловато-сухие движения! Представьте только, что вы глухи и не имеете никакого понятия о существовании музыки и звука, и что вам приходится наслаждаться зрелищем оркестровой революции как чисто пластической игрой. Не затронутые идеализирующим воздействием зву-

ков, вы не сможете досыта налюбоваться этими дубоватыми фигурами, напоминающими средневековую резьбу по дереву, этой безобидной пародией на homo sapiens.

Затем вообразите, что ваша способность воспринимать музыку снова вернулась, ваши уши открылись, и во главе оркестра появился добросовестный махальщик, размеренно отбивающий такт. Комизм фигур для вас уже исчезает, вы слушаете – но вам кажется, что от добросовестно отбивающего такт дирижера на его коллег веет скукой. Вы замечаете только вялость, размягченность, вы слышите лишь ритмические недочеты, мелодические пошлости и тривиальность передачи. Оркестр становится для вас простой массой, вызывающей безразлично докучное или даже неприятное чувство.

Но пусть ваша окрыленная фантазия посадит гения, настоящего гения в центр этой массы – и вы тотчас заметите невероятную перемену. Вам покажется, будто этот гений с быстротой молнии вселился в эти полузвериные тела и будто изо всех их теперь, в свою очередь, глядит лишь *одно* демоническое око. Смотрите же и слушайте – вы никогда не пресытитесь! Рассматривая теперь снова охваченный торжественной бурей или сокровенной жалобой оркестр, вы почуете напряжение каждого мускула и ритмическую необходимость каждого жеста, и тогда вы поймете, что такое предустановленная гармония между вождем и ведомыми, и каким образом в иерархии умов все стремится к аналогичной организации. Итак, на приведенном мною сравнении уразумейте, что я хотел бы понимать под истинным образовательным учреждением и почему не вижу в университете ничего даже отдаленно напоминающего это».

Об истине и лжи во вненравственном смысле

1

В некоем отдаленном уголке вселенной, разлитой в блестках бесчисленных солнечных систем, была когда-то звезда, на которой умные животные изобрели познание. Это было самое высокомерное и лживое мгновение «мировой истории»: но все же лишь одно мгновение. После этого природа еще немножко подышала, затем звезда застыла, и разумные животные должны были умереть. Такую притчу можно было бы придумать, и все-таки она еще недостаточно иллюстрировала бы нам, каким жалким, призрачным и мимолетным, каким бесцельным и произвольным исключением из всей природы является наш интеллект. Были целые вечности, в течение которых его не было; и когда он снова окончит свое существование, итог будет равен нулю. Ибо у этого интеллекта нет никакого назначения, выходящего за пределы человеческой жизни. Нет, он принадлежит всецело человеку, и только его обладатель и изобретатель так горячо и с таким пафосом относится к нему, как будто бы на нем вращались оси мира. Но если бы мы могли объясниться с комаром, мы поняли бы, что он с таким же пафосом парит в воздухе и чувствует в себе летучий центр этого мира. В природе нет ничего настолько отверженного и незначительного, что бы не могло при малейшем дыхании этой силы познания тотчас же раздуться подобно мехам; и подобно тому, как всякий человек, поднимающий тяжесть, хочет, чтобы на него дивились, так и самый гордый из людей, философ, думает, что на его поступки и мысли направлены взоры всей вселенной, со всех ее отдаленных концов.

Замечательно, что все это делает интеллект, тот самый интеллект, который ведь дан только как помощь самым несчастным, самым деликатным и тленным существам для того, чтобы на минуту удержать их в этой жизни, из которой они без него имели бы полное основание бежать

подобно тому сыну Лессинга. Итак, это высокомерие, связанное со способностью познавать и чувствовать, набрасывая на глаза и чувства человека густой, ослепляющий туман, обманывает себя относительно ценности всего существования тем, что оно носит в себе в высшей степени льстивую оценку самого познания. Весь итог его деятельности – обман, но и отдельные его проявления имеют в большей или меньшей степени тот же характер.

Интеллект, как средство для сохранения индивида, развивает свои главные силы в притворстве; ибо благодаря ему сохраняются более слабые и беззащитные особи, которые не могут отстаивать себя в борьбе за существование с помощью рогов или зубов. У человека это искусство притворяться достигает своей вершины: здесь обман, лесть, ложь, тайное злословие, поза, жизнь, полная заемного блеска, привычка маскироваться, условность, разыгрывание комедий перед другими и перед собой, – короче, постоянное порхание вокруг пламени тщеславия – являются настолько и правилом и законом, что нет ничего более непонятного как то, каким образом среди людей могло возникнуть честное и чистое стремление к истине. Они погружены в иллюзии и сновидения, глаза их только скользят по поверхности вещей и видят лишь «формы», их ощущения никогда не дают истины, но довольствуются тем, что испытывают раздражение и играют на ощупь за спиною вещей. К тому же человек всю жизнь по ночам поддается обманам снов, и его нравственное чувство нисколько не протестует против этого; между тем как есть люди, которые благодаря усилиям воли отучились от храпения. Что собственно знает человек о самом себе? Мог ли бы он хоть раз в жизни воспринять самого себя, как если бы он вложен в освещенный стеклянный ящик? Разве не умалчивает от него природа почти все, даже о его теле – извороты кишок, быстроту кровообращения, сплетение волокон, – для того, чтобы загнать его в область гордого обманчивого сознания и запереть его в ней! Она выбросила ключ: и горе роковому любопытству, которое через щелку в стене сознания ухитрилось бы выглянуть из него наружу и вниз, и узнало бы, что человек в безразличии своего неведения покоится на безжалостном, алчном, ненасытном, убийственном, словно бы повиснув

во сне на спине у тигра. Откуда же, при таком устройстве человека, стремление к истине!

Поскольку индивид хочет удержаться среди других индивидов, он при естественном положении вещей пользуется своим интеллектом только для притворства: но так как человек из-за нужды и скуки хочет существовать в стаде, то он нуждается в мирном договоре и рассуждает поэтому, что из его мира должно исчезнуть по крайней мере самое брутальное – bellum omnium contra omnes[1]. Этот мирный договор приносит с собой нечто, что кажется первым шагом в этом загадочном стремлении к истине. Теперь именно определяется то, что отныне должно быть «истиной», изобретается одинаково употребляющееся и обязательное обозначение вещей, а законодательство языка дает и первые законы истины: ибо теперь впервые возникает противоположность истины и лжи. Лжец употребляет ходячие обозначения и слова для того, чтобы заставить недействительное казаться действительным; например, он говорит «я богат», между тем как единственно верным обозначением его состояния было бы слово «беден». Он злоупотребляет тем, что установлено, изменяя и искажая имена. Если он делает это в видах своей пользы и принося этим вред другим, общество перестает ему верить и этим исключает его из своего состава. При этом люди не так избегают обмана, как вреда, приносимого им; и на этой ступени они ненавидят не обман, а дурные, вредные последствия известных родов обмана. В подобном же ограниченном смысле человек хочет и истины: он хочет ее приятных последствий; к чистому познанию, не имеющему последствий, он относится равнодушно, к некоторым же истинам, которые ему кажутся неприятными и разрушительными, – даже враждебно. К тому же: как обстоит дело с теми условностями языка? Являются ли они результатами познания и чувства истины? Соответствуют ли обозначения вещам? Является ли язык адекватным выражением реальности?

Только по забывчивости человек может утешать себя иллюзией, что он обладает истиной именно в такой степени. Если он не захочет довольствоваться истиной в форме

---

1 война всех против всех (*лат.*).

тавтологии, то есть одной пустой шелухой, – он вечно будет принимать за истину иллюзии. Что такое слово? Передача звуками первого раздражения. Но делать заключение от раздражения нервов к причине, лежащей вне нас, есть уже результат ложного и недопустимого применения положения об основании. Если бы решающим условием при происхождении языка была только истина, а выбирая обозначения предметов, люди руководствовались бы только достоверностью, – то каким образом мы могли бы говорить: «камень тверд», как будто слово «тверд» обозначает нечто абсолютное, а не наше совершенно субъективное ощущение! Мы разделяем предметы по родам, «куст» у нас мужского рода, «лоза» – женского: совершенно произвольные обозначения! Как далеко мы вышли за канон достоверности! Словом Schlange мы обозначаем змею: это обозначение указывает только на ее способность завиваться и, следовательно, оно годится и для червя. Как произвольны ограничения и как односторонни предпочтения, которые мы даем при этом то тому, то другому свойству вещи! Если сравнить различные языки, то видно, что слова никогда не соответствуют истине и не дают ее адекватного выражения: иначе не было бы многих языков. «Вещь сама по себе» (ею была бы именно чистая, не имеющая последствий истина) совершенно недостижима также и для творца языка и в его глазах совершенно не заслуживает того, чтобы ее искать. Он обозначает только отношения вещей к людям и для выражения их пользуется самыми смелыми метафорами. Возбуждение нерва становится изображением! Первая метафора. Изображение становится звуком! Вторая метафора. И каждый раз полный прыжок в совершенно иную и чуждую область. Представьте себе совершенно глухого человека, который никогда не имел ощущения звука и музыки: подобно тому как он, удивляясь звуковым фигурам Хладни на песке, находит их причину в дрожании струны и готов поклясться, будто теперь он знает, что люди называют «тоном» – так же и мы все судим о языке. Мы думаем, что знаем кое-что о самих вещах, когда говорим о деревьях, красках, снеге и цветах; на самом же деле мы обладаем лишь метафорами вещей, которые совершенно не соответствуют их первоначальным сущностям. Подобно тому, как тон кажется глу-

хому фигурой на песке, так и нам загадочное X вещей кажется то возбуждением нерва, то изображением, то, наконец, звуком. Таким образом, логика отсутствует при возникновении языка, и весь материал, над которым работает и из которого создает свои построения человек истины, исследователь и философ, происходит если не из Тучекукуевска, то все же и не из сущности вещей.

Подумаем еще особенно об образовании понятий. Каждое слово тотчас становится понятием за счет того, что оно должно служить напоминанием не о единичном полностью индивидуализированном переживании, которое его породило, а приноравливается одновременно к бесчисленному количеству случаев, более или менее сходных, т.е., строго говоря, не равных другу. Каждое понятое возникает из сравнивания неравного. И как верно то, что один лист никогда не одинаков совершенно с другим, так и понятие «лист» образовано благодаря произвольному опущению этих индивидуальных различий, благодаря забвению того, чтó их различает; так-то получается представление, будто бы в природе, кроме листьев, есть еще – «лист», служащий их первообразом, по образцу которого сотканы, нарисованы, размерены, раскрашены и завиты все листья, но это сделано неловкими руками, так что ни один экземпляр не может считаться верным отражением этого первообраза. Мы называем человека «честным»; почему он сегодня поступил честно? спрашиваем мы. И наш ответ гласит: благодаря своей честности. Честность! Снова то же самое: лист есть причина листьев. Мы не знаем совершенно ничего об основном качестве, которое называлось бы «честностью», но лишь о многочисленных индивидуальных и вместе с тем неодинаковых поступках, которые мы сопоставляем, не обращая внимания на их различие, и называем честными поступками; наконец, из них мы заключаем об одной qualitas occulta[1] по имени «честность».

Упущение индивидуального и действительного дает нам понятие и форму, природа же не знает ни понятий, ни форм, ни родов, но только одно недостижимое для нас и неопределимое X. Ибо и наше противоположение рода и

---

1 тайное свойство (*лат.*).

особи антропоморфно и происходит не из сущности вещей, – если мы даже и не решимся сказать, что оно ей не соответствует – ведь это было бы догматическим утверждением, таким же недоказуемым, как и его противоположность.

Итак, что такое истина? Движущаяся толпа метафор, метонимий, антропоморфизмов, – короче, сумма человеческих отношений, которые были возвышены, перенесены и украшены поэзией и риторикой и после долгого употребления кажутся людям каноническими и обязательными: истины – иллюзии, о которых позабыли, что они таковы; метафоры, которые уже истрепались и стали чувственно бессильными; монеты, на которых стерлось изображение и на которые уже смотрят не как на монеты, а как на металл. Мы все еще не знаем, откуда происходит стремление к истине: ибо до сих пор мы слышали лишь об обязательстве, которое нам ставит общество – как залог своего существования, – обязательстве быть правдивыми, т.е. употреблять обычные метафоры, или, выражаясь морально, об обязательстве лгать согласно принятой условности, лгать стадно в одном для всех обязательном стиле. Правда, человек забывает об этом; он лжет означенным образом неосознанно и по многовековому обыкновению – и как раз *благодаря этой неосознанности* и этому забвению приходит к чувству истины. Из чувства обязанности называть одну вещь «красной», другую «холодной», третью «немой» возникает моральное побуждение к истине: наблюдая лжеца, которому никто не верит, которого все сторонятся, человек делает заключение о том, что истина свята, полезна и пользуется доверием. Теперь он подчиняет свои поступки как *разумное* существо господству абстракций; он больше не позволяет себе увлекаться внезапными впечатлениями и наблюдениями, он обобщает сначала эти впечатления, делая их бесцветными и холодными понятиями, для того чтобы привязать к ним челнок своей жизни и своих поступков. Все, что отличает человека от животного, зависит от этой его способности делать из наглядных метафор сухую схему, из картины – понятие. В царстве этих схем возможно то, что никогда не удалось бы среди непосредственных впечатлений – построить пирамиду каст и степеней, создать новый мир законов, привилегий, подчинений и ограничений, кото-

рый соперничает с видимым миром непосредственных впечатлений, являясь более прочным, общим, более знакомым и более человеческим и поэтому – правящим и повелевающим. Между тем как всякая наглядная метафора индивидуальна и не имеет себе подобной и не поддается поэтому никакой классификации, огромное здание понятий демонстрирует неподвижную правильность римского колумбария и в своей логичности дышит той строгостью и холодом, которые особенно свойственны математике. На кого подул этот холод, тот вряд ли поверит тому, что понятие, сухое и восьмиугольное, как игральная кость, и такое же передвижное, как она, все же является лишь *остатком метафоры*, и что иллюзия художественного перенесения нервного возбуждения в изображение есть если не мать, то бабушка всякого понятия. В этой игре в кости-понятия «истиной» называется употреблять каждую кость так, как ей определено, правильно считать ее очки, образовывать правильные рубрики и никогда не выходить за пределы кастового порядка и последовательности рангов. Подобно тому, как римляне и этруски разделили все небо четкими математическими линиями и в каждом таком ограниченном пространстве, как в templum[1], поместили одного бога; точно так же и каждый народ имеет над своей головой такое же математически разделенное небо понятий и считает требованием истины, чтобы каждого бога-понятие искали в *его* сфере. Можно только удивляться зодческому гению человека, которому на подвижных фундаментах, точно на поверхности текучей воды, удается воздвигнуть бесконечно сложное здание понятий. Конечно, для того, чтобы удержаться на таком фундаменте, его постройка должна быть подобна сплетениям паутины, – такой нежной, чтобы ее могла нести на себе волна, такой прочной, чтобы ее не сдуло ветром. Как гений зодчества человек стоит много выше пчелы: она строит из воска, который она находит в природе, он – из гораздо более нежного вещества понятий, которое он прежде должен создать из самого себя. В этом он достоин большого удивления, – но только не в своем стремлении к истине, к чистому познанию вещей. Если кто-нибудь

---

1 храме (*лат.*).

прячет вещь за кустом, ищет ее именно там и находит, то в этом искании и нахождении нет ничего особенно достойного прославления: но именно так обстоит дело с поисками и нахождением «истины» внутри области разума. Если я даю определение млекопитающего и затем, рассмотрев верблюда, говорю: «вот млекопитающее» – то эти слова хотя и высказывают истину, но истину не слишком большой ценности; мне кажется, что она совершенно антропоморфна и не имеет в себе ни одного пункта, который действительно и общезначимо, безотносительно к человеку, был бы «истинным сам по себе». Исследователь таких истин ищет в сущности только метаморфозы мира в людях, он добивается понимания мира как человекоподобной вещи и в лучшем случае добывает чувство ассимиляции. Подобно тому, как астролог считал, что звезды состоят на службе у людей и находятся в связи с их счастьем и страданием, так и этот исследователь считает, что весь мир привязан к людям, что он – бесконечно преломленный отзвук одного первозвука – человека, что он – умноженный отпечаток одного первообраза – человека. Все его искусство в том, чтобы считать человека мерой всех вещей; при этом он все-таки исходит из ошибки, поскольку верит в то, что эти вещи находятся перед ним непосредственно, как чистые объекты. Таким образом он забывает, что первоначальные наглядные метафоры – лишь метафоры, и принимает их за сами вещи.

Только благодаря тому, что человек забывает этот первоначальный мир метафор, только благодаря отвердению и застыванию изначально струившейся расплавленным потоком из первобытного богатства человеческой фантазии массы образов, только благодаря непобедимой вере в то, что *это* солнце, *это* окно, этот стол есть истина сама по себе, короче, только потому, что человек забывает, что он – субъект, и притом *художественно созидающий* субъект, он живет в некотором спокойствии, уверенности и последовательности; если бы он на мгновение мог выйти из стен тюрьмы, в которую его заключила эта вера, тотчас бы пропало его «самосознание». Ему стоит уже большого труда представить себе, каким образом насекомое или птица воспринимают совсем другой мир, чем человек, и что вопрос, которое из двух восприятий более правильно, лишен всякого смысла, так как

для этого пришлось бы мерить масштабом *правильного восприятия*, то есть масштабом *несуществующим*. Вообще же «правильное восприятие», т.е. адекватное выражение объекта в субъекте, кажется мне противоречием и нелепостью, ибо между двумя абсолютно различными сферами, каковы субъект и объект, не существует ни причинности, ни правильности, ни выражения, самое большее – *эстетическое* отношение, т.е. своего рода передача намеками, как при сбивчивом переводе на совсем чужой язык: но для этого нужна, во всяком случае, посредствующая сфера и посредствующая сила, свободно сочиняющая и свободно изобретающая. Слово «явление» заключает в себе много соблазнов, поэтому я его по возможности избегаю: ибо сущность вещей не «является» в эмпирическом мире. Художник, у которого нет рук и который хотел бы выразить пением носящийся перед ним образ, при этой перемене сфер все же обнаружит больше, нежели то, что открывает о сущности вещей эмпирический мир. Даже отношение раздражения нерва к возникшему образу вовсе не является чем-то совершенно необходимым; но если один и тот же образ возникал миллионы раз и перешел по наследству через много поколений и наконец является всякий раз у всего человечества как следствие одной и той же причины, то людям в итоге кажется, будто это – единственно необходимый образ и что отношение первоначального возбуждения нерва к возникшему образу есть отношение строгой причинности; так же как и сон, вечно повторяясь, стал бы ощущаться нами как истина. Но отвердение и застывание какой-нибудь метафоры еще не заключает в себе ничего, что объяснило бы необходимость и исключительное право этой метафоры.

Конечно, каждый человек, который привык к таким размышлениям, испытывал глубокое недоверие к подобному идеализму в той мере, в какой он ясно убеждался в вечной последовательности, вездесущности и непогрешимости законов природы. Он сделал следующий вывод: все в этом мире, насколько мы только можем охватить в вышину с помощью телескопа и в глубину с помощью микроскопа, прочно, выстроено, бесконечно, закономерно и беспробельно; наука будет вечно с пользой работать в этих копях и все найденное ею будет в согласовании, а не в противоречии

между собой. Как мало это походит на создание фантазии: ибо будь оно таковым, что-нибудь выдавало бы в нем кажимость и нереальность. Против этого надо сказать, во-первых: если бы каждый из нас имел различное ощущение, если бы мы сами воспринимали мир то как птицы, то как черви, то как растения, или если бы одному из нас одно и то же раздражение нерва казалось бы красным, другому – синим, а третьему – даже музыкальным тоном, – то никто не говорил бы о такой законосообразности природы, но все считали бы ее в высшей степени субъективной картиной. Далее, что же такое для нас закон природы? Он не известен нам сам по себе, а лишь по его действиям, то есть в его отношениях к другим законам природы, которые и сами известны нам только как суммы и отношения. Таким образом, все эти отношения ссылаются одно на другое и в самом своем существе совершенно непонятны нам: нам действительно известно только то, что мы привносим к ним – время и пространство, т.е. отношения последовательности и числа. Все же удивительное, что мы усматриваем в законах природы, что требует нашего объяснения и могло бы вселить в нас недоверие к идеализму – лежит исключительно в математической строгости и нерушимости представлений времени и пространства. Их же мы производим в себе и из себя, как паук свою паутину; если мы принуждены понимать все вещи только в этих формах, то уже более не удивительно, что мы во всех вещах понимаем только именно эти формы: ибо все они должны заключать в себе законы числа, а число есть самое удивительное в вещах. Вся та закономерность, которая так импонирует нам в движении звезд и в химических процессах, собственно совпадает с теми качествами, которые мы сами привносим в вещи, так что этим мы импонируем самим себе. При этом, разумеется, оказывается, что то художественное образование метафор, с которого у нас начинается каждое ощущение, уже предполагает те формы и, стало быть, в них совершается; только полной затверделостью этих первичных форм объясняется возможность, каким образом впоследствии из метафор может быть воздвигнуто само здание понятий. Последнее является собственно подражанием отношениям времени, пространства и чисел на почве метафор.

2

В строении понятий, как мы видели, первоначально работает *язык*, позднее – *наука*. Подобно тому, как пчела одновременно делает соты и наполняет их медом, так же и наука безостановочно работает в великом колумбарии понятий, в котором погребены воззрения, строит все время новые этажи вверх, укрепляет, чистит и подновляет старые ячейки, и стремится прежде всего наполнить это необъятное строение и уместить в него весь эмпирический, т.е. антропоморфный мир. Если даже человек дела привязывает свою жизнь к разуму и его понятиям, для того чтобы не быть снесенным с места и не потерять себя самого, то исследователь строит свою хижину у самой башни науки, чтобы и самому участвовать в ее перестройке и найти себе в ней оплот. А этот оплот ему очень нужен: ибо есть ужасные силы, которые постоянно враждебно наступают на него, противопоставляя научной «истине» истины совсем иного рода, с различными изображениями на их щитах.

Это побуждение к образованию метафор, это основное побуждение человека (которое ни на минуту нельзя сбрасывать со счетов, ибо тем самым мы сбрасывали бы со счетов самого человека) на самом деле вовсе не побеждено и едва ли обуздано тем, что из его эфемерных созданий – понятий – мы выстроили новый, окоченелый мир, как тюрьму для него. Оно ищет для себя нового царства и другого русла и находит его в мифе и вообще в искусстве. Оно постоянно перепутывает рубрики и ячейки понятий, выставляя новые перенесения, метафоры, метонимии, постоянно обнаруживает стремление изобразить видимый мир бодрствующих людей таким пестро-неправильным, беспоследственно-бессвязным, увлекательным и вечно новым, как мир сна. Сам по себе бодрствующий человек лишь благодаря прочной и правильной паутине понятий уверен в том, что бодрствует, и именно потому иногда думает, что спит, если искусству вдруг удается разорвать эту паутину. Паскаль прав, утверждая, что если бы мы видели каждую ночь один и тот же сон, мы занимались бы им точно так же, как вещами, которые видим ежедневно: «Если бы ремесленник был уверен, что он каждую ночь сплошь двенадцать часов будет

видеть во сне, будто он царь, то, думаю, – говорит Паскаль, – он был бы так же счастлив, как царь, который каждую ночь двенадцать часов кряду видел бы во сне себя ремесленником». День такого мифически возбужденного народа, каким были древнейшие греки, благодаря постоянно действующим в нем чудесам, допускаемым мифами, на деле гораздо больше похож на сон, чем на день мыслителя, отрезвленного наукой. Если дерево может говорить, как нимфа, или если бог в оболочке быка может похищать дев, если внезапно становится видимой сама богиня Афина, когда она в роскошной колеснице проехала вместе с Писистратом через площади Афин, – а всему этому верил честный афинянин, – то в каждое мгновение, как во сне, возможно все, и вся природа носится вокруг человека, как будто бы она была маскарадом богов, которые забавляются тем, что обманывают человека, являясь ему в разных образах.

Но и сам человек имеет непреодолимую склонность поддаваться обманам и бывает словно очарован счастьем, когда рапсод рассказывает ему эпические сказки, как истину, или когда актер в трагедии изображает царя еще более царственным, чем его показывает действительность. Интеллект, этот мастер притворства, до тех пор свободен и уволен от своей рабской службы, пока он может обманывать, не причиняя *вреда*; и тогда-то он празднует свои сатурналии. Никогда он не бывает более пышным, богатым, гордым и смелым: с наслаждением творца он бросает в беспорядке метафоры, сдвигает с места пограничные столбы абстракций: называя, например, реку подвижной дорогой, которая несет человека туда, куда он в других случаях идет. Теперь он сбросил с себя клеймо рабства: прежде с печальной деловитостью он усердно показывал дорогу и орудия бедному индивиду, жаждущему существования, и, как слуга для господина, выходил для него на грабеж за добычей; теперь он стал господином и может смело стереть выражение нужды со своего лица. Что бы он теперь ни делал, все по сравнению с его прежней деятельностью несет на себе следы притворства, меж тем как все прежнее – следы искажения. Он копирует человеческую жизнь, но считает ее хорошей вещью и, по-видимому, совершенно доволен ею. То огромное строение понятий, на котором, цепляясь, спасается

нуждающийся человек в течение своей жизни, служит для него лишь помостом или игрушкой для его смелых затей: и если он ее ломает и разбрасывает обломки, иронически собирает их вновь, соединяя по парам наиболее чуждое и разделяя наиболее родственное, то этим он показывает, что не пользуется крайними средствами нужды, и что им руководят не понятия, а интуиции. Из царства этих интуиций нет проторенной дороги в страну призрачных схем, абстракций: для них не создано слова, – человек немеет, когда их видит или говорит сплошь запрещенными метафорами и неслыханными соединениями понятий, дабы соответствовать впечатлению охватившей его могучей интуиции по меньшей мере через разрушение прежних понятийных границ и их высмеивание.

Бывают времена, когда разумный человек и человек интуитивно мыслящий стоят друг возле друга – один в страхе перед интуицией, другой с насмешкой над абстракцией; последний настолько же неразумен, насколько первый нехудожествен. Оба хотят господствовать над жизнью: первый умеет встречать главнейшие нужды предусмотрительностью, разумностью, планомерностью, второй, как «раздалый герой», не видит этих нужд и считает реальною лишь прикинувшуюся красотой жизнь и ею создаваемую видимость. Там, где, как в древней Греции, человек интуиции сражается лучше и победоноснее, чем его противник, там в счастливом случае может образоваться культура и господство искусства над жизнью: подмена, отрицание необходимости, блеск метафорических наблюдений и вообще непосредственность обмана сопровождает все проявления такой жизни. Ни дом, ни поступь, ни одежда, ни глиняный сосуд не указывают на то, чтобы они были изобретены нуждой: кажется, будто во всем этом выражается возвышенное счастье, олимпийская безоблачность и игра с серьезностью. В то время как человек, руководимый понятиями и абстракциями, благодаря им лишь отбивается от несчастья и не извлекает из них счастья; в то время как он ищет хоть какойнибудь свободы от боли, человек интуиции, стоя в центре культуры, пожинает уже со своих интуиций, кроме защиты от зла, постоянно струящийся свет, радость, утешение. Конечно, он страдает сильнее, *если* только он страдает: да, он

страдает даже чаще, потому что не умеет учиться у опыта и всегда попадает в ту же яму, в которую уже попадал раньше. И тогда, в страдании, он бывает таким же неразумным, как в счастье: он громко кричит и ничем не утешается. Как не похоже на него поступает в таком же несчастье человек-стоик, выучившийся на опыте и господствующий над собой с помощью понятий! Он, который в других случаях ищет лишь честности, истины, свободы от обманов и защиты от обольщающих призраков, теперь, в несчастии, доказывает свое мастерство в притворстве, как тот доказывает его в счастье; его лицо, не подвижное и переменчивое лицо человека, – это маска с достойною правильностью черт; он не кричит и никогда не изменяет своего голоса: если над его головой разверзается грозовая туча, он завертывается в свой плащ и медленными шагами продолжает идти под дождем.

Призыв к немцам

Мы хотим, чтобы нас расслышали, ибо обращаемся с предостережением, а голос предостерегающего, кем бы тот ни был и где бы ни находился, всегда имеет на это право; но зато и вы, те, кому адресовано предостережение, имеете право решать, надо ли счесть предостерегающих мужами честными и проницательными, которые взяли слово только потому, что вы в опасности, и которые страшатся найти вас глухими, безучастными и успокоенными. Сами же мы можем сказать о себе одно: что говорим мы от чистого сердца, стремясь при этом достичь своих целей лишь в той мере, в какой эти цели и ваши, – а именно общего блага и чести для немецкого духа и немецкой славы.

Вы осведомлены о том, какое торжество отмечалось в мае прошлого года в *Байрейте*: там должен был быть заложен исполинский краеугольный камень, под которым, как мы думали, будут навсегда похоронены многие наши опасения и благодаря которому обретут наконец уверенную будущность благороднейшие наши чаяния, – или, скорее, как нам приходится сказать сегодня, мы мнили, что они ее обретут. Ибо, увы, как много было в этом иллюзий! Те опасения живы и по сей день; и хотя мы отнюдь не разучились надеяться, наши нынешние крик о помощи и предостережение означают, что мы скорее боимся, чем надеемся. А страх наш – это страх за вас: вы вовсе не желаете знать о том, чтó происходит, а может быть, именно по неведению не даете кое-чему произойти. Правда, такая неосведомленность уже давно считается неуместной; да и кажется почти немыслимым, что подобные люди есть и теперь: ведь на протяжении последних десятилетий *Рихард Вагнер*, этот великий, отважный, несгибаемый и неудержимый борец, под пристальными взорами чуть ли не всех народов отстаивает те мысли, которым он придал окончательную и высшую форму и поистине победоносное совершенство в своем бай-

рейтском творении. Если вы и теперь станете мешать ему хотя бы только протянуть вам сокровище, которое он намерен поднести вам в дар, то чего же, по-вашему, вы добьетесь этим для себя? Именно в этом вновь и все снова приходится упрекать вас публично и настойчиво, дабы вы знали, чему настала пора, и дабы теперь вы уже не могли по своему усмотрению разыгрывать неведение. Ведь отныне иноземцы будут свидетелями и судьями представлений, которые вы дадите, и эти иноземцы станут для вас зеркалом, где вы предстанете приблизительно такими, какими некогда изобразят вас справедливые потомки.

Но положим, вам удастся своим неведением, недоверием, замалчиванием, издевками, очернением превратить здание на холме Байрейта в ненужные развалины; положим, вы в своем непреклонном недоброжелательстве даже не допустите, чтобы сбылось это совершенное творение, чтобы оно воздействовало и защищало себя само, – вам и тогда придется страшиться суда потомков так же, как и стыдиться взоров иноземных современников. Если француз, или англичанин, или итальянец наперекор театрам представит на суд всех публичных институтов и мнений пять произведений, написанных в стиле своеобразного величия и силы и всюду, от севера до юга, неизменно встречающих жадное внимание и восторг, – если такой человек воскликнет: «Существующие театры не отвечают духу нации, они – позор публичного искусства! Помогите мне приготовить жилище для духа нации!», то разве не бросились бы ему на помощь все, пускай только из самоуважения? А на самом деле тут вам понадобилось бы не только самоуважение, не только слепой страх перед плохой репутацией; тут вы могли бы сопереживать, стать соучениками и посвященными, тут вы могли бы от всей души участвовать в общей радости, решившись участвовать в помощи. Вы щедрою рукой даете всем вашим наукам дорогостоящие экспериментальные мастерские – так неужели вы захотите, опустив руки, стоять в стороне, когда речь идет о том, чтобы построить подобную мастерскую для дерзающего и экспериментирующего духа немецкого искусства? Можете ли вы указать какой-нибудь момент в истории нашего искусства, когда на повестку дня ставились более важные задачи и предоставлялся более бла-

гоприятный случай получить обогащающий опыт, нежели теперь, когда идея, названная Рихардом Вагнером «произведением искусства будущего», должна воплотиться и стать зримой в настоящем? Чтó за движение мыслей, действий, надежд и способностей тут зачинается, если на глазах у посвященного представителя немецкого народа прямо из земли, в ритме, повинующемся только его творцу, встает гигантское нибелунговское четырехглавое здание, чтó это за движение в самую широкую, самую обильную плодами и надеждами даль – да разве хватит у кого-нибудь смелости хотя бы только представить себе ее! И, разумеется, не от зачинателя этого движения будет зависеть, если волна скоро спадет и останется только ровная гладь, будто ничего и не было. Ибо если первая наша забота – чтобы это творение вообще воплотилось в жизнь, то вторая наша забота внушает нам не менее тяжкое сомнение в том, что мы можем оказаться недостаточно зрелыми, подготовленными и восприимчивыми, дабы обеспечить его первое же, неизбежно мощнейшее воздействие вглубь и вдаль.

Нам кажется, мы заметили, что всюду, где Рихард Вагнер встречал или обычно встречает неприятие, за этим кроется великая и плодотворная проблема нашей культуры; но если отсюда неизменно извлекались только поводы к надменным придиркам и издевкам и очень редко – к раздумьям, то это порой внушает нам заставляющее краснеть подозрение, не исчерпал ли тут знаменитый «народ мыслителей» свою способность мыслить до конца и не променял ли он мышление на чванство. С какою ложной убежденностью приходилось бороться, только чтобы не допустить смешивания байрейтского события мая 1872 года с основанием нового театра, а, с другой стороны, разъяснить, почему смыслу этого начинания не соответствует ни один из существующих театров, – каких усилий стоит открыть добровольно или недобровольно ослепшим глаза на то, что, говоря «Байрейт», надо иметь в виду не просто кучку людей, скажем, партию с особыми музыкальными пристрастиями, а всю нацию, мало того, на то, что призыв всерьез и деятельно участвовать в деле обращен даже за пределы немецкой нации, ко всем тем, кому дорого облагораживание и очищение драматического искусства, кто понял чудесное предчувст-

вие Шиллера, предвидевшего, что, возможно, некогда опера разовьется в облагороженную трагедию. Кто все-таки еще не разучился мыслить, пусть даже опять-таки только из самоуважения, тот должен ощущать и поощрять как *нравственно* знаменательный феномен художественное начинание, в зависимости от этого-то и движимое готовой на жертвы и бескорыстною волей всех к нему причастных и освященное их искренне высказанным признанием, что искусство для них полно высокого достоинства, а от немецкой музыки и ее преображающего воздействия на народную драму они ждут мощнейшей стимуляции оригинальной, характерно немецкой жизни. Но представим себе нечто даже еще более высокое и общее: немцы окажутся в глазах других народов достойными уважения и несущими исцеление лишь тогда, когда покажут, что внушают ужас, но *благодаря напряжению своих наивысших и наиболее благородных культурных и художественных сил хотят заставить забыть, что некогда внушали ужас.*

Мы сочли своим долгом напомнить об этой нашей немецкой задаче в настоящий момент – именно теперь, когда нам приходится обратиться с призывом всеми силами поддержать великое художественное деяние немецкого гения. Мы надеемся услышать радостный и исполненный сочувствия отклик отовсюду, где только в наше возбужденное время сохранились очаги серьезного раздумья; мы надеемся, что не напрасно призываем оказать требуемую помощь в особенности немецкие университеты, академии и художественные школы – в одиночку или же сообща: равным образом и немецкие публичные политические деятели из рейхстагов и ландтагов должны получить важный повод для раздумий о том, что немецкий народ ныне более чем когда-либо нуждается в очищении и освящении через высокое волшебство и ужас, навеваемые подлинным немецким искусством, если мы не хотим, чтобы наши потомки, вспомнив о чудовищном возбуждении политических и национальных страстей, о запечатленных на физиономии нашей жизни чертах, выражающих погоню за счастьем и наслаждением, были вынуждены признаться себе, что мы, немцы, начали себя терять, едва себя обретя.

Комментарии

Список сокращений

Произведения

БОУ – «О будущем наших образовательных учреждений».

ВН – «Веселая наука».

ЕН – «Ecce homo».

ИЛ – «Об истине и лжи во вненравственном смысле».

ДШ – «Несвоевременные размышления: Давид Штраус – исповедник и писатель».

РВБ – «Несвоевременные размышления: Рихард Вагнер в Байрейте».

ПВИ – «Несвоевременные размышления: О пользе и вреде истории для жизни».

ПП – «Пять предисловий к пяти ненаписанныv книгам».

ПСДЗ – «По ту сторону добра и зла».

РТ – «Рождение трагедии».

СВ – «Случай “Вагнер”».

СГТ – «Сократ и греческая трагедия».

СТ – «Сократ и трагедия».

ТГЗ – «Так говорил Заратустра».

ЧСЧ – «Человеческое, слишком человеческое».

Издания

GA – Großoktav-Ausgabe (= Fr. Nietzsche, Werke, 19 Bände u. 1 Register-Band, Leipzig: Naumann/Kröner, 1894 ff.).

GAK – Großoktav-Ausgabe, под ред. Фритца Кёгеля (1894–1897).

KGB – Nietzsche Briefwechsel: Kritische Gesamtausgabe. Hg. von Giorgio Colli, Mazzino Montinari, Norbert Müller und Renate Pieper. Berlin und New York 1975–2004.

KSA – Nietzsche F. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bde. Hrsg. v. G. Colli u. M. Montinari. München: Deutscher Taschenbuch Verlag / Berlin: W. De Gruyter, 1999.

НП – Ф. Ницше. Письма. М., «Культурная революция», 2007. Пер. и сост. И. Эбаноидзе.

ПСС – Ф. Ницше. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. М.: «Культурная революция», 2005 –.

КСВ – Ф. Ницше. Сочинения в 2-х томах. Под ред. К. Свасьяна.

Специальные обозначения, используемые в комментарии

КН – книги из библиотеки Н.

He (Handexemplar) – рабочий экземпляр.

Rs (Reinschrift) – чистовая рукопись.

Vs (Vorstufe) – черновик.

/ конец строки в рукописи.

[–] нечитаемое слово.

[ ] *в текстах:* замечание издателя.

< > добавление издателя.

[ ] *в черновых вариантах, которые приведены в комментариях:* вычеркнутый Ницше текст.

– – пропущенные слова в рукописи.

– – – незавершенное предложение.

Давид Штраус – исповедник и писатель

Работу над первым из своих «Несвоевременных размышлений» – «Давид Штраус – исповедник и писатель» (ДШ) – Ницше начал по возвращении из Байрейта 15 апреля 1873 г. Н. намеревался преподнести готовую рукопись своему другу Рихарду Вагнеру к его 60-летнему юбилею (22 мая), однако смог завершить работу и отослать рукопись издателю лишь месяцем позже. ДШ вышла в августе 1873 г.
Книга Давида Фридриха Штрауса (1808–1874) «Старая и новая вера» (с подзаголовком «Христиане ли мы еще?») была впервые опубликована в 1872 г. На русском языке книга выходила в 1906 г. в переводе Ф. Капелюша. В 2011 г. было сделано репринтное переиздание.

1. Ср.: ПСС 7, 26[16].
... восторженным упоением – Vs: *упоением. Меж тем как никто больше не ведает, что такое культура, а именно – единство стиля, – и всякий взгляд, брошенный на наши жилища, комнаты, одежду, манеры, театр, музеи, школы, сможет служить доказательством полнейшего отсутствия стиля, каждый тем не менее остается вполне удовлетворен плодами своей образованности, которая на самом деле вовсе не является культурой. Это удивительный феномен, который следует изучать. Предмет немецкой гордости заключается в том, что они знают больше, чем другие нации. При этом забывается тот факт, что они меньше могут, более того, ничего не хотят. На самом деле едва ли найдется существо более возвышенное, чем немец, могущий нечто великое и хотящий его; однако он стоит тогда в полном одиночестве и его влияние не распространяется вглубь и вширь, а эстетически дистиллируется и – – –*
«Мы ... варварами». – И.-В. Гёте. Разговоры с Эккерманом. 3 мая 1827.
2. *«Целых ... получалось»*. – И.-В. Гёте. Разговоры с Эккерманом. 14 марта 1830.
... полагал Гёте – «Лучшее, что у нас есть от истории, это энтузиазм, который она возбуждает» (Гёте, «Максимы и рефлексии» 495).
... на косский манер – Вероятно, Н. имеет в виду метод косской медицинской школы, к которой принадлежал Гиппократ. В отличие от книдской медицинской школы, концент-

рировавшейся на частных патологиях и вычленении диагнозов, в центре внимания косской школы было общее наблюдение за больным и создание условий для его излечения. Именно в смысле такого противопоставления можно понимать выражение «на косский манер скрывался».

3. *«Но что ... вширь»*. – Гёте. «Фауст» I, 1247–1250. Пер. Б. Пастернака.

4. *То, что здесь ... поучительно* – Rs: *На самом деле филистер в качестве эстетика – это филистер как таковой.*
гомеровская ... химера – Ср. ПСДЗ 190 и прим.
Гервинус Георг Готфрид (1805–1871) – немецкий историк литературы.
вызубренному ... Грильпарцер – цитата из австрийского писателя Франца Грильпарцера (1791–1872): «этот вызубренный энтузиазм, этот галоп старой клячи сопровождает все устремления господина Гервинуса» (F. Grillparzer. Sämmtliche Werke. Bd. IX, Stuttgart 1872, S. 175).
«Посочувствуем ... полемике». – См.: И.-В. Гёте. Разговоры с Эккерманом. 7 февраля 1827.
Клётцами и Гёцами – игра слов, а также аллюзию на полемику Лессинга с К.-А. Клётцом и Й.-М. Гёце. Благодаря множественному числу (*«Kloetzen und Goetzen»*) эти две фамилии читаются по-немецки одновременно как «чурбаны и истуканы».

6. *«Меня он ... любит?»* – Гёте. «Фауст». I, 3181.
Шопенгауэру ... изучении. – Ср.: ПСС 7, 27[50].
... *sub specie biennii* – Под «двухлетней давностью» Н. подразумевает франко-прусскую войну.
«По персидски ... похмелье». – Гёте. «Западно-восточный диван. Книга чашника (Саки-Наме)». Пер. О. Чухонцева.

7. *«Как мы понимаем мир?»* – Название одного из четырех разделов книги Д. Штрауса «Старая и новая вера».
проповедовать мораль ... создать – девиз сочинения А. Шопенгауэра, предложенного им на конкурс Норвежской Датской Академии Наук в Копенгагене, «Об основе морали».
Гёте ... призраком – См. Гёте. Поэзия и правда. III, 11.

8. Ср.: ПСС 7, 28[1].

9. Ср.: ПСС 7, 27[32].
(с. 219 Вольт.) – Здесь и в следующем параграфе Н. цитирует слова Штрауса из его лекций о Вольтере.

11. *«выношенными ... писанины».* – В процитированной фразе Шопенгауэр обыгрывает упрек, который высказывали Демосфену его недруги: дескать, «твои речи пахнут маслом», то есть ты просиживаешь над ними целые ночи при свете масляной лампы, а не импровизируешь по вдохновению. «*illam ... consequuntur*» – Тацит. «Диалоги об ораторах», 23, 3–4.
12. «*Но di ... прочь!*» – Цитата из 283 параграфа «Paralipomena» Шопенгауэра (А. Шопенгауэр. Собр. соч. М., 2011. Т. 5. С. 419). В целом следует заметить, что манера и интонация стилистического разбора, предпринятого Н. в данном параграфе, в значительной степени вдохновлена 23-й главой «Paralipomena» Шопенгауэра.
Себастьян Франк (1499–1542) – немецкий гуманист, философ и историк, автор «Всемирной хроники».
«*Sich ... Leben*» – в двух случаях переводчику в силу объективных причин не удалось воссоздать на русском стилистические ошибки Штрауса, о которых говорит Н. В первом случае речь идет о неверном местонахождении отделяемой немецкой приставки в предложении, здесь же проблема заключается в прямом и переносном значениях глагола ausringen («достичь чего-либо в борьбе», «завершить борьбу», «отмучаться» (в том числе: «пасть смертью героя»), а также «выжимать белье»). Попытка воспроизвести эти фразы на русском таким образом, чтобы и комментарий Н. оставался стилистически и содержательно адекватен им, неизбежно привела бы к серьезным смысловым искажениям оригинала, попросту говоря, к «отсебятине».
Пурпур ... герцог. – аллюзия на драму Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» (V, 12).

О пользе и вреде истории для жизни

Первые записи, относящиеся к ПВИ, датируются осенью 1873 г. Из печати работа вышла в феврале 1874 г. Сохранился рабочий экземпляр первого издания с правкой и изменениями, которые Н. вносил в 1886 г. Наиболее существенные из этих правок приведены ниже с пометкой *He* (Handexemplar).

При подготовке данного издания исходно планировалось, что все четыре «Несвоевременных размышления» будут представлены в новых переводах. Однако предполагавшийся переводчик «О пользе и вреде истории для жизни» не сумел справиться с задачей. В результате в нашем издании использован уже знакомый нашему читателю перевод Я. Бермана, под редакцией К. Свасьяна публиковавшийся в двухтомнике Ницше 1990 г. При редактуре этого перевода были учтены как исправления, сделанные К. Свасьяном, так и – причем во многих случаях – перевод, выполненный более ста лет назад А. и Е. Герцык. Следует отметить, что последний, отступая порой от буквы оригинала, является в целом несомненно более удачным с точки зрения стилистического мастерства, нежели перевод Бермана. Так что, сожалея об отсутствии новейшего перевода «О пользе и вреде истории для жизни», мы в то же время рады, что сложившаяся ситуация дает нам возможность упомянуть на страницах нашего издания имена замечательных переводчиц Серебряного века Аделаиды и Евгении Герцык.

«Мне ... образом». – Из письма Гёте Шиллеру от 19 декабря 1798 г. (И.-В. Гётё, Ф. Шиллер. Переписка. М., 1988. Т. 2. С. 176).

оправдания ... дурной деятельности. – Не: *оправдания усталой жизни и мелкой и трусливой деятельности.*

Если же Гёте ... пороки – И.-В. Гёте. Поэзия и правда // Собр. соч. в 10 т. М., 1976. Т. 3. С. 489.

1. Ср.: ПСС 7, 29[98], 30[2].

Зрелище ... животное. – Ср.: «Ты счастливо, о дремлющее стадо, / Скрыт от тебя твой жалкий жребий. Как / Завидую тебе я! / Не потому лишь, что тебе не надо / Страдать; что все лишенья, / Страх, тяготы ты тотчас забываешь; / Но потому, что скуки отвращенья / К бегущим дням не знаешь никогда.» Дж. Леопарди «Ночная песнь пастуха, кочующего в Азии» (Пер. А.А. Ахматовой).

воздерживаться ... мысль – Не: *в принципе воздерживаться ото сна, или на животное, которое не желало бы больше есть, а только пережевывало бы. Можно жить почти без воспоминаний, и даже счастливо жить без них, как показывает пример животного; но совершенно немыслимо жить без возможности забвения вообще. Или, чтобы наконец перейти к моей проблеме, проблеме здоровья.*

деятель ... бессовестен – См.: Goethe. Naturwissenschaftliche Schriften. Bd. 5. Dornach 1982. S. 450.

Нибур ... страсти». – Из письма Нибура к Николовиусу от 15 сентября 1821 г. // Lebensnachrichten ueber Barthold Georg Niebuhr. Bd. 2. Hamburg 1838. S. 480.

And ... give. – Эти строки принадлежат не Дэвиду Юму, а Джону Драйдену. См. прим. к ПСС 7, 29[86].

«Порывы ... покой». – Пер. А.А. Ахматовой.

2. *Гёте ... натуры.* – И.-В. Гёте. Разговоры с Эккерманом. 21 июля 1827.

Что великие ... погребено. – Использован пер. И. Эбаноидзе. Ср. «О пафосе истины» (ПСС 1/1, 266).

В сущности ... Америку. – Ср.: ПСС 7, 29[108].

«Пусть ... живых». – Очевидно, парафраз евангельского «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Лк 9, 60).

3. Ср.: ПСС 7, 29[114]

скарб отцов – И.-В. Гёте. Фауст I, 408.

Во всеоружии ... душой». – И.-В. Гёте. О немецком зодчестве. // И.-В. Гёте. Собрание сочинений. Т. 10. М., 1980. С. 14. Пер. Н. Ман. Гёте говорит об одном из строителей Страсбургского собора (который и подразумевается здесь как «памятник») мастере Эрвине, умершем в 1318 г.

«чудесному ... Буркхардт. – J. Burckhardt. Die Kultur der Renaissance in Italien. См.: ПСС 7, 9[143] и прим.

Нибур ... искусства. – Из письма Нибура к К. фон Савиньи от 16 февраля 1817 г. // Lebensnachrichten ueber Barthold Georg Niebuhr. Bd. 2. Hamburg 1838. S. 289.

«Нет ... никуда». – Гёте. Фауст I, 1339–1341. Пер. Б.Л. Пастернака.

4. Ср.: ПСС 7, 29[218.121.122.65.81]

Культура ... народа. – Н. имеет в виду собственное определение культуры, данное им в ДШ (см. наст. том с. 12).

Грильпарцер ... писателей». – Несколько видоизмененная цитата из Франца Грильпарцера. У австрийского писателя так: «Мы едва ли в силах представить себе, как выражается ощущение у наших современников. Мы заставляем ощущение проделывать скачки, которых оно теперь само не делает. Мы ощущаем с помощью абстракций. /.../ Шекспир испортил всех нас, новейших писателей» (F. Grillparzer. Sämmtliche Werke. Bd. IX, Stuttgart 1872, S. 187).

5. *Оркус* – одно из римских имен бога смерти, а вместе с тем и название загробного мира.
Шиллер ... рассудительных. – Стихотворение 1798 г. «Слова веры».
Гёте ... тога». – И.-В. Гёте. Шекспир, и несть ему конца! / И.-В. Гёте. Собрание сочинений. Т. 10. М., 1980. С. 308-309. Пер. Н. Ман.
6. Ср.: ПСС 7, 29[96.62.92]
Грильпарцер ... природы». – Н. соединил здесь две разные цитаты: до слов «мелких причин» взята из «Эстетических штудий» 1822 г., продолжение – из «Историко-философских штудий» 1846 г. Op. cit. S. 129, 40.
Шиллер ... воображении». – Из академической речи Ф. Шиллера, прочитанной в Йене 26 мая 1789 г., «Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?» Курсив Н.
виртуоза истории – имеется в виду Леопольд фон Ранке (1795–1886).
гётевского ... принудить» – Из письма Гёте Шиллеру от 24 февраля 1798 г. (И.-В. Гёте, Ф. Шиллер. Переписка. М., 1988. Т. 2. С. 59).
Цёльнер И.-К. (1834–1882) – немецкий астрофизик, кроме того автор работ по теории познания.
M. Thiers – Адольф Тьер (1797–1877), историк, политик, президент Франции в 1871–1873 гг.
7. Ср.: ПСС 7, 29[56.51]
Гольцендорф Ф. фон (1829–1889) – немецкий криминалист и публицист.
«которые ... “Мейстерзингерах”». – Р. Вагнер. Нюрнбергские мейстерзингеры. Акт 3, сц. 1.
«свернувшись ... клубок» – Ф. Шиллер, «Ныряльщик» (1798).
Гёльдерлина ... реальной». – Из письма Ф. Гёльдерлина к И. фон Синклеру от 24 декабря 1798 г. // F. Hölderlin. Sämmtliche Werke und Briefe. Bd. 4. Berlin 1970. S. 333.
наседок ... несут яйца – Ср. письмо Н. к Г. Кезелицу от 23 июля 1885 (НП, с. 243).
Гёте ... действенностью. – И.-В. Гёте. Максимы и рефлексии 694, 693 (из «Годов странствия Вильгельма Мейстера»).
8. *Гёте ... неправоты»* – См. главку «Личность Ньютона» в «Материалах для истории учения о цвете» Гёте (Goethe. Naturwissenschaftliche Schriften. Bd. 4. Dornach 1982. S. 339). – КСВ.

memento vivere – Ср.: И.-В. Гёте. «Годы учения Вильгельма Мейстера», VIII, 5 («Помни о жизни!»).

Вильгельмом ... жизни». – W. Wackernagel. Abhandlungen zur deutschen Literaturgeschichte. Kleinere Schriften, Bd. 2. Leipzig 1873. КН. Вильгельм Вакернагель – известный немецкий филолог, отец филолога Якоба Вакернагеля, бывшего, кстати, студентом Н. и, более того, занявшего впоследствии оставленную Н. должность в университете Базеля.

«Будь ... примеру!» – Строка стихотворного эпиграфа Гёте ко второму изданию его романа «Страдания юного Вертера».

9. Ср.: ПСС 7, 29[72.59.51.40]

«полное ... процессе». – Здесь и далее в этом параграфе, за исключением цитат оговоренных далее в примечаниях, цитируется «Философия бессознательного» Э. фон Гартмана.

Гегель ... с ним». – Цитата из предисловия Гегеля к «Лекциям о философии истории».

республику ... ног. – Н. имеет в виду следующее место из «Новых паралипомен» Шопенгауэра: «Часто говорят о республике ученых, но не о республике гениев. В последней дело обстоит следующим образом: один великан кличет другому через пустынное пространство веков; а мир карликов, проползающих под ними, не слышит ничего, кроме гула, и ничего не понимает, кроме того, что вообще что-то происходит. А с другой стороны, этот мир карликов занимается, там внизу, непрерывными дурачествами и производит много шуму, носится с тем, что намеренно обронили великаны, провозглашает героев, которые сами – карлики и т. п.; но все это не мешает тем духовным великанам, и они продолжают высокую беседу духов» (А. Шопенгауэр. Полн. собр. соч. Т. 4. М., 1910. С. 514).

«Приписывать ... суда!» – Пер. А. Жеребина. См.: ПСС 7, 29[52].

Массы ... нашим богом. – Ср.: ПСС 7, 29[40.41].

In summa ... всего». - Ср.: ПСС 7, 29[51].

«Конец ... всего». – Шекспир. «Как вам это понравится», II, 7. Пер. Т. Щепкиной-Куперник.

10. *Готшед И.К.* (1700–1766) – немецкий писатель, критик и теоретик эпохи Просвещения.

Рамлер К.В. (1725–1798) – немецкий поэт.

Платон ... государства. – См.: Платон. Государство 414a–415c.
Словом ... религии. – Ср.: ПСС 7, 29[194].
«и не говорит... Гераклит. – Гераклит. Фрагмент 93 (Diels-Kranz)/ 14 (Markovich).

Шопенгауэр как воспитатель

Первые наброски к третьему «Несвоевременному» датируются весной 1874 г. Текст был закончен в августе того же года и напечатан у нового издателя Н. Эрнста Шмайцнера в Хемнице в октябре 1874 г.

1. *Кто ... дорога?* – См.: Эмерсон Р. У. Эссе (это выражение вложено Эмерсоном в уста Оливера Кромвеля). Книга в немецком переводе Г. Фабрициуса (Ганновер, 1858) была в библиотеке Н.
2. *отец ... дуденьем.* – См.: Жизнь Бенвенуто Челлини... Кн. I, гл. V слл.
... спросить его. – В оригинале: *so frage man ihn.* Возможно, это описка Н., и здесь лучше прибегнуть к конъектуре: вместо *ihn* («его», einen Gelehrten) читать sich («себя»), иначе спрашивать придется того ущербного ученого, о котором говорилось выше.
несвоевременным ... смысле. – Это уточнение Н. связано, видимо, вот с чем. Немецкий язык дает две близких возможности понимания слова *unzeitgemäß*: *«несвоевременный»* и *«несовременный».* (Оба русских слова в данном случае одинаково отягощены окказиональными семантическими девиациями – первое значениями «не вовремя, некстати», второе – значением «устаревший».) При этом последнее значение подчеркивается общим смыслом сочинения: противопоставлением «иллюзорной» современности (настоящего, эпохи, актуального, «имеющего хождение» и т.д.) всему «подлинному» (в философии, искусстве и т.п.), а, значит, несовременному. Отсюда, кстати, следует, что заглавие «Несвоевременные рассуждения» можно и нужно читать одновременно и как «Несовременные рассуждения».
«Философ ... средствами». – См.: А. Шопенгауэр. Parerga II, § 289.

«Какая ... бытием!». – См.: Гёте И. В. Итальянское путешествие. Часть. 1. Венеция, 9 октября.

3. *«Подобные ... невозможен».* – См.: Бэджет У. (см. ниже). «Происхождение наций. Размышления о воздействии естественного отбора и наследственности на возникновение политических общностей». Лейпциг, 1874. С. 167 (книга из библиотеки Н.). Н. процитировал этот перевод невнимательно: вместо «в Англии» там стоит «в Новой Англии».

Тот ... следы. – См.: И.-В. Гёте. Античное и современное. Начало фразы Н. – почти буквальный повтор текста Гёте. Высказывание «опытного дипломата» Гёте, однако, переводит не прямо от своего лица, а от лица абстрактного «внимательного, простодушного немца, который сказал бы: (...)».

лабиринт груди. – Выражение из стихотворения Гёте «К луне» (1777, 1789).

«Не так ... вообще». – Генрих Клейст в письме к Вильгельмине и Ульрике от 22 и 23 марта 1801.

...основателя ... Рансе. – Аббат Арман Жан ле Бутилье де Рансе (1626–1700), основавший этот орден в 1664 г. в местечке Ла Трапп (откуда название) как ответвление ордена цистерцианцев. Траппистам была свойственна особенно суровая дисциплина тела и духа.

«Это ... благодати». – См.: Gwinner W. Arthur Schopenhauer aus persönlichem Umgange dargestellt. Leipzig, 1862. S. 108.

«Да ... не захочет!» – См.: И.-В. Гёте. Фауст. Часть 1. Ночь (реплика Фауста).

4. *Хармсу ... Мюнхена.* – Фридрих Хармс (1819–1880), с 1867 г. профессор философии Берлинского университета, с 1873 – член Королевской Академии наук. Юрген Бона Мейер (1829–1897), с 1868 г. профессор Боннского университета, писал в том числе о Шопенгауэре («Шопенгауэр», 1871). Мориц Каррьер (1817–1895), писатель и философ, с 1854 г. профессор Мюнхенского университета.

Тангейзер ... наслаждался? – См.: Вагнер Р. Тангейзер. 2-й акт, 4-я сцена.

катилинарием – Т. е. участником заговора Катилины (63–62 гг. до н. э.), здесь в переносном смысле – дерзким революционером, ниспровергателем.

«Вы ... лучше». – См.: И.-В. Гёте. Годы учения Вильгельма Мейстера. VIII 5.

Итак ... кулаком? – См.: И.-В. Гёте. Фауст. Часть первая. Рабочая комната Фауста (1). Перевод Б. Пастернака.

Мастер Экхард. – Экхарт Иоганн (ок. 1260–1328), главный представитель немецкой философской мистики, основоположник немецкого философского языка. Почетное прозвище «Мастер» (лат. magister, рус. устар. Мейстер) означает «Учитель». Н. в разных местах пишет фамилию Мастера по-разному: тогдашние ученые-филологи еще не унифицировали ее, а она дошла до них в нескольких вариантах. Цитату Н. заимствовал у Шопенгауэра («Мир как воля и представление». Т. 2, 726).

«Жизнь ... в нирване». – См.: Шопенгауэр А. Parerga und Paralipomena. II, § 172 a.

5. *Человек ... деятельностью.* – См.: Гёте И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера. Книга шестая. Признания прекрасной души. Перевод Н. Касаткиной.

«Я ... не годится». – Гёте в письме к Шарлотте фон Штейн от 3 марта 1785.

6. *прекрасно ... влечении.* – Измененная цитата из Гёте («Фауст», Пролог в небесах).

«Немец ... всех». – См.: Вагнер Р. О дирижировании (1869).

7. *«битва за культуру».* – Так называют политический конфликт (длившийся в основном в 1871–1878 гг.) между кайзеровской Германией под руководством О. фон Бисмарка и католической церковью, возглавлявшейся папой Пием IX.

Красота ... природа. – См.: Шопенгауэр А. Parerga, 2, 460.

vitam ... vero – эпиграф Parerga Шопенгауэра. См.: Ювенал, Сатиры, 1, IV, 91.

8. Бартольд Георг *Нибур* (1776–1831) – немецкий историк античности.

Генрих *Риттер* (1791–1869) – автор 12-томной «Истории философии» (1829–1853). Кристиан Август *Брандис* (1790–1867) – автор многочисленных трудов по истории философии, в том числе 3-томного «Учебника по истории греко-римской философии» (1835–1866). Эдуард *Целлер* (1814–1908) – автор «Философии греков в ее историческом развитии» (1856–1882) (в рус. пер. «Очерк истории греческой философии»). Уолтер *Бэджет* (1826–1877) – английский экономист и политический философ, обозреватель и главный редактор газеты «The Economist».

...персонаж под личиной. – ...eine Person mit einer Larve. игра слов, рассчитанная на знание латыни, где одно из значений слова «persona» – «маска, личина» (в том числе театрального актера).

... *Фридриха Августа Вольфа.* – Немецкий филолог-классик и исследователь античности (1759–1824).

Франц Пассов. – Немецкий филолог-классик (1786–1833).

«Держитесь ... чаяний». – См.: Эмерсон Р. У. Цит. соч. С. 226 сл. (с купюрами).

Рихард Вагнер в Байрейте

Около двадцати месяцев (с октября 1874 по июль 1876) отделяют друг от друга выход третьего и четвертого «Несвоевременных размышлений». Отказавшись от замыслов создания Несвоевременного размышления под заголовком «Мы, филологи» (см. ПСС 8, группы 1–??), Н. летом 1875 г. взялся за работу над РВБ. К сентябрю 1875 г. рукопись РВБ уже содержала заметки, составляющие ныне первые 6 параграфов произведения. В конце сентября или начале октября Н. прервал работу над четвертым Несвоевременным, сочтя написанное им к тому моменту «непубликуемым». Лишь весной 1876, в преддверии байрейтского фестиваля, Н. снова принялся за работу над этим текстом. В середине мая в типографию были отосланы первые 8 параграфов, в начале июня возникли последние три параграфа, еще через месяц книга вышла из печати.

1. *...пить ... кратера* – За словом «кратер» (нем. Mischkrug) здесь стоит образ смешения вина и воды (греки смешивали их именно в кратерах).

...как он ... будет – Это место по смыслу и букве очень близко часто цитируемому Н. изречению Пиндара (II Пифийская песнь, 72): *γένοι, οἷος ἐσσὶ μαθών*, которое можно понимать по-разному. Ф. Ф. Зелинский: «Сделайся тем, что ты есть, узнав это». М. Л. Гаспаров: «Будь, каков есть: а ты знаешь, каков ты есть». К. П. Янц: «Стань таким, каким ты учишься быть»; последний, кстати, указывает на то, что Н. в своем переводе опускает и не учитывает завершающее

слово (именно так – *γένοι οἷος ἐσσὶ* – он цитирует место в своих ранних письмах), получая смысл: «Стань тем (таким), кто (каков) ты есть». Этот смысл Н. не раз воспроизводит в своих сочинениях (в ВН, 335, в подзаголовке ЕН и т. п.), между тем как в оригинале он таков: «Будь таким, каким себя представляешь» (видишь, знаешь), т.е. «оставайся таким, каков есть», «не изменяй себе» (льстивое обращение поэта к всемогущему тирану Гиерону Сиракузскому, а не абстрактное увещевание). Ср. также ЧСЧ 2, 1, 366; ЧСЧ 2, 2, 329. – «...Чем он будет» во избежание грамматической путаницы («стал тем, ... чем будет») лучше понимать как «чем он (субъективно) и должен стать».

3. *...Шопенгауэра* – См.: Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. 1, 380: «Жизнь каждого человека, если глядеть на нее в общем и целом ... это всегда трагедия; но если проследить ее в подробностях, она имеет характер комедии».

...мятущейся грёзой – Намек на название дома Вагнера в Байрейте, построенного в 1874 г., – «Ванфрид», нем. Wahnfried (в тексте Н. – «vom friedlosen Wahne»), что можно примерно понять как «исполненная мечта»; на фасаде дома вырезана сочиненная Вагнером надпись: «Здесь, где мечты мои нашли себе покой (mein Wähnen Frieden fand), да будет дом сей Ванфрид назван мной. – Рихард Вагнер». Перевод «грёза» здесь – эвфемизм; у Н., в отличие от того, как это слово понимал Вагнер, его надо понимать скорее как «пустая грёза, иллюзия, заблуждение».

...«не научился страху» – См.: Вагнер Р. Кольцо нибелунга. Зигфрид. 1-е действие.

...к реформам, а не к революциям – Ср.: Р. Вагнер. Бетховен. «...немцы – не революционеры, а реформаторы». – R. Wagner. Gesammelte Schriften und Dichtungen. Leipzig, 1871–1873. Bd. 9. S. 105.

...теодицеей – Перифраз выражения Л. Фейербаха («философия – это замаскированная теология»), которое Н. цитирует по Вагнеру (R. Wagner. Einleitung zum dritten und vierten Bande. Op. cit. Bd. 3. S. 4).

4. *...упрощает мир* – Т. е. сводит мир к простой единой основе; см. ниже, начало гл. 5.

«Как ... впредь?» – См.: Р. Вагнер. Тристан и Изольда. 2-е действие, 2-я сцена.

5. *«Друг ... нас»* – См.: И. В. Гёте. Торквато Тассо. 5-й акт, 5-е явление. Перевод С. М. Соловьева. Курсив и купюра в цитате (значок купюры мой. – В.Б.) принадлежат Н.
6. *Совесть ... неведение.* – Н. обыгрывает однокорневость немецких слов со значениями «совесть» и «знание», очевидную также по-латыни (conscientia – scientia) и по-русски, если заменить слово «знание» архаичным «ведение».
большинство ... светоносца – Ср.: Ин. 3, 19: «но люди более возлюбили тьму, нежели свет».
«встает ... силой». – Немного измененная цитата из «Нюрнбергских мейстерзингеров» Вагнера (3-й акт, реплика Ганса Сакса).
7. *«Если ... государство».* – Платон. Государство, кн. 3, 398а. Н. цитирует Платона с купюрой и, вероятно, по памяти, но более или менее близко к тексту немецкого перевода Вильгельма Тойфеля (опубл. 1855–1856), которым, возможно, пользовался. Ср. относительно близкий к последнему русский перевод А. Н. Егунова: «Если же человек, обладающий умением перевоплощаться и подражать чему угодно, сам прибудет в наше государство, желая показать нам свои творения, мы преклонимся перед ним как перед чем-то священным, удивительным и приятным, но скажем, что такого человека у нас в государстве не существует и что не дозволено здесь таким становиться, да и отошлем его в другое государство, умастив ему главу благовониями и увенчав шерстяной повязкой...».
одну ... перипетиях – Фраза из автобиографического эссе Вагнера «О государстве и религии» (1864): «...восприняв искусство столь ужасающе серьезно, я относился к жизни чересчур легкомысленно».
«поднять ... к небесам». – Измененная цитата из стихотворения Гёте «Бог и баядера».
8. *врагиня* – По-немецки слово «мир» – женского рода; заодно Н. обыгрывает здесь образ из поэзии миннезингеров, например, Вальтера фон дер Фогельвайде (Frau Welt, Госпожа Жизнь, которую средневековые поэты изображали прельстительной и коварной).
«Я всегда ... естественно». – Расширенный вариант этой цитаты у Н. см. в ПСС 8, 33 [3]. Сама цитата происходит из поздних автобиографических записок Гёте (см.: Goethes Säm-

tliche Werke. Achtunddreißigster Band. Herausgegeben von Kurt Noch. Berlin, Propyläen-Verlag. [1928]. S. 478 f.). Вот она в том виде, в каком Н. цитирует ее в указанном выше фрагменте: «Я никогда не видал человека более презумпционного, чем я сам, и уже то, что я это говорю, означает, что так оно и есть. Я никогда не думал, что должен чего-то достигать, я всегда думал, что оно у меня уже и так в принципе есть. Если бы на меня надели корону, я подумал бы, что это только естественно». Нюансы перевода здесь (с контекстом) и в тексте (без контекста) лишь указывают на тонкость в понимании слова «praesumptuös», употребленного Гёте: он (будучи по образованию юристом) хотел сказать, что у него во всем есть «презумпция», т.е. предположение о том, что его принципиальное (а не фактическое) внутреннее право на что-то (в его случае – на что угодно) существует, если не доказано обратное: врожденная, инстинктивно-аристократическая позиция спокойной гордости – в отличие от суетливо-корыстных плебейских «амбиций».

«Я ужасно ... надо». – См.: И.-В. Гёте. Разговоры с Эккерманом. 1 апреля 1827.

9. *гармонии ... вражды.* – Ср. фрагмент 8 (Diels-Kranz) Гераклита.

10. *Сделать ... умирает.* – Цитата из А. Шопенгауэра (Parerga 2, 92).

«любви ради». – См.: Р. Вагнер. Валькирия. 3-е действие (реплика Брюнхильды).

«Мои ... заблуждается». – См.: И.-В. Гёте. Разговоры с Эккерманом. 11 октября 1828.

«общий». – Немецкое слово «gemein» означает и «общий», и «пошлый, низкий».

«загнать ... человечества» – Цитата из Р. Вагнера (R. Wagner. Einleitung zum dritten und vierten Bande. Op. cit. Bd. 3. S. 7).

На крыльях ... век. – См.: Ф. Шиллер. Стихотворение «Художникам». Перевод Д. Е. Мина.

11. *власть – зла.* – Ср. соч. Н. «Греческое государство» (1872): «...та же самая жестокость ... заложена ... во всегда злой природе власти» (ПСС 1/1, 278). Мысль о том, что «власть сама по себе зла» содержалась и в лекциях Я. Буркхардта, на которых Н. присутствовал в зимнем семестре 1870–1871 гг.

(см.: J. Burckhardt. Weltgeschichtliche Betrachtungen, in: Gesammelte Werke, Basel und Darmstadt 1955 ff., Bd. IV, S. 25).
«Ужасная ... мне». – См.: Р. Вагнер. Гибель богов. 3-й акт. Реплика Брюнхильды (только в тексте либретто – на сцене не произносится).

Из наследия 1872–1873

О будущности наших образовательных учреждений

Первое предисловие к лекциям «О будущности наших образовательных учреждений» (БОУ) было написано весной 1872 г., второе предисловие, в слегка переработанном виде вошедшее впоследствии в «Пять предисловий к пяти ненаписанным книгам», – летом того же года. Некоторое время Н. планировал публикацию лекций, однако к концу 1872 г. отказался от этой мысли. Пять лекций были прочитаны Ницше 16 января, 6 февраля, 27 февраля, 5 марта и 23 марта 1872 г. Изначально планировавшиеся заключительные шестая, от которой, как пишет Якоб Буркхардт в письме Арнольду фон Салису, «мы ожидали разрешения набросанных столь смелыми и крупными мазками вопросов и проблем» (Friedrich Nietzsche. Chronik in Bildern und Texten. Muenchen-Wien 2000, S. 264) и, возможно, седьмая лекции не состоялись. Черновики и наброски к БОУ см.: ПСС 7, 8[57-66, 69, 70, 76, 82, 84-99, 101, 107, 108, 116, 121], 9[62-64, 66, 68-70], 14[10-26], 18[5-12].

Вступление. *городе ... государства*. – Город Базель является одним из кантонов Швейцарии, то есть исторически имеет права самостоятельного государства.
«скарбом отцов» – И.-В. Гёте. Фауст I, 408.
Лекция 2. *маркиз Поза, Макс и Текла* – герои драм Шиллера «Дон Карлос» и трилогии «Валленштейн».
трагелаф – Козло-олень, фантастическое составное существо. У Аристофана («Лягушки», 937) трагелаф наряду с «конепетухом» символизирует высокопарность и сложность эсхиловской трагедии.

страну ... Грецию. – И.-В. Гёте. «Ифигения в Тавриде». I, 1.

Лекция 3. *словаре Гесихия* – Гесихий из Александрии составил в V в. построенный в алфавитном порядке греческий лексикон, к которому также прилагался словарь греческих диалектов.

когда Тирезий ... страны – Софокл. Эдип-тиран, 353.

Слышал ... падающей статуей? – Аристотель. «Поэтика», 1452a. Ср.: ТГЗ, «О дарящей добродетели», 3 (ПСС 4, с. 81, стр. 26-27).

Лекция 4. *«верному Эккарту»* – сказочный персонаж, старик, выполняющий функции доброго гения, стража, охраняющего от нечистой силы. См. одноименное стихотворение Гёте (на русском – в переводе В. Левика).

стряхнув ... чад» – И.-В. Гёте. «Фауст». I, 395.

«Почтения ... бег» – И.-В. Гёте. «Фауст». I, 3860-3862.

идеальные зрители – Определение А.-В. Шлегеля, которое Н. критикует в РТ (См.: ПСС 1/2, с. 48-49).

без стыда ... борьбой. – Пер. И. Эбаноидзе. Ср.: ДШ (наст. том., с. 30–31).

Клётцами и Гёцами – см. прим. к ДШ 4.

Платон в «Федре» – 253 d-e.

Лекция 5. *новой Феме* – Н. имеет в виду «суд Феме» – тайный трибунал в Германии, в первую очередь, Вестфалии XII (или, возможно, ранее)– XVI вв., по сути творивший самосуд над обвиняемыми в особо тяжких преступлениях и ересях. В используемой в тексте аналогии Н. подразумевает не инквизиторские функции, а романтический ореол трибунала Феме, члены которого составляли своего рода тайное братство и могли узнать друг друга по особым опознавательным знакам и сигналам.

природа ... вашу форму – «Природа отлила его и разбила льяло» (Лудовико Ариосто. «Неистовый Роланд». М., 1993. С. 177. Пер. М.Л. Гаспарова).

«акроаматический» – воспринимаемый через слух.

Об истине и лжи во внеправственном смысле

Это сочинение было написано летом 1873 г.

1. *В некоем ... умереть.* – Ср.: «О пафосе истины» (ПСС 1/1).
сыну Лессинга. – См. письма Лессинга Й. Эшенбургу от 31 декабря 1777 и Карлу Лессингу от 5 января 1778 г.
звуковым ... Хладни – Ряд научных работ немецкого физика Эрнста Хладни (1756–1827) был посвящен акустике. Посыпая пластины песком и заставляя их колебаться, исследовал вид фигур («фигуры Хладни»), образованных частицами песка, и их связь с режимом колебаний.
Тучекукуевска – Название города, основанного птицами в комедии Аристофана «Птицы». (Откуда ж имя взять? // – Из горной области,// Из облаков, из туч, да повоздушнее, // Помягче. // – Назовем Тучекукуевском?)
на почве метафор. – Продолжение в черновике: *Пространство без содержания, время без содержания – вполне возможные представления; всякое понятие, то есть метафора без содержания, есть подражание этим первым представлениям. Время, пространство и причинность, далее первобытная фантазия переноса в образы: первое дает материю, второе – качества, в которые мы верим. Сравнение музыки. Как возможно говорить о ней?*
2. *... под дождем.* – Набросок продолжения: *Обоим безразлична истина, не имеющая последствий; философ кажется удивительным. Философ как ненормальность. Отсюда – одинокий странник. То есть по сути случайность среди своего народа? И там, где он оборачивается против культуры, это разрушительно. Указать, что греческие философы неслучайно оказались греческими.*

Призыв к немцам

В рукописи озаглавлено: «Крик о помощи и призыв к объединенным немцам».
Написано 22 октября 1873 г. по заказу Р. Вагнера (точнее, попечителей Вагнеровского общества). В конце текста рукою Н. добавлено слово «Подписи». Этот заказ Н. явно не нравился. 18 октября того же года он писал Эрвину Роде,

что «смысл прокламации <т.е. заказа на нее>... сводится к тому, чтобы всякий, от мала до велика (...) выкладывал денежки за музыку». Написав «Призыв», Н. сразу поспешил в типографию, 25-го октября получил пробные оттиски и тут же отослал их Вагнеру. 29-го октября он сам поехал в Байрейт на собрание делегатов Вагнеровского общества. 31-го октября его проект обсуждался на пленуме Общества, но был отклонен – несмотря на одобрение Вагнера и Козимы. (В конце 1879 г. Козима писала Н., что они с мужем перечитывали «Призыв», причем его «чересчур фукидидовское начало Рихарду не понравилось, но мое восхищение целым он полностью разделяет».) Подобный заказ со стороны Общества вагнерианок, поступивший к нему в феврале 1874 г., Н. отклонил.

четырехглавое здание – т.е. «Кольцо Нибелунга», состоящее из четырех частей.

предчувствие Шиллера – см. письмо Шиллера к Гёте от 29 декабря 1797 г.

Фридрих Ницше
Полное собрание сочинений
Том 1/2

Редактор
И.А. Эбаноидзе
Оформление и верстка
И.Э. Бернштейн
Корректор
А.Г. Сорокина

Подписано в печать 28.10.2013.
Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 1.
Печ. л. 15. Тираж 2000 экз. Заказ № 4298.

Издательство «Культурная Революция»
Адрес: Москва, ул. Новосущёвская, д. 19б
Телефон (499) 973 1662, e-mail editor@kultrev.ru

Отпечатано способом ролевой струйной печати
в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru,
8(495)988-63-76, т/ф. 8(496)726-54-10